ISSN 0130 – 6545

2. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рыбачьи лодки.

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника Андрэ Дерена

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

2 февраль 1986

Содержание

Молодые поэты ГДР

СТЕФФЕН МЕНШИНГ, ХАНС-ЭККАРТ ВЕНЦЕЛЬ *(Перевод Е. Витковского, В. Летучего. Вступление Т. М.)* 3

ЭН КОЗАК — Адам и Ева *(Роман. Перевод с чешского В. Мартемьяновой)* 11

Рассказы каталонских писателей

САЛВАДОР ЭСПРИУ, ПЕРЕ КАЛДЕРС, МЕРСЕ РОДОРЕДА, МАРИЯ АУРЕЛИЯ КАПМАНЬ *(Перевод М. Киени, П. Скобцева, Н. Матяш. Вступление Н. Матяш)* 97

РОБЕРТ СТОУН — Флаг на заре *(Роман. Перевод с английского К. Чугунова. Окончание)* 126

Критика

Всматриваясь в облик нового времени

Беседа в редакции о тенденциях развития литератур европейских социалистических стран последнего десятилетия *(Юрий Богданов, Виктор Хорев, Владимир Гусев, Владимир Огнев, Юрий Суровцев, Вячеслав Середа)* 202

Публицистика

ВЛ. ГАКОВ — Фронтир 215

Антирубрика

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Газ из горелки *(Перевод с английского Андрея Сергеева. Послесловие Е. Гениевой).* ПАТРИК КЭМПБЕЛЛ — Рассказы *(Перевод с английского А. Ливерганта)* 230

Среди книг

По страницам литератур стран Азии и Африки

Л. Степанов — Колокола свободы *(Джон Я-Отто. Фронтовая Намибия).* Виктор Бейлис — Развенчание алмазного короля *(А. Давидсон. Сесиль Родс и его время).* Ю. Здоровов — «Здесь начинается новый романс...» *(Анри Лопес. Новый романс).* М. Захаренков — В защиту угнетенных *(Нгуги Ва Тхионго. Распятый дьявол).* Е. Калинникова — О смысле жизни... *(Мулк Радж Ананд. Пузырь)* И. Кожевникова — Сорок лет спустя *(Тосио Симао. Бухта в заливе. Сотокити Кусака. Серое море).* Е. Ряузова — на рубеже культур *(С. В. Прожогина. Рубеж эпох — рубеж культур)* 237

Из месяца в месяц

249

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы французского художника АНДРЕ ДЕРЕНА «Замок в Канье» и «Роща».

© «Иностранная литература», 1986.

Молодые поэты ГДР

Оба поэта, которых мы здесь представляем, вошли в литературу ГДР, будучи еще очень юными, и сразу были замечены общественностью. Ханс-Эккарт Венцель и Стеффен Меншинг получили в 1978 году диплом Иоганнеса Р. Бехера — награду, которую Культурбунд присуждает одаренным молодым поэтам. Сегодня они уже далеко не дебютанты, их стихи печатаются в журналах, включаются в антологии, об их творчестве пишут статьи известные критики. В 1984 году у них обоих вышли самостоятельные поэтические сборники. И они написали короткие вступления к книгам друг друга. Вступление Венцеля к сборнику Меншинга кончается словами: «Его лучшие стихи придают мне силы, потому что я вижу, что они не украшение для витрин, а орудия производства, с помощью которых он творит правду, вскрывает смысл, экспериментирует, провоцирует нашу мысль, открывает новое». Вступление Меншинга к сборнику Венцеля кончается словами: «Ты сумасброд, говорят некоторые твои друзья. Пусть так, но как называется то, что выбалтывают дети и дураки?» (Это намек на немецкую пословицу: «Дети и дураки говорят правду».)

Парадокс, ирония, гротеск, парафраза, пародия — все это дорого им обоим. Все это связывает их с очень почтенными традициями немецкой прогрессивной революционной поэзии, от Гейне до Брехта. И все это содействует их контакту с читателями и слушателями, главным образом молодыми.

Ханс-Эккарт Венцель и Стеффен Меншинг в течение десяти лет выступали в литературно-песенном ансамбле «Внуки Карла». Название звучит гордо — внуки Карла Маркса. Участники ансамбля — певцы, чтецы, актеры, они же чаще всего и создатели репертуара — стремились в поэзии и музыке сегодняшнего дня выразить свою преемственную связь с идейным наследием основоположников научного коммунизма. В наиболее строгой, обнаженной форме это стремление выражено в стихотворении Меншинга «Лондон, пятнадцатое марта восемьдесят третьего», в основе которого лежат строки из известных писем Энгельса И. Ф.Беккеру и Ф. А. Зорге, написанных сразу после смерти Маркса [1].

Как правило, оба поэта избегают прямолинейного, «лобового» выражения мысли, привычных политических клише (как избегают, разумеется, и шаблонной красивости). Оба они приглашают читателя, слушателя к активному восприятию стихотворения или песни и часто пользуются поэтическими ассоциациями, аллюзиями, сопрягают воедино факты и события, удаленные одно от другого во времени и в пространстве, сталкивают далекое и близкое, героику и будни, историю и современность.

Одно из наиболее известных стихотворений Меншинга — «Сон о прогулке с Розой Л.» — включает цитаты из писем Розы Люксембург из тюрьмы, словно предвидевшей свою трагическую гибель: «Я умру на посту». (Как известно, 15 января 1919 г. Роза Люксембург и Карл Либкнехт были зверски убиты.) Прославленная революционерка как бы сливается в сознании автора с образом «обыкновенной» девушки и сходит с мраморного надгробия, ничто женское ей не чуждо, и она достойна не только почитания, но и любви.

Оба автора обладают незаурядной художественной культурой и включают в круг своих образов выдающихся мастеров слова. Им близки поэты-мятежники, борцы, новаторы, люди трудной судьбы; среди героев их стихотворений — Гёльдерлин, Эрих Мюзам, Маяковский, австрийский поэт-антифашист Теодор Крамер. Обращение к наследию давних или недавних предшественников помогает им утверждать собственное ак-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 35, с. 384—386.

тивное отношение к острым проблемам современности, в плане общественном или эстетическом.

Стихотворение Меншинга «Начало света» — пародия-парафраза известного стихотворения поэта-экспрессиониста Якоба ван Ходдиса «Конец света», которое в свое время высоко ценил Иоганнес Бехер: оно было написано на исходе первой мировой войны и передавало ощущение непрочности старого мира, близость его крушения. Приведу это стихотворение в новом переводе Евгения Витковского:

За шляпой гонится лощеный сноб.
Крик в воздухе повис, и он неистов.
Слетают с крыш десятки трубочистов,
В газете новость: близится потоп.

Вода встает неведомо откуда,
Уже колыша дамбы на плаву.
Почти у всех людей кругом — простуда.
Мосты роняют шпалы, как листву.

У Меншинга старый экспрессионистский опус иронически переосмыслен. Всемирная катастрофа не наступила, нынешние политики, газетчики, радиодикторы не предвидят потоп, а, напротив, весьма спокойно играют в шахматы, «на бомбе сидя или на земле». Можно трактовать это стихотворение как сатиру на абсурд буржуазного мира перед первой мировой войной. Но в нем есть и явственный подтекст предостережения: не надо впадать в панику перед угрозой «потопа», но и успокаиваться недопустимо (см. стихотворение «Начало света»).

Меншинг находит неизбитые способы для того, чтобы напомнить о драмах недавней германской истории. В стихотворении «Степень доверия» показана немецкая семья. Дед, в прошлом фельдфебель вермахта, отсидел свой срок в Бауценской тюрьме, потом перебрался в Гёттинген — на Запад. Родители героя остались в ГДР, но, чувствуя себя не вполне достойными доверия, «не лезли вперед и держались в тени». Но так или иначе они не уехали в ФРГ, они честно трудились, и сын, перед которым теперь открыты все дороги, думает о них с искренним сочувствием... Еще острее, драматичнее стихотворение Меншинга «Телефонная книжка 1941», трудно поддающееся переводу. Поэт перелистывает старый справочник, задумывается над судьбами людей, чьи фамилии он там находит. Доктор Аденауэр в 1941 году еще не знает о своем «радужном» будущем, скульптор-приспособленец еще мастерит монументальные «нордические» фигуры, некий правительственный чиновник не имеет понятия о том, что его сын скоро умрет под Смоленском, а Стеффену Меншингу только еще предстоит родиться семнадцать лет спустя! Сегодняшние молодые граждане ГДР уже не несут тягостного груза прошлого. Но историческая память — об этом Меншинг не устает напоминать — необходима и им.

Я слышала выступления обоих поэтов. При всем сходстве идейно-творческих позиций они очень различны по индивидуальному поэтическому облику. Меншинг предпочитает писать верлибром, в его манере чтения нет ни капли ораторской велеречивости, ритм строк еле-еле слышится, но все же достаточно ощутим; интонация у него сдержанная, доверительная, располагающая к размышлениям и диалогу. Венцель не только поэт, но и композитор, передающий аудитории свое настроение уже самой силой музыки, рядом со многими его стихами печатаются и ноты. Он поет и аккомпанирует себе на гитаре, и в манере исполнения сказывается основной тон его поэзии, в которой смешаны почти неразрывно исповедь и насмешка над собой, дерзость и добродушие. Тема защиты мира реализуется в его стихах как привязанность к родной земле, к жизни «здесь и теперь» — к планете Земля, отчему дому человечества.

«Большие у меня на завтра планы»,— поет Ханс-Эккарт Венцель. Эти слова могли бы принадлежать обоим поэтам.

Т. М.

СТЕФФЕН МЕНШИНГ

Лондон, пятнадцатое марта восемьдесят третьего

Вчера днем, 2 часа 45 минут. Самое сильное сердце,
Которое я когда-либо знал,
Перестало биться. Человечество стало
На одну голову ниже. У доморощенных знаменитостей
И мелких талантов, а то и просто шарлатанов
Теперь развязаны руки. Да,
Конечная победа обеспечена, но окольных путей,
Временных и частичных блужданий
Не избежать. Ну, что ж —
С этим мы должны справиться. Для того мы
И существуем. Вот почему
Мы не теряем мужества. Твой Энгельс.

Сон о прогулке с Розой Л.

Мы ушли, неожиданно отрешившись
От венков и от маршей зимы,
Прочь — из гулких улиц Берлина
Прямо в польское поле пшеницы.
Ты, любимая, ты совершенно другая,
Не такая, как думалось мне.
Ты сбрасываешь обувь, такую жесткую,
Не жалея,— в смрадные воды реки,
А я отбрасываю твой привычный образ и вижу тебя
Босиком стоящей в маках. Эти маки — словно знамена!
Я кричу прямо в небо,
Серое, как мои глаза, а ты спрашиваешь:
— Неужели вы совсем не переменились,
все как прежде: детские губы, закат, земляника?
Я сплетаю венок из колосьев, подаю тебе:
Нет, совсем не забывчивый лавр на гробницу.
Ты еще твердо стоишь на земле,
Еще сухи и одежда и кожа,
Только птицы пугаются и улетают.

© Mitteldeutscher Verlag, Halle—Leipzig, 1984.

СТЕФФЕН МЕНШИНГ — STEFFEN MENSCHING (род. в 1958 г.)
Немецкий поэт (ГДР).
Публикуемые стихи взяты из его поэтического сборника «Воспоминание о молочно-белом стекле» («Erinnerung an eine Milchglasscheibe». Halle—Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1984).

— *Моим сокровенным «я»,*— говоришь ты,— *сейчас распоряжаюсь я сама,*
И только потом — товарищи.— Я могу лишь разинуть рот,
Услышав такое.— *Но это не предательство:*
Я знаю, что умру на посту —
В уличной стычке или в тюрьме.
И то, что тебя заставляет умолкнуть,—
Просто губы мои; мы падаем на землю,
Как ложатся хлеба на ветру.
И вот уже где-то звучат сирены и выстрелы,
И ты, нагая, убегаешь,
Я кричу тебе вслед, я прощаюсь,
Я боюсь за тебя, я боюсь твоей смерти,
Я боюсь твоей жизни,
Я пытаюсь вскочить, но моя стопа
Увязает во мраморе, в лилиях, в лентах.

■ ■ ■

Я читаю в гостиничном номере в Мейсене:
Ни единой строчки не осталось от Клеофонта,
Древнегреческого поэта, ни единой даты.
Только щепка славы:
Дважды упоминает о нем в «Поэтике»
Аристотель: *Он изображает*
Обычных людей. Мне видится,
Как он, вспотевший, ломает
Гекзаметр. *Самый ясный слог тот,*
Который состоит из общеупотребительных слов.
А разве я хочу не того же? *Но это слог низкий.*
Так говорит Аристотель. *Пример —*
Поэзия Клеофонта. Вот как давно
Было это уже осознано, думаю я
И медленно опускаю шариковую ручку
К белому листу бумаги.

Януш Корчак

(1878—1942)

Еще только шаг —
И вот он в поезде
Вместе с «Домом сирот».
В руках —
Зеленое знамя надежды.
Учитель, хотевший
Снова стать маленьким,
Играть в высокой траве.
Еще только толчок,
И поезд отходит
Из Варшавы в Треблинку
Вместе с «Домом сирот»,
Зеленым знаменем надежды
И учителем, вместе с маленькими —
В немецкую
Газовую камеру.
А ты, друг мой,
А ты шагнул бы
В вагон экспресса «Циклон-Б»?
Не отвечай, не отвечай,
Не отвечай.

Начало света

Якобу ван Ходдису

На крыше — трубочист навеселе.
Потопа нет. Кто должен быть убитым —
Напротив, занят ферзевым гамбитом,
На бомбе сидя или на земле.

Аэроплан упал, но все в порядке:
Газета это знает наперед.
Министр летит на цирковой лошадке.
Радиодиктор микрофон грызет.

Степень доверия

Что за выражение — «*нормальные люди*».
Отец моего отца был аптекарь. Отец
Моей матери — трактиршик:
«*У золотого дерева*». Позже как военный преступник
Отсидел в Бауцене. Обвинял
Человек — так сказала мне мать,—
Позарившийся на мою бабушку
И на ее трактир. Но ведь этим не докажешь,
Что мой дедушка-фельдфебель,
Возможно, и не был виновен.
Он посылал мне жевательную резинку
(В шестидесятые годы)
И кубики «Лего» из Гёттингена.
Кто теперь знает. Мои родители,
Так или иначе, никуда не уехали. И так или иначе —
Они не рассчитывали на полное доверие.
На работе они не особенно старались
Ради прибавки к зарплате. На заводе
Они проработали тридцать лет.
Не могу припомнить,
Чтобы хоть раз проспали, ведь, ясное дело,
Это могло бы случиться. Никогда
Они не старались
Сделать карьеру. Не выступали с трибуны,
Не лезли вперед — и держались в тени.
Теперь они иногда грустят,
Когда я
Захожу к ним в гости. И я тоже грущу,
Ибо привык им доверять,
Я и сейчас доверяю им, как в детстве, когда
Они клали мне руку на плечо и говорили: давай вперед,
Машин нет, свет зеленый.

Поздняя элегия

Испания, капелька йода,
Ты прожигаешь насквозь
Все, что скопилось на сердце.
Ты и улыбка твоя
Всегда и всюду со мной.

Ты —
Разбитые, страшные губы,
Возвратившие значение слову «брат»,
Для тебя
Я печально вставляю сегодня
Три черные розы
В огнестрельные раны души.
К тебе
Возвращаюсь я снова и снова,
Я, никогда не видавший тебя той порой
Тысяча девятьсот тридцать шестого,
Когда
Испанцы всех стран
Соединили руки, а мой отец, мальчишка,
Слезая со старой вишни
В Гёрлице, разорвал
Свои новые брюки.

Перевод Е. ВИТКОВСКОГО

ХАНС-ЭККАРТ ВЕНЦЕЛЬ

Автопортрет 1981

Теодору Крамеру[1]

В страшных войнах пощаженный,
На земле живу зеленой.
На траве могу валяться
и с подружкой целоваться.

И, наплававшись вначале,
Лечь под солнцем на причале;
Друга встретить у калитки;
Кофе заварить на плитке.

И еще: под звездопадом
задремать с тобою рядом.
Петь, шагая по дороге,—
целы руки, целы ноги.

Тосковать о море синем,
непокорным быть и сильным.
И еще: назло расческе
волосы темны и жестки.

[1] Теодор Крамер (1897—1958) — австрийский поэт. Последняя строка стихотворения Венцеля представляет собой цитату из стихотворения Крамера «Автопортрет 1946». *(Здесь и далее прим. перев.)*

© Mitteldeutscher Verlag, Halle—Leipzig, 1984.

ХАНС-ЭККАРТ ВЕНЦЕЛЬ — HANS-ECKARDT WENZELL (род. в 1955 г.)
Немецкий поэт (ГДР).
Публикуемые стихи взяты из его поэтического сборника «Песня о диком маке» («Lied vom wilden Mohn». Halle — Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1984).

■ ■ ■

Земля — человечье жилище.
С седых ледников и с гор
реки спускаются — делят леса,
как волосы, на пробор.

Кожа степей загорела,
Луга на пустыни легли.
Птицы несут в оперенье своем
запахи рыхлой земли.

Если деревья гибнут,
пожарами опалены,
верим, что нет в трагедии этой
ни капли нашей вины.

Земля — человечье жилище,
отчий для каждого дом.
Сколько бы к звездам ни рваться
нам,
мы от земли не уйдем.

Песня без грима

Тихо. Я устал от смеха,
от своих соленых шуток.
В зале — только я да эхо,
вид пустого зала — жуток.

Сушит губы привкус перца,
в горле — пустота провала.
О грудную клетку сердце
крылья все пообломало.

Часом позже, при застолье,
незнакомка в клубах дыма
созерцает поневоле
нос мой — весь в остатках грима.

Не проказа это — что ты!
Клоун я — и корчу рожи.
Хочешь, и твои заботы
шутками рассею тоже?

Я могу! Глаза паяца,
между прочим, могут сами
артистически вращаться,
вкруг тебя ходить кругами.

Раздаю все, что имею,
тем и счастлив неспроста:
есть ли что-нибудь смешнее
привилегии шута?

Песня Гёльдерлина [1]

Опущен трехцветный занавес.
Мрак
Наглухо сцену завесил.
Опереточный мятеж иссяк.
И дружно мы поднимаемся
с кресел.

И можно острить. Бесконечный
антракт.
Сдан в музей героический
реквизит.
Я жду последний, третий акт.
Но время, увы, не спешит.

Эй, партер! Наверняка
песня моя неуместна тут.
Моя полужизнь — чересчур
коротка,
а деньги вам в кассе вернут.

Все довольны, и все в барыше.
Полиция разгоняет народ.
Дерево свободы — из папье-маше,
дважды оно не цветет.

Ночью, самому себе

Устал, нет сил; а около кровати
полоска света из окна напротив.
Хочу уснуть, но сон пропал некстати,
и рвется мысль на тысячу лохмотьев.

[1] Фридрих Гёльдерлин (1770—1843) — немецкий поэт. Надежды поэта, связанные с Великой французской революцией, потерпели крушение после термидорианских событий. Последние сорок лет Гёльдерлин страдал душевной болезнью.

И я встаю, курю, гляжу на стены,
а сон к себе хоть за уши тяни,
в моем мозгу — три радиоантенны,
и позывные в полночь шлют они.
Спи, Венцель, спи, иль впрямь дела поганы?
Большие у меня на завтра планы.

Горят ступни. Ботинки озверели
и пальцам шевельнуться не дают.
Пищит будильник, спрятанный в портфеле,
дабы не видеть, как часы бегут.
В желудке похихикивает пиво,
оно горит в мозгу, и в свой черед
в яд превращается неторопливо,
и душит почки, и бросает в пот.
Спи, Венцель, спи. У всех свои изъяны.
Большие у меня на завтра планы.

Лежу, пыхчу, считаю и считаю
и в сотый раз подушку ворошу.
И много дел. И жизнь полна до края.
Мучительно. Живу, пою, пишу.
Болят бока. Горчит во рту. Забыться
от криков, смеха. Подхожу к окну,
и слабый отсвет в комнату струится,
и я не сплю и больше не засну.
Ты шел сквозь время; спи, забудь про раны.
Большие у тебя на завтра планы.

■ ■ ■

Я знаю, что существуют огромные города,
проклятые и воспетые,
где я никогда не бывал,— чужаки, незнакомцы:
Париж, Сантьяго, Мадрид,
Вена, Токио, Рио, Нью-Йорк,
Флоренция, Мехико, Рим,
Лондон, Алжир, Тегеран,
Манагуа, Гамбург, Пекин...
Я знаю, что существуют огромные города,
но я их еще не видел, не слышал, не осязал.

Я знаю, что существуют великие океаны,
Атлантический и Индийский,
Тихий и Ледовитый,
я знаю, что существуют побережья великих морей,
но я их еще не видел, не слышал, не осязал.
Я еще не стоял даже по щиколотку
в прибое; еще не видел высочайших гор,
еще не жил по чужим обычаям,
еще не пробовал незнакомой снеди.

Я знаю, что существуют великие реки, дворцы,
аллеи, пустыни, озера, каналы,
айсберги, степи, леса, корабли,
я еще этот мир не видел, не слышал, не осязал.
Ни будущее, ни прошлое
недостижимы — я крепко привязан
к тому настоящему,
в котором жил и живу.

Перевод В. ЛЕТУЧЕГО

ЯН КОЗАК

Адам и Ева

РОМАН

Перевод с чешского В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

Ах, нет. С Алоизом Конясом, знаменитым садоводом из наших Роудниц,— а для этой книги я с наслаждением истинного гурмана использовал опыт его вдумчивой, упорной и дьявольски своенравной работы,— ничего похожего на историю Адама и Евы не произошло.

Адам — это я, и Ева — тоже я. Да и все мои герои — это я сам. И если кто-нибудь, где бы он ни жил и ни работал, случайно признает в ком-либо самого себя — ей-ей, я здесь ни при чем, да и беды большой тут нет. Скорее всего и в нем самом тоже есть нечто общее с моими героями.

Ну, а теперь за дело.

Облачаюсь в рабочую блузу. Руки, как и душа, благоухают свежим привойным воском, даром трудолюбивых пчел.

Автор

1. Земля нашего прародителя Чеха

Развалясь и привольно раскинув руки, отдыхаю на вершине горы, под старым высоким развесистым орехом. Прогретая трава дышит истомой; послеполуденное солнце мягко ласкает лицо. Воздух свеж и прозрачен. Словно легким дымком, пропитан он горьковатым ароматом растрескавшейся ореховой кожуры. Сентябрь — прекрасная, благословенная пора!

Из года в год благоухает он вызревающими фруктами, чья кожица подернута как бы легким налетом инея.

Внутренним зрением вижу: вот уже покрываются росой яблоки и груши. Золотится и рдеет во мне виноградная лоза, отягощенная пряной сладостью налитых соком гроздей... Перед глазами у меня цветущий темно-фиолетовый вереск и белые грибы, взобравшиеся на солнечный откос, красноватые головки крепеньких подосиновиков, укрытые слетевшими с дерева березовыми листьями. Они уже тронуты зеленовато-коричневой медной патиной. В эту пору, когда воздух переливается, дрожит, сверкает, отражая золото листвы, я люблю за-

© Jan Kozák, 1982

ЯН КОЗАК — JAN KOZÁK (род. в 1921 г.)

Чешский писатель, народный писатель ЧССР, дважды лауреат Государственной премии имени Клемента Готвальда, председатель Союза чехословацких писателей. Автор романов, повестей, рассказов, очерков. В русском переводе изданы его романы «Святой Михал» («ИЛ», 1973, № 7—8), «Гнездо аиста» («ИЛ», 1978, № 7—9), повести «Марьяна Радвакова», «Осень в краю тигров», «Охота на Бамбуйке», в периодике печатались рассказы, очерки, статьи.

Роман «Адам и Ева» вышел в Праге в 1982 году («Adam a Eva». Praha, Československý spisovatel, 1982). Печатается с небольшими сокращениями. Полный текст романа выйдет в издательстве «Радуга».

брести на берега Лабы. Терпеливо слежу за поплавком — не дрогнет ли леска, не запляшет ли на ней карп, линек, голавлик или щука. (Ну и хитер ты, Адам! Знал ведь, какое выбрать местечко, где выкатиться на белый свет и шумно вдохнуть, смакуя этот воздух. Ну и хитрец, сумел ведь отыскать этакое местечко!)

Лениво расправляю члены и щурюсь на солнце. Небо — синее-синее, лишь кое-где появляются легкие белесоватые облачка...

Невдалеке от меня, за частыми стволами дерев, чуть не до самой земли склонились тяжелые, усыпанные созревающими плодами ветки яблонь. Богатый будет урожай...

Но что особенно приятно ласкает взор и веселит сердце — так это огромная плантация персиковых деревьев. Широко раскинувшись подо мной, она спускается к самому подножию горы. Неважно, что персики уже сняты, а прежде густая зеленая крона непривычно узеньких листочков несколько поредела.

По природе своей деревья эти должны бы жить на солнечных холмах далекого юга, а не здесь, на склоне горы Ржип, на севере чешской земли.

Персик — царь плодов. Мое любимое дерево.

С радостным умилением — признаться, еще и взбодренный глотком-другим вина — мысленно обозреваю бесконечные ряды карликовых стволов. Они — моя любовь, моя гордость. Не я ли высаживал их здесь, на пустынном откосе, поросшем кустарником и чертополохом? Да, это я заставил их укрепиться, пустить корни на северном склоне, хотя лишь ленивец не насмехался надо мной, считая чудаком и безумцем. Моими трудами корни персиковых стволов проникли в землю, как в женское лоно, и взяли ее соки. Выходит, они мое творение. Пришлось, конечно, постараться, но теперь они уже плодоносят...

Сад — моя собственность, мое богатство, мое достояние. Он простирается далеко за Крабчицкое шоссе. Персики, абрикосы, яблони и вишни густо заполонили соседние берега и горные склоны. И все это — мое. Неважно, что плантация принадлежит Роудницкому госхозу и что теперь без малого два десятка садоводов пестуют ее, заботятся о ней. Ну и что же? Мне на досужую скуку жаловаться не приходится. Я садовник, я развожу сады, а это, как всякому известно, одно из самых древних и самых благородных занятий на земле. Издревле руки наших трудолюбивых предков пахли свежим лыком, волокнами липы, которыми они обматывали привои и обвязывали раны деревьев; пахли соком и привойным воском, одним из тех даров, что приносят нам пчелы, роящиеся в дуплах старых деревьев прямо под благоуханными раскидистыми кронами лип. Нет, не случайно, не зря липа — символ всего истинно чешского.

Гляжу окрест себя. Сердце переполняется гордостью и нежностью.

Собственно, что же это я праздновал? Свое пятидесятилетие? Что дожил до него в полном здравии? Что успел за это время досыта всякого вкусить и отведать? Полезного и приятного, аппетитного и не слишком, сочного и пересоленного, пропеченного до хруста и подгоревшего? А ради чего? Ради того, чтобы после долгих подсчетов осознать, что мне все еще мало? Аппетиты мои растут, сам я становлюсь все разборчивее да привередливее к тому, чем утоляю жажду и голод. Время летит. Не теряй ни единого мгновенья, Адам! Пусть ни один лакомый кусочек, ни одна бутыль роудницкого, ни одна его капля не пропадет зря!

Не расточительствуй понапрасну, не упускай времени. Снова и снова принимайся за дело; ты еще не доел своего барана, от него остается порядочный кус. Руки у тебя крепкие, да и голова неплохо варит. Ладони просто чешутся от нетерпенья, так и рвутся к работе... Но погоди, не спеши без оглядки! Умей насладиться и доброй, приятной минуткой. Что ни говори, такие мгновения — сама благодать...

Какое это счастье — отдыхать, обнимая взглядом плоды своих трудов, сидеть и разглядывать, что из них произросло. Сознавать, что все это тебе положено было совершить: взять заступ, подготовить почву и высадить деревья, поливать их и ухаживать за ними, прививать и прореживать, оберегать от заморозков, уничтожать вредителей. Сколько пришлось пролить пота, чтобы хрупкие саженцы набрали силу, укрепились, поднялись, выпрямились и широко раскинули свои ветви! Чтобы по ним побежали соки, а потом, когда лопнут почки, чтоб окинулись они розовыми лепесточками цветов и нежнейшим пухом листвы, чтобы молоденькие завязи не погибли ни под дождем, ни под лучами солнца или порывами ветра, чтобы вызрели они и превратились в пухлые, мягкие сосуды, наполненные сладким нектаром (это снова мне вспомнились мои любимцы — персики!).

Тут мой взгляд, миновав крыши окраинных домов, ощетинившихся телевизионными антеннами, сбегает вниз и останавливается на широком изгибе Лабы, отливающей тусклым блеском старинного серебра. Лента реки вьется под высоким опоковым берегом, украшенным виноградниками и садами. Над ними возвышается лесистая макушка Совицы, меньшей сестры нашей славной горы Ржип, чья обольстительная грудь с соском часовни наверху девственно вздымается неподалеку, у меня за спиной. Чуть ниже по течению Лаба разливается широко, привольно. Лениво несет она свои воды мимо старого фазаньего заповедника, в годы моего детства еще принадлежавшего князьям Лобковиц, и дальше катит средь необозримых полей и плантаций, отведенных под хмель. Вдоль реки раскинулась плодородная нива, будто отдыхающая женщина, зрелая, в самом соку, соблазнительная пышностью своих широких бедер и мягкой округлостью живота. Ее тучная, из года в год тщательно возделываемая плоть, взрыхленная плугом и оплодотворенная семенами, родит в изобилии. За Лабской равниной, словно охранительный вал, поднимается над вселенским простором венец Чешских Средних гор. Защита от студеных, холодных северных ветров, а в недавнем прошлом — наряду с Крушными горами — естественная преграда для неприятелей. Столетиями шли они с севера и запада, пытаясь снять урожай наших полей, ограбить и опустошить землю, поднятую и обработанную нашими руками.

Я наслаждаюсь ею, нашей покойной, мирной и обольстительно-прекрасной подржипской землей, родным мне уголком нашей отчизны.

Вбираю ее глазами, вдыхаю грудью, всасываю, впитываю в себя, пробую на ощупь, трогаю руками и смакую языком. (В данный момент — потягиваю ее крепкую и пряную, бодрящую кровь, наше прославленное роудницкое сватоваржинецкое вино: початая бутылка этого напитка, пока я размышлял, сама собой скользнула мне в руки.) Мы — родная мать-земля и я — принадлежим друг другу. И солнце и воздух у нас пополам; одни и те же дожди поливают нас, одни и те же морозы обжигают и закаляют.

Вода Лабы словно прошла сквозь мою душу и омыла ее... Мысленно я снова заключаю все в свои объятья. Сдается мне, что за два дня безделья, обжорства, приготовления яств — жареных уток, кур, холодных закусок, соленых и сладких блюд на десерт, огурцов, лука и помидоров — я так и не утолил голода.

Но вставать мне еще не хочется. Не мешает иногда на приволье поразмыслить о работе. Я лениво потягиваюсь и снова наливаю себе вина: пить прямо из бутыли я не любитель. (Бог мой, да ведь что тогда остается глазам и ноздрям? Ведь они — не у дел, раз не получают удовольствия. А я не такой уж простак! Не люблю сам себя лишать того, что мне доступно.) Итак, у меня в руках стакан с темно-рубиновой влагой; я покачиваю его, разглядывая против солнца. Солнечные лучи мерцают и переливаются в напитке, как если бы в сосуде вспыхивало и разгоралось само вино. Как прекрасно растопилось яркое светило в виноградном соке! Отпиваю еще глоток. И кажется, будто вино стало мягче, бархатистее и притом чуть прянее, чем раньше. Отчего

бы это? Проверить, попробовать еще?.. Тут меня отвлекают шумные вздохи и всхлипывания.

Тысяча чертей! Совсем забыл, что я тут не один! Это пробуждается Олдржих — он спал в траве у меня за спиной. Мой старинный знакомец. Когда-то, много лет назад, мы даже работали вместе. Разошлись не лучшим образом, да время все уладило. Теперь Олдржих служит в районном управлении сельского хозяйства, что в Литомержицах,— собственно, он мое начальство, хоть и не прямое. У меня он объявился сегодня вскоре после полудня. С приятельской, чуть смущенной ухмылкой — зашел, дескать, проведать, опомнился ли я после прошедших торжеств.

— Ну, как жизнь? Не слишком тебя утомили? — спросил он прямо с порога.

— Сам видишь,— похвалился я.— Живу как рыба в воде, а жить в хорошей воде — одно удовольствие. Да если к тому же добрые приятели не забывают. Нет лучше, когда убеждаешься в этом. Выпьем?

Спрашиваю просто так, из вежливости. И тотчас по голосу определяю, что его сюда привело. Жажда! При одном взгляде на бутылку красного, которую я откупориваю, у него потекли слюнки. От глотка вина он никогда не откажется. Выпьет без всяких церемоний. (Еще бы, при его-то должности! К нам, садоводам и виноградарям, он наведывается частенько, да и мы к нему тоже. У наших соседей в Жерносеках тоже неплохое винцо, хотя, само собой, не такое славное, как у нас.) Работа нас частенько сводит вместе. И любые, даже дружеские, как эта, встречи носят прежде всего рабочий характер. Всегда так или иначе разговор сворачивает на наши трудности. Вот и нынче — зачем бы он ни явился, ради своей или моей утехи — Олдржиха я встретил с искренним радушием. Гость на порог — бог на порог. Встречать гостей для меня не в тягость, было бы время.

— Выпьем, Олдржих,— поторапливаю я. (Он уже вчера поздравлял меня, но тогда в доме творилась полная неразбериха.) — Давай выпьем. Винцо доброе, а кто его знает, уродится ли такое на будущий год. Так что не будем упускать случая, который завтра может и не представиться.

Мы посидели на веранде — жена моя Ева куда-то отлучилась,— а потом, захватив с собой по бутылке, направились в сад, прошлись, остановились, не торопясь выбрали местечко и вот наконец устроились наверху под ореховыми деревьями. Вспоминаем минувшие героические дни нашей молодости и смакуем винцо. Я дегустирую сватоваржинецкое кончиком языка, отхлебну и долго наслаждаюсь ароматом, а Олдржих прополаскивает вином горло. Поглощает наше виноградное зелье глубокими, полными глотками. Вот так и вышло, что от солнца, прекрасной погоды и доброго расположенья духа он раскис. В такие минуты Олдржих перестает быть самоуверенным молодцем. В нем разом глохнет всякая радость. Он сникает, становится язвительным, сварливым — старый хрыч, да и только. (Вот и развлекайся с таким гостем — а ничего не попишешь!) На сей раз его быстро сморило, он заснул — и вот теперь просыпается.

Позевывая, икает; похлопывает себя по икрам. Отлежал ногу, и она у него онемела.

— Проклятье! — жалобится Олдржих. — В последнее время вечно что-нибудь побаливает. Да и то сказать — работа, все работа. Ни минуты роздыху.

— Да уж, твоя работа! О ней тебе лучше бы помалкивать,— подначиваю я. — Правишь нами, вершишь наши судьбы. Казнить либо миловать — все в твоей власти. Всех нас в кулаке держишь.

(Порой он чувствует себя владыкой, этаким повелителем садоводов и виноградарей. А мы — его подданные. Он любит, когда перед ним расшаркиваются, хотя ни за что в этом не признается и даже притворяется недовольным.)

— Что ты говоришь? Я вами правлю? — возмущается он. — Я ваш повелитель? Да это вы на мне воду возите, извели вконец. Взять хоть этих обирал из Ловосицкого и Литомержицкого хозяйств или, к примеру, председателей кооперативов из Брзанек, Лоун, из тех же Кишковиц. Вечно они недовольны. Не дают ни отдыху, ни сроку. Да если б только они! Те, что наверху, в областном центре, в министерстве, тоже своего требуют, вопли с обеих сторон. Я как в клещах! Обирают, душу выматывают, на куски рвут. Сам видишь — кожа да кости остались. (Таким тощим он был всегда.)

— Само собой,— прерываю я его причитания. — Для тебя мы все — майские жуки или гусеницы на черешне. Тебе бы нас опрыснуть отравой, как насекомых,— и дело с концом. Только и ты-то к чему тогда? И вообще, для чего ты нам здесь нужен? Покумекай, что бы ты делал без нас? — поддеваю я.

— Для чего я нужен?! — вскипает Олдржих. — Вот и проговорился! Вот и доказал, кто тут хозяин, а кто слуга. Это я для вас мальчик на побегушках. С утра подай вам саженцев, а к вечеру — хоть они еще не в земле — снова крик: известь вам поставь, фосфор, поташ, магний. А как с орошением? А трактор где? Да чтоб не ту марку, которую нам обещают, а лучший! А когда складские помещения начнут строить? И когда пришлют новые опрыскиватели? А как там с оборудованием для культивации?.. И все — вынь да положь. Разумеется, вчера уже было поздно. И о бригадах сборщиков я тоже обязан помнить. Конечно, лучше бы хорошеньких, молоденьких девушек — это само собой! Выходит, я обязан над вами словно квочка сидеть да вечный писк голодных цыплят слушать. А вы все галдите одно и то же. Да пропади вы пропадом!

— Понятно, чего бы тебе хотелось! — Я напускаю на себя серьезность.— Вот было бы славно, коли все лежало бы под рукой. Хвать— и готово. Да только так не получается, милый человек, а значит...

— Помолчи уж! — обрывает он. — Ясно, куда ты клонишь. Знаю я тебя!

Не любит Олда критики — да и то сказать, кто ее любит? Всегда он один прав, а кто с ним в данный момент спорит — тот ему враг, авторитет подрывает. И не только его. Каждое такое слово небось и выше метит.

— Знаю я тебя! — повторяет он. — Да и чего от тебя ждать? Ты зловредней всех. Одни прожекты на уме, а уж упрям, как черт. Чуть что — на дыбы, будто норовистый конь. А сам так человека замучишь, что из него дух вон. О порядке ты и понятия не имеешь. Еретик ты. Жду не дождусь, когда угомонишься — может, ногу сломаешь иль хотя бы подвернешь. А ну как настанет такой день, когда и ты дашь себе роздых и удовлетворишься тем, что есть?

— Удовлетворюсь тем, что есть?— ухмыляюсь я.— Да ведь это значит связать себя по рукам и ногам. Я могу, конечно, попридержать шаг, но только до поры до времени, пока не почувствую, что надо двигать дальше. Разве ты сам не стремишься к лучшему? А ведь прежде вроде бы тоже...

— Хватит издеваться, Адам! Помолчал бы уж! Везет тебе, одно слово. Во всем и всегда. Просто везет — и все тут.

Он сморщил нос, скорчил кислую мину. Я прямо ощущаю, как он давится горечью. И мне понятно, что его мучит. Но я ему потакать не намерен. У меня кровь горячая, я не люблю, когда вешают нос на квинту.

— Считаешь, везучий я, да? Не знаю. Знаю лишь, что работаю и люблю (и в то и в другое вкладываю душу, это ясно) — вот и все. А ты... Тебе небось этого мало? Чего же недостает тебе, а? — поддразниваю я.

Мы оба понимаем подноготную нашего спора.

Обидевшись, Олдржих бросает на меня яростный взгляд и встает:

— Ладно, мне пора. Работа...

— Успеешь...

— Я ведь к тебе так только, по дороге заскочил...— бурчит он.— А тут прекрасно! Никаких волнений. Тишина. Покой. Благодать! Только птицы щебечут, и никаких тебе телефонов. Ну, ты-то найдешь, откуда мне позвонить. А вот тебя, если мне чего потребуется, днем с огнем не сыщешь. Вечно ты то в саду, среди деревьев, то в поле, под солнцем и ветром. А я? Работа чумная! Изломанная, изуродованная, незадавшаяся жизнь! Бумаги, бумаги, телефонные звонки, собрания, совещания, циркуляры, отчеты, выкладки — доведут они меня до ручки! Еще чуть-чуть — и дух вон... И это еще не все, милок! Если бы только работа... да ты и сам знаешь. Сижу, как птица в клетке...

(Он упивается своими бедами, будто сладким вином. И не отступится, пока не насладится до конца.)

Он весь как-то сникает, и вот передо мной — вконец опустошенный человек, уставший, измученный, позеленевший от зависти.

— Ты преувеличиваешь, Олджих. Как всегда. Ты же сам выбрал себе судьбу, так что жаловаться нечего. Кого тут винить? Себя? Издавна говорится, как постелешь, так и поспишь. И нечего сетовать, что постель слишком жестка, или коротка, или спишь с женщиной, которая тебе давно опостылела. Везенье, голубчик, всегда от человека зависит. Одно для меня ясно: на скуку ты не жалуешься.

— Что да, то да... — вздыхает Олджих.

Он еще некоторое время топчется в нерешительности и наконец прощается:

— Ну, я пошел. И впрямь работы много. А ты пируй себе на здоровье. Я с юбилеем не тороплюсь. Как вспомню про свое пятидесятилетие, так волосы дыбом.

— Десять лет промелькнут, и не заметишь,— успокаиваю я его.— В конце концов, не важно, сколько у кого десятилетий за плечами (как бы не так!), главное — как ты их ощущаешь.

— Вот мерзавец,— бросает Олджих.— Тебе хорошо насмехаться, у тебя тут не жизнь, а малина. А у меня? Эх...— Зевнув, он устало машет рукой и удаляется.

Медленно-медленно бредет по берегу, направляясь к дороге, проторенной через сад. Бредет, спотыкается — а мне все не хочется уходить отсюда. День чудесный. Нежно греет солнышко, мягко лаская мое лицо. К тому же я еще не допил свою бутылку.

Наливаю и снова отхлебываю; остается на донышке. Да — Олджих... Я против него — богач. Сам развожу на этой земле все, что хочу и что подсказывают мне два самых верных, самых надежных советчика — мой разум и моя фантазия, неуемная жажда нового. Жажда трудиться на пользу и на радость. И через труд — все больше узнавать и все лучше использовать щедрость и силу нашей земли. Разведывать, какие из дивных, сочных плодов и фруктов лучше всего приспособлены к этой земле и к погоде, к месту, где я волен размещать мои саженцы, пестовать их и взращивать. Выяснять, какие сорта нежных персиков, яблок, абрикосов и вишен до сих пор скрываются в безвестности, дремлют где-то, полные сил, пробуждаясь из года в год, а могли бы осчастливить нашу пышную подржипскую землю. (И тут, как я понял, немного фанфаронства, показухи, «сумасшедшинки», дурачества и одержимости не помешает. Да будут они благословенны. И нет мне дела до того, что Олджих — а этот бедолага вовсе не одинок — предпочитает окружать себя людьми, которые, как лошадки, ходят лишь по давно утоптанным, утрамбованным дорогам да жуют заваляшее, давно истлевшее сено.)

Что же такое счастье? — думаю я... И вот, когда я смотрю на сад и двухэтажный домик с темно-красной черепичной крышей, увенчанной крестом телевизионной антенны,— домик стоит чуть пониже, посреди разбегающихся веером рядов молодых яблонь, в нем живут и радуются жизни моя жена и дочь Луция (наш сын Томек отбывает сейчас солдатскую службу),— мне начинает казаться, что счастье я

ощущаю всем своим существом. Я вдруг осознаю, что счастье — это радость; она родится в тебе, и ты пробуешь ее на вкус, трогаешь руками, обоняешь; счастье — это когда исполняется то, о чем мечтал, для чего пришлось засучив рукава накинуться на работу и приложить чертову прорву усилий...

Я отхлебываю и смакую сладостные глотки довольства собой с тем большим наслаждением, чем тяжелее был путь к нему, чем больше препятствий пришлось преодолеть, сломать и убрать со своего пути, а иногда — как без этого! — обойти стороной. И вот желания твои исполнились, счастье свое ты крепко держишь в руках. Оно — твое.

Вот потому-то я и твержу себе: ты хочешь остаться счастливым, Адам? В таком случае, мой милый, не уставай мечтать: мечта, страсть, желание никогда не должны умирать в твоем сердце. Так же как воля и стремление воплотить их в жизнь. Ты борешься за свою мечту и, борясь, идешь ей навстречу. И зовешь счастье к себе на пир. Счастье — это и желанный гость, и божественный напиток, но в нем и пот, которого ты не жалел, когда давил и гнал этот сладостный нектар. И чем объемистей сосуд, из которого ты вкушаешь его, тем он тебе приятней. Каждый глоток подкрепляет тебя и, согревая, веселит душу.

А то — черт его знает почему (скорее всего оттого, что сейчас этот мой нектар перемешался с нашим сватоваржинецким)— счастье обретает вдруг форму прекрасной, зрелой, полной любви и томления женщины. Вот она раскрывает свои объятья. Ты прижимаешь ее к себе и гладишь сильными, трепетными пальцами, заждавшейся и щедрой ладонью.

Сопротивляясь, она отдается тебе. Мгновенье — и ты с нею одно тело и единая душа. Жизнь и любовь всегда требуют полноты, отдачи без остатка...

Эта женщина твоя. Она само наслажденье и принадлежит тебе. Какое блаженство! И вот ее уж нет. (Не пугайся, Адам: женщина с прекрасным лицом и телом, с такими чертами характера и теми свойствами, какими ты ее наделил, пока рвался к ней, напрягая мышцы, сердце, мозг, а иногда и речь,— эта женщина не убежит от тебя. Она твоя. Но надобно всегда сызнова идти к ней, сызнова возвращать ее к себе.)

Я грежу... Слава богу, желанье во мне не иссякло. Представление о счастье как о прекрасной женщине, одаряющей бурной радостью,— его выдумал я сам, но никому не навязываю. В особенности своей жене, хотя, господи боже мой, как же она порой бывает на нее похожа! Хорошо, что не во всем. (Могу поклясться, что моей Еве счастье не представляется в образе прелестной женщины. Скажи я ей о своих фантазиях — вот натворил бы себе хлопот! Наверняка стала бы презирать меня, и с полным правом — если бы той женщиной не была она сама.)

Поднимаю голову. Олдржих тем временем подошел к нашему домику. И вовсе он не спешит. Еле плетется и глазеет по сторонам. Поглядел направо, потом налево, и я вижу, какой неспокойный у него взгляд. Вертится, словно идти домой ему совсем неохота. (Живет он неподалеку, в небольшом коттедже, который получил за женой в приданое. Но вместе с коттеджем приобрел и жену, энергичную, решительную и суровую женщину, сухарь сухарем, которая теперь не дает ему ни минуты покоя. Такой хозяюшке ничем не угодишь, все-то ей не по нраву. Так что я не удивляюсь.) Олдржих остановился и, наверное, делает вид, будто любуется склоненными под тяжестью плодов ветвями; вот он тянет руку к цветку подсолнуха, что растет у нас под окном. Наклоняется к нему, сует нос, будто шмель, а сам — могу поспорить на что угодно — глазами так и стреляет в надежде увидеть совсем иную красу. Ему хотелось бы хоть краешком глаза взглянуть на Еву, мою подругу жизни, и лишиться дара речи — а может, наобо-

рот: обрести красноречие. Увидеть ту, которую когда-то потерял, и потерял — добавлю — по своей вине.

Я усмехаюсь в усы, а в душе — покатываюсь со смеху.

II. Сватовство

Сколько же лет протекло с тех пор? Неужели семнадцать? Все-таки время летит слишком быстро.

Вот предо мною наш сад. В ту пору — совсем небольшой, да какая разница, все равно славный...

На месте старых высоких деревьев мы широкой шпалерой насадили низкорослые крепкие яблоньки. А урожай собирали в три, в четыре раза больше, чем прежде. Какие душистые, сочные плоды вызревали у нас! Непривычное зрелище, неведомая радость видеть прямо перед собой, на уровне лица, сплетенье ветвей и листвы; протянув руку, осматривать новые побеги, отягощенные круглыми и продолговатыми, золотисто-желтыми или ярко-красными, румяными яблочками!

Мы снимали их как гроздья с виноградной лозы... Уже в те поры к нам за много километров приезжали посмотреть на них и подивиться, как нам удалось вырастить такое чудо.

Само собой, я был горд плодами своих рук.

Ведь как-никак плоды эти стоили мне крови и пота...

Обхожу, бывало, свои царские владения, и тепло становится на душе и на сердце, а все-таки чего-то недостает, чем-то я еще недоволен. Чего? Чем? Я уже вкусил от того, что взрастил, что зреет и дает плоды. И вот — честно заработанный, заслуженный, брызжущий соком плод распалил мои аппетиты. Не идут у меня из головы персики. Хотя пока что урожай мой — одни насмешки. Насмешки сыплются, будто апрельский дождь из каждой тучки. «Да ты спятил, Адам? Что это на тебя нашло? Зря стараешься. Брось, пока не поздно!»

Советовали лучше приглядывать за яблонями, грушами да сливами. Дескать, деды и прадеды наши знали, что в Подржипском краю родится. Так-то оно так... Честь им и хвала. Но, слава богу, не дал я советчикам сбить себя с толку и отговорить. Я завзятый упрямец и извелся бы, если бы подрядился все делать только по привычке, как все давно умеют. Нет мне радости от такой работы; я задохнулся бы от скуки. Между прочим, до меня тоже пытались вырастить эту культуру. Выходит, для насмешек, которыми одаряют меня знакомые и соседи, есть свои резоны. Ничего не попишешь, придется к прежним поискам и мученьям добавить еще капельку усилий и — душу.

Да что может быть краше — выпестовать на нашей подржипской земле чудесные, покрытые легким пушком, сочные, ароматные, освежающие душу плоды? Давнишняя моя неизбывная мечта...

Помню, тогда и пяти лет мне не было. Мама брала меня с собою, когда ходили чесать хмель. До хмельников было далеко, поэтому мы ночевали у зажиточного крестьянина в старой пустой конюшне. Тогда-то я и увидел персики впервые — в защищенном от ветра углу, на солнечной стороне, за стенами сарая. Как они манили меня! Как мне хотелось их сорвать! Плоды только-только созрели. И я не удержался от соблазна. Как-то вечером тайком сорвал один. Зарылся в сено и там съел. Наверное, поэтому он показался мне таким вкусным и приятным, много приятнее, чем я представлял себе. Утром хозяин снял фрукты. А я еще долго ощущал во рту вкус этих дивных плодов. И снова припомнил его, когда учился на садовода, в агрономическом училище.

Я собирал литературу и, наверное, перечитал все, что у нас было написано о персиках, выясняя, где и в каких условиях приживается это дерево. Тогда-то и пришло мне на ум, что персикам может понравиться и у нас. Эта мысль не давала мне покоя. С того и началось. Неизбывная мечта, навязчивая мысль, одержимость...

Я располагал тогда небольшим опытным участком — уютное, в южную сторону обращенное местечко, кусок земли в теплой, защищенной от ветра низинке. Там я высадил несколько десятков персиковых деревьев разных сортов и начал за ними ухаживать. Я искал самый подходящий вид — наилучшее семя для роудницкого лона. Ухаживал за ними и облагораживал селекцией, буквально нянчил. Если требовалось — забывал о воскресных днях и о праздниках. Книжки, руководства, из которых можно было почерпнуть хоть что-либо полезное, были для меня подлинным сокровищем; я объездил все исследовательские институты и селекционные станции, прилежно, как полагается, обследовал все питомники. Иногда в этих поездках меня сопровождал Олдржих, один из трех моих тогдашних помощников. Работал он у меня второй год, но знакомы мы были с детства. Олдржих на десять лет моложе меня, а в то время мне, бездетному вдовцу, вот-вот должно было стукнуть сорок. Олдржих еще ходил в холостяках, последний, слишком затянувшийся роман, как часто бывает, ничем не завершился, а после него Олдржих не оставлял без внимания ни одной юбки. И как раз тогда, во время командировки на селекционную станцию соседнего с нами города Мельник, мы впервые встретили Еву.

Вижу ее как сейчас. Она сидела в лаборатории, склонясь над широкой стеклянной чашей, выбирая пинцетом и пересчитывая какие-то проросшие семена... Гибкая и статная молодая женщина в белом халате, с темными, коротко подстриженными волосами, загорелым лицом и красиво вылепленными полными губами. Она подняла голову и пронзила нас вопрошающим, но открытым и твердым взглядом блестящих, словно от солнца, карих глаз. Из-под небрежно расстегнутого халатика соблазнительно светилась золотистая кожа полной шеи, а чуть ниже смело вырисовывалась линия высокой округлой груди.

— Черт возьми, вот это привой! — вздохнул Олдржих, едва мы остались одни. — Если привить, такая выйдет порода — никаких трудов не пожалеешь!

Он смачно прищелкнул языком.

Я согласился, но своего восхищения никак не выразил. Короче говоря, Ева покорила нас с первого взгляда; мы оба думали о ней. Особенно после того, как узнали, что несколько месяцев назад она ушла от мужа. И теперь жила одна, с маленьким сынишкой, которому едва исполнилось четыре года.

С той поры на селекционной станции в городе Мельник у нас постоянно находилось какое-нибудь занятие. То мы выбирали новые саженцы — дело было как раз в конце лета,— то требовалось отдать на анализ почву из какого-то уголка нашего сада (время от времени контроль все-таки необходим!). Потом нам приспичило определить всхожесть какого-то сорта наших яблок. Мы оба наперебой измышляли самые разные предлоги. Ездили к Еве вместе, используя каждую свободную минутку.

Иногда Ева серьезно, сосредоточенно изучала что-то в своих пробирках, колбах, склянках, чашках и баночках, склонялась над микроскопом, измерительными приборами или над табличками разноцветных диаграмм; казалось, она вовсе и не слышит, о чем мы толкуем. А иногда снисходительно принимала знаки нашего внимания и ухаживания, более того, они явно доставляли ей удовольствие. Промывая в раковине свои пробирки и воронки или стоя у дистиллятора, она с любопытством наблюдала, как Олдржих увивается вокруг нее.

Он намеревался взять крепость штурмом. И льстил Еве непрестанно. И все время что-то из себя корчил. Шут гороховый, да и только. О чем бы ни заходила речь — о нашей работе или о погоде, о школе или отпусках, о грибах, рыбе или политике, о кинофильмах, книгах или танцах,— наш пострел везде поспел. Получалось, что и наш сад, и все, чем мы сообща гордились,— дело только его рук. Он напоминал

мне то молодого проказливого козленка, то петушка, который топчется вокруг курочек, вытягивает шею, прикрывая глаза и встряхивая гребешком, а то и взлетит, раскинув крылья и обнажив шпоры. В его-то годы можно...

Иногда во время наших визитов глаза Евы менялись, напоминая глубокие, темные омуты. Она задумывалась и хмурила брови. В эти минуты она, казалось, уносится мыслью куда-то далеко-далеко. И вдруг, словно внезапно очнувшись, одаряла нас радостной улыбкой, исполненной искрящегося лукавства, а то и долгим, пристальным взглядом, проникавшим, как скальпель, в самое сердце. (Естественно, Олджих предполагал, что все это предназначено только ему.)

В эти мгновения можно было явственно ощутить, как быстро струится по жилам ее горячая кровь. Стоило ей подняться со стула и легкой походкой пройтись по лаборатории, так сразу чувствовалось, какой искрометной, с трудом сдерживаемой энергией она заряжена. В такие моменты походка ее напоминала выступку чистокровной красавицы кобылки. Кроме всего прочего, Ева умела смеяться счастливым и заразительно звонким смехом.

Как нравилась мне она и этот ее задушевный и веселый смех! После всех радостей, горестей и неудач, что выпали на мою долю в трудовой и супружеской жизни, не говоря уже о последних трех годах, когда я остался вдовцом, ко мне словно возвратилась молодость. (Ева была на одиннадцать лет моложе меня. Сперва я — дурень, осел! — этого испугался. А потом сказал себе: да разве же Ева не сотворена из ребра Адама? А это значит, что к моменту ее сотворения праотец уже немало пожил и исходил по матушке-земле не одну тропинку! Это сознание очень меня утешило.)

При одной мысли о Еве губы мои расплывались в улыбку. Минутами, проведенными вблизи нее, я упивался, как живой водой из чистого, искрящегося источника. Я был как странник, томимый жаждой, который обнаружил вдруг среди пустыни оазис с прохладной родниковой влагой. И сам себя не узнавал...

Прервав работу, начинал мечтать на ходу. Фантазия моя разыгрывалась. Я представлял себе Еву и каким-то образом — помимо прочих увлекательных видений — вплетал ее образ в свои занятия. Словно она уже каким-то волшебством стала их частью. А Олджих? Не знаю отчего, но как соперник он ничуть мне не мешал. Я это ощущал всем своим нутром.

Захваченный страстью, этот бедолага тоже помолодел. Словно ему было не двадцать восемь, а восемнадцать. И вел себя соответственно возрасту. Так глупо, неловко и неумело, что Ева все чаще обращалась за поддержкой ко мне. Мне ничего не оставалось, как принимать его нечаянную помощь. Олджих довольно долго не мог взять в толк, что происходит. Настолько ослеплен был спесивый петушок. Естественно, когда-то этой игре должен был наступить конец.

С утра сыпал мелкий дождь. Мы в очередной раз ехали к Еве. Олджих вез ей розы. Огромный букет прекрасных, с капельками росы, только что срезанных роз.

— Розы! — обрадованно воскликнула Ева. — Когда же мне дарили розы в последний раз?

Вздохнув, она с наслаждением погрузилась лицом в цветы. И я тоже, точно склонясь с нею вместе, вдыхал густой, сладко дурманящий и нежный, тонкий аромат. Ева ласкала взглядом полученный букет. И глаза у нее просияли и засветились.

Олджих, торжествуя, оглянулся на меня. Он снова заважничал, как будто уже преподнес Еве свадебный подарок.

Но Ева, словно вдруг очнувшись, опустила голову и отвела взгляд в сторону... Мы вышли.

— Все-таки мои розы ей понравились! — воскликнул чем-то возмущенный Олдржих.— Но, Адам, вечно ты стоишь у меня на пути. Черт бы тебя побрал. Ты ведь надоел Еве. Неужели не видишь?

Я не отозвался, думая о своем.

Через день мы снова навестили Еву. (Все-таки нужно отобрать еще несколько саженцев других сортов!) Работы у нас к тому времени было невпроворот. До изнеможения возились с новыми посадками, не говоря уже о том, что приближались холода и нужно было готовить сад к зиме. Тем не менее оба мы уплотняли как могли утренние и вечерние часы работы, только бы выкроить для Евы минуту-другую.

Нам показалось, что Ева ждала нашего прихода. Одарила своей лучезарной улыбкой и даже взялась провести по фруктовому саду. Время было обеденное.

Стояли последние ясные дни октября. Неяркое солнце все еще пригревало — не сильно, но приятно. Ева в этот день поистине расцвела. Была в прекрасном настроении, чему-то радовалась. Словно засияла, наполнившись солнечным светом, душа.

Перемену в поведении Евы Олдржих приписал, разумеется, одному себе. Стоило ей улыбнуться, как Олдржих тут же задирал нос и торжествовал. Бог знает, зачем Еве понадобилась эта игра. Может, забавы ради, а может, она насмехалась над ним или, напротив, проявляя к нему интерес, хотела задеть меня. Так или иначе, но Олдржих попался на эту удочку и чуть не лопнул от гордости.

— Вот видишь,— шептал он мне,— знаю я эту ихнюю женскую игру: поди вон, пойди сюда. Все они так играют.

Теперь мое общество было ему приятно, он видел во мне свидетеля его успехов. Мы вошли в сад, и тут он снова повел себя так, словно лишь он один способен выбрать самый лучший, от корней до кроны, самый крепкий, прекрасный росток. А я?..

А я прохаживаюсь меж молодых, гибких привоев и будто принюхиваюсь, впитываю в себя пряный осенний аромат земли. Делаю вид, что проверяю, как подросли и окрепли деревья, иногда касаюсь ствола, как будто нежным прикосновением желаю определить, что у него за душа, или машинально глажу его, ласкаю, обнимаю, словно тонкую девичью талию, а сам ни на секунду не упускаю из поля зрения Еву, постоянно слежу за ней краешком глаза. Подстерегаю каждое ее движение, не пропускаю ни единого взгляда. Любуюсь стремительной, молодой и упругой походкой. Ловлю любой поворот ладной фигуры, слежу за выражением лица. Замедляю шаг...

Ева тоже отстает, задерживаясь у отдельных деревьев. Меня она будто и не замечает... И вдруг мы оказываемся рядом, при ходьбе чуть не задеваем друг друга. Ева внезапно останавливается... Распрямившись, как стройная и гибкая виноградная лоза, она стоит передо мной, вся насквозь пронизанная лучезарным солнечным светом. И улыбается. Я протягиваю ей яблоко — и она откусывает от него своими крепкими зубами. (Адам протягивает яблоко Еве. Библейский порядок претерпел явные изменения, за прошедшие страшные тысячелетия отношения между мужчиной и женщиной изрядно перепутались. И, сдается, кое в чем они прямо-таки противоположны прежним.)

В тот миг совсем иные мысли волновали меня... Взгляды наши встретились. Расплавленный янтарь карих глаз жарко обжег меня, я упивался им, словно пьянящим соком сладкого, спелого винограда. Открытая шея, а чуть ниже — расстегнутый ворот халатика, материю которого приподнимала полная крепкая грудь. Я смотрел, с каким удовольствием Ева грызет яблоко. Она съела его целиком, вместе с зернышками.

— Эй, где вы там? — послышался голос Олдржиха.— Такого красавца, Ева, ты еще не встречала. Иди сюда, Адам.

Мы переглянулись. Вот тебе и на, мы оба — Ева и я — совершенно забыли об Олдржихе.

— Идем, идем! — чуть помедлив, откликнулась Ева. Пожав плечами и прикусив губу, она пошла на голос.

Мы шли рядом... На ходу невзначай коснулись друг друга ладонями.

В конце фруктового сада я заприметил среди травы кустик поздней земляники. Ягодки были зеленые, а между ними белел запоздалый нежный цветок. Я сорвал его и дрожащей рукой (ах ты старый повеса!) воткнул в петельку на отвороте ее развевающегося халатика.

— Когда пойдем обратно, я возьму его назад, Ева. На счастье. После того, как он побудет с тобой,— говорю я прерывающимся голосом. При этом широко улыбаюсь, голос вдруг изменяет мне, и я сбиваюсь на хрип.

Заглядываю ей в лицо; жадно и страстно слежу за его выражением...

В ее глазах что-то полыхнуло, какая-то задорная искорка, дразнящий, обжигающий огонек.

И не успел я рта раскрыть, как она выхватила цветок из петли. Я испугался — вдруг выбросит, но она, слегка отвернувшись, мигом засунула цветок глубоко в вырез платья.

Я рассмеялся. Ее переполняла доверчивая проказливость и озорство, а в глазах затаился огонь желания.

Я обмер, кровь прихлынула к сердцу. Сад, окружавший нас, и весь мир как бы только что родились, возникли заново. А нас было в нем только двое: Адам и Ева...

Олджих, разумеется, был не слепой. Конечно, он не ведал о случившемся, скорее просто почувствовал, что приглянувшаяся лань убегает от него, ускользает, а на добычу точит зубы другой волк. Наверное, в глубине души он еще надеялся, что Ева только дразнит его, хочет помучить, распалить в нем любовную страсть.

С этой минуты он следил за каждым нашим шагом, подстерегал всякое наше движение. Пожирал Еву глазами и сглатывал слюну, будто изголодавшийся путник, почуявший запахи яств на пиршественном столе. Я нисколько не удивлялся. В тот день Ева была чудо как хороша. И все-таки... Как этот распаленный петушок, спятивший от любви и ревности, смел даже в мыслях надеяться, что сможет уследить за Евой, рожденной змеиным племенем? Она перехитрила бы его в два счета.

Мы стали прощаться. Нам с Олджихом пора было отправляться восвояси, а Еве — на работу.

Я был как на иголках, неотвязно думая о той неожиданной доверительной дивной минуте, вдруг сблизившей нас и много сулившей в будущем. А Ева? Не забыла ли о ней Ева? И вообще — каким способом собиралась она вернуть мне то, что пообещала, не успев произнести ни слова? Окаянный Олджих! Я уже потерял было всякую надежду, как вдруг Ева, обернувшись ко мне, как ни в чем не бывало произнесла:

— Смотрите-ка, у вас пуговица еле держится. Потеряете. Погодите, я пришью.

Она решительно потянула меня к себе за кожаную куртку, и пуговица тут же оказалась у нее в руках. Пришита она была, может, и слабовато, но, готов поспорить, продержалась бы еще довольно долго. Укрепляя пуговицу, Ева улыбнулась мне просто и естественно (ах, не так уж естественно и не так уж просто, я ведь чувствовал ее учащенное и обжигающее дыхание!).

В первый момент я сделал вид, что не понимаю, но быстро перестроился. Мне почудилось, что этой тонкой, но прочной нитью Ева как бы соединяет нас, опутывает наше сближение вроде бы незримой, но густой сетью. Как польстило мне это лукавство! Снова вскипела в жилах кровь.

Зато Олджих! Он был подавлен и просто задыхался, ловя ртом

воздух. В эту минуту он готов был собственными руками оборвать все пуговицы на своей куртке.

— Нам пора, Адам,— обиженно буркнул он.

Ева своими ровными крепкими зубами перегрызла нитку и подняла к нему раскрасневшееся лицо.

— Что это вдруг за спех такой? — спросила она. — Обычно вы задерживались и дольше.

— У нас сегодня еще работы много,— выдавил из себя Олдржих.

— А обычно меньше?

Глаза ее озорно блеснули. Она подсмеивалась над ним.

Отвернувшись, Ева воткнула иголку в отворот халата... Я ощутил короткое, крепкое пожатие ее руки. И на моей ладони остался вялый, безуханный, еще теплый белый цветок...

Ах, Ева, прелестная чаровница! Ладонь мою словно обожгло. Долго еще берег я, как драгоценный талисман, этот немудреный цветок. (Это был настоящий талисман, я верил в него. Хотя, конечно... Боже мой, Адам... Ты же прекрасно знаешь, что на засохший цветок ни одна пчела не сядет.) Я горел, я пылал. Сердце мое ликовало и пело...

Погода переменилась; после осенней слякоти в воздухе запахло снегом; я говорил с Евой по телефону, но добраться до нее не добрался. Работы было по горло.

Мы заканчивали новую высадку, сгребали листья, рыхлили почву вокруг деревьев; вносили удобрения и настилали компост вокруг персиковых саженцев... К тому же шли бесконечные совещания с руководством. Заканчивался хозяйственный год; необходимо было разработать и подготовить новые планы — а из-за этого порой доходило до ссор. Все вечера я проводил над бесчисленными бумагами, составлял графики, писал отчеты, заполнял ведомости и отвечал на анкеты. Мы спешили, тем не менее Олдржих раз или два не явился на работу. Да и занимаясь делами, тоже часто останавливался в раздумье; опершись о заступ, смотрел куда-то в пустоту. О Еве ни слова, только бросал на меня ненавидящие взгляды — чем дальше, тем чаще. Стал язвительным и несговорчивым. Однажды — в этот день мы должны были закончить подготовку персиков к зиме — Олдржих уже с самого утра был не в духе. Я почувствовал, что он куда-то спешит.

— Что стряслось? — спросил я.

— К обеду мне хорошо бы смыться,— ответил Олдржих.

— Но и работу нужно закончить обязательно. У тебя ее еще порядком. Так что поторапливайся.

Олдржих чертыхнулся; подавил раздражение. Принялся за дело. Работал как зверь, чуть ли не дымился. Не завтракал и не обедал. К двум часам кончил. И, не сказав ни слова, смотался. Побежал на автобус. Уехал. К Еве.

Я хоть и посмеивался, но на сердце кошки скребли. Бросить бы все и тоже махнуть к ней! Да нельзя — назначили еще одно совещание! Целую ночь я не сомкнул глаз, неотступно думая о Еве. А утром... Утром я словно бы искоса, но тем не менее пристально разглядывал Олдржиха. Он угрюмо молчал, словно в воду опущенный. Довольно было беглого взгляда, чтобы понять: ему не повезло. Сердце мое радостно дрогнуло. Еще бы, как не ликовать, если соперник, претендовавший на руку твоей избранницы, остался на бобах? (Какая отрада, какая облагораживающая душу радость — сознавать, что твой ближний тоже страдает!)

Я не выдержал напряженности молчания и после обеда в лоб спросил:

— Ты к Еве ездил?

Он хлестнул меня яростным взглядом — наверное, решил, что я издеваюсь,— и пробурчал что-то невнятное. Я решил, что он так ни-

чего и не скажет, как вдруг его словно прорвало. Прежде судьба Евы вызывала у него жалость, он возмущался бывшим ее супругом, испортившим ей жизнь — мы ведь кое-что знали о неудачном Евином замужестве, теперь же он обвинял и проклинал ее.

— Обвела она нас вокруг пальца. Не скупилась на эти свои чувствительные улыбочки, а сама играла с нами как кошка с мышкой. Оба мы в дураках. Но ты, Адам, совсем уж пропал. Я-то ее давно раскусил. Хитрая самка, тертый калач. Огонь и воду прошла, хорошо знает, что почем. Кто теперь разберет, отчего это ее бывший муженек начал по другим бабам таскаться. Наверное, было за что мстить. И надо же с такой связаться! Слава богу, я вовремя образумился!

Мне стало не по себе. Вот он каков — обиженный, оскорбленный, отвергнутый поклонник! Разве не понятно, отчего он так запел? Получил от ворот поворот, вот и злится.

— Так-то, Адам,— продолжал он, едва отдышавшись после своей тирады.— Никакая она не святая.

— Не святая,— согласился я.— Святош я и сам терпеть не могу. А тебе они по вкусу? — поддел я его.

Он ухмыльнулся:

— Ты, как я погляжу, и впрямь влопался. Попала пташка в силки. Смотри, подрежет она тебе крылышки. Не желал бы я оказаться на твоем месте.

«Ах, как я был бы рад, если бы Ева подрезала мне крылья!» — подумал я. Увы, этого еще не случилось! Но не буду, не буду его наставлять на путь истинный. А то как бы обратно не устремился. Злобствует, потому что на душе муторно. С радостью кинулся бы назад к Еве, если бы она его хоть пальчиком поманила.

— Ну, что молчишь? — раздраженно воскликнул Олдржих.— Собственно, чего ты от нее ждешь? Да у нее же мальчонка, чужая кровь! Ведь ты не захочешь его себе на шею повесить? Опомнись, Адам, пока не поздно.

— Заткнись! — Я уже кричал на него.— Хватит. Замолчи, Олдржих. Я вижу, Еву тебе отдавать нельзя. Жалко. Радуйся, что не ты в дураках. Вместо того чтобы ныть и злиться, поищи себе другую. Получше.

Я издевался над ним — ничего иного он не заслужил. «Проиграл, Олдржих, проиграл,— говорил я себе.— Знает, что Еву ему уже не видать как своих ушей. Никогда она не будет принадлежать ему». Эта мысль доставляла мне истинное удовольствие.

А я? Что же я сам-то? Я ведь тоже не могу назвать Еву своей. Да и смогу ли когда-нибудь? Я верил в это. Конечно, верил. И все-таки...

Разумеется, завоевать Еву и мне стоило немалых трудов. (Мне ее или ей меня? До сих пор хорошенько в этом не разобрался.)

В те дни дел у меня и на самом деле было выше головы. Как проклятый сидел над планами и сметами, возил их от черта к дьяволу (по учреждениям то есть). Мы предполагали высадить новые яблоневые пальметты, расширить вишневые плантации — вишня шла у нас особенно хорошо — и увеличить опытный участок персиков. За два-три года я рассчитывал довести его до размеров нашего абрикосового сада. Отвлечься от забот я не мог. Равно как и утолить свой ненасытный голод по настоящей работе. Таков уж мой удел. И я никогда на него не жаловался — сам ведь его себе уготовил. Но как бы там ни было, а к Еве я все же выбрался.

Чтобы ее поразить, отправился ранним утром. Да и торопился: до полудня нужно было успеть заглянуть в отдел сельского хозяйства районного национального комитета.

Рабочий день только начинался, окна лаборатории были уже освещены. И я еще с улицы увидел милую черноволосую головку. Оста-

новился, постоял. Склонившись над своими раскладками, Ева что-то записывала. А я ждал...

Наконец она подняла голову — волосы надо лбом у нее растрепались; как сейчас вижу: лицо вдруг прояснилось, осветившись внутренним светом, губы тронула улыбка. Влюбленный человек особенно впечатлителен. Все чувства и нервы, словно впервые соприкоснувшись с окружающим миром, жадно вбирают его в себя: цвет, запах, вкус — все разнообразие форм и образов взаимно дополняют и оживляют друг друга. Как богат мир влюбленного!

Я вошел в лабораторию. Поздоровавшись, Ева пригласила меня сесть. Улыбнулась неуверенно и пытливо. А я молчал: был рад уже тому, что вижу ее.

— С чем пожаловали? Вас я и не ждала. Но приходу рада. Что же вам угодно?

— Видеть вас,— ответил я.— А еще... позавтракать с вами. Разве плохо начать день вместе?

Как-то она упоминала, что утром у нее много хлопот с маленьким Томеком. Пока отправишь его в детский садик, завтракать уже некогда, да и не хочется — поэтому она завтракает на работе, после того как разместит пробирки и колбы, наполнит их да включит приборы.

— Позавтракать? — Она удивилась. В глазах заплясали веселые искорки.— Да я вроде уже завтракала сегодня.

— Но, Ева... Не заставите же вы меня завтракать в одиночестве?

Она была наверху блаженства, она упивалась моей растерянностью. С любопытством наблюдала, как неловко — у меня руки и впрямь словно клещами защемило — разворачиваю я обертки, вынимая оттуда хрустящие соленые рогалики и тонко нарезанные ломтики бекона, сладкий перец и помидоры.

— Вот это угощение! — воскликнула она.

Вымыв перец и помидоры, поставила их на стол в двух тарелках.

— Я не из тех, кто ест только потому, что так заведено,— объяснил я.— Я люблю поесть. А если можно разделить трапезу с кем-нибудь близким, тем более.

Она испытующе поглядела на меня, а потом с аппетитом, без жеманства и кривлянья принялась за еду. В прошлый раз она так же, без жеманства, приняла мое яблоко, а теперь своими крепкими зубками расправлялась с нашим первым общим завтраком. В глазах ее уже не было ни вызова, ни раздражения, ни озорной игривости — она успокоилась, отдыхала, и взгляд ее выражал тихую, глубокую, подлинную радость.

Я взял ее руку в свои ладони. В ответ она улыбнулась милой, трогательной, чуть ли не робкой улыбкой и вся засветилась — как молодое и теплое, лучезарное весеннее солнце. Мы не могли наглядеться друг на друга, не разнимали рук... Но тут зазвонил телефон...

Чашечка крепкого кофе развязала нам языки. Ева первой заговорила об Олдржихе.

— Он приезжал сюда. Но больше не приедет,— сказала она, сделав решительный жест рукой.— Все кончено.

Больше она ничего не произнесла. Но ее недвусмысленного отрицательного жеста было достаточно. Радость переполняла меня, все во мне ликовало.

Я пригласил Еву на воскресную прогулку. Мне хотелось, чтобы она увидела, над чем я тружусь, посмотрела наш сад. Я мечтал вместе с нею подняться на Ржип. Первое свидание с Евой! Я собирался заехать за ней.

Она посмотрела на меня с укоризной. Нижняя губа у нее чуть дрогнула, выдавая волнение. Казалось, дрожь охватила все ее существо.

— Вы ведь знаете, я не одна.

— Конечно,— кивнул я.— Но мы и Томека возьмем.

Она помолчала. Потом поежилась и сделала неопределенное движение рукой, словно извиняясь.

— Простите, я не смогу,— отрицательно покачала головой.

— Хорошо. Тогда встретимся в субботу. Хоть ненадолго. Я приеду, и мы немножко погуляем. Хотите?

Это предложение она приняла. И облегченно вздохнула. Лицо ее прояснилось, стало спокойным и счастливым.

Счастливейшие минуты жизни... и потом — завтрак! Сегодняшняя встреча ничем не напоминала предыдущую. Та была прекрасна, но... Чувствовались тогда и каприз, и игра, и несколько чрезмерное кокетство. А теперь, за завтраком, Ева была сама задушевность. Какая же она на самом деле?

В субботу после обеда мы отправились пешком вдоль берега Лабы. Стоял холодный и сырой ноябрьский день. Воздух был пропитан тяжелым запахом влажной земли, прелого листа, срезанной ботвы. За поредевшими зарослями прозрачного ивняка стояли грузовики, в них забрасывали остатки выкопанной, но еще не увезенной свеклы. Слышно было, как фыркают лошади и буксуют колеса по размытой дороге, откуда-то издалека доносился гудок грузовой баржи. На кустарниках, голых стволах деревьев, на увядшей траве и тростнике клочьями повис туман.

Мы остановились на плотине. Лаба покойно несла свои по-осеннему темные воды. Лишь кое-где волнистая рябь выдавала стремнины. Молча смотрелись в зеркало вод обнаженные, стряхнувшие листву тополя. Молчали и мы. Держались за руки, изредка прикасаясь друг к другу плечами. Мне почему-то было неспокойно. Евы словно и не было рядом. Она избегала моих взглядов, неотрывно следя за вольно катившими волнами реки. И словно целиком погрузилась в себя, растерянная и чем-то встревоженная.

— Ева!

Она вздрогнула. Вскинула голову и улыбнулась. Неуверенно и робко.

Я обнял ее, крепко прижав к груди. Подняв руки, она обвила ими мою шею — сильным, судорожным объятьем. Губы ее полураскрылись и жадно прильнули к моим. Страстное любовное томление, безудержное желание охватило ее. Я чувствовал, что она вся пылает. Но, вдруг резко оттолкнув меня, Ева вырвалась из моих объятий. Я ничего не понял и оглянулся. Вокруг не было ни души, на берегу только мы двое да кустарник.

Я снова протянул к ней руки. Она отпрянула. Но я удержал ее, заглянул в лицо. И безнадежно отступил: ее глаза были полны отчаяния.

— Что произошло? — срывающимся голосом проговорил я.

Она молчала. Молчала мучительно долго. Наконец, словно борясь с собой, отрицательно замотала головой.

— Нет, ни к чему все это. И лучше уж отрубить сразу. Конечно, не хотелось бы...— вздохнула она.— Но ты не приходи ко мне больше, слышишь?

Посмотрела на меня затравленным и измученным взглядом. И пошла.

Ушла. Убежала.

Я глядел ей вслед, потрясенный. Какое-то мгновение стоял, словно стреноженный. А потом бросился за ней.

— Что случилось? Что с тобой, Ева?

Она ничего не желала слышать. Будто оглохла. Плотно сжала губы, но все равно чувствовалось, что они дрожат.

Прошло несколько дней. Мне казалось, мир рухнул. И душа у меня выгорела...

Что произошло? Я ничего не понимал. Проклинал все наши встречи. Восстанавливал в памяти минуты, когда лицо ее то светилось безудержной радостью или лукавым озорством, то вдруг становилось серьезным и выражало глубокое внимание. Мне то слышался ее счастливый, веселый смех, то перед глазами возникало потерянное, отчаянное лицо... Уж не примирилась ли она с мужем, вдруг он вернулся к ней и сыну? Такое тоже мелькало в голове.

Разумеется, смириться со сложившимся положением дел я не мог. И в ближайший понедельник отправился к Еве. На работе ее не было. Я набрал номер телефона. Тщетно. Скорее всего, взяв отпуск, Ева с Томеком уехали к родителям. А потом и мне пришлось на две недели отлучиться в Братиславу на семинар садоводов. Я написал ей оттуда письмо, рассчитывая по возвращении получить ответ... Как я просматривал свою почту! Как перетряхивал газеты и официальные послания, надеясь обнаружить среди них желанный конверт. Все было напрасно.

Мне мерещилось, что Олдржих кружит вокруг, язвит и издевается надо мной. Его неотступный взгляд я чувствовал на себе всюду — за работой в саду и за письменным столом в конторе. Он ни разу не спросил меня о Еве, но его утешало, что я неотлучно у него на глазах и никуда не бегу.

Не ответила Ева и на второе мое письмо.

На переломе года у Олдржиха резко обострилось чувство собственной значимости. Его послали учиться в Усти, в наш краевой центр. Когда он возвратился, ему предложили работу референта в отделе сельского хозяйства районного национального комитета. Это Олдржиху-то! Я возражал против такого назначения. Просто не мог себе представить, как это он станет копаться в бумагах, а тем более что-то решать и кем-то руководить. Это он-то! Какая нелепость! Назначение приводило меня в ярость, но меня никто не поддержал. Пришлось даже выслушать подозрительное предположение, уж не завидую ли я, часом. Наша партийная организация и руководство госхоза хитро рассудили, что иметь в комитете своего человека — дело выгодное.

Олдржих был на коне. Словно получил официальное поощрение и компенсацию за перенесенные прежде страдания и муки. И словно мстил мне, сводя счеты.

А тут ударили сильные, чуть не арктические холода. Заботы и тревоги обрушились на меня снежной лавиной и росли день ото дня. Расхаживая по саду, я с тревогой думал о том, как уберечь деревья от морозов. Заботила меня судьба всех саженцев, но особенно опасался я за своих любимцев — за персики. Я готов был согревать их дыханием, закутывать в одеяльца — только бы спасти. Ведь сад был единственной отрадой, которая мне теперь оставалась.

Стоишь, бывало, в старом пастушеском кожухе, с шерстяным шарфом на шее, в ушанке, надвинутой чуть не на нос, и начинает чудиться, что в заколдованной этой мертвой тишине, в смертельной зимней спячке стонут и плачут деревья, слышны их всхлипывания. «Умрут ведь, закоченеют,— шепчу я себе.— Не вынесут холодов. Хоть и не умеют они метаться от боли, да ведь все равно живые, у них и душа есть. И эта душа отлетает». Мороз обжигает их, и боль передается мне. Я ощущаю эту лютую, свирепую стужу в своем сердце. И страдаю и мучусь вместе с ними; вместе с ними цепенеет моя душа.

Мне не впервой оставаться в полном одиночестве.

Почти четыре года назад я потерял жену. Это был прочный союз, хотя первые несколько лет были очень тяжелыми. Врачи находили, что у Милены не может быть детей. И чем меньше надежд оставляли ей доктора, тем сильнее тосковала она по ребенку. Плакала ночи напролет. Но после операции и курортов наконец забеременела. Мы словно заново родились и с нетерпением ждали появления первенца.

Снова и снова Милена считала месяцы, недели, дни. Она словно очистилась от какого-то греха, снедавшего ее. И даже запела. Старательно береглась, и я помогал ей чем только мог. Но как-то она поехала к врачу и не вернулась. Автомобильная катастрофа. Радовались мы всего пять месяцев...

Я чувствовал себя камнем, брошенным на дно реки, жил сам по себе и сам в себе, неизменно вновь и вновь воскрешая картины ее страданий. Мне казалось, что жизнь кончена. И где, как не в работе, оставалось искать забвения, утешения и помощи? И лекарства для незаживающей, мучительной раны.

Но недаром говорится, что время и труд — лучшие лекари.

В один прекрасный день я с удивлением отметил, что, работая в саду, насвистываю какой-то мотивчик. И что у меня вполне сносно на душе. И я радуюсь, предвкушая, как начнут наливаться соком маленькие еще, бледненькие яблоки. И как мы соберем урожай. В то время у нас начала плодоносить первая высадка наших пальметт, и мы готовились насадить вторую...

Мороз щиплет лицо. Отяжелевшие веки закрываются сами собой, ноздри слипаются, а щеки надо растирать, чтоб не поморозить.

Я возвращаюсь. Сбрасываю кожух. На очереди еще один томительный, пустой вечер. Сажусь за книгу, но поминутно откладываю ее в сторону... Дышу на замерзшее окно и сквозь отпотевшее, но быстро затуманивающееся стекло гляжу на дрожащее от холода звездное небо. И сердце у меня дрожит, как искристый небесный свод. Меня гнетет страх, что все мои труды, моя последняя радость, пойдут прахом, погибнут. Мне зябко, я ложусь в постель, но не сплю. Думаю. О жизни, обо всем, что взбредет в голову.

Ева.

Чем объяснить, что она так прикипела к моему сердцу? Каким околдовала его колдовством? И почему именно ее я полюбил? Не возьму в толк, не знаю. Но неотступно думаю о ней. Все в ней привлекательно. Черты лица... Фигура... Конечно... И потом — эта искрометная живость в минуты душевного равновесия. Она ждала, она решалась. Я это видел, я не мог обмануться. Она стремилась к близости. И все-таки что-то связывало ее и наконец сковало совсем; она запуталась. Вот только в чем?.. Когда мы встретились, она сразу приглянулась мне; я был даже рад, эгоистически рад, что ей довелось изведать, почем фунт лиха. Не так ли было и со мной? Кто выстоял, несмотря на страдание, тот стал сильнее, тот сможет выдержать и горшие испытания. Он шире душой и щедрее сердцем... Сложнее и понятливее. Благодарен за понимание, за доставленную радость. А этот ее бывший муж? Не мог придумать ничего лучше, как разорвать с ней. Вот о чем я размышлял непрестанно.

Значит, все потеряно! Снова я один. А труды рук моих губит мороз...

Я выглядываю в окно. Оно все затянуто густой изморозью. Где-то за стеклом угадываются мерцающие звезды. А я съежился в комок, словно и меня сейчас обжигает, режет, сечет смертельный холод. Пробирает до костей... Мысли мои о том, что могло случиться и не случилось. Я опустошен. У меня вынули сердце и душу. Я сливаюсь со всем, что там, снаружи, за окнами, где крепчает трескучий мороз. Я весь дрожу и проклинаю стужу. И молю небо послать снег, чтобы он мягкой подушкой прикрыл землю.

Наконец-то пришла весна. Лазурное, словно начисто вымытое небо дышит теплом, лишь изредка, кое-где проплывает ослепительно белое облачко. Солнце словно решило возместить нам ущерб за свои зимние упущения. Светит и греет с раннего утра.

Прутики верб уже порозовели, а на межах и в канавках среди прошлогодней травы проглядывают головки мать-и-мачехи и первой

молодой зелени. Воздух напоен влажным дыханием земли и звенит птичьим щебетом.

А у меня перехватывает дыхание. Изо дня в день обхожу я свой сад, от деревца к деревцу, снова и снова пристально осматриваю их. Я едва бреду, с трудом передвигаю ноги. Сердце мое обливается кровью, а на глаза набегают слезы. Какая жалостная участь — смотреть в лицо деревьям, которые ты сам посадил, пестовал, холил, лечил, и вот теперь они стоят мертвые посреди весны, раскрывающей свои объятья. Топорщатся их голые стволы, торчат как скелеты. Ветви уцелели, а душа — вон. Все персики и абрикосы на плантации вымерзли. Их спалило морозом, не выжило ни одно деревце. Яблоням и грушам тоже пришлось несладко. Хотя по некоторым веточкам уже побежали соки, но почки распускаются далеко не на всех. На многих стволах и ветках чернеют трещины. Этим горемыкам предстоит долгое лечение, восстановление или ампутация обмороженных мест. Столько труда пошло прахом. И сам я кажусь себе калекой, побитым морозом, убогим и сирым.

Мне жаль себя, я горюю и предаюсь воспоминаниям. Как же это было давно, когда, молодым выпускником агрономического училища, я впервые пришел сюда и заложил этот сад; впервые взял в руки мотыгу и заступ и, выкопав яму, посадил первое деревце. Из старых досок воздвиг сарайчик для инструмента. Сколько изнурительной работы потребовалось, сколько крови и пота было пролито, прежде чем на пустынном, заросшем сорняком склоне, где поодиночке росли высоченные старые яблони да редкие ореховые деревья, раскинулся наш сад. Я давно уже врос корнями в эту почву. Пережил с нею бури и метели, град и стужу, ливни и изнурительную жару. Дни и ночи, будни и праздники я страдал и радовался вместе с садом. Сколько пропало трудов и надежд! Зря старался, Адам, зря изводил себя работой!

Так вот, стою я у своих персиков и чувствую себя словно на похоронах самого близкого друга. Тру глаза и вздыхаю... Мысленно представляю себе лица и слышу голоса людей, которые, глядя на мои труды, с ухмылкой предрекали мне неудачу.

«Дождался, Адам! Мы ли не упреждали? Это тебе хороший урок! Такой крах надолго излечит тебя от глупостей. Небось поумнеешь!»

Все вели себя так, словно я спятил. А почему? Да потому лишь, что сами — по лени или из боязни — не рисковали предпринять что-нибудь новое. А может, они были правы? Как, это они-то правы? Про себя я постоянно веду с ними бесконечный спор. И хотя терпеть мне невмоготу, высказываться вслух остерегаюсь: приходится признать, что они не ошиблись. И покориться. Что же теперь остается?

Так я рассуждаю и жалею себя, озираясь, как затравленный зверь. И вдруг отмечаю, что не меня одного постигла эта беда. Давний мой неприятель, снегирь, без толку мечется с дерева на дерево. Вот уж продувная бестия! Любит полакомиться почками и бутонами; своим прожорливым клювиком выщипывает почки абрикосов, персиков и вишен. Иногда после его пиршеств в кроне дерев всю землю вокруг ствола усеивают красноватые чешуйки, и ветви не приносят плодов. Теперь он в растерянности — попусту ищет, чего бы поклевать. Хорошенькое утешение, ничего не скажешь.

И все-таки... этот воришка вывел меня из летаргии. Из сада его надо выжить. Я знаю, чем его донять! У меня и без него цветущих деревьев раз-два и обчелся, а тут еще он будет шелушить и губить почки...

Снегирек высек во мне первую искру жизни. За работу, Адам!

Со вздохом оглядываюсь вокруг.

Бреду по разоренной персиковой плантации, по этому мрачному кладбищу надежд и вдруг замираю от изумления. Ничего не могу понять. Не обманывает ли меня зрение? У самого края участка вижу

росток молодого персикового деревца. Какое чудо! С удивлением разглядываю кожицу с легким красноватым налетом, едва заметным и прекрасным, как багрянец раннего рассвета. Словно робкая, неуловимая улыбка, тронувшая застывшие на морозе девичьи губы.

Протягиваю к веточке дрожащую руку. Дотрагиваюсь, затаив дыхание, легонько сгибаю. Жива?.. Чувство такое, будто я нащупал у тяжелораненого слабенький пульс. Жива! Оглядевшись, начинаю расхаживать туда-сюда... Поразительно. Здесь, именно здесь, только с края участка, на нескольких рослых, вытянувшихся саженцах заметны признаки жизни. Я придирчиво изучаю все вокруг — но увы! Ничего больше нет. И все-таки... отчего они выжили только здесь?..

У меня нет ни мотыги, ни заступа, и я руками разгребаю слой сырого грунта вокруг деревца. Стоя на коленях, отбрасываю мягкий грунт руками... А теперь обдираю пальцы о твердую, заскорузлую на солнце, неразрыхленную, быльем поросшую землю. Перемазанные землей пальцы кровоточат; кровь прилила к голове, кровь пришла в движение, оживилась. Сердце бьется отчаянно, беспокойно. Не понимаю, не могу поверить...

Выжило всего несколько саженцев, вокруг которых почву не взрыхлили. Они ослабли, но корни у них не померзли. Циркулируют соки. Не тут ли кроется причина? Возможно ль? Уж не грежу ли я? Не сошел ли с ума?

Снова принимаюсь за работу. Снова голыми руками разрываю и отбрасываю почву, снова и снова исследую все вокруг. Кругом мертвые, морозом опаленные деревца, а рядом — живые, начинающие дышать. Да, факт, почву здесь не рыхлили. Но кто же догадался?

Вдруг сообразив, я усмехаюсь. От удовольствия потираю ободранные в кровь, измазанные землей руки. Да ведь это же Олджих! Этот лодырь! Треклятый негодяй! Сейчас мне хочется расцеловать его в обе щеки!

Я вспомнил: когда мы окапывали посадки и настилали вокруг деревьев грунт, Олджих торопился к Еве. Не разрыхлив землю у корней, он просто положил вокруг саженцев грунт. И успел-таки к Еве. (Тогда я говорил себе: вот какой чудодейственной силой обладает любовь!) Торопыга, мой обожаемый прохвост, окаянный мой пустомеля и обманщик! Он защитил, спас меня от неотвратимой беды. Я готов пуститься в пляс. Все во мне ликует и смеется. К черту сожаления! В душе проснулась надежда. Я уже не чувствую себя побежденным, не скорблю по загубленным трудам. Разве, несмотря на все постигшие меня несчастья, я не стал богаче? Несмотря на дорогую цену, которой оплачен мой опыт, разве не приблизился я к цели? Я чувствую себя более сильным и более мудрым, чем прежде. Чтобы изведать счастье первооткрывателя, не обязательно быть изобретателем, ученым, художником или космонавтом, не обязательно проводить время у кибернетических машин. Я смеюсь и кричу про себя: «Глупый, глупый Адам! И как это раньше не пришло тебе в голову? Окапывать осенью персиковые деревья, рыхлить вокруг них почву можно только там, где они родились. На юге. А в наших условиях? Разве лишь для того, чтобы холод легче добрался до корней. Ах, каким же ты был ослом, Адам! Велика ли важность, что все другие деревья принято окапывать? Глупец, неисправимый глупец! Ругаюсь, а самого не покидает ощущение счастья. И тут меня осеняет еще одна идея. А что, если высаживать саженцы весною, а не осенью? Они приживутся, примутся до наступления наших свирепых морозов. Уже на первом году жизни наберутся сил, станут более выносливыми. Прикорневая земля останется неразрыхленной, и морозу не так легко будет проникнуть вглубь!

Сердце мое бушует вовсю. Жажда жизни, дремавшая во мне, теперь пробудилась, новые силы бьют через край. Обретенная мудрость и жажда жизни! Так что же потеряно? — спрашиваю я сам себя. Вре-

мя и труд. Но то, что приобретено, куда ценнее. По-моему, мир только теперь родился заново...

Значит, нужно было снова приниматься за работу. Чтобы вернуть разоренный и разрушенный сад к жизни, работать пришлось ох как много! И действовать решительно, чтобы потери не множились, а раны затянулись как можно быстрее. На поврежденных стволах могли угнездиться какие угодно вредители. Нельзя было терять ни минуты. Следовало провести основательное опрыскивание и одновременно удобрить почву, чтобы помочь ей как можно скорее подкормить исстрадавшиеся деревья. Погода нам благоприятствовала, зато с химикалиями и удобрениями, которые были нужны позарез, пришлось изрядно помучиться. Ведь мороз набедокурил не только у нас. Но к счастью, в наших кладовых кое-что нашлось. Всякий хозяин уже в начале зимы знает, что ему потребуется весною. А поскольку с реализацией заявок у нас не торопятся, я придерживаюсь своего правила (уж не знаю, понравится это признание или нет, но всегда нужно попридержать кое-что на черный день). Малая толика сэкономленных запасов очень нам помогла.

Работали мы с утра до вечера, едва с ног не валились. Но в труде, спасающем то, что еще можно спасти, есть особый вкус. Ликует и молодеет душа.

Как-то около полудня я возвращался домой с опрыскивателем за плечами, весь в поту, забрызганный раствором. И вдруг ноги мои сами собой остановились. На косогоре, на фоне ясного, залитого солнцем неба, цвела молодая чудесная вишня. Она очаровала меня своей свежестью и целомудренной красотой. Пережив непогоду и стужу, она выстояла и, усыпанная белыми, почти прозрачными цветами, являла теперь свою молодую силу. С естественной непринужденностью, как невеста, горделиво выставляла она всем напоказ свою блистающую красоту и свежесть, открывая солнцу и пчелам зовущие объятья.

Я долго не мог отвести взгляда от ее кроны, пронизанной лучами солнца; стоял как зачарованный и неотрывно смотрел перед собой. И вдруг ощутил, что в этом пронизанном весной, благоуханном воздухе витает еще чей-то образ... Ева... Это ее милой черноволосой головкой я любуюсь, ее искрящимися лукавством глазами, что нимало не стыдятся ненасытного жара, молодого и нерастраченного огня женской души. Любуюсь нежной и смуглой кожей ее освещенного радостью лица с блуждающей на губах мягкой и доверчивой улыбкой. В звучное жужжанье насекомых вплелся и ее счастливый, заливистый и звонкий смех. Его задушевность согревала сердце...

Такое творилось со мной всю зиму; наверное, я и в самом деле ни на мгновенье не переставал думать о Еве. И теперь, как только проглянуло теплое весеннее солнце, рука об руку бродил с ней по саду... Что-то рассказывал, а она слушала, положив голову мне на плечо... А ночью... Смотрю в окно на мерцающее звездами небо. Лунные лучи окутывают меня паутиной сна. Ева проскользнула ко мне под одеяло, она со мной, лежит рядом. Она — моя. С незапамятных времен — моя.

Как часто принадлежала она мне в моих сновидениях! И все-таки сердце мое давно уже так не исходило истомой, как сегодня.

Вернувшись домой, я подсел к письменному столу и покосился на телефон...

Во мне все еще жило ощущение весеннего аромата разбуженной солнцем земли, цветов и свежей зелени; память о той незабываемо прекрасной минуте возле окинувшейся белым цветом вишенки-невесты, о том страстном томлении, что так мощно и настоятельно пробудилось во мне. Оно было так сильно, что я не мог унять дрожь. В нем слились все мои радости и страсти; мои жизненные невзгоды, мгновенья добрые и злые, мечтанья, уже похороненные и еще не умершие во мне; все оставшиеся мне дни и ночи, время, отведенное мне судьбою.

Я решился позвонить, к телефону подошла она, Ева...

Я выговорил только ее имя и почувствовал, как кровь жарко прилила к щекам.

Она отгадала, кто звонит. Наверняка. Но не отозвалась. Долго молчала. Я явственно слышал ее прерывистое дыхание.

— Адам?..

Узнала и все-таки спросила.

Как быстро летят мгновенья...

— Я... я хотел бы услышать, как ты смеешься, Ева. Я люблю твой смех. Мне бы...

Голос мой не слушался меня, я стал запинаться. Мы оба смолкли...

— Повтори это еще раз, Адам...— прошептала она, помолчав.

— Мне бы хотелось, Ева, услышать твой смех. Мне недостает его. Когда я слышу, как ты смеешься, у меня теплее на душе.

Прижав трубку к уху, я слышал каждый ее вздох, ее мучительные попытки унять биение сердца. Волнение выдавало Еву.

Наконец в трубке прозвучал ее глухой, какой-то сдавленный голос:

— Приезжай, Адам.

Какой чудесный день! И как раз на Девятое мая! Такой же солнечный и свежий, как в сорок пятом. Радостные картины окончания войны с самого утра немыслимым образом переплетаются с нетерпеливым ожиданием свидания с Евой. Эти чувства напоминали тогдашнее мое представление о счастье. Страстное напряжение, охватывающее при мысли, что ты на пороге новой жизни.

Ева...

Мы пошли на Ржип. В конце концов, на несколько месяцев позднее того, как я впервые предложил ей подняться на эту могучую, славную своей историей гору.

Яркий, солнечный день так и манил на прогулку.

Взявшись за руки, мы шли по тропинке, вившейся средь молодо зеленеющего поля. В небе заливались жаворонки, ласковое солнышко обнимало нас. Теплая Евина ладонь, которую я держал в руке, согревала мне сердце. Не сводя глаз друг с друга, мы говорили не умолкая.

Ведь Ржип — это тот уголок, где прошло мое детство. Ева внимательно слушала.

А я рассказывал, как детьми мы играли тут в войну. Мы или обороняли, или захватывали дорогу на Ржип. С отцом нам случалось здесь и браконьерствовать — мы ставили силки на зайцев. Ну, а уж сколько здесь грибов! Пропасть!

Я говорил без умолку, чтобы скрыть бурю, что бушевала во мне. И не была ли моя болтовня ее проявлением? Скорее всего именно так. Да, конечно, это было так.

А Ева с увлечением слушала. Изредка даже весело, заговорщицки смеялась. Особенно когда я рассказывал о своих юношеских романах. Разыгрывались они как раз здесь. Это забавляло ее. Но вдруг, остановившись, она устремила на меня сияющий, искрящийся взгляд и с вызовом бросила:

— Вот гуляка! Может, ты и до сих пор этим увлекаешься? Вот уж ни за что бы не позволила!

И рассмеялась.

Да, так и заявила: «ни за что...» А ведь я признавался в своих ребяческих увлечениях. Мне почудилось? Но ведь в ее словах, в самом тоне, каким они были произнесены, звучало тщательно скрываемое беспокойство. Фраза была сказана не просто так, а с каким-то скрытым значением. Каким? В голосе Евы чувствовалась настороженность. Нет, я не ошибся. В ней словно что-то застыло от страха. Уж

не ревность ли? Но ревность — и Ева? Ведь она вроде кокетлива?! Меня ее беспокойство ободрило и обрадовало.

— Вот уж нет! — с жаром оправдывался я.— В самом деле нет, Ева.

Я с наслаждением вслушивался в звучание ее имени, в доверительную близость этого обращения.

Словно спохватившись, что проболталась, Ева поспешно попыталась откреститься от сказанного:

— Нет, я другое имела в виду. (Выдала-таки себя!) Я тебе верю. Мне хотелось бы знать о тебе все, как можно больше. Да, да, продолжай, Адам.

Нас обоих охватило волнение. Больше всего мне хотелось сейчас сжать ее в своих объятиях. Но я никак не мог справиться с самим собой, еще не свыкся с этим ее переходом от длившегося целую вечность молчания к внезапной просьбе: «Приезжай, Адам!» Меня не оставляло чувство робости и смущения. С той самой минуты, когда она таким доверительным и мягким, неподражаемо женским движением, залившись легким румянцем, непринужденно вложила ладошку в мою руку и когда я неуверенно пожал ее. Присутствие Евы радовало и одновременно сковывало меня.

Нарушив ход моего рассказа, она сбила меня с толку. О чем, собственно, я говорил?

Мы медленно поднимались к подножию Ржипа разъезженной полевой дорогой, которая тянулась невдалеке от длинной липовой аллеи. Здесь начинался отлогий склон, поросший травой, редкими кустами шиповника, терновником и цветущим боярышником. То там, то сям попадались старые одичалые черешни. Каждый шаг рождал воспоминания детства. Детские шалости и проказы...

Ева легонько пожала мне руку.

— О чем ты задумался? Скажи! — потребовала она и... застала меня врасплох.

— Взгляни, этот дикий пустынный склон — роскошная, но бесполезная декорация! Ты не находишь, Ева? В такой-то местности! А ведь здесь можно было бы разбить сад. Как по-твоему? Сад у подножия горы Ржип...— Я пришел в восторг от столь неожиданной идеи... Она осенила меня во время прогулки с Евой!

— А не прихоть, не причуда ли это, Адам? Мне здешние кустарники по душе. Я люблю шиповник и боярышник. И акации тоже... Девчонкой я любила обсасывать их цветы... сердцевина у них такая сладкая... А цветущий шиповник... Зимой его красные плоды так трогательно выглядывают из-под снежных чепцов. Я любила дохнуть на них и смотреть, как подтаивает снег. Мне казалось, что шиповник роняет слезы.— Ева рассмеялась и в шутку заметила: — А тебе бы все только пересадить да окультурить!

Я промолчал. Это было признание, и произнесла она его мило, мягко и трогательно.

Но идею свою я начал защищать. Причуда? Фантазия? Да ведь наш первый сад мы этак и заложили... Ева снова пожала мне руку и задала несколько вопросов. На удивление конкретных... Ну да, конечно. Ведь она все понимает. Все-таки специалист. Потом задумалась.

— Я тебе не надоел? Извини, пожалуйста...

— Да нет, с чего ты взял!

Мое извинение смутило Еву, ее щеки полыхнули румянцем.

— Мне нравится, когда ты так воодушевляешься,— сказала она, понизив голос.

Как будто приласкала меня.

Мы поднялись на вершину Ржипа. Беловатая опоковая ротонда. Остановились возле нее. Да, да, это все та же часовенка. В свое время князь Собеслав повелел поставить ее в честь своей победы, он наголову разбил тогда войска немецкого князя Лотаря. Ротонда, конечно,

еще романского стиля и напоминает сосочек на прекрасной округлой груди горы. Сказать или нет? Нет, лучше промолчу.

Я вел Еву дальше. Еле заметной, почти тайной тропкой, что вилась среди буйного кустарника, под раскидистыми, зазеленевшими уже буками, мы прошли к северному скалистому боку горы.

— Вот оно, это место.

Я обещал Еве показать мой с детства любимый уголок.

Отодвинулся, уступая ей дорогу: для двоих тропинка была чересчур узка.

Ева невольно вскрикнула:

— Какая красота!

Для нее это было полной неожиданностью. Лес вдруг обрывался... И открылось каменистое, до зубчатых скал обнаженное тело горы. Кроны буков, окружавших подножие Ржипа, виднелись глубоко под нами. Полуденный воздух был напоен густым ароматом леса, кустарника, травы, прогретым мхом и богородской травкой, которая взобралась даже сюда, на замшелые базальтовые отроги.

Ева молча огляделась.

Она никогда не бывала здесь раньше. Пейзаж покорил ее сразу; она не могла налюбоваться прекрасным видом, открывавшимся перед ней.

— Что за прелесть! — прошептала она.

Я следил за изменчивым выражением ее взволнованного лица. Когда она поворачивала голову, озираясь вокруг, свет, причудливо скользя, освещал скулы, щеки, губы. Пушистые и блестящие волосы — наверняка вымыты накануне — приятно пахли.

Я был счастлив, что Ева оказалась тут впервые вместе со мною. «Вот она, рядом,— твердил я себе.— Со мною, в моем с детства любимом уголке. Мы вместе, Ева!»

Интересно... Эти края были мне очень хорошо известны. Всякий раз, поднимаясь на Ржип, я непременно заглядывал сюда — полюбоваться видом окрестностей. Зелень озимых и едва опушившиеся яровые чередовались с теплой бурой землей, отведенной под свеклу, с темными сосновыми борами, курчавыми лесопосадками и орешником, с цветущим боярышником и зарослями одичавшей сирени. Кое-где отчетливо проглядывали межи совсем недавно распаханных частных наделов. Проступали островки деревень, с их белыми домиками под красными крышами... А там, далеко-далеко, угадывались развалины Газмбурка и венец Чешских Средних гор с Милешовкой. За ними, уже у самого горизонта, темнел подернутый дымкой вал пограничных хребтов Крушных гор. До подробностей знакомая картина. И все же теперь она представлялась мне иной. Словно обрела новую, более богатую душу.

Ева все еще не проронила ни слова. Любопытно, о чем она думает?

Я подошел к ней. Она оперлась на мою руку — легко и непринужденно. На ее виске часто-часто билась жилка.

— Значит, сюда вот и привел свое племя праотец Чех,— медленно произнесла она. — Как говорится в сказанье о земле, текущей молоком и медом. Ах, здесь можно стоять и любоваться до бесконечности. Вот уж никогда бы не поверила.— Она прищурилась.— Представляю, как эти места выглядели в древности. Я люблю выдумывать... Дикая глушь, куда ни глянь — бесконечный девственный лес. И одинокая гора... О чем ты думаешь, Адам?

— Знаешь, эта гора была совершенно лысой. Как голый череп. Как холмы вокруг Лоун. Знаешь про них?

Она удивленно посмотрела на меня.

— Нет, никогда не слышала,— она покрутила головой.— Ах, уж эти мне фантазии!

Ева весело рассмеялась своим раскованным, счастливым смехом, журчавшим, как чистый ручеек.

— А какой из этих камней твой, Адам? — вдруг живо вспомнила она.

По дороге я рассказал ей об этом месте. О валуне, на который можно забраться и подставить вольному ветру лицо. Или наоборот — скрыться за его глухой спиной среди мха, богородской травки, то там, то сям проросшей стрелами ковыля.

Ева уже сидела на краешке валуна. Отыскала его сама и, верно угадав, подошла прямо к нему.

Приблизившись, я обнял ее за плечи.

— Нет... погоди,— остановила она.

И незаметно высвободилась. Вдруг посерьезнела, плотно сжала губы.

Неприязненное движение плеч, сосредоточенное и замкнутое выражение ее лица поразили меня.

Неужели все повторится сначала? И она убежит? Снова бегство? Нет, тревога была напрасной. Поджав ноги, Ева обхватила руками колени. Как-то почти робко улыбнулась и вдруг снова отвернула лицо, еще более напряженное, чем прежде, и ушла в себя. Что-то терзало ее... К чему она готовилась, на что решалась?

В небе звонко заливались жаворонки. Над полем их висело великое множество.

Мгновения уносились прочь.

Наконец я услышал голос Евы. Глухой... словно она разговаривала сама с собой.

— Адам... Все это я вижу впервые... Мой прежний муж...

Она заколебалась, голос дрогнул. Но потом, набравшись смелости, продолжала:

— Мы с ним собирались побывать здесь, но так и не собрались. Я вышла замуж рано, ждала ребенка. Когда почувствовала, что буду матерью, не знала еще... Не знала, что у него в это же время родился ребенок от другой женщины. Он мне в этом не признался, рассказали чужие люди. Он обманул и меня, и ту, другую... Я была молодая, глупая и позволила себя уговорить. Он, дескать, боялся меня потерять... Мы поженились, и мне показалось, что я буду счастлива... Но он все чаще и чаще пропадал из дому и проводил время где-то на стороне. Инженер-строитель. В командировках научился пить. Иногда возвращался пьяный домой. Дома начались ссоры. Часто он кидался на меня с кулаками... Бывали такие минуты, когда и я готова была убить его. Но уйти не рискнула... Нет, не потому, что я покорная. Когда надо, я умею защищаться, как львица... Это из-за Томека... Чтоб у него был отец... Я все надеялась... И вот в какой-то поездке он завел себе еще одну женщину. Мне рассказали, что он живет с ней. Вот тут уж я собралась и ушла. Известно ли тебе, Адам, какое это счастье — свободно вздохнуть? Дышать полной грудью... Мне хотелось, чтобы ты все знал... Без этого признания ты никогда не понял бы меня до конца.

Она смолкла. Наверное, все еще была в плену у своего прошлого.

Я подсел к ней. Произносимые ею слова обрушивались на меня как камни. Я негодовал, я ненавидел того парня. И он смел ее бить? После всего, что случилось? Господи... То, что Ева пережила, история ее замужества одновременно возмутила и растрогала меня. Я представлял себе, каким адом была для нее их совместная жизнь... Что же она не ушла раньше? Почему терпела?

На какой-то миг мне показалось, что ее поступки плохо вяжутся с тем представлением, которое у меня о ней сложилось. Да и она ли это? Та ли это Ева, которая тогда, в питомнике, так непосредственно вела себя... А как она избавилась от Олджиха? И только ли от него? Но ведь тогда, на берегу Лабы... Я же видел, видел, что она тоскует по мне. А ведь убежала...

— Ева, почему же ты так долго... ведь он же...

Подняв руку, она приложила палец к моим губам.

— Тсс...

Словно хотела сказать: не надо больше об этом, все уже в прошлом... Ладошка у нее была горячая.

С этого момента Ева сделалась мне невероятно близка.

Она тут же почувствовала это.

— Погоди, Адам. Потерпи.— Потом, запинаясь, призналась: — Как я была рада, Адам. Я ведь тоже... Уже в прошлый раз, Адам, я не могла тебя дождаться. Если бы ты только знал, как не терпелось мне увидеть тебя хотя бы на несколько минут. Ведь я... слишком долго жила одна. Одна, Адам. Свернулась, как в раковине... словно похороненная заживо, и все во мне просило волюшки. И душа и тело. А тут еще в тот день, когда мы договорились встретиться, у Томека в садике поднялась температура... Вечером он весь пылал. Тяжелая ангина. Меня охватил ужас. Неужели это наказание за то, что слишком много думала о тебе? Что принадлежу уже не ему одному? Хорошо бы вам познакомиться. Обстановка, в которой Томек рос... Громкие ссоры... нервозность... не прошли для него бесследно. Он всегда боялся, часто плакал. И я дала себе слово, что после разрыва с мужем я целиком посвящу себя сыну... Отсюда и растерянность, и паника, и волнение. И все-таки на другой день, когда после пенициллина ему стало полегче, я прибежала к тебе... И мы обнялись... И тут мне стало страшно, что именно в эту минуту с Томеком творится неладное... Я была в отчаянии... Болезнь тянулась долго, и я зареклась... Ну, а потом мне показалось, что я все испортила и между нами уже ничего не может быть. Поэтому боялась отвечать на твои письма.

Я слушал ее и ушам своим не верил. Так вот в чем дело! А я-то приплел сюда бывшего супруга...

Душу мою переполняло счастье. То самое, что когда-то снилось во сне. Ева... Сегодня она подарила мне целых полдня. Пришла одна, с Томеком попросила посидеть приятельницу. И во всем открылась. Она вдруг показалась мне такой хрупкой, легко ранимой. Как хотелось мне вознаградить ее за все разочарования и несбывшиеся надежды.

— А я-то боялся, что твой бывший супруг...— проговорил я, выдав свои опасения.

Она поглядела на меня удивленно. Глаза стали большими и просияли. Всякое смущение, все колебания — все исчезло.

Она словно очнулась от летаргического сна. Губы у нее дрогнули и раскрылись.

— Как я люблю тебя! — прошептала она вдруг порывисто и требовательно.

Я сжал ее в своих объятиях. И поцеловал в жаждущие любви губы.

Это было как шквал, как порыв ветра. Она вся пылала, будто в горячке. Ах, эти подавленные жизненные силы, страсть, снедавшая ее и вдруг проснувшаяся...

В этом была вся Ева.

III. Угроза катастрофы

На небе вовсю сияет молодое апрельское солнце. Сад пробуждается. Ветви и веточки покрылись проклюнувшимися почками; теплый, ароматный воздух, птичий гомон и писк с самого утра переполняет кроны очнувшихся от зимней спячки деревьев.

Мы обнаружили, что благодаря нашим заботам и самоотверженности деревья залечили раны. Даже по стволам, тронутым морозом, вновь заструились соки. Оказалось, что менее всего пострадали низкорослые сорта, выращенные сплошными шпалерами. Наверное, помог-

ло и то, что у таких дерев легко было во время опрыскивания осмотреть все веточки до последней. Так что к преимуществам высокой и быстрой плодоносности и легкого сбора урожая прибавилось еще одно. Лишь кое-где пришлось ампутировать замерзшую «руку» или «палец». Я даже думал, что у яблонь, выросших сплошной стенкой,— общее кровообращение, общая душа. Это наблюдение подбадривало меня, радовало сердце. Я знал, как быть дальше... Яблони и вишни, две души нашего сада. Нужно выращивать их низкорослые сорта. А потом?.. Потом наступит черед персиков! Надо все начинать сызнова.

Первый опытный участок вымерз почти целиком. Уцелели только отдельные побеги. А из трех десятков саженцев, которые Олджих так нерадиво окопал осенью, выжило целых двадцать.

Итак, я вел подготовительные работы для новых посадок. За зиму все тщательно обдумал и взвесил; деревца буду высаживать в грунт весной, когда в них много соков и набухли почки. (Это значит — из земли в землю, ямы у меня были вырыты еще осенью.) Кроме того, мне пришло в голову высадить несколько десятков прямо на северном склоне. Почему? А вот почему.

Я давно уже ломал себе голову над тем, почему плодоносит старый орешник, что растет на темени горы, подставленный всем студеным ветрам и непогодам. Даже в годы, когда ореховые деревья, угнездившиеся в лоне теплой южной стороны, остаются совсем без плодов. Я нес вахту и здесь и там, выслеживая и сравнивая, как развиваются и те и другие. На тихом южном солнечном косогоре орехи распустились замечательно, загляденье да и только. Но вот ударили весенние заморозки и подули холодные ветры. Эти-то ветры — Панкрац, Сервац и Бонифац, известные у нас всякому,— их и застудили. И только когда непогода отступила, когда солнце ласково обогрело землю, у орехов на северном склоне пробудились соки; только теперь, словно всем чертям наперекор, они начали быстро набирать силу и распустились. Почему бы персикам вести себя иначе? Кроме того, на севере глинистая почва, морозам труднее пронять ее. Господи, такого еще не было, это против всех привычек.

Повторяя про себя уже слышанные насмешки, я все-таки принялся за работу. Мне бы пришел конец, если бы, проснувшись поутру, я был вынужден делать то, что давно уже испытал и испробовал, если бы позволил своему мозгу бездельничать, когда тело здорово, а руки просят работы!

Итак, я закончил все приготовления. Заранее съездил на юг Моравии и отобрал там молоденькие саженцы. Мне обещали выкопать их лишь в тот момент, когда я приеду за ними с грузовиком. Разумеется, мораване решили, что я спятил. Об эту пору высаживать персики! Но что бы они там ни предполагали, а сделка была заключена.

Я уже собирался в дорогу, как вдруг в районе надумали перекроить все мои планы. (Их уже одобрили, не так давно сами со всем согласились.) И вот теперь, пересчитав и скалькулировав тот урон, который мороз нанес плодовым садам, и опасаясь, как бы такое не повторилось, начальники, не долго думая, «перерешили». Страх сделал свое дело. В сельскохозяйственном отделе районного национального комитета постановили, что хозяйствовать надо как можно экономнее. Выращивать персики в наших условиях — вещь неслыханная, это противоречит всем госстандартам, установленным для культивации различных видов плодовых культур. И в контору нашего госхоза пришел приказ ликвидировать персиковую плантацию. Когда директор Чмейла сообщил мне об этом, я пришел в ярость. И как поступил? Да просто отказался подчиниться — и все тут.

Сию же минуту об этом стало известно в районе. Мой отказ для них был не понюшка табаку, я им здорово дал прикурить... «Ты обязан подчиниться, Адам. Если бы мы так хорошо не знали тебя...»

Еще бы им меня не знать! Ведь председатель сельскохозяйственного отдела Паточка стоял рядом со мной, когда два года назад министр вручал мне награду за введение пальметтных садов. Тогда он, разумеется, гордился мною, как будто это его рук дело. Отблеск той славы, естественно, падал на нас всех, на весь город и весь Роудницкий район. Ведь выращивать яблони особым способом посадки мы стали в республике первыми.

Тогда Паточка всюду ставил нас в пример, мы были образцом трудовой доблести, инициативы и геройства. А теперь — ввиду перемены декораций — меня следовало призвать к порядку. Напомнить о трудовой дисциплине. И кто же должен был это исполнить? Олдржих!

Поручение, по правде сказать, не из приятных. Но когда я взбунтовался, то и в его голосе зазвучала обида — задета ведь честь мундира, да и достоинство его самого.

Не в моих привычках вешать нос, как только погрозят кулаком. Я полез в драку и прежде всего решил поговорить с товарищем Паточкой.

Как ни крути, а учреждение есть учреждение, молчанием начальственную подпись не смахнешь. (Всегда полезно точно знать все подробности: в чем тебя обвиняют, что выдумали или собираются выдумать.)

Не мешкая ни минуты, я отправился в город и после обеда уже сидел в канцелярии Паточки, крепкого, угрюмого на вид мужика, из малоземельных крестьян, арендовавших прежде у богатеев небольшие наделы. Бедняк, с кучей детей, он всегда слыл возмутителем спокойствия. В войну какое-то время партизанил, позднее, когда у нас шла борьба за передачу помещичьей и кулацкой земли тем, кто на ней трудится, крестьяне-бедняки нашего района очень его ценили.

Увидев меня, Паточка слегка нахмурился и, словно про себя, холодно усмехнулся.

— Ну и ну... хорошенькие вещи про тебя рассказывают... будто ты не желаешь признавать директивы, присланные из района.

— Я не желаю признавать? — удивился я. — Как так? Я из них исхожу. Исхожу из плана развития плодоводства в нашем хозяйстве. План этот мы разрабатывали вместе и одобрили. Ты сам его и подписывал.

— Да, подписывал,— ответил Паточка,— но нынешняя зима преподнесла нам хороший урок. Ты это на собственной шкуре испытал. И теперь придется возмещать убытки и не повторять прежних ошибок. Тебе мало того, что вымерзли персики на опытном участке? — Он поднял на меня глаза. Они были утомленные, но выражали непреклонность.— С персиками покончено. Здесь, у нас, их крупномасштабное разведение невозможно.

— Возможно,— твердо возразил я.— Второй раз они у нас не померзнут и урожай принесут богатый.

— Ты эти свои бредни оставь! — Паточка поглядел на меня снисходительно, чувствовалось, что в нем закипает злость.

Что до меня, то от ярости меня трясло как в лихорадке.

— Когда я пришел к тебе и предложил выращивать яблоки новым образом, ты ведь тоже твердил, что это бредни.

— За новый способ мы сказали тебе спасибо. Да ведь тогда речь шла о яблоках, которые мы выращивали испокон века. А ты, видать, занесся и теперь вздумал идти против самой природы. Яблони, груши, черешни и сливы — они к нашим условиям приучены. У нас тут столетний опыт. Ты что, думаешь, наши прадеды своей земли не знали, понятия не имели, что на ней растет?

Предки. Господи боже, отцы и деды!

Во мне взыграла кровь. До чего бы мы докатились, если каждый *только бы* и делал, что не отрывал задницы от стула да повторял заветы своих отцов, как те в свое время — заветы дедов? Работать, руковод-

ствуясь лишь старой доброй привычкой? Не браться за большее? Как оскудела бы жизнь!

Разве работа приносила бы радость, если бы человек не искал, не открывал, не творил нового! Скольких прекрасных, полезных вещей мы бы лишились, какие открытия не были бы сделаны! Мыслить и создавать, чтобы земля наша цвела, как здоровое, ухоженное дерево,— вот в чем смысл нашей жизни.

— Не можем мы на одном месте топтаться, дескать — это у нас проверено, это искони было. Надо идти дальше, пробовать, искать.

— А если тебе охота искать да исследовать — ступай в исследовательский институт. А тут у тебя одна обязанность — выращивать, что предписано планом и законом. И порядок нарушать нечего.

Он был глубоко убежден в своей правоте, это было видно. Тут не помогли бы и адвокатские речи, даже самые убедительные.

Я стиснул зубы. Вдруг вспомнилось, как несколько лет назад мы вместе ходили по деревням, убеждая крестьян отвести коров в общее стадо и хозяйствовать сообща. «По старинке теперь не проживешь»,— уверяли мы. И объясняли, что ради собственного благополучия и ради процветания нашей недавно освобожденной земли нужно набраться мужества и начать жизнь совершенно иначе, по-новому, всем вместе. А вот теперь тот же Паточка размахивает у меня перед носом нашими законами и предписаниями, лишь бы помешать мне искать новые пути! И это мне, не какому-нибудь верхогляду, а специалисту, которому известно про персики все, что только можно знать, а он знает лишь одно — что до сих пор они у нас «не произрастали».

Я чуть не скрежетал зубами.

— Яблок и всего прочего я тебе выращу сколько предпишешь. Но я требую позволить мне работать еще и над персиковой культурой.

— Не позволю!

Грохнув по столу кулаком, Паточка в волнении встал и начал расхаживать из угла в угол. Остановился передо мной, заложив руки за спину, и грозно нахмурил брови.

— Так вот, чтобы все было ясно до конца. Во-первых, у нас крупнопромышленное производство персиков не удается, зима это подтвердила. Во-вторых, после понесенного урона мы обязаны прежде всего возместить убытки. А отсюда вывод: померзшие персики новыми заменять не будем.

Все это он произнес с ледяным спокойствием, непреклонно и веско, словно рубил слова. Как начальник, привыкший командовать и сознающий свою власть. Непрошибаемый, как дубовый пень.

— В-третьих, надо дорожить каждой пядью земли и обрабатывать ее так, чтобы она приносила плоды. В-четвертых, образцово-показательными в этом отношении должны быть государственные хозяйства. Ясно? Я обязан обеспечить выполнение этих задач. И не позволю, чтобы ты своими бессмысленными экспериментами пускал на ветер то, что другие накапливали в поте лица. За такие дела можно и под суд угодить. Так что держись за весла, а к рулю руки не тяни! Все. Договорились. Будь здоров, больше нам разговаривать не о чем.

Я вышел, хлопнув дверью. Ярость душила меня, на шее вздулись вены, щеки пылали. Ах ты злыдень! Самонадеянный, надутый индюк! Пень! Один из тех, о которые спотыкаешься на каждом шагу! Да такой вот узколобый глупец пострашнее любых морозов. Разоренная стихиями земля зазеленеет снова, ее раны затянутся, а после такого вот надутого дурака, готового в зародыше задушить все, что хочет развиваться, способного наплевать в душу, оправиться куда труднее.

В ушах у меня непрестанно звучал его голос: «За новый способ мы сказали тебе спасибо», «Держись за весла, а к рулю руки не тяни!» Унтер, фельдфебель, не умеющий думать. Держи язык за зубами и шагай со всеми в ногу! Исполняй приказы — и баста. На большее ума не хватает — тут все понятно. Весь порох, что когда-то у него был,

израсходован до конца. Тогда какого же черта он занимает это место! Так вот и будем персики из-за границы привозить и валютой расплачиваться? Из-за того, что какой-то балбес держится за свое кресло, и оно для него вроде крепости? Господи боже! Ведь мы сами помогли ему в это кресло усесться!

Меня трясло, я едва не задыхался.

И не сразу осознал, что рядом со мной, на тротуаре полупустынной площади, стоит Олджих. Он подошел незаметно. Вид у меня, наверное, был неважнецкий, потому что он ни с того ни с сего сказал:

— Опомнись, друг! Себе только навредишь, а ничего не добьешься. И чего ты надрываешься? Очень тебе это нужно? Я делал тебе знак помолчать, да ведь сумасшедшего не образумишь! Сам виноват. (И правда, на какой-то момент он — перепуганный, само смирение — возник в дверях, у Паточки за спиной, и подсказывал мне, жестикулируя, шевеля губами, чтобы я не перечил. Наверное, потому, что и впрямь не видел в этом смысла, а может, ему просто не хотелось, чтобы начальник осатанел и потом отыгрался на нем.)

— Ведь глупо,— продолжал Олджих,— возражать против решения районного национального комитета. Разве можно спорить с учреждением? (Он и сам числится в штате этого учреждения.)

Что за ничтожная, тщеславная душонка! Встречаясь со мной «при исполнении», Олджих давал мне понять, как он горд своей должностью. А оставшись наедине со мной, принимался ныть. Жалобился то на одно, то на другое, но выступить против не отваживался. Словно чья-то невидимая рука держала его за локти.

— Заткнись! — оборвал я его. — Пошел он к черту! Это еще неизвестно, кто из нас под суд угодит.

— Не забывай, ведь он заслуженный!

И для памяти перечислил мне все прошлые заслуги и героические деяния товарища Паточки.

— Да ну тебя к лешему! — снова прервал я. — Что же нам теперь — молиться на него из-за этих его заслуг, ума-разума у него набираться? Вот уж нет! Игра «А папа сказал» для жизни не годится.

Тут я уничтожающе и язвительно посмотрел на Олджиха.

— А для тебя, как вижу, всякий петушок уже бог, если с высокой жердочки кукарекает? Даже если его там веревкой подвязали, чтоб не сорвался, все равно, по-твоему, это он будит день поутру и солнце в небе подымает?

Мои слова покоробили его, но он не ушел, так и стоял, переминаясь с ноги на ногу.

— Слушай, а что тебе здесь делать? Шел бы лучше домой, покопался в саду, злость бы и прошла.

— Домой? — с раздражением воскликнул я. — Домой, на печи лежать? Вот вам чего захотелось, разбойникам! Шалишь! Я не такой дурак, чтобы сидеть сложа руки! Нет, домой я не пойду. Пойду куда-нибудь в другое место.

— И куда же? — полюбопытствовал он.

Я и сам не знал куда. И тут мне пришло в голову, что надо зайти к какой-нибудь «шишке» поважнее, повыше рангом. (Тем более что мы уже шагали в том направлении, как будто ноги несли меня туда сами.)

— Будто не знаешь, где у нас все решается.

— Ты что, спятил? Уж не думаешь ли, что Паточка все это выдумал? Они наверняка договорились. Договорились, что так надо.

Я по глазам видел, что он перепуган насмерть. Лицо его побледнело. И ноги отказывались ступать дальше — словно его стреножили. Глаза забегали. Лоб покрылся испариной. Олджих не хотел, чтобы нас увидели вместе.

— Мое дело предупредить.

За спиной у нас раздался шум, и к зданию райкома подкатила

«Волга». Мы обернулись. Из машины вышел первый секретарь Лойза Ситарж. Мы с ним, как говорится, пуд соли съели: жили на соседних улицах, я — на Жижковской, а он — на Пршемысловой. Часто ссорились: улицы стенкой шли друг на друга. Но мгновенно объединялись, если пахло дракой с сынками торговцев, чиновников или ремесленников. Мы с Лойзой знали друг друга до кончиков ногтей.

Отца своего Лойза не помнил. Как сейчас вижу — измученный, вечно простуженный, рано утром, еще перед школой или поздно вечером, везет он с поля срезанную ботву, свеклу или корма... Бежит вприпрыжку, подгоняя хворостиной тощую коровенку, запряженную в повозку («А ну пошевеливайся, чтоб тебя!»). Потом Лойза поступил на фабрику сельхозмашин и выучился на слесаря. Мастер вышел из него толковый. А вот теперь бывший работяга уже четвертый год секретарствует в Роудницком районе.

Увидев меня, Лойза дружески улыбнулся:

— Ну как дела, Мичурин? Давненько мы с тобой не виделись. Куда путь держишь?

— К тебе,— спокойно ответил я, решив использовать эту нечаянную встречу. (Прежде я и не вспоминал о нем, слишком высоко он залетел. Я-то рассчитывал заглянуть к секретарю по сельскому хозяйству Индраку.)— Вот вместе с Олдржихом к тебе идем.

До сих пор не понимаю, зачем я этого осла с собою потащил. Наверное, из зловредности. В эту минуту Олдржих побледнел так, словно у него всю кровь из жил выпустили, но уйти не рискнул.

— Пошли, коли так,— согласился Ситарж.— Только придется немного подождать. Давненько мы с тобой не виделись. Ладно, я сейчас, только вот кое-какие делишки закончу.

Не важно, что мы почти два часа проторчали в приемной. Я готов был остаться здесь хоть до утра. Зато Олдржих сидел как на иголках. Хлопал глазами, вытягивал шею, будто ему воротничок жмет, и злобно шипел:

— Все твоя затея. Меня ты в это дело не впутывай.

— Как бы не так, Олдржих. Не думай, тебя это тоже касается. Потому мы тут и сидим вместе.

Олдржиха так перекосило, словно у него в горле кость застряла.

Я оставил его в покое, пусть отдышится. Мне и самому нужно было успокоиться. Слишком я перенервничал из-за этого тупицы Паточки. До настоящего обсуждения у нас так ведь и не дошло. Собственно, он такого обсуждения не допустил. Такой деловой — прямо ужас. Деловой тупица. А меня, конечно, занесло. Теперь, в разговоре с Ситаржем — все, чтоб никаких эмоций! Спокойно, Адам. Ситарж — совсем другой человек. Лойза Ситарж... Вместе с ним мы ловили тритонов и головастиков в Чепельском омуте. Однажды вышел у нас такой случай. (В то время наша улица опять — который раз — шла войной на Пршемысловую.) Возвращаюсь я из школы и вдруг слышу — выстрелы: роудницкие господа охотятся на куропаток. Не мешкая, я тут же двинул за ними. И мне повезло. Из-под ног охотников как раз выпорхнула стая вспугнутых птиц. Одна была ранена, отделившись от товарок, она стремительно взмыла ввысь, но тут же стала снижаться. Как парашют. Проследив за ее падением, я заметил место — край поля, недалекий куст, груда камней... Только схватил птицу и вдруг чую — собачий лай. Это адвокат Брожовский пустил пса за добычей. Я слышал, как он чертыхался, не найдя на стерне своей куропатки. И как припустил по моему следу.

И тут на дороге затарахтела тележка. Лойза вез ботву — несколько охапок. Завидев меня, угрожающе поднял хлыст, но тут показался Брожовский... В мгновенье ока куропатку забросали ботвой, и телега покатила дальше к большаку. Запыхавшийся Брожовский догнал нас. Разбрехавшийся пес обнюхивал меня, наскакивая со всех сторон. А Лойза изображал удивление. Словно он здесь вовсе ни при чем.

В полном молчании мы доехали до самого моста. Тут Лойза, настороженно оглядевшись — ведь он въезжал на вражескую территорию,— сухо сказал: «Забирай и уматывай побыстрее». Он не хотел, чтоб его заподозрили в сотрудничестве с неприятелем.

Это воспоминание доставило мне удовольствие. Я несколько приободрился... Но более всего меня обнадежила веселая, дружеская улыбка, радостное удивление Лойзы в первый момент встречи. Может, потому, что виделись мы редко. Он ведь не отличался мягкостью, твердый был орешек. Всегда знал, чего хочет. Наверное, это нас и сближало.

Время шло. Мне уже подумалось, что Лойза про все забыл, но тут секретарша пригласила нас войти.

— И на сегодня хватит. Довольно. Сегодня меня больше ни для кого нет, слышишь, Гелена? Только вечером собрание в Рачиневеси.

Усадив меня с Олдржихом за журнальный столик, он подсел к нам. Некоторое время устало, но добродушно оглядывал нас, а потом спросил:

— Ну, что скажешь? Давненько я тебя не видел. Что у тебя за просьба? Неудача какая на опытных участках? Давай выкладывай.

Понукать меня не пришлось, и я вывалил ему все как есть. Ничего не утаивая. Пересказал весь наш разговор с Паточкой.

— Ты бы слышал, как он приказывал: «Держись за весла, а к рулю руки не тяни». Что ты обо всем этом думаешь? Ты, первый секретарь района?

Он слушал меня внимательно, но без особого удовольствия. Ему явно что-то не понравилось. Интересно, что — мой рассказ или Паточка?

Лойза молчал, испытующе на меня поглядывая. В его маленьких утомленных глазах играла усмешка.

— Да, кое в чем он того...— проговорил Ситарж, в раздумье пожав плечами. — Но в одном ты к нему несправедлив. Тебе ли не знать наших земледельцев? Они хоть и объединились в кооперативы, но от своих уловочек пока не отказались. Мы-то с тобой их хорошо знаем. А теперь попробуй позволь им хозяйствовать без плана. Кто тогда будет свеклу сажать? А с ней возни много... Крестьянину лучше пшеницу посеять да подождать, когда собирать урожай механизаторы комбайны пришлют. Дать крестьянам в таком деле волю — я бы посмотрел, что из этого выйдет! Поэтому нам и приходится рассылать предписания, что каждому кооперативу и госхозу растить и что собирать. И конечно... Паточка обязан обеспечить выполнение планов. А это — мука мученическая, вот он и держит вас в ежовых рукавицах. Может, где и перегибает...

Лойза усмехнулся. И вдруг, хитро улыбнувшись, спросил, отчего я все-таки не смирился — ведь жизнь была бы и спокойней и удобней.

— Это мы уже слышали,— отмахнулся я.— Только и твердят: «И чего тебе неймется, дурачина, топал бы, как другие, по проторенной дорожке да кланялся всякому кусту, на этом ведь порядок держится. Какой смысл спорить с учреждением? К чему подставлять себя под удар? Да если им захочется, они тебя на любом слове подловят...» Вот и выходит, что выгоднее жизнь всяческими предписаниями и приказами выхолащивать, бычков волами делать. Набросишь хомут на шею — и тяни! Только после такой работы и хлеб есть не захочешь.

Во время этого моего выступления Олдржих сидел как заяц под кустом. Не шевельнулся даже — боялся выдать, что у него по жилам бежит живая кровь.

— Разговорился, нечего сказать! — вздохнул Ситарж, все еще не сводя с меня глаз.

В памяти моей всплыл один свеженький анекдот, и я тут же его выдал. Одного директора спросили, какая у него на заводе за минувший год экономия. «Мильон»,— ответил тот. «А на чем сэкономил?»—

«На рацпредложениях, ни одного не принял и, стало быть, премий не платил».

Лойза рассмеялся:

— Бывает, мешает и то и другое. Но вернемся к делу. Эти твои персики... ты, видать, хочешь рискнуть...

— Не останавливаться же на полпути,— воскликнул я.— Уже не один годок в эти игры с персиками играю. И как раз теперь напал на новый метод. Весьма перспективный.

— В самом деле? — Он слегка наклонил голову. — Я тут плохо разбираюсь... А ты специалист. На чем основывается надежда на успех?

— На совершенно новом методе высадки, если говорить кратко.

— Пожалуй, даже слишком кратко. А этот твой новый метод — он что, гарантирует успех? — спросил Ситарж.

— Гарантирует? — протянул я, уставясь на него пристальным взглядом.— Не люблю громких слов. Можно сказать, путь намечен верный, а что касается...

— Прости,— прервал он меня.— Я хотел сказать: можно ли нам надеяться. Ну и как же, действительно надежда есть?

— Это уже лучше,— усмехнулся я. — Отдельные деревца выдержали даже нынешние арктические холода, в то время как рядом с ними более устойчивые из косточковых погибли. Я понял почему. Но надо проверить. Точнее — убедиться и учесть при дальнейшей работе.

— Это уже кое-что. — Ситарж кивнул головой.

— Разумеется, померзнуть они могут,— рассуждал я дальше.— При определенных условиях. Иногда, если выдаются суровые зимы, персики вымерзают и в Италии, и в Греции, и в Испании. На их место всегда высаживают новые. И это окупается.

— Сколько земли ты просишь? — спросил секретарь. — Сколько нужно?

— Два гектара. Для начала. Два гектара на северном склоне. Один участок мы взяли в прошлом году у частновладельца. Запущенный пустынный откос, всего несколько одичавших груш и слив. Этот участок и определили под персиковый сад, для посадки все уже подготовлено. Пятьсот саженцев на один гектар.

— А расходы?

— Расходы по смете, она уже утверждена! Девятнадцать тысяч на гектар посадок. Через пять лет сад начнет плодоносить в полную силу, и, если судить по опытным деревцам, которые уже давали плоды, мы могли бы рассчитывать на триста центнеров с гектара. Но пусть даже уродится сто двадцать центнеров. При закупочной цене семь крон за килограмм мы выручим восемьдесят четыре тысячи. Даже при таком урожае расходы были бы возмещены с лихвой за один год — причем в четырехкратном размере. Это куда рентабельнее, чем тем же способом выращенные яблони. И сам факт акклиматизации персиков означал бы переворот в плодоводстве.

Я почувствовал, что меня заносит. Но это был запал расчета, дела. Я прочно стоял на почве реальности.

— Тебе не доводилось слышать такую новую поговорку? «Хмельник — работник, виноград — сущий ад, зелен сад — прямо клад». Это про наше хозяйство сказано. Посмотри-ка последний годовой баланс.

Ситарж взглянул на меня. Смотрел долго, пристально.

— Ну да, эти твои пальметты,— задумчиво проговорил он.

— Да не мои, я только внедрил их в нашу практику. Использовал в крупном хозяйстве.

— Эти твои пальметты,— повторил он.— Насколько мне известно, их теперь внедряют повсюду. Они открыли нам кредит в краевом управлении и в министерстве. Тебе об этом известно? Наш район до сих пор на них существует. Нам поверили, открыли кредит и наверху теперь все чаще идут нам навстречу... — Он хитровато прищурил гла-

за, вздохнул.— Послушай-ка... А если это решение уже нельзя отменить... Что бы ты предпринял?

— Продолжал бы свое дело! Конечно, в худших условиях. Арендовал бы землю у какого-нибудь садовода. Мы теперь вдвоем с женой работаем. Пришлось бы...

Ситарж усмехнулся, незаметно, будто про себя. Поднялся. Словно невзначай оперся о мое плечо и дружески сжал его, как будто успокаивая меня. Подошел к телефону и позвонил Паточке.

Паточки на месте не оказалось, уехал в какой-то кооператив.

— Ну что же,— сказал Ситарж, кладя трубку.— Обсудим попозже. Два гектара... Кредит, пожалуй, ты тоже мог бы получить. Может, и впрямь отменить приговор? Что ты на это скажешь, а? Оставить в плане два гектара под новую опытную плантацию для персиковых деревьев. Как ты на это посмотришь? — ухмыльнулся он.

— Всегда приятно слышать разумные слова.

Я бы предпочел, ничего не говоря, обнять и расцеловать его. Мысленно я уже скликал своих коллег; засучив рукава, мы принимались за дело.

Я встал.

— Погоди,— остановил он.— Не торопись. Ты долго ждал. Подождешь еще.

И что бы вы думали? Откупорил бутылочку сватоваржинецкого, и мы чокнулись за доброе начало новой работы.

— Человек,— сказал я, когда мы хлебнули по глотку,— способен вынести стократ больше, если сам на себя поклажу взвалит. Если возьмется по своей воле, а не по чужому приказу. Хорошо, если бы товарищи, облеченные властью, не забывали этой простой истины. Ведь без нее не овладеть искусством разумного и толкового управления.

Пока мы разговаривали, Олдржих сидел не шелохнувшись, как мышонок. Он радовался, что принят первым секретарем, но вместе с тем робел, не зная, как прием закончится и чем все это обернется. Поэтому, когда Ситарж обращался к нему, осторожничал, отвечал неопределенно. Однако постепенно приободрился. В разговоре я упомянул, что Олдржих прежде работал у меня. Мы вместе разбивали пальметтные сады и пеклись о персиках; он сослужил мне большую службу. (Бедняга, он не понимал, про что речь, и возликовал.) С этого мгновенья Олдржих только наслаждался визитом, его самоуверенность возросла непомерно. Прощаясь, прямо рассыпался в любезностях, чувствовал себя обласканным. Теперь он гордился тем, что на глазах у всех мы вместе выходили от первого секретаря. Самодовольно оглядывался вокруг. Сдается, он многое дал бы за то, чтобы все видели, как он чокался с Ситаржем.

— Слава богу, еще не перевелись у нас такие люди, как Ситарж. Из всех плодов, милый Олдржих, самый прекрасный и удачный — это человек, оказавшийся на своем месте и хорошо прижившийся.

Как я рад, что пошел с тобой (он уже забыл, что идти со мной вообще отказывался), хоть и не знаю, как отнесется к этому Паточка. Полезно выслушать мудрые наставления. Но ты, Адам, когда-нибудь нарвешься на неприятность. Не все такие, как Ситарж.

— Ну ладно, поживем — увидим. А пока что ты скажешь о происшедшем?

— Ну теперь все повернулось по-другому. Теперь речь идет об эксперименте, официально получившем одобрение, а такую инициативу нужно только поддерживать. Это наверняка рентабельно.

— А сам-то ты до этого додуматься не мог?

— Да отстань! Я всего-навсего референт, а решают там, наверху.

Впрочем, ему стало неловко; он понял, что его обошли, и снова стал церемонным и чопорным. И тут же заспешил — дескать, работа.

Я нисколько не жалел об его уходе. Был сыт его обществом по

горло. К тому же и без него хватало впечатлений, хотелось самому в них разобраться.

С легким сердцем вернулся я домой. Солнце клонилось к закату. Я порядком проголодался, но настроение было приподнятое, огромная тяжесть свалилась с плеч.

У ограды нашего сада почти из-под ног у меня выскочили два расшалившихся зайца. Выскочили из зеленых всходов и начали петлять по дороге. Третий ушан — у него было разорвано ухо — стоял на задних лапках во рву и фыркал. Я постоял, посмотрел, а потом повернул к деревьям. На какое-то мгновение даже забыл, почему спешил домой. Душа купалась в тихой, пронизанной солнечными лучами синеве, вишневые ветви, усыпанные набухающими почками, поймали меня в свои сети, я запутался в них. Тем более что с крон деревьев и с небесной выси лилось веселое птичье пение. Ах, как замечательна музыка пробуждающейся весны! Эти сладкие, переливающиеся в воздухе трели вместе с тончайшими ароматами проникали прямо в сердце.

И тут я увидел Еву. Она высматривала, не иду ли я. Завидев меня, Ева бросила мотыжку. Она разбивала под окнами мавританский газон и небольшой садик. Это ей нравилось, а если дело было Еве по душе, она бралась за него увлеченно и горячо. К счастью, нравилось ей то, что было необходимо и дому: хозяйство мое за годы вдовства основательно пришло в упадок. Томек, мой внезапно обретенный сынок, путался у Евы под ногами с жестянкой в руках. Маленький рыбак собирал в нее дождевых червей и всякую ползучую тварь. Жестянку он хотел куда-нибудь припрятать до тех пор, пока мы не отправимся ловить линей и карпов. Понятливый, чуткий мальчуган. Живой, хоть и несколько нервный, напуганный. Теперь-то мальчик уже осмелел, мы с ним друзья. Глазенки так и сияют от радости, когда я сажаю его на закорки. Кладет свои горячие ладошки мне на лоб; держится крепко-крепко, смеется и взвизгивает, если я подпрыгиваю на ходу. И просто захлебывается от счастья, розовеет от радостного возбуждения, когда мы сидим на берегу, а поплавок ныряет и уходит под воду. Вот и теперь, увидев меня, он что-то кричит и показывает жестянку. Но Ева чуть отстранила его, и передо мной возникло ее напряженное лицо — она прямо сгорала от нетерпения и любопытства.

— Наконец-то! — воскликнула она, откинув волосы со лба.— Где ты пропадал так долго? Как дела?

Обычно я ничего про себя не таю, слушайте, мне не жалко. Делюсь с Евой своими заботами, и она знает почти обо всем, что меня мучит или, наоборот, переполняет радостью.

— Ну, убедил ты этих глупцов?

Не дожидаясь моего ответа, она заранее клянет всех, кто мне мешает. И в то же время прямо в рот мне заглядывает, не спуская пытливого, нетерпеливого взгляда. И тут ни с того ни с сего на меня находит желание ее «помучить». Прикидываюсь таким несчастным и бедненьким, беспомощно пожимаю плечами, досадливо отмахиваюсь. «А-а, все они одним миром мазаны... Чертова работа! Ничего я не добился!» — означает этот жест. Но на всякий случай я отворачиваюсь.

— И потому тебе не хотелось возвращаться домой? Да что они, с ума посходили, что ли?— возмущается она.

Я креплюсь. Задерживаю воздух в легких и чуть не лопаюсь от натуги. Искоса наблюдаю, как Ева кипит и пылает праведным гневом. Напускается на всех, кто стоит на моем пути, награждает их самыми ядовитыми эпитетами и честит почем зря. (Ах, это звучит как самая сладкая музыка!) Золотая ты моя девочка! Сколько пыла у моей Евы! (К счастью, ее хватает на все!) Щеки пылают, глаза мечут молнии. Наверное, я представляюсь ей солдатом, раненным на поле боя: еле волочусь, нога сломана, тело — сплошной шрам, а маркитантка Ева помогает мне идти. И для меня это — радость. Не могу сказать, когда она мне нравится больше, когда так вот кипятится или когда чуть не

захлебывается от смеха. По натуре она веселая, радость из нее прямо ключом бьет. Но умеет и приласкаться, словно кошка. А кот сидит рядом и урчит, довольный.

Ева, чертовка, вскружила мне голову, а ведь так недолго и совсем ее потерять! Но я отворачиваюсь и едва сдерживаю смех.

И тут Ева стихает и настораживается, заподозрив что-то неладное. И уже хватает меня за плечи, поворачивает к себе лицом и упорно, жадно всматривается мне в глаза.

— А ну, взгляни-ка на меня!

Я все еще притворяюсь сокрушенным, кусаю губы. Радость во мне бурлит, как подземный поток. И вдруг вырывается на поверхность... Актер из меня никудышный. Глаза и губы вечно выдают. А сейчас и вовсе радость жизни играет в каждой жилке.

— Ах, разбойник! — с облегчением вздохнув, треплет она мои вихры.— А я-то раскипятилась. Снова ты меня обхитрил. Так с чем же ты вернулся? Впрочем, можешь не говорить. И так видно. Ишь расплылся в улыбке.

И вдруг покатывается со смеху, лицо раскраснелось, крепкие белые зубы блестят меж красиво очерченных губ.

— И у тебя, что называется, рот до ушей,— сдержанно замечаю я,— могу поспорить, если бы не мешали уши, он бы растянулся еще больше.

— Конечно, так бы вот я и смеялась. А теперь расскажи, что произошло на самом деле.

Я уже не заставляю себя упрашивать и охотно все выкладываю. Она слушает.

— Очень я рада, Адам, что ты не поддался. Может, за это я тебя и люблю. Может... только смотри, не очень-то заносись... Может, этим ты меня и подкупил.

— Подкупил? — возмутился я.— Фу, какие шутки, Ева. Я тебя не подкупал. Только очень сильно тосковал по тебе.

— Полноте! — воскликнула она.— Ну да ладно, за это я тебе все прощаю. Но ведь целый день не давал о себе знать, а я тут прямо обмирала со страху! Куда только не звонила, да никто не мог мне сказать, где ты запропал. В следующий раз не забывай, что тебя ждут уже трое. Вот послушай-ка...

Взяв мою руку, она прижала ее к своему уже заметно округлившемуся животу. Но тут Томек потянул меня за штанину. Чтоб я посмотрел на дождевых червей и личинок. Одна из этих тварей извивалась в его пальцах, испачканных землей.

— Ах ты поросенок! — прикрикнула на него Ева.— Беги-ка в подвал и спрячь там это лакомство до рыбалки. И вымой руки, уже пора обедать!

— А когда мы пойдем ловить рыбу? — с замиранием сердца спрашивает Томек, и щечки его окрашиваются румянцем.

— Скоро,— обещаю я.— Когда начнется клев.

— И я поймаю большущую рыбину! — мечтательно восклицает мальчик.

— Ну, само собой. Только надо немножко обождать.

Глазенки маленького удильщика разгорелись. Они теперь как глубокие омуты, в которых плавают карпы, лини, плотвички и окуни, выпрыгивая из воды на гладкую поверхность. В его глазках все отражается как в волшебном зеркале.

— Подожди малость — пусть подрастут. А теперь беги, да поживее! — торопит его Ева. И, не оглядываясь больше на сына, она просто и доверительно прижимает мою ладонь к своему животу. Глаза ее плутовски поблескивают.

— Чувствуешь? Прислушайся-ка хорошенько! Тебе, Адам, все удается. У тебя любое дело спорится.

Она счастливо усмехается, а меня распирает от гордости!

— Доброе посей, доброе и взойдет...

— Что же, посев неплохой,— смеясь, говорит она. И прячется в моих объятьях. Золотисто-карие глаза ее сияют нежным, теплым светом. Счастливое, дышащее здоровьем и негой лицо Евы напоминает мне рассветное июньское солнце.

Прижав ее к себе, я молчу, у меня першит в горле.

— Ева, а не стоит ли тебе поберечься? — спрашиваю наконец.

— Пока что мне двигаться совсем нетрудно. Ты не бойся. Да и этому сверчку, что во мне, движения тоже на пользу. Пусть не привыкает за печкой отсиживаться. Ну, а теперь хватит. Мы с малышом проголодались. Пойдем-ка, Адам, с нами.

И тут я ощущаю чудовищный голод.

— А что ты приготовила?

— Увидишь. Сейчас все подам на стол.

Она ушла.

Я поджидаю Томека. Наверное, уговаривает себя не бояться темного подвала. Вспоминает про нас и пересиливает страх.

Опускается апрельский вечер, солнце прячется за горизонт. Смеркается, день уходит, он был удачным, добрым, полновесным. Я доволен. Не важно, как он начался, важно, как заканчивается, говорю я сам себе. Завтра с утра нужно позвонить насчет саженцев, послезавтра мы их привезем. Сейчас — лучшее время для высадки. А ведь оно бежит куда как быстро!

В душистом весеннем воздухе раздается свист дрозда. Я слушаю его с наслаждением... А в нос бьет аромат картофельной похлебки с грибами, перебивая запах разбуженной весенней земли. Перепачканный Томек вылезает наконец из подвала.

— А ну-ка, лещ, вылезай, попался, брат! — поднимаю я его.

Он отбивается, дрыгая ножками, и смеется. Прыгает, как лещ на крючке.

И тут слышится голос Евы:

— Ну так что же, голубчики! Долго мне вас еще ждать?

IV. Как это было в нашем раю

Наработались мы вволю. Мокли под дождем, жарились на солнце. Прореживали, опрыскивали, удобряли. Заменяли старые, давно взращенные высокоствольные сорта яблонь на низкорослые, насаживали новые вишневые плантации. Обносили забором тысячи новых молоденьких и слабеньких селекционных саженцев для защиты от острых зубов кроликов и зайцев. Наша персиковая плантация расширялась год от года.

Молодые деревца пока не родят, но они принялись. Свежие молодые веточки удлиняются, тянутся вверх и в стороны, покрываются листочками. Их низкие кустообразные макушки напоминают улыбчивых девушек с перепутанными кудряшками локонов. Приятно посмотреть. Первые персики, которые посадили мы с Евой, быстро взрослеют, набирают силу. Мы не оставляем их без внимания. На будущий год они должны принести плоды.

Над нами до сих пор смеются. «Зряшная работа. И чего ты с ними возишься? И Еву запряг. Хотите решетом воду вычерпать!» Ну и черт с ними. Мы-то видим, что дело идет на лад. Что же нам помогает не отказаться от него? Уверенность, что оно полезно и нужно всем,— это во-первых. А во-вторых, необходимость доказать и самим себе, и всякому неверующему, что трудовые руки, творческий ум и стойкая душа — залог успеха в большом и полезном деле.

Я ползаю с заступом по травянистому склону, а воображение продолжает работать, рисует радужные картины, одну заманчивее другой. Разве, выкапывая яму и сажая в нее молоденький прутик селек-

ционного растения, трудно вообразить себе, как это деревце уже зеленеет, цветет и плодоносит? Разве мысленно ты не собираешь уже красноватые, золотисто-желтые, коричневые, мраморные или розовощекие, сочные, душистые фрукты? Не ощущаешь их на своей ладони и не глотаешь слюнки? Разве, засевая хлеб, не думаешь о жатве и об урожае? А когда возводишь стену — не представляешь себе всего дома? А если у тебя есть возможность еще и поделиться этими своими фантазиями с родным и близким человеком — иногда менее, иногда более близким, как, скажем, Ева,— разве тогда не стараешься, не напрягаешь силы еще охотней?

Вот уже пятый год мы вместе. Славно все получилось. Своим смехом и воркотней Ева наполняет и дом и сад. Она любит повеселиться, попеть, но и поругаться, если надо излить свой гнев. Даже острое (а порой и соленое) словцо не смущает ее слуха. Мы с ней понимаем друг друга. Улучив свободную минуту, она, как и я, любит побродить по благоухающей земле, рощам и лесным посадкам Роудницкого края, пройтись по золотисто-зеленым переливчатым полям. Окидывает взглядом каждый цветок язычески огненного мака, а под окном, меж грядами капусты, из года в год зажигает летом круглое солнце подсолнечника — на случай, если вдруг солнце скроется за облака...

Любит она и посидеть на берегу Лабской запруды с удочкой в руках и тут же отведать свежей, только что выловленной, на угольках испеченной рыбки. И Ева и дети любят наши рыбацкие экспедиции. Еще одна добродетель украшает Еву: она умеет готовить. К примеру, до хруста поджаренные картофельные лепешки с тонкими ломтиками свежих грибов (этот рецепт мы придумали вместе: у меня при одной мысли о нем сосет под ложечкой). Кладовка и холодильник у нас всегда полны... Конечно, она любит и умеет со вкусом одеваться. (А кто из женщин этого не любит?) И я ничуть не возражаю. Напротив. Сам этого хочу. Разве Ева не моя гордость? Когда она идет по улице своей упругой, легкой походкой, редко кто не обратит внимания — иногда с удовольствием, а то и с завистью — на ее стройные ноги.

В саду Ева уже давно освоилась и чувствует себя совладыкой (он ведь в равной мере принадлежит и ей) этого королевства. Лодырей, которые спешат поскорее отделаться от работы, а то и портят ее, она тотчас поставит на место: сама она никакого труда не боится. А что до хомута, в который я будто бы ее впряг, как говорят некоторые, так на это я отвечу вот что. Свои бесконечные анализы и графики, химикалии, пробирки и дощечки Ева с великим удовольствием меняет на работу в саду; здесь она отдыхает. Берет мотыгу и сажает новые деревца, садится на трактор и развозит искусственные и естественные удобрения, обогащает почву. Но больше всего кружит у деревьев, которые мы сажали вместе. Скорее всего ради меня (такие мысли я самодовольно внушаю себе). Но это, конечно, шутка! Просто Ева делает что ей нравится — любит поработать, любит поесть, а иногда и рюмочку выпить. Тут мы тоже понимаем друг друга. Да, как бы не забыть: она преисполнена сатанинской гордости за то, что мы делаем вместе. (Горе несчастному, кто вздумает чинить нам неприятности в работе!) Неужто этого недостаточно? Но, по правде сказать, иногда мне думается, что Ева не столь выносliва, сколь упорна. У нее своя голова на плечах; снедает ее молодой, только что ею в себе открытый и разбуженный задор. (Иногда мы ссоримся — чаще всего из-за того, что нужно было бы сделать или уже сделано; она всегда пытается настоять на своем. Спасибо ей за это. Жизнь тотчас становится веселее!)

Как-то мне захотелось ее немножко подразнить. Я припомнил книгу Чапека «Год садовода». Книгу о том, как стать завзятым садовником. Это, оказывается, очень просто! Прививаешь, подстригаешь веточки и вдруг — такой неумеха! — оцарапаешь себе палец. Через кожу в кровь попадет нечто вроде отравы — и вот одним одержимым садоводом на свете стало больше.

— А ведь тут что-то есть! — отозвалась Ева и прикрикнула: — Не смейся! Я и не представляла, что во мне тоже сидит такой вот фанатик! Мне всегда нравилась жизнь, Адам, но только теперь я ухватила ее за вихры. А я, дурочка, еще раздумывала! Годы ухлопала, чтобы с утра до вечера делать анализы почвенных образцов, и только теперь поняла, что к чему. Когда у меня тут же, под рукой все растет, цветет и плодоносит. И где только у меня глаза были!

Я усмехаюсь, а на сердце тепло. Черенок прижился. Тот, что главнее всех. (Привил на совесть, Адам,— похваливаю сам себя.) Моя радость, вбирая в себя радость Евы, ширится и растет. Сок из двух корневых систем брызжет сильнее, много сильнее, чем из одной...

Однажды осенью я вернулся домой поздно. В областном центре созывали актив. Что там разбирали — убей бог, не помню. А тут еще Гавелка, наш новый директор, попросил меня выступить в прениях. Я наболтал с три короба. Или чуть поменьше. От волнения мысль работала быстро и четко. Вот тогда-то и родился наш проект...

Странное дело. Живешь в своем углу. Живешь долгие годы, каждый придорожный камень, каждую межу, каждый куст знаешь, и вдруг наступает мгновение, когда знакомые места предстают по-новому, обнаруживают новые свои возможности, новые, прекрасные формы. Уезжая из дома на собрание, я еще от ворот окинул взглядом по-осеннему бурые склоны противоположной долины, где были раскиданы лесопосадки, а на пограничных межах полей рос кустарник.

И меня осенило: ведь на всем этом пространстве могли бы протянуться сплошные ряды деревьев, один огромный сад, кладовая наших дивных плодов! Эта мысль настолько завладела мной, что все остальное я послал к черту.

Дело обстояло так: сразу за оградой нашего сада, на другой стороне большака — несколько гектаров приусадебной земли соседнего кооператива. Земли совсем мало — восемь, десять гектаров, не больше. А за ней чуть не до самой Лабы тянется широкая, как блюдо, ложбина. Десятки гектаров пологих полей Калешовской фермы, простирающихся вокруг бывшей усадьбы князей Лобковиц. Жалкое стадо, каких-нибудь восемь десятков плохо обихоженных коровенок — и это на такие вот обширные владения, словно самим господом богом предназначенные для огромного фруктового сада! Соединив оба наших хозяйства, мы создали бы современный специализированный садоводческий ареал. Интенсивно возделываемые плантации плодовых культур. И конечно — персиков.

Когда я вернулся с актива, Ева уже спала. Я разбудил ее. Сел, не снимая пальто, на край кровати и потряс ее. Она испуганно встрепенулась спросонья, не поняла, в чем дело, зажмурилась, терла глаза.

— Случилось что?

— Случилось.

Увидев меня в пальто, она, готовая к новым неприятностям, приподнялась на локте. И я, спеша и волнуясь, выложил ей все мои новости, все соображения, весь мой проект.

Она поняла не вдруг, какое-то время молчала и испуганно смотрела на меня. И только немного погодя смысл моих слов дошел до нее.

— Погоди.— Ева села на постели.— Повтори-ка все еще раз сначала.

И задала мне несколько вопросов. Очень существенных и деловых (кстати замечу: просыпаясь, она бывала куда более деловой, чем вечером, когда готовилась ко сну).

— Каких размеров, по-твоему, должен быть сад?

— Ну, скажем... около сотни гектаров. А кроме того... Там, на окраине, можно прихватить еще чуток земли у Крабчицкого и Добржиньского хозяйств. Хорошо бы подровнять территориальные границы...

— Так далеко лучше не заглядывать,— прервала меня Ева.— С этакими идеями тебя отовсюду в три шеи погнали бы. И хлопот не оберешься, ты не находишь? Перебрасывать ферму, строить при ней коровник, а кроме того, вкладывать деньги в новый сад.

— Само собой. Без труда и без денег ни одно крупное современное производство не организуешь... А садоводство уже давно пора перевести на современные рельсы. Конечно, это в перспективе, но и перспективный план тоже следует разработать.— Обхватив Еву за плечи, я снова со смехом встряхнул ее.— Вот видишь! Сдвинуть с места удается лишь то, за что можно ухватиться, взяться руками, потрясти! Понимаешь?.. Целые десятки гектаров зерновых культур, свеклы, картофеля, овощей, невиданное крупномасштабное производство, а мы должны все еще жить по старинке? Мелкому производству конец. Его давно пора послать к черту! Да разве в прежних условиях можно применить достижения науки, механизации, техники в полной мере.

Ева молчала.

— Успокойся,— сказала она чуть погодя.— Поди-ка сними и повесь пальто.

Когда я вернулся, она сидела на краю постели, спустив ноги на коврик и подперев голову ладонями.

— И как ты хочешь это сделать? — спросила она.

— Очень просто. Взять и сделать. Провести анализ структуры почв и на его основе, а также с учетом наклона местности рассчитать площадь отдельных участков, ввести уже проверенный состав выращиваемых культур и подсчитать предполагаемую прибыль. То есть разработать и предложить руководству госхоза проект ведения такого хозяйства.

— И ты уже все продумал?

— Нет, не все. О том и речь. Вот теперь мы это и сделаем.

— Кто это мы? Кто сделает?

— И ты еще спрашиваешь? Ты да я. А потом вся наша бригада.

Всплеснув руками, она удивленно заморгала.

— Ну, чего молчишь? Слышала, что я сказал?

— Как не слышала?..— Она запнулась.— Да я просто дух перевести не могу!

Ева долго молча смотрела на меня. Но постепенно лицо ее стало оттаивать, оживать. А губы... Ох, эти губы... Любое волнение прежде всего отражалось у нее на губах. Раньше, чем во взгляде... Странные, особенные у нее губы. Бывало, заколотится у нее сердце — и они становятся пунцовыми от прихлынувшей крови. По подвижному рисунку рта я могу прочитать ее мысли отчетливее, чем если бы они были выражены в словах. Трогательные подрагивания ее губ всегда выразительнее слов, начертанных большими буквами. Бегущая, световая газета в темноте ночи... Только потом вспыхивают глаза... Губы у Евы живут как бы сами по себе.

— Ты считаешь... Ты на самом деле думаешь, что мы это осилим? — спросила она. А на ее губах уже читался ответ.

— Разумеется, осилим,— сказал я, подсаживаясь к ней.— Мы знаем, чего хотим. Преодолей, пробейся, не прислуживайся,— продекламировал я свое любимое изречение.

— Да ради такого дела я готова и прислуживаться. Лишь бы удалось.

Ева одушевилась. Идея увлекла ее. Я это видел, я знал, что так будет.

Для нас начались дни и недели неустанной работы — бесконечными вечерами, по субботам и воскресеньям. Столы и шкафы, забитые книгами по садоводству (я привозил их из Праги); груды бумажек

с моими выписками, заметками и анализами. Ева целыми днями пропадала в поле и на межах. Отбирала образчики почв, сортировала их, анализировала, сравнивала. С некоторыми даже сама ездила в Мельник, в лабораторию, где работала прежде. Боялась, как бы чего не напутать. Собственноручно нанесла на карту все разновидности почвенной структуры, и когда наконец разложила передо мной на столе эту пестревшую разными красками картину, глаза ее прямо так и полыхали. Склоняясь над разноцветной мозаикой квадратов и прямоугольников, над причудливыми эллипсами, заштрихованными земляничнокрасной, бледно-коричневой, бледно-зеленой краской и желтью — на местах произрастания ржи, картошки, свеклы и люцерны, и все это там, где пока что были лишь травянистые берега, заросшие кустами терновника, шиповника, боярышника,— мы видели, как у нас на глазах поднимается сад. Ева уже вдыхала, впитывала в себя аромат сочных, вызревших фруктов, и ноздри ее так и трепетали... Мы уславливались, какой участок отдать под персиковые плантации, где провести границу вишневых посадок, откуда и куда, по каким местам должны протянуться полосы яблоневых пальметт. Мы ссорились, спорили, пока наконец не приходили к согласию. Чудесные дни... Словно сейчас слышу, как она говорит: «Знаешь, такое чувство, будто до смерти устала, а все же, когда подходит вечер, жалеешь, что день окончился и больше нет сил, и не можешь дождаться утра, чтоб начать все сначала».

Часам к десяти вечера мы были голодны как волки. Мгновенно появлялись поджаренные шницели, хлеб и соленые огурчики. (Известное присловье: «Соленье творит веселье».) Чай. Во время работы — никакого вина, ни-ни... Золотистая струйка меда, тающего в огненном, обжигающем, золотистом чае, поданном в стакане. Чай Ева всегда наливала в стаканы: она наслаждалась всем — цветом, ароматом, вкусом этого напитка.

Еще какое-то время мы работали, а потом принимали ванну. Впрочем, Ева признавала только душ — стремительный ток горячей, а потом тепловатой воды, растекающейся по всему телу. Я же до краев наполнял ванну приятно теплой водой, а потом обливался холодным душем. Потом — еще часика два поработать. И наконец добраться до постели.

Ева спала как убитая. Сон у нее всегда был глубокий. Но в ту пору утром ее просто нельзя было добудиться. Она медлила, потягивалась, вставала с черными кругами под глазами. Если нужно было уходить, клала на веки примочки...

И вот однажды вечером работа была закончена.

— А теперь иди ко мне,— сказала Ева, угнездившись в постели после очень холодного на сей раз душа. И счастливо, широко мне улыбнулась.— Деревьев мы уже напрививали вдоволь.

Общая работа, взаимная любовь и страсть сроднили нас. В эти дни и ночи, среди смеха, боли, крика, в пору печалей, радости и наслаждений кровь наша смешалась. Она бурлила и полнилась жизнью не только в нас. На свет появилась Луцка!

Луцка!

Вижу ее... улыбчивую крошку с вьющимися каштановыми волосиками (их она получила от меня), с ротиком ярким, словно клубника, щебечущую, словно ласточка. Неуемную, вездесущую лепетунью. Чего не знает, тут же и придумает. Присела за домом на корточки, дует на седую головку одуванчика, а когда семена взлетают в прогретый солнцем воздух, принимается их ловить.

— Куда они летят? — спрашивает малышка. Она не достает мне даже до колена.— А почему каждый пушок летит отдельно?

— Так рассеиваются семена,— поясняю.— Там, где упадут они на землю, вырастут новые одуванчики, расцветут новые золотистые цветочки-солнышки, чтобы всем на свете стало веселее. Все, что растет, бегает, летает либо плавает, любая травинка или дерево, всякая птаха, бабочка, рыба, раки и лягушки, любая зверушка на нашей земле появляются на свет своим способом. Либо прорастают, либо вылупливаются из яичка, или родятся.

— И я?

— И ты.

— А как родилась я?

— Ты?

Озадаченно поднимаю брови, оглядываюсь на Еву.

Ева наклонилась над корзиной с мокрым бельем, собирается отбеливать простыни и пододеяльники, и тут вместо нас отзывается Томек. Ухмыльнулся, глядя на Луцку (вечно у них схватки: ему иногда приходится за ней приглядывать), и кричит: «А ты родилась от гусыни!»

Этому проказнику уже кое-что известно, вот он и насмешничает. Однако на всякий случай, ухватив намазанную топленым салом краюху хлеба в три пальца толщиной, он кубарем скатывается в свой партизанский бункер, сооруженный из старых ящиков из-под фруктов.

— Ах, негодник! Это я-то гусыня? Вот я тебе задам! — грозится Ева.

С виду сердится, а сама готова расхохотаться.

Луцка стоит, словно громом пораженная. Глядит перед собой неподвижным взглядом, морщит лобик и что-то сама про себя лопочет, губы у нее чуть заметно шевелятся.

— Наверное, поэтому,— произносит она заикаясь, голосом, полным ужаса,— наверное, поэтому у меня еще бывает гусиная кожа?

Мы хохочем. Ева, по обыкновению,— от всей души, взахлеб.

— Не верь ему, Луцка. Этот проказник Томек опять смеется над тобой. Ты родилась так же, как и он,— из моего животика.

— Как крольчонок?

— Да.

Луцка снова на секунду задумывается и вдруг спрашивает:

— А у тебя там еще кто-нибудь есть?

Я отворачиваюсь. Меня душит смех. Из глаз Евы брызжут обжигающие, веселые искры.

— Этого я еще не знаю, малышка,— просто отвечает она.— Ну, а теперь довольно. Марш отсюда. Опять мне белье испачкаешь.

Волосы у Евы рассыпались, разметались по лицу, плечи и руки у нее загорели, влажная, соблазнительно облегающая майка прилипла к телу, юбка намокла. Она раза два встряхнула мокрой простыней.

— Пойдем, Луция. Лучше исчезнуть вовремя. А то нам может и попасть!

Зима. Стужа стоит лютая, треск кругом: дает себя знать наш заклятый враг — бесснежный мороз. Вот уж неделю я днем и ночью не спускаю с неба глаз. В небе — низкое стылое солнце и холодные мерцающие блестки звезд. Встаю среди ночной тишины — посмотреть, сколько градусов. Дышу на замерзшее стекло и осторожно, чтоб не разбудить Еву, иду в прихожую — зажечь лампочку на фронтоне дома. Ее свет падает на термометр. Увидев съежившийся от мороза, упавший ртутный столбик, беспомощно вздыхаю. Окно уже снова затянуло инеем. Снова дышу, протираю ладонью... Вижу серпик месяца. Висит на небосклоне, колет меня в сердце, студеный, словно ледяная сосулька; возвращаясь в прихожую, я гашу свет, снова забираюсь в постель.

— Сколько там? — спрашивает Ева. Она тоже не спит.

— Уже снова двадцать два, так и держится.

— Господи боже мой,— вздыхает Ева.— Да когда же настанет конец этим морозам?

Стужи Ева не любит, она существо теплолюбивое. На морозе у нее тут же зябнут руки, краснеет нос. Последнего она, как женщина, совсем уж не переносит. К тому же простудился Томек. Набегался на морозе и теперь лежит с температурой в соседней комнате, покашливает. На время его болезни Луцка со своей постелькой перебралась к нам. Спит...

А меня сон не берет. Ворочаюсь с боку на бок. Смотрю на себя со стороны, как на оставленное душою тело. Несколько дней уже ничего не делаю, только обхожу дозором сад; осматриваю все деревца и заботливо, осторожно привожу в порядок их зимнее одеяние. Терзаюсь тревогой и страхом, особенно за персики. В этом году те, первые, что мы высадили вместе с Евой, должны были бы принести урожай. Я могу присягнуть, что по той же причине и Ева впала в уныние и растерянность. Лежит рядом молча, но я-то знаю, что ей тоже не спится.

Мы оба молчим, а на улице крепчает, лютует мороз...

Днем небо расчистилось, но ясный день кажется мне черным. Уже из-за одного того, что ртуть в термометре почти не шелохнулась. Потом Ева затеяла большую стирку, а на это время я предпочитаю сбежать из дома. Но куда денешься в этакую погоду? Из сада стужа тут же загонит обратно в тепло. А мне очень хотелось бы смыться, потому что Ева не в духе. Бывают у нее раз в месяц такие дни. Иногда она переносит их покорно, словно раздавая всем вокруг свою болезненную и страдальчески терпеливую нежность. А то становится раздражительной, словно ни с того ни с сего в нее вселяется бес. В такие моменты она как бы говорит: «Ага, на вот, получай и ты тоже. Неужто нам одним нести проклятый крест несчастной женской доли?»

Сегодня у нее именно такое мрачное, нервное состояние. Она поминутно одергивает Томека. Ему скучно, кровать опостылела. Луцка снует то туда, то сюда, вертится под ногами. А Ева крутится возле бака. Вот и опять. По-моему, она просто придумывает, на ком бы сорвать злость... Или демонстрирует, что она вот не покладая рук трудится, а я попусту теряю время над бумажками.

Время тащится невообразимо медленно... Пообедав, подхожу к постели Томека. Приношу ему чаю.

— Ну, хоккеист, как дела?

(Этой зимой парнишка решил стать знаменитым хоккеистом, каких свет еще не видывал.) Но Томек молчит. Не слышит. Не замечает даже, что я подошел. Углубился в чтение — книгу для него я подыскал у себя в библиотеке. «Овчарка Казан» Кэрвуда. В его возрасте я очень ее любил. Томек тоже сразу с головой ушел в чтение. Как много пользы в свое время принесла мне такая увлеченность! Мальчик живет образами книги, они волнуют его, вместе с Казаном и серой волчицей он мчится по неведомому и суровому, дикому краю. Теперь обнаруживает следы большой, сильной рыси... Дрожит за судьбу избитого, почти парализованного Казана. А вот собственноручно наказывает негодяя и преступника... Он силен и отважен, он знает, что в жизни нужно отвечать ударом на удар; наказывать злодеев, чтобы добро одержало верх.

— Томек!

Чай с медом и лимоном, который я ему принес, уже остыл.

Он ничего не слышит, потому что вокруг — яростный лай и завывание волчьей стаи...

— Ну-ка, выпей!

Я протягиваю ему кружку. Он машинально берет ее в руки и отхлебывает. Глаза горят, сердце бешено колотится. Я наблюдаю за

ним... И тут мне начинает казаться, что это я сам. Как не вспомнить, глядя на него, картину из собственного детства...

И вдруг из коридора доносится вопль.

Открываю дверь. Луцка — мокрая с головы до ног, с большой деревянной мешалкой в руке; испуганное личико залито слезами.

— Ты только погляди на эту мартышку. Ты только погляди, что она опять натворила, эта твоя Луция! — восклицает Ева.— Я замачивала в ванной белье, она видела, что я сыплю в воду порошок. И вот теперь, когда уже все выстирано, осталось только прополоскать — ты думаешь, что она учудила? Стоило отвернуться, как она всыпала в ванну сахарный песок. Это она хотела мне помочь! Посмотри, как она выглядит! Что за вид! Придется ее переодевать, а белье перестирывать заново.

Отобрав у Луцки мешалку, Ева шлепнула ее по попке. Какой тут поднялся крик!

— Я ведь хотела помочь, ты сама говоришь!

— Какая же это помощь! — возмущается Ева.— Не знаешь, за что теперь и приниматься. А ты ее больше защищай! Проклятый мороз! — выговорилась наконец Ева, отведя душу.

Я взял Луцию на руки — утешить. (У кого достанет сил выдержать детский крик?) И Ева тут же набросилась на меня:

— Балуй, балуй! А ну, спусти ее с рук, пусть спрячется в уголке и ревет на здоровье. От нее не убудет! — кричит Ева.

Вдруг раздается стук в дверь.

Это Олдржих. (Умеет ведь человек выбрать подходящее время.)

Ева, с мешалкой в руках, метнула на него сердитый взгляд: этого еще здесь не хватало.

— Ну, беги! — подтолкнула она Луцию.— Да поскорее, надо тебя переодеть. И сядь у печки, а то и ты простудишься!

Ева повела дочку в кухню.

Олдржих приободрился.

— Вот, зашел.— Он запинается, не зная, что сказать еще.— Проходил мимо... Дай, думаю, загляну, посмотрю, как ты тут поживаешь.

Он вздохнул.

— Эти бесснежные морозы — хуже нет. Если так и дальше пойдет...— Голос его прозвучал похоронным звоном.

— Не каркай! — обрываю я, хотя знаю, что его искренне волнует судьба моих персиков.

После нашего похода к первому секретарю, когда Ситарж признал мою правоту и благословил мои планы, в добрую минутку, за стаканчиком вина, я открыл Олдржиху, какую важную услугу он мне оказал, когда, торопясь на свидание (имя Евы я не произнес), по рассеянности (так я выразился) забыл взрыхлить землю вокруг нескольких десятков персиковых деревьев — только накидал вокруг стволиков грунт. И поблагодарил его от всего сердца. Он некоторое время тупо смотрел на меня, а потом просиял.

— Так, значит, это из-за меня все обернулось удачей? Ну, я рад,— твердил он и с тех пор тоже считал себя создателем нашей плантации. Я не разубеждал его. Пусть себе. (Позже нам легче стало договариваться о всяческих бумажных, бюрократических делах. Он помогал мне или по крайней мере не мешал. И то хорошо — если иметь в виду постоянное вмешательство Паточки.)

Время от времени Олдржих навещал нас. Но я-то хорошо знал, что делал он это не столько ради меня и благополучно приживающихся персиков... Кстати, Олдржих женился вскоре после меня, и мы стали соседями. Но, как это часто бывает у слишком разборчивых людей, он, что называется, довыбирался. Жена его вечно ворчит, вечно недовольна, всего-то ей мало, всего-то ей недостает. Мой бывший соперник-петушок быстро лишился своего гребешка. Он в своем доме не хозяин. (Да в своем ли — дом-то он тоже себе «сосватал»:

получил благодаря женитьбе.) И порой ему требуется обогреться и немножко взъерошить мокрые, свалявшиеся перья! Что-то влечет его в наш дом.

Мы уселись за стол и налили горячего чая. Олдржих промерз. И держа кружку обеими руками, не спеша отхлебывал. Мы посетовали на погоду, на суровую зиму, от которой житья нет, потом, как водится, перешли на политику, на то, что творится в мире. И меж тем прислушивались, как Ева энергично, все еще кипя злостью, полощет в ванной белье. Я очень живо представил себе, что теперь у нее на уме. «Ах окаянный, опять он здесь!» (Олдржих целый месяц не заглядывал к нам, но Ева в таких случаях не замечает, как много прошло времени, ей этот гость не мил.) «Ни на что не пригоден — ни дома, ни на работе. Только языком трепать. А если потрепаться негде, плетется к нам. Никчемный человек. Кто умеет, тот дело делает, а кто дела не знает — тот берется поучать».

Мы допили чай. (Я не дал бы голову на отсечение, что Олдржих не уловил этих ее нелестных мыслей. Во всяком случае, вскоре он, медленно и неохотно, стал собираться. Сегодня он чувствовал себя у нас очень скованно и напряженно.)

— Ну я пойду, Адам.

Мне казалось, что белье чем дальше, тем яростнее шлепает о ванну.

Я заглянул в кухню. Луция, лежа на полу, играла в кубики. Она уже позабыла о происшествии. И, довольная, что-то лепетала про себя.

— Немного провожу тебя, Олдржих. Глотну свежего воздуха.

Ева выглянула из кухни с какой-то тряпкой в руке, обожгла меня взглядом. Я надел теплый овчинный полушубок, натянул ушанку, но все равно расслышал, чем она нас провожает:

— Это ты умеешь. Знаешь, когда исчезнуть. Свежий воздух ему понадобился!

— Сдается мне, Адам, что жизнь у тебя тоже не мед.

Олдржих вздохнул, но в тоне, каким были произнесены эти слова, слышалось и облегчение. Он мигом почувствовал себя свободнее, непринужденнее. Но ощипанный, помятый петушок попал пальцем в небо. По обыкновению.

— Какое там, милок. Мед я с удовольствием лизну разок-другой, но, по-моему, он чересчур приторен. А я люблю блюда поострее — и постные и жирные. После сладкого торта — солененького огурчика. Людям нравится, когда еда у них разнообразная. А если на столе одно и то же, то недолго и штаны потерять.

Чтобы переменить разговор, Олдржих, нервно вздохнув, предложил зайти куда-нибудь погреться — для прогулок по этой «Сибири» сейчас слишком студено.

В своем монологе насчет разнообразной и питательной еды я несколько переборщил; да и какие тут ораторские приемы, коли из головы не идут заботы и хлопоты о саде. Прикидываешься удальцом, а на сердце кошки скребут.

Сославшись на неотложную работу, я у ворот распрощался с Олдржихом. Мне хотелось побыть одному.

Куда еще могли понести меня ноги, если не в сад? Я прошелся по рядам пальметт, придирчиво осмотрел каждый низенький крепенький побег; проверил грунт — достаточно ли он высок, не подсыпать ли? Будь моя воля, я обогрел бы деревца взглядом! Мороз лютует, кусает за нос, за щеки. Обжигает ледяным дыханием, так что на глазах выступают слезы. Смахнув их, я вдруг подивился, какая кругом красота.

Пробившись сквозь завесу утреннего тумана, солнце осветило ветви и веточки, укутанные хрупкими иголками инея. На траве

и мерзлой земле — всюду сверкают, переливаясь, ледяные кружева. Спящий сад — в ослепительном драгоценном убранстве. Сказочное царство волшебницы-зимы. Но как радоваться этой красоте, если ты не уверен, вернется ли в эти тоненькие прутики жизнь, наберутся ли они сил и расцветут ли... Я касаюсь персиковых веточек, усыпанных зародышами почек, покрытых инеем. Господи боже мой, долго ли еще продержится этот бесснежный мороз?

Я выбрался из сада, охваченный тоской и отчаянным бессилием; голова и руки просят работы, сердце горит желанием приносить пользу, а ничего поделать нельзя.

Под моими ногами со звоном и хрустом — так хрустят кости скелетов — ломалась трава. Вокруг простирались заиндевелые пашни, низкие белесые всходы озимых.

Сам не зная как, я очутился у скованного льдом Чепеля. Да, именно сюда, на берег этой речушки, бегал я в детстве по холодной росе за улитками и червяками после дождя, прошедшего накануне ночью. До сих пор все мое существо помнит эти студеные серые утра, острый, одуряющий аромат и прохладу, исходившие от высокой мокрой травы, зарослей лопуха, от лебеды, крапивы, от ивняка, увешанного крупными дождевыми каплями. Капли были блестящие и тяжелые, как ртуть. Раздвинув высокие листья лопухов, мокрый с головы до ног, я искал под ними скользкие следы и собирал улиток до тех пор, пока отцовская корзина из-под картофеля и моя полотняная сумка не наполнялись доверху. Мы высыпали улиток в загончик, сооруженный отцом во дворе, и до первых морозов я подкармливал их лопухами. Потом улитки закрывались в своем сероватом прочном домике, а мы ждали, когда их заберет у нас перекупщик Цулик и пошлет во Францию. Сколько же мне тогда было лет? Да столько же, сколько сейчас Томеку. Но у отца, которому нужно было прокормить нас и вырастить, заботы были потяжелее, чем у меня теперь. Фабрику на время закрыли, и он потерял работу. Денег, вырученных за улиток («И как это людям может быть по вкусу?» — звучит у меня в ушах его ровный удивленный голос), хватило, чтобы купить мне пальто, а маме — покрыть расходы по хозяйству. («Когда-нибудь у нас все наладится,— уверенно говорит он. — Вот увидишь. Тогда мы устроим здесь все по-новому. Дорого это нам обойдется, но ничего не поделаешь, ничего не дается даром. Главное — не терять головы».)

Мне вдруг стало очень стыдно перед отцом за малодушие, охватившее меня сегодняшней ночью: вдруг пришло в голову, что если персики снова померзнут, то моим попыткам их вырастить у нас придет конец. А все из-за Паточки.

Я пытался его понять. Отчего он такой? Родом из тех бесправных бедняков, которые искони мечтали перестроить мир так, чтобы все распределялось поровну, поскольку желудок у всех одинаковый. Извечный лозунг уравниловки. Его выдвинули еще до Маркса и до сих пор не сняли. Велика ли беда, что всякие бездельники, лодыри и прихлебалы живут за счет прилежных, трудолюбивых, рачительных людей, пользуясь плодами их тяжкого труда? А Паточка с подозрением относится ко всему, на что еще не было директив и указаний от соответствующих инстанций. Он убежден, что этак он лучше всего защищает наши завоевания. И он не один... Таких много, и похожи они друг на друга как две капли воды. Объявляют себя единственными стражами нашего святого дела. Ах, черт побери! Была б их воля, они сожгли бы каждого, кто смеет думать иначе. Теперь он относится ко мне по-дружески — словно мы вовсе и не ссорились. Больше того, вчера, увидев меня в тулупе, с багровыми от мороза щеками, пригласил к себе в канцелярию — попить чайку. Расспрашивал о том о сем; чаще всего напоминал про наши успехи, про золотые медали, полученные в позапрошлом году в Вене и Будапеште. В странах, славящихся культурой выращивания плодов. Паточка не скупился на улыб-

ки, был сама любезность, но я-то знаю, что он не забыл обиды, нанесенной ему, когда решался вопрос о персиковой плантации. И это в конце концов проявилось. «Ну и как? — спросил он, когда мы допивали чай.— Как зимуют персики, Адам? Проклятые морозы! Ну, ничего, ничего, как-нибудь обойдется. Обойдется!» Это прозвучало издевкой, скрытой насмешкой.

Он оставил меня в покое, поскольку знает, что, пока на моей стороне Ситарж, я в безопасности и для него недосягаем. Но внимательно следит за моими действиями. Проверяет все, распорядился, чтобы руководство госхозом посылало ему сведения о результатах ведения хозяйства, статьи прибыли и издержек. С точностью до последнего геллера знает, что из года в год у меня увеличиваются расходы на персиковую плантацию. Подсчитывает и выжидает. Ждет удобного случая, чтобы изобличить меня во вредительстве и указать мне мое место.

Если персики не выживут, он отправит на костер меня, а вместе со мною и Ситаржа. Он терпеть его не может, я это знаю, случай с моими персиками не единственный, когда Ситарж «распорядился по-своему». Вне всякого сомнения, Паточка воспользуется и этой оказией. Воспользовался бы... Непременно... А что будет потом с персиковым садом? Проклятущие морозы!

Я огляделся. Куда это меня занесло? Сколько я прошагал по этой до звона промерзшей, до последней межи знакомой земле? Давно протоптана в поле дорога, с обеих сторон ее обрамляют искривленные холодными ветрами рябины, покрытые ледяной коркой. И ни единой души вокруг. Да и кому придет в голову бродить по пустынным полям в этакую стужу! Только вороны перелетают с места на место; опускаются на груды затвердевшего навоза. Мороз набирает силу, так что все кругом хрустит.

Я люблю гулять — и в мороз, и в метель, да и в дождь. Люблю сразиться с ветром, когда он хлещет тебя, и набрасывается словно бешеный, и норовит сбить с ног, а ты наваливаешься на него всей грудью, как на дверь, и проламываешь себе путь. Идешь сквозь ветер, медленно продвигаясь вперед, хотя перехватывает дыхание и невозможно выговорить ни слова...

Но сегодня мне бы очень, очень хотелось, чтобы уже наступило лето и можно было убедиться, что деревья пережили зиму, что они зацвели, что на них завязались плоды... Я тоскую по солнцу. Тоскую... Тепло и солнце... Солнце... Я словно уже ощущаю его тепло, даже в этакий морозище его свет разливается по моему лицу.

Сколько же мне было тогда? Шестнадцать, семнадцать? Я сидел с барышней на опушке акациевой рощи, на прогретой солнцем траве. В переливчатом, дрожащем мареве плыл колокольный звон Ржипской часовни... Вдруг поднялся ветерок. Сперва потягивался, медленно разгуливаясь по косогорам среди полей. И я увидел, как над узким длинным полем, прямо под нами, от колосьев оторвалась нежная, густая, пронизанная солнечными лучами вуаль. Как раз цвела пшеница. Желтая пыльца струилась легкими волнами, переливаясь над полем. Это походило на вздыбившееся, но бесшумное желтое море. Я вдруг почувствовал, что все оно охвачено беспокойством. Пыльца кружилась в воздухе, а жаждущие клейкие рыльца колосьев жадно ее захватывали и вбирали в себя. Миг животворного, живительного размножения, вихрь оплодотворения жизни...

— Глянь-ка,— глухо произнес я, обращаясь к барышне. Теперь завеса была особенно густа, и ветер, словно кружа ее в танце, распылял, заносил и на соседнее картофельное поле; ботва вдоль межи засветилась желтыми пятнами. Эта желтоватая, колеблющаяся пыльца олицетворяла собой дыхание земли. В воздухе жужжали насекомые; издалека доносился звон косы — внизу на лугах косили траву.

— Тут трудно дышать,— проговорила барышня и встала.— Пыльца лезет в нос и садится на кофточку. Еще пожелтеет. Пошли отсюда!

Эта барышня и еще несколько других — все это были пустые увлечения.

Объявятся, ненадолго взволнуют сердце и незаметно испарятся — я давно уже забыл их имена...

Воспоминания улетают, и я снова переношусь мыслью к своим персиковым деревьям. Ведь все, что мы проделали, что я придумал за два опытных года, защищает деревца от морозов, помогает им сохранить силу и выносливость. Стволы у саженцев невысокие и чуть ли не доверху засыпаны защитным, нанесенным нами грунтом... А почву под ним мы нарочно не вскапывали. Зато позаботились о достаточном количестве подкормки и о минеральных удобрениях: осень была щедра на осадки. Благоприятствовала нам в работах. Ну, а мороз... ведь не вечно он будет держаться. Отступит... Наверняка скоро потеплеет... Еще не все потеряно. Рано отчаиваться.

С чувством удивительного облегчения (казалось бы, почему, собственно?) я повернул обратно к дому. И чего только в такие минуты не мелькает в голове! Сколько воспоминаний и мыслей, едва возникнув, исчезают снова. Какие из них тебе милее?.. Черт возьми, да ведь все они — единое целое. И это целое — я сам. Все, чего я когда-либо коснулся рукой и что проскользнуло у меня меж пальцев, все, что я пережил либо прочитал, чем перемучился и о чем мечтал, все красоты и печали, усилия, победы и поражения — все это я, я сам. И пока я проходил этот путь, мир вокруг менялся. Мы сами способствовали этому, и он в свою очередь влиял на нас. Пора моей холодной и голодной молодости ушла в прошлое. Я радуюсь тому, что двое моих птенцов, Томек и Луцка, набивают свои клювики иным зерном. Скачут и носятся по иным полям, хотя земля осталась прежней. Мы строим дом по своей мерке. Крепкий дом, но до полной его отделки далеко. Работа еще предстоит большая... Ну, а те, что придут после нас, перестроят дом по-своему, расширят его и наполнят новым содержанием. Вот только пусть не соглашаются с нами и спорят с тем, что получилось иначе, не так, как мы хотели, с тем, что им тоже придется не по вкусу. Держу пари — их потомкам придется переделывать и за ними!

Иногда слышишь такие вот речи умников да и глупцов тоже: все, мол, перемены — от новой эпохи. Другое, дескать, время. А как это понять — «другое время», «новая эпоха». Черт побери! Ведь если не посадишь дерева, плод не вызреет. А хороший ли уродится плод — это зависит и от того, на каком дереве он рос и как ты ухаживал за ним, хороши ли были погодные условия, много ли солнца. А разве человек не есть и семя и садовод одновременно?

Я возвращаюсь домой... Солнце уже погасло, и на продрогшем небосклоне, крадучись, исподволь разливаются голубые сумерки, а в них вспыхивают ледяные звезды — блестящие ядрышки зимней ночи. Щеки у меня задубели от холода, нос окоченел, веки отяжелели от инея, залепившего ресницы и брови, но ничто меня уже не томит, не терзает душу. Легкие, мозг и сердце надышались свежим воздухом.

Вот я и дома.

— Ай да морозец. Дух захватывает! — Я сжимаю лицо Евы в своих ладонях.

— Пусти! — вырывается она.

От меня веет зимней прохладой, а это еще больше раздражает Еву. Громко хлопнув дверью, она исчезает в ванной (вернее было бы сказать: в кладовой злости). Ладно. Значит, придется подождать. Злость, как и вино, должна перебродить. А дома я не один. Есть у меня еще Луцка с Томеком.

Пробирающий до костей мороз словно сковал и Еву. Не отпускает — и все тут, хотя дом протоплен хорошо. У меня такое чувство, будто само мое присутствие уже настраивает ее на воинственный лад. В мою сторону даже не глядит, на вопросы цедит сквозь зубы: «да —

да, нет — нет». И ужинать не позвала. Сижу я у себя, и вдруг передо мной — тарелка. Сама поела с детьми в кухне. Черт побери! Что это на нее накатило?

Потом я все-таки догадался. Зимой я обычно помогаю ей развешивать белье на холодном чердаке. Сквозняки там ужасные. Сегодня, вернувшись с прогулки, я не обнаружил в ванной белья.

— Ты чего меня не подождала? Я бы помог...

Ева только дернула плечом, не проронив ни слова. И телевизор смотреть не стала. Прибравшись на скорую руку, юркнула в постель. И притворилась спящей.

Утром ничего не изменилось. Ева если и разговаривала, то только с детьми.

«Суровое похолодание» на улице и у нас дома держалось еще два дня.

На третьи сутки пополудни я снова (в который уже раз!) вышел поглядеть на сад. Стою, задрав голову кверху. И тут от радости у меня часто-часто забилось сердце.

Небо заволакивает мглой! Яркий свет зимнего солнца мутнеет, небосклон словно обсыпан мукой. Мороз отступает, дышится вольнее.

К вечеру пошел снег. Мягкие белые хлопья падают тихо-тихо, но все гуще и гуще... Смотрю в окно — оно уже оттаивает: потеплело, да и в комнате хорошо натопили. Поминутно выхожу на крыльцо. Белоснежное покрывало укутывает промерзшую землю, поседевшую от мороза траву; снег ложится на ветви деревьев. Огромная тяжесть спадает с души. Я вздыхаю с облегчением. Белое снежное одеяло согревает и мое сердце.

Ева молча наблюдает за мной. Поглядывает то в окно, то на меня. (Она разглядывала снег, как невеста — приданое.) Ей не по себе, но она пока молчит. Язык у нее еще не развязался, она еще бастует, но уже что-то весело бормочет.

После ужина я натягиваю кожух и выхожу на улицу. Снег валит не переставая. Иду по притихшему саду. То и дело останавливаюсь, вслушиваюсь, о чем поет вьюга. И не могу наслушаться этой тихой, убаюкивающей песни. Поднимаю голову, снежинки, садясь на лицо, сразу тают, лаская кожу. Я прикрываю глаза.

И тут за спиной у меня раздаются тихие осторожные шаги.

Я не оборачиваюсь. Знаю, что это она, Ева. Кому же еще быть? Она осмотрительно ставит ногу на пушистый снег. Подкрадывается ко мне, как кошка к мыши. Замерла почти рядом.

— Вот ты где,— мягко произносит она, помолчав.— А почему меня с собой не взял? Эгоист несчастный! Хочешь всю радость один пережить?

Я молчал. (Она еще рта не раскрыла, только подошла, а я уже знал, что на душе у нее стало яснее.)

Ева постояла в нерешительности:

— Ты обиделся?

— Да ведь это ты на меня злишься. Не пойму отчего, но мешать тебе не хочу.

— Ах бедненький, недотрога! Значит, вот почему ты не вылезаешь из своего кабинета, а чуть что — удираешь из дома?

— Да не мог я смотреть, как ты мучаешь себя. Вот и предпочел убраться с глаз долой.

— Лицемер! По крайней мере теперь-то перестань притворяться... С меня моего упрямства тоже довольно. Что за глупости мы творим, Адам? Ты ведешь себя словно мы чужие. И от этого меня дома у печки колотит сильнее, чем на морозе.

— Я? Я веду себя как чужой? Ты разве забыла, кто все время злится?

— Ладно,— соглашается она.— Да ведь пора бы тебе знать, что временами, каждые три-четыре недели, на нас, несчастных, навали-

вается какая-то мрачная тяжесть. Так что не придумывай себе обид. Ведь знаешь, как я тебя люблю. Вот и принимай меня такой, какая есть.

— Не такая уж ты плохая,— вырывается у меня. (Я сразу приободрился.) — Знавали мы и похуже.

— Послушай! Зачем ты меня терзаешь?.. Так и кажется, что ты целыми днями только и делаешь, что стараешься меня позлить. (Это она нарочно «пересаливает», вообще она так не думает.) Ну ладно, забудем об этом.

— Как всегда, ты права, Ева.

— Не смейся!

Она обиженно выпячивает губы, но они уже растягиваются в улыбку, ей и хочется немножко пообижаться, да не получается.

— Посмотри, сколько его навалило,— только и произносит она.— А я так боялась. Душа прямо изошлась от страха.

— Как все бело кругом! — поддержал я и огляделся.

— Я этому тоже радовалась, когда шла к тебе.

— От такого снега и жить веселее.

Это походило на игру в прятки. Но у Евы не было желания затягивать ее.

— Ладно уж, хватит,— приглушенным голосом вдруг попросила она. — Помучили друг друга — и довольно.

Обхватив меня за шею, она притянула меня к себе и поцеловала в губы. (Целовалась она так, как если бы это было в первый и последний раз.) Я крепко ее обнял.

Мы стояли и молчали. Вокруг простиралось белое зачарованное безмолвие, разливалось покойное дыхание ясной, светлой ночи; тихо, едва слышно, падали снежинки... Волшебство этой белоснежной зимней ночи сковало нам уста.

Снежинки опускались Еве на лоб, брови, щеки, на полные, раскрывшиеся в еле заметной улыбке губы.

— Помнишь? Тогда тоже падал снег. Зима выдалась прекрасная,— вдруг взволнованно проговорила она, и мне передался восторг и восхищение картиной, воскресшей в ее душе.— Помнишь, Адам?

В это мгновенье я тоже увидел заснеженный, освещенный солнцем лес. Это была наша первая зима, мы только-только поженились... Мы шли, взявшись за руки, по занесенной снегом лесной тропе; хвоистая поросль сгибалась под тяжестью пушистых шапок. Нам было весело; я стряхнул на Еву свисавший с ветки пуховик... Звонко рассмеявшись, она попыталась сбить меня с ног. Глаза ее светились счастливым блеском, щеки на морозе разгорелись ярким, здоровым румянцем. Мы бежали, обнимаясь и целуясь на бегу. Неожиданно Ева сошла с тропки и вышла к лесистому обрыву, а там, широко раскинув руки, словно для объятья, упала в мягкий пушистый сугроб. Я не успел помочь ей, она сама уже поднялась.

— А ну, повтори! Сделай то же! — кричала она, широко улыбаясь.

Ева хотела, чтобы я тоже упал.

— Погоди-ка!

Я упал возле оставленной ею вмятины, наши руки и в снегу нашли друг друга...

Мы стояли и смотрели на эту картину, на глубокие отпечатки наших тел, контуры которых обвели голубоватые тени. Цепочка наших шагов прекращалась у этих вмятин.

Как сейчас вижу нежное, взволнованное и серьезное выражение, застывшее на ее лице. В то мгновение взгляд ее был задумчив и глубок, как вода в омуте.

— Только бы он не растаял слишком быстро,— проговорила Ева словно про себя.— Нет, это не исчезнет никогда,— произнесла она поспешно, с внезапной убежденностью.— Эта картина останется

здесь навсегда. Навеки отпечатается во мху и на зеленых листочках брусники, на цветущем вереске. Мы всегда будем вместе. Мы двое, Адам. Вместе будем всегда.

Она умолкла.

— Ты будешь обладать мною,— немного погодя заговорила она тихо, взволнованная до глубины души.— Будешь владеть моим телом до тех пор, пока владеешь моей душой. Мне необходима гармония. Я всегда стремилась к ней. Душа и тело! Мне нужно и то, и другое, Адам.

Она побежала; с ветвей на нее опустилось целое облако снежинок.

— А ну-ка догони! Поймай меня! — позвала она, снова радостно, звонко рассмеявшись...

Вот теперь Ева тоже медленно тянет ко мне руки, притворяясь, будто хочет обнять, и вдруг толкает в грудь. Я шлепаюсь наземь, Не успеваю подняться, в меня уже летит снежок.

— Ну погоди!

Валит снег, а мы играем в снежки.

Ева повернулась и попробовала убежать по улочке, образованной уже густо припорошенными пальметтами, но я все-таки поймал ее.

Мы упали оба, уткнулись лицом в снег, и он набился нам за шиворот. Задохнувшись от счастья, мы барахтались в сугробе, потом я поднял Еву и понес.

— Идем!

Она прыснула со смеху.

— Да ведь ты несешь меня на руках!

Лицо и глаза ее разгорелись. Я нес ее, а она смеялась и, качая то одной, то другой ногой, словно бежала по воздуху.

Как нравилось нам предаваться любви после этих дурных дней раздражения и упрямства. После тягостного поста и воздержания мы снова были полны огня, и бокалы наши, слава богу, тоже не пустели. Как оно вкусно и ароматно, это наше отличное редчайшее вино, которое мы подливали друг дружке, которое мы храним друг для друга, потому что храним одновременно и для себя.

Ева не из породы ползучих, удушающих плющей, она умеет прильнуть жарко и страстно. Она исполнена чувственности и сладострастия. Безудержный, здоровый любовный голод просто-таки рвется из нее. И я утоляю его... Сжимаю в своих объятиях, осыпаю ласками, отдаю ей весь огонь и всю свою силу. Я люблю ее... и по-царски вознаграждаю за это. Куда-то проваливаюсь, растворяюсь в блаженстве и вместе с тем становлюсь, как никогда, сам собой. Ощущаю себя владыкой мгновения и наделяю счастьем!

В этот миг я люблю в ней и заключаю в объятья самое жизнь. Землю, огонь, солнце, звезды и росу, поле и наш сад; все, что зовется красотой и полнотою жизни на этом свете. Купаешься в этой быстрой и чистой реке. Несет тебя ток живой крови и не отпускает, пока не выбросит на берег.

Ева, все еще полная сладостного блаженства, вяло высвобождает руки и отбрасывает одеяло, с наслаждением потягивается и отводит со взмокшего лба прилипшие волосы.

— Уф, я совсем без сил.

— Ты словно ядрышко. Орешек, очищенный от скорлупы. Вот возьму и съем.

Она прильнула ко мне, от нее слабо пахло мылом и сильнее — чем-то особенным, женским. Я вдыхал этот запах, вбирал его жадно трепещущими ноздрями. Я очень люблю запах ее кожи, словно прогретой солнцем и овеянной прохладным воздухом. Теперь она

больше, чем прежде, благоухает трогательной, такой родной свежестью.

Положила голову мне на грудь. Глаза пламенеют, как янтарь, пронизанный солнечным светом.

— Жалко, что ты сама себя не видишь в такие минуты, Ева...

— С меня довольно, что это видишь ты. Ты...— шепнула она,— ты прямо на глазах молодеешь, Адам. Как мальчишка.

Сладко вздохнув, она промурлыкала:

— Адам... Почему это люди умирают не от любви...

— И думать не смей! Я чем дальше, тем больше люблю тебя...

— Я знаю. И я тоже.

Она легонько коснулась моего лица. Нежно погладила пальцами брови, лоб, губы. Так нежно, словно только теперь наконец нашла то, что давно искала.

В те мгновенья, что наступали после нашей близости, в Еве появлялось что-то особенно трогательное и чистое. Завязывался доверительный разговор, когда мы, не размыкая объятий, поверяли друг другу все, вплоть до самых пустячных мелочей. У меня бывало такое чувство, будто в эти минуты мы особенно глубоко проникаем в душу друг друга. Словно делимся сокровенным, исповедуемся... Ах, эти мгновенья! Я люблю их какой-то особенной любовью. Они неразрывны с тем, что им предшествовало.

— Милый,— чуть погодя шепнула Ева,— пожалуйста, погладь мне плечи и бедра. Забыл уже? Вот так. Так я ощущаю тебя полнее всего. Знаешь... чувство полноты обладания появляется, когда я приникаю к тебе всем телом.

— Сколько же мне нужно для тебя рук,— вздыхаю я, подтрунивая над нею.— Сей же час исправлюсь. Вот видишь,— глухо говорю я, осыпая ее ласками.— После этого пускай тебя на танцы и терпи, если какой-нибудь детина облапит тебя за талию, отплясывает, а сам так и пожирает тебя глазищами. А ты вся пылаешь, вскидываешь руки, извиваешься, как лиана, да вертишь хвостом.

Я напоминал ей про бал, который недавно устраивали наши садоводы, и про одного одышливого потного деятеля. Козел этакий... Целый вечер волчком вертелся вокруг Евы (впрочем, вокруг меня тоже, чтобы быть к Еве поближе). Разводил тары-бары о выращивании различных видов фруктов, об удобрениях, химическом опрыскивании, о вредителях; готов был все виды земледельческих работ перечислить, лишь бы подольше оставаться с нами (Ева при этом забавлялась от души).

В тот вечер мне с ней почти не довелось потанцевать. Она не выходила из круга! И члены нашей бригады, парни из госхоза, и гости, сидевшие за длинным столом, из-за нее чуть не перессорились. Танцы захватили ее целиком. Румяная от быстрого движения, с искрящимися глазами, она была неотразимо хороша и желанна. И знала это. Знала хорошо. А красива была очень. Не той красотой, о которой говорят: «Вот это блеск!» Ничего примечательного, бросающегося в глаза в ней не было. Не было особо пышных форм, которые приковывали бы к себе взгляд. Но она была одарена способностью волновать, лишать покоя. Рядом с ней всякий мужчина ощущал, что возле него — женщина. Она лучилась женским обаянием. Иногда слишком... И тот бал был днем ее торжества. В ней словно полыхал пламень. Женская притягательность была в ней бесконечно глубокой, как пропасть... Красота и непосредственность прямо-таки граничили с дерзким вызовом. Она манила, влекла к себе. Я поймал несколько взглядов, которыми мужчины провожали ее. Они были просто наэлектризованы. Не то что любование того потного плешивого чудака. Да и женщины оборачивались ей вслед, безошибочно чувствуя соперницу.

Я гордился ею и терзался ревностью. Я ревновал, когда в толпе танцующих мелькало ее цветущее, разгоряченное, восторженное ли-

цо. И успокоился, только когда она снова села рядом со мной и, переводя дух, доверчиво склонила голову на мое плечо, а потом шепнула: «А теперь мне хочется снова потанцевать с тобою. Прекрасный вечер, правда?»

Мы пробыли там дольше всех... Почти все гости разошлись, уже занимался рассвет. Уставшие музыканты играли вяло, кое-кто, сняв фиолетовую куртку, остался в одной рубашке... Вот мы танцуем вдвоем, и вдруг Ева останавливается около музыкантов, бросает долгий взгляд на барабанщика, и тот — во внезапном озарении — понимает, о чем она безмолвно просит.

Совершенно автоматически поднимается и так же машинально подает Еве обе палочки, которые до тех пор держал в руках. Подает он Еве две палочки, а она усаживается вместо него, лицо взволнованное, вдохновенный взгляд словно дымкой подернулся, и начинает отбивать такт сильными и легкими ударами... Вживается в этот ритм, наслаждается им. Все ее существо напоено музыкой, как бывает напоен ароматом воздух.

Барабанщик, стоя над ней, от удивления глаз с нее не сводил.

— Адам!.. Адам,— рассмеялась моя Ева,— уж не ревновал ли ты меня к барабанщику? — Веселый, радостный смех трепетал в ней.— Ведь для ревности никакой причины не было. Не надо, Адам... Ты ведь знаешь..

Выскользнув из-под одеяла, Ева зажгла настольную лампу. И встала у окна. Прямо так, голая, как если бы хотела погасить полыхавшее в ней пламя; погрузившись в свои мысли, она смотрит куда-то вдаль.

Освещенные уличным фонарем, приплясывая, кружатся и падают на землю снежные хлопья. Любуюсь их плавным танцевальным движением. И на какое-то мгновенье уношусь мыслями в давние времена. Далеко-далеко.

Фабричный дом. Паренек стоит на пороге и не отрываясь смотрит, как за макушкой облетевшего каштана, вокруг уличного фонаря, пляшут снежинки. Снежная круговерть преображается в рой смутных видений и мечтаний. Ослепительно белые вихри вокруг жестяного колпака уличной лампы завораживают меня... Нежная белизна снежинок очищает и озаряет душу. Я ослеплен ею. Дрожу от холода, но все равно не могу оторвать взгляд, хотя слышу: меня зовет мама. Сердце и ноги словно сковало. Из года в год я поддавался этим чарам; стоило вечером пойти снегу — я отправлялся под фонарь смотреть, как танцуют в его свете снежинки. Всякий раз впечатления были разными, рождали новое настроение. Но всегда в душе возникало ощущение незамутненной чистоты и света, живости и движения.

Ева застыла у окна, заглядевшись на летящие снежинки. В тишине, объявшей нас, мне кажется, что оба мы слышим, как тихо шелестит за окном падающий снег. В мягком сумеречном свете, проникающем из заснеженной зимней ночи сюда, в теплую комнату, я вижу фигуру Евы. И не могу оторвать от нее взгляд. Она стоит съежившись, склонив голову с растрепавшейся прической и обхватив руками плечи. Я скольжу взглядом по линии ее полной груди, бедер, мускулистых ладных ног. Теплое, медового света свечение... Про себя радуюсь возможности наслаждаться этой доверительной близостью, великой естественностью простоты.

— Все еще метет,— замечает Ева.

Она уже снова скользнула ко мне под одеяло.

— Согрей меня. О чем ты думаешь, Адам? Где ты сейчас? — допытывается она.

— С тобой, Ева.

— Только что тебя со мной не было. Ты витал где-то далеко-далеко...

— Нет, я был с тобой. С незапамятных времен вместе с тобою любовался танцующими снежинками. Мы еще не знали друг друга, но ты уже была со мной,— отвечаю я.

Охватив мою голову ладонями, она заглядывает мне в глаза, трогательно и прекрасно. Откуда-то изнутри рвется улыбка.

— Адам,— шепчет она вдруг.— Я хочу, чтобы у нас родился мальчишка. Твой мальчик. Понимаешь?

Мы молча смотрим друг на друга.

— Хочешь? На самом деле?

— И ты еще спрашиваешь?

Повернув к себе ее голову, я жадно впиваюсь в ее губы.

Она приникла ко мне всем существом... Наша кровь, слившись, заструилась единым потоком. Растекшись по жилам, бросилась мне в голову. Ева напряглась как струна. Волна высоко взметнувшейся лавы заливает все в нас самих и вокруг, оглушая нестерпимым шумом и обжигающим зноем... А потом привольно и легко истаивает, разливается в беспредельной тишине внезапного парения.

Я глажу Еву по лицу, легко касаюсь пальцами плеч и шеи. Она отдыхает, положив голову на мою руку... Веки у нее слипаются, на губах застыла блаженная улыбка, но и улыбка помаленьку ослабевает, побежденная сном.

Я прислушиваюсь к дыханию жены. Беззвучная, волшебная ночь.

Сад покоится под теплым зимним покровом, на подоконнике все выше и выше слой снега. А меня согревает тепло дома, доверие и близость дорогого, родного существа. Славно, когда счастье можно ощутить, как бы потрогать руками. И в сознании снова оживают мгновенья, когда она впервые захватила меня всего, целиком. Никогда прежде не доводилось мне переживать столь полной слиянности. Наверное, та искра, что высекает жизнь, передавая ее вечности, всегда должна быть именно такой, чтобы счастье этой минуты вплелось в венец тех, кто еще только должен будет родиться, населить мир и сделать его более человечным.

Ничто меня не тяготит, я давно уже не чувствовал себя так легко и привольно. Душа словно растворена в глубоком покое снежной зимней ночи.

В сон проникает какой-то отдаленный говор, я различаю лепет Луции. Приоткрываю глаза. Соседняя постель пуста, но еще хранит тепло спавшего. Еще совсем рано. Лепет затихает, на край моей постели присаживается Ева.

— Так дивно, так бело кругом,— шепчет она.— Целый свет будто спрятался под высокой периной.

Укрывшись одеялом, Ева блаженно прижалась ко мне.

— Погрей меня.

Она дрожит — озябла немного. Спрятавшись в моих объятьях, произносит тихо и счастливо, приглушенно смеясь:

— Адам, милый...

V. Апрельское солнце

Как замечательно в этом году началась для нас весна! Хрупкая, неоперившаяся, едва проклюнувшаяся, она еще робко улыбалась серебристыми почками верб: с заливных Лабских лугов еще не сошла вода, а в персиковых веточках уже проглянул пурпур. На заре, когда хрустально чистый воздух еще не успевал прогреться, самые ранние торопыжки-бутоны уже выпускали лепестки.

Я поднимаюсь с первыми лучами солнца. Это мое время. Та пора, когда мои предки отправлялись на господские фермы кормить и обихаживать скотину.

Ева еще спит. Я иду по саду, осматриваю деревца. Поглядываю на пасмурное небо и слушаю перекличку петухов. (Могу поспорить, что в нашем Подржипском краю петушиное пенье мелодичнее, чем у наших соседей.)

Я люблю глядеть, как занимается день. По-моему, сквозь едва заметную щель раскрывающегося небосвода подчас удается увидеть много больше, чем когда его ворота распахнуты настежь. (Отчего бы это?) Я смотрю, как раскаленными угольями багровеет восточная сторона горизонта. Сумрак редеет, и кровавое пятно разливается по небу. Солнечные лучи, словно золотистые небесные пчелы, роем вылетают из улья зажечь день. На душе мгновенно становится веселее.

Примечаю, как от часа к часу набухают пупырышки распускающихся бутонов; как они топорщатся, напоенные соками и обласканные солнечным теплом. Раньше всех на пылающих кармином, будто налившихся кровью ветвях и веточках, нетерпеливо поднимаются и заостряются веретенца персиковых бутонов. Значит, нынешние жестокие морозы деревья перенесли хорошо. Наши труды не пропали даром. У самых нетерпеливых оболочка бутонов уже лопается, они вот-вот распустятся. Уже просвечивает краешек спрятанной, до тех пор плотно свернутой розовой юбочки. Что за зрелище! Награда за все мучения и усталость, за все заботы и пролитый пот.

Я медленно бреду, едва ли не ползу по саду; вбираю в себя свои владения глазами, слухом, обонянием. Упиваюсь ароматом сырой земли, свежей коры и первых листочков, рвущихся к свету. Внимая любовным трелям птиц, вдыхаю переливающийся радостью воздух.

Парочка зябликов, чирикающих на голом еще яблоневом суку, заботливо вьет гнездо; два обуреваемых страстью черных дрозда яростно поспорили из-за самочки. Сшибаются в полете, словно в них вселился сам дьявол. Долбят друг дружку в затылок, только перья летят во все стороны.

Иду обратно... Обдумываю, что необходимо сделать сегодня, на какой участок кого поставить. Сад распахивает свои объятья; напитывает меня свежей волшебной силой.

Ни на что на свете я не променял бы эти мгновенья, когда можно постоять и оглядеться, коснуться и погладить взглядом, понюхать и вобрать в себя все лучшее из того, что родилось этим утром (я должен насытить душу на целый день: проголодаешься — потом некогда будет).

Весь мокрый от росы, возвращаюсь домой завтракать. По обыкновению, не с пустыми руками. (На белом свете всегда что-нибудь растет, цветет, зреет, ползает, лазает или летает.)

— А что ты мне принес? — спрашивает Луция.

— Перышко сойки. Погляди, какое красивое, голубое. Будто небо, омытое дождичком и подсушенное солнышком.

— Покажи-ка!

Конечно, Томек от таких подарков воротит нос — другое дело, если это «мертвая голова», жук с большими рогами-челюстями или по крайней мере закатившееся яйцо фазана. Над перышком он насмехается, щуря все еще сонные глазки, такого же цвета, как и сойкино перо.

Наши малыши часто поддразнивают друг дружку, не дают себе ни отдыху, ни сроку, но не могут и дня прожить врозь. Само собой, до тех пор, пока не попросишь Томека взять Луцку из яслей. Эта малоприятная, хоть и непостоянная обязанность возмущала его до глубины души. Он любил шумное буйство и удаль, взвивался как стрела и, хлопнув дверями, бежал куда-то вслед за товарищами. А то целыми днями сидел, словно привязанный, на ветвях старого ореха и, задрав голову, глазел в небо. И хотя светило солнце, витал где-то среди звезд. Я не мешал ему отправляться в эти небесные экспедиции, в далекие космические странствия. Это же так увлекательно! Но вместе

с тем давал понять (незаметно, чтобы не ожесточился), что все поразительные триумфальные полеты и открытия подготавливаются у нас здесь, внизу, на нашей древней и доброй, исхоженной, истоптанной вдоль и поперек и тщательно возделываемой земле.

И чтобы подкрепить слово делом, я предложил ему обработать весной несколько грядок. Сажай и выращивай себе что хочешь.

Предложение не вызвало у него энтузиазма. Выдумывать всяческие геройские подвиги и про себя переживать славные деяния куда приятнее, чем обрабатывать мотыгой грядки, гнуть спину над рассадой, поливая и обихаживая ее, рыхлить землю и полоть сорняки. Тем не менее глаза его светились радостью, когда он принес первый пучок красной редиски или когда рубаха его раздувалась от набитых за пазуху, только что сорванных стручков молодого горошка. Теперь на его участке кустится черная смородина, два ряда клубники, а вчера Томек посадил там — а как же иначе? — два персиковых деревца.

Разумеется, саженцы я отобрал для него самые лучшие. Но Томеку они нисколечко не понравились. Он словно подозревал меня в том, что я подсунул ему заваляющий товар. Уже вчера мы поспорили об этом, но сегодня он затеял разговор снова.

— Ну, посмотри,— показывал Томек.— Ты же дал мне какие-то заморыши! Да еще обрезал чуть не до земли. Чего же из них вырастет?

— Увидишь,— отвечаю я.— Ты погляди, такие же прутики мы высадили в прошлом году, а теперь они вовсю пошли в рост.

— А прутики посильнее, потолще да побольше разрослись бы еще лучше.

Ему хотелось посадить деревца с длинным, сильным стволом и ветвистой кроной, то есть именно такие, что гроша ломаного не стоят. Впрочем, тут он не одинок. Говорят, прежде так было заведено.

И я рассказал ему, как в прошлом году садовод Зáзворка попросил у меня хороших саженцев. Тщетно я его убеждал, что маленький, срезанный росток, низенький прутик с корешками не в пример лучше. Отчего? Да оттого, что листиков у него меньше, поэтому и влага испаряться будет незначительно. А значит, саженцы быстрее и надежнее укоренятся в земле и скоро возьмут свое. Так он мне не поверил! Напрасно я толковал ему, что раньше, когда мы высаживали деревца осенью, как раз самые крепкие на вид, высокие по большей части погибали. Он возражал — их, дескать, погубил мороз!.. (Прежде я тоже так считал, глупец этакий!) Но в условиях нашей подржипской зимы они засыхали чаще других. Само собой, морозы этому способствовали... Бедный Зазворка! Он думал, что я из жадности хочу оставить что получше себе, вот и выбрал все сам, на свой вкус,— с кроной развесистой, как зонтик. «Хочешь меня провести, Адам?— сетовал он.— Нигде, ни в одной книге, я о таких премудростях не читал...»

За свое недоверие Зазворка скоро поплатился. Оба саженца погибли. Уцелел лишь один, тот, что я всучил ему чуть ли не силком — в придачу к могучим красавцам. Как раз тот, что вырос из слабенького ростка.

Томек слушал меня невнимательно, что называется вполуха,— видно было, что не верит. И вдруг глаза его засияли радостью. В поднебесье на фоне свежей, голубой лазури кружил сарыч. Я понял, что мои наставления его не волнуют, и сказал:

— Во всяком деле лучше всего убеждает собственный опыт. Посмотрим. А пока — иди гулять.

Повторять предложение мне не пришлось. Он исчез словно стрела, пущенная из лука.

Неожиданно послышался голос Евы. Стоя наверху, у нашей персиковой плантации, она ждала меня.

— Адам, иди сюда! Скорее!

Я направился к ней. Но не торопился. По дороге останавливался, внимательно осматривая то одно, то другое деревце. И смеялся про себя. Я-то знал, чем она так взволнована. Уже за завтраком мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выболтать новость; я готов был язык проглотить — только бы не выдать секрет раньше времени. Я ведь знал, что она сама побежит в сад, и не хотел лишать ее радости. Пусть полюбуется полураскрывшимися бутонами.

— Где ты пропадал, копуша? Ты что, не слышал? Я тебя звала! Погляди-ка!

В голосе — радостный восторг и нетерпение.

И я застыл как вкопанный...

Ярко-красные, безлистные веточки наших первых побегов, на которых утром едва-едва приоткрывались бутоны, теперь светились нежно-розовыми, похожими на колокольчики цветами. Под лучами теплого апрельского солнышка только-только развернулись платочки лепестков: они светились и трепетали, купаясь в радужном сиянии солнца.

Мое наигранное спокойствие как рукой сняло. Дух захватило (видеть и пережить увиденное — это ведь куда сильнее, чем нарисовать картину в своем воображении!).

Схватив меня за руку, Ева замерла. Словно сама вросла в эту землю. Взгляд ее потонул в розовой кипени цветов.

— Что ты скажешь? Погляди, это они ведь только сейчас так принарядились. Это ли не чудо, Адам?

— Это дело наших рук, Ева,— скромно ответил я, хотя кровь взыграла во мне.

Глаза моей жены сияли. (Если есть чем, Ева умеет не таясь, почти бесстыдно гордиться.)

— Ты был прав, Адам. Теперь, если не ударит мороз...

— Тсс! Замолчи! Беду накличешь!— обрываю я ее.— У этого сорта (это был «рэдхавен») самый устойчивый цвет. Таких саженцев у нас больше всего.— Пойдем-ка лучше поглядим, как распускаются другие...

Мы обошли и внимательно осмотрели всю плантацию. Нужно было опытным путем установить, какие виды в условиях Роудницкого края проявят себя наилучшим образом. Очень важно было определить оптимальное сочетание сортов, чтобы деревья плодоносили и вызревали постепенно, друг за дружкой. Сбор урожая — работа очень трудоемкая. Важно и то, чтобы зрелыми, сочными плодами люди могли наслаждаться как можно дольше.

Время от времени мы делали остановки, пересчитывали на саженцах и побегах еще не распустившиеся бутоны и радовались, что даже молодые прошлогодние и позапрошлогодние деревца (я каждый год подсаживал по нескольку штук на те два гектара, которые мне уже были отведены) прекрасно перенесли зиму. На них тоже уже распускались почки.

Спустя час, а то и более, мы вернулись на прежнее место, я срезал цветущую веточку (теперь, когда известно, какое у нас буйное цветение, нужна обрезка, чтобы плоды росли крепенькими и здоровыми) и воткнул Еве в волосы три ярких светящихся цветка.

— Ах, у меня за всю жизнь не было такой драгоценности! — воскликнула Ева.

Мое внимание доставило ей огромную радость, и она не скрывала этого.

Розовое сияние, исходившее от персиковых деревьев, упало и на ее щеки.

— Ну как, Адам, к лицу мне?

— Ева... Живой, подлинной красоты — что может быть лучше? Дороже ее ничего нет...

— Почему ты заговорил о подлинной красоте?

— Да ведь она у меня перед глазами,— улыбнулся я.— И потом... это такая редкость, ведь она исчезает. Так будем наслаждаться ею пока возможно. Покажись-ка!

Я пристально, долго, не отрываясь любовался ею.

— Ах, и умеешь ты подольститься! Льстец несчастный!

Ева счастливо улыбнулась.

— Ну, а теперь,— помедлив, со вздохом проговорила она,— пора домой. Нужно успеть в ясли за нашей малышкой.

Уже больше недели весна льнет к золотой груди солнца. Уже прочно стоит на ногах, улыбчивая, светлая от молодой яркой зелени и заливисто веселая от птичьих трелей.

Персиковые посадки я уже проредил. Эту работу я не доверяю никому. Только Гонзик, самый молоденький мой помощник, смышленый и ловкий, крутится рядом — он поспевает всюду и всегда там, где требуется. Дело сделано; только поздние сорта персиков, такие как «эльберта», «фэрхавен» и «зимний желтый», все еще покрыты блестящей красноватой кисеей. Остальные уже сбрасывают увядающие лепестки; земля вокруг них розовеет. Доцветают и абрикосы. Только-только окинулись белым цветом низкорослые вишни; набирают силу бутоны яблонь и груш; торчат на ветках, толстенькие, припухшие. Как раз в эту пору к нам нежданно-негаданно нагрянули редкие гости.

Склонившись над грудой сорванных увядших цветов, я вносил в свой старый, порядком замызганный блокнот заметки о том, как прошло опыление у персиков, у скольких пестиков появились утолщения, завязи будущих плодов. Уже несколько лет подряд я веду записи, отмечая, как развивается каждый сорт в период цветения, сопоставляя наблюдения с подробными данными о погоде. Как на цветение повлияли солнце, ветер, ночные заморозки или дожди. И теперь я доволен. Из каждых пяти плодоносных пестиков один стыдливо гордится заметно разбухшим брюшком с зародышем. Мои пчелы, бесплатные помощницы, потрудились на славу.

Работаю я, посвистываю, и вдруг за моей спиной раздается:

— Ах вот ты где!

Я узнал его по голосу. Ситарж. А еще кто? Кому же еще быть, как не Паточке! Возвращаются, наверное, из Штети, с этой окаянной бумажной фабрики, что испоганила нам воды Лабы. И после всех неприятностей и словопрений цветущий сад привлек их к нам.

Я приветствовал гостей как положено, растянув в улыбке губы от уха до уха.

— Неужели это ты? — кричу Ситаржу. — Быть не может! Дай ущипну.

Этого уже не потребовалось. Ситарж сам хлопнул меня по спине своей лапищей, долгие годы державшей молот, напильник и клещи.

— А ну, показывай свои владения, Адам. О них уже воробьи на всех крышах чирикают. Вот мы с Йожкой и сказали себе: а не заглянуть ли нам сюда! Как поживаешь, старина?

— Не жалуюсь,— отвечаю.— Разве ты, Лойза, не замечал — на жалобы да на брань время находится лишь у того, кому делать нечего. А я как овца. Лишь тогда взбрыкиваю, когда мой труд топчут.

— Такой овечкой волков пугать!

Ситарж рассмеялся, но прищуренными, хитрыми своими глазками уже посматривал вокруг, оглядывая персиковую плантацию. Приятно было видеть заинтересованное, но уже спокойное выражение его лица. Он и любовался садом, и в то же время, похоже, прикидывал, что таится за его цветущей внешностью. Он привык заглядывать людям или вещам, так сказать, «в самое нутро». Выработал в себе такую привычку, распознавая, разглядывая их судьбы и предназначения.

— Рад встрече. Черт побери, отчего бы вам не появиться на недельку пораньше? Все вокруг сияло, как заря. Поверите, сад прямотаки полыхал цветом! Так-то вот... А может, лучше пройдемся?

— Да ведь персики и сейчас еще в цвету, чего же еще желать? — воскликнули оба.

— Это поздние сорта. Вы все прозевали. Вот уж окаянная ваша работа!.. Ну, пошли!

Ситаржа не надо было упрашивать. Он внимательно разглядывал полосы персиковых насаждений, с интересом останавливался возле розовых прутиков, усыпанных цветами.

— Не померзнут, Адам?

— Отдельные сорта, более чувствительные к холоду, возможно, и померзнут. Мы ведь испытываем и такие. Как видишь, посадки сделаны на северо-восточном склоне, и поэтому деревца пошли в рост на несколько дней позже. Зато этот склон... Между саженцами гуляет ветер, и цвет на них страдает меньше, чем в низине, где мороз задерживается,— развалится, дрянь такая, как в кресле, и показывает свой норов. Глуп тот, кто у нас высаживает персики и абрикосы в низине.

— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь,— брюзжит Паточка.

Ситарж заговорщицки подмигивает мне.

Не спеша, шаг за шагом, мы осматривали сад, наслаждаясь окружающим буйством — все торопилось расти, выбрасывало почки и тянулось к солнцу. В траве золотыми букетами сверкали одуванчики, а в нос бил благоуханный, прогретый солнышком и звеневший птичьими голосами воздух.

Долго шли мы вдоль нескончаемых шпалер веретеновидных карликовых яблонь — на их жилистых, растопыренных ветвях со множеством побегов топорщились бутоны. Еще недавно заключенные в надежные, гладкие, красноватого оттенка чешуйки, они набухали и раскрывались прямо на глазах.

Ситарж тут же приметил, что бутоны на деревьях с правой стороны дороги — тупые и короткие, отшлифованные, словно фишки, а с левой — продолговатые, конические, подобно веретенам. Его наблюдательность меня порадовала, правда, ни один из гостей не мог отгадать, какие это сорта. Я объяснил, что из «фишек» получатся яблоки сорта «спартанец», а из «веретен» — «золотой делиций». Тут Паточка спросил, какой сорт для меня предпочтительнее. Я признал, что у каждого есть свои преимущества. Они оба «лучше», но «спартанец» мне больше по душе. Почему? Может, потому, что золотисто-желтые яблоки слишком однообразны. Приятны на вкус, со сладковатым ароматом, но, по мне, пресны и как-то дрябловаты. А вот изо дня в день наблюдать, как зеленое яблочко, раздвигая листья, наливается соком, округляется, видеть, как полнеют и покрываются румянцем его щечки,— это ли не красота! Словно у тебя на глазах бедная девчушка превращается в прекрасную, соблазнительную, роскошную женщину и вызывающе, дразня и обольщая, смеется тебе в лицо! Как тут не разыграться аппетиту! Да разве не захочешь впиться в такое яблочко зубами?

Оба подивились. Им «золотой делиций» казался и благороднее и представительнее.

— Да ведь это хорошо,— сказал я.— Хорошо, когда одни любят одно, а другим по душе другое. И пусть каждый выбирает на свой вкус!

Мы добрались до вишен. Они только-только зацвели. Какой прекрасной, девственной чистотой светились кроны этих низеньких деревцев, убранных свадебной фатой!

— А вам не кажется, что от их аромата и цвета воздух словно легче становится? — радостно заметил Ситарж. Он наслаждался, по-

гружая в цветы свой орлиный нос, как пчела — хоботок. Одна из прилежных пчел, обеспокоенных и взволнованных вторжением, чуть не впилась ему в ноздрю. Он отмахнулся от нее и мужественно продолжал стоять у деревца, которое прямо-таки гудело кишевшими на нем пчелами. Собирая пыльцу, они, похожие на капельки живого золотистого меда, перелетали с цветка на цветок. Их жужжание наполняло воздух, и он дрожал и вибрировал, как контрабас.

— Откуда их столько, черт побери? — подивился Ситарж.

— Я привез. Пора цветенья, пусть себе пасутся. Взаимовыгодно. Эти божьи твари — лучшие мои работники, а я гостеприимный хозяин. Нас объединило общее благо. А это, как известно, самая что ни на есть надежная опора сотрудничества. Готов поспорить, что у себя в райкоме такой коллектив вам бы не сколотить.

— Опять он под нас подкапывается,— буркнул Паточка.

Ситарж недоуменно огляделся:

— А ульи у тебя где? Что-то не видать.

— Где? Там, где полагается!

И тут же выложил всю правду, как она есть: каким неисправимым ослом я был, когда три года назад доставил сюда передвижные ульи. Разместил их, как издавна заведено — еще и на картинках так изображали... словно рабочее общежитие или фургоны на строительной площадке. Загляденье, да и только. Стой и поглядывай себе, как пчелки, набрав сладкого нектара, скрываются в летке и тут же вылетают обратно. Мелькают, мельтешат золотистые букашки перед каждым ульем, подобно лучикам небесного света. Довольный, я потирал, бывало, руки, глядя, как на цветущие деревца прямо-таки набрасываются шумные помощницы.

Но увы!.. Не тут-то было! В том же году я понял (все это занесено в мой дневник), что деревья, расположенные в непосредственной близости от ульев, опылены больше чем следует, тогда как те, что цвели в отдаленье, остались обездоленными. А ведь на дереве, если мы ждем хорошего урожая, должно быть столько плодов, сколько оно может напитать.

«И в самом деле,— рассудил я,— зачем пчелам летать далеко, если сладкий нектар у них под носом? Я на их месте поступал бы точно так же!»

С тех пор я предпочитаю расставлять ульи вразброс по всей площади — поодиночке, на большом расстоянии друг от друга. Вон там один виден... Толково получилось.

— Кто стремится помочь природе, должен наперед узнать, чего она требует. С ней тоже сперва сговориться надобно. И все по своим местам расставить.

— Ишь хитрец! — заметил Ситарж.— Ты бы хотел, чтобы все только тебе и служило.

— А ты на моем месте действовал бы иначе? Разве ты поведешь себя по-другому?

Лойза рассмеялся:

— Ты себе тут живешь-поживаешь, Адам. А я... Черт побери! Целыми днями задницы от стула не отрываю. Сижу меж четырех стен, глаз от бумаг поднять некогда, ругаюсь со всеми — то по телефону, то на заседаниях. Утопаю в табачном дыму и мир вокруг вижу разве что из машины, когда еду по делам, проучить кого или подхлестнуть... Все эти бумаги, отчеты, сводки, ведомости... И кто в них разберется — правда там или вранье, нет ли какого подвоха? Резолюции, планы, постановления... А у тебя...

— Верно говоришь. Всяк сверчок знай свой шесток,— вторю я ему, не давая Паточке вставить словечко. И в то же время помаленьку донимаю и того и другого.— У вас свое, а у меня свое. Всяк занят тем, что ему предопределено или что сам себе выбрал: мы вроде как сами куем свою судьбу. Холодно нам от этого или жарко — это уж дело

другое. Ну, а я что? Пекусь, как могу, о своих питомцах... Вон, полюбуйтесь на эту вишенку. Вам не кажется, что от дерева в цвету исходит свет и тепло? Оно будто женщина, когда любит. Когда полна желания и вся светится изнутри, тает в объятьях...

— Мне бы твои заботы! — воскликнул Паточка.— Ишь чем у него голова забита... Пока мы там с людьми маемся, он тут с ума сходит, комар его забодай!

И пошел брюзжать: вот, мол, как я роскошно да беззаботно устроился... Сиди поджидай, каким урожаем земля одарит. И все остальные, если меня послушать, тоже должны смириться: что будет, то будет — то ли прибыль, то ли убыток. Словом, ловко приспособился. Деревца мне послушны: произрастают там, где прикажу. Собраний не устраивают, против не выступают, с блажными идеями не лезут; на всякие там западные приманки не клюют. У них с Ситаржем жизнь не в пример тяжелей! Короче, пока они маются, как рыба об лед бьются, от забот сна не ведают, я тут живу себе потихоньку-полегоньку, зарывшись, как крот, в землю.

— Лойза, да что он такое говорит? — вскричал я.— И это говорит он! Он... Господи! Ты, Паточка! Это я-то не интересуюсь жизнью и не хлопочу о ней? О том, что нужно людям? Разумеется, голубчик, я в своем деле толк знаю. Оно у меня, правда, скромное, но я ему служу... И тем самым — даю голову на отсечение — служу и всему огромному миру, что меня окружает. Ты, может, думаешь, деревья на меня не кричат, не критикуют, не вопиют о том, чего им надобно? Да чтобы того не слышать, нужно глухим быть, как полено! Я их слышу, даже когда они довольны и песенки распевают... Когда с наслаждением потягиваются на теплом солнышке, лениво дышат в летний зной... Или поминутно упрекают: «Где ты, дружище, меня посадил! Гляди, я чахну! Ветром мне веточку обломило! Полечи-ка мою рану, не то я какую-нибудь заразу подхвачу... Ты что, не приметил — сучок у меня с самой зимы обломлен? Поставь тут крепкую загородку! Видишь, зайцы кору обглодали?» А то еще все вместе, истомленные жаждой, как примутся в один голос вопить: «Дождичка бы! Давно дождя не было! Не чуешь, мы пить хотим! Плоды наши сохнут. Полей нас! Подбрось немного навоза, чтобы мы окрепли, чтобы плоды наши крупнее и здоровее стали! Да сними с нас всю эту гадость — тлю, плодожорок, хрущей и гусениц! Опрыскай сверху донизу наши ветки, сучья и стволы!» А то еще: «Проредил бы ветки! Пора уж! Не видишь, какие вымахали, из-за листьев солнцу до плодов не добраться. Да под сучья подпорки поставь. Погляди, какие они тяжелые, сколько на них плодов!.. Работай! Работай, шевелись, не стой на месте, человек окаянный!..»

Ты, Паточка, не разбираешь их речей. А я разбираю. Слышу их. Этот мир — мой. Он у меня в руках, я им владею, пока могу дать, что ему требуется. А он взамен отдает мне то, чего я от него хочу... Как пуста и убога была бы моя жизнь без этой работы!

— Ишь распетушился! Ну кто у тебя ее отбирает? — отозвался Паточка.— Если ты делаешь дело и исполняешь, что предложено планом,— все в порядке.

Я его понял. Мои персики гвоздем засели у него в мозгу. Он готов был снова пуститься в рассужденья насчет обычаев: нужно, мол, держаться того, что наша земля родила от века. Но присутствие Ситаржа явно сдерживало его, разглагольствовать об этом при первом секретаре он не посмел.

А Ситарж, сдается, слушал нас с наслаждением. Разговор его забавлял. Время от времени он даже хитро подмигивал мне своими прищуренными глазками.

— Ну, слава богу,— наконец проговорил он,— мир вокруг нас разрастается, цветет, благоухает, наливается соками, небо голубеет, а солнце припекает горячо и щедро! Гляньте-ка на эти грушевые дерев-

ца! Сколько на них цвету! Разве не красота? Вдохнешь — и желания жить прибавляется! Так что давайте-ка лучше полюбуемся этой красотой!

Мы смолкли. Не спеша, в полной тишине рядок за рядком обходили зеленые заслоны молодых яблонь и груш, поминутно останавливаясь, разглядывали сад... Словно растворились в напоенном ароматом воздухе, пронизанном солнечным светом; нас оглушало неумолчное жужжание насекомых и птичьи напевы. Ноги сами не желали двигаться дальше, и мы подчинялись им... Неподалеку, стараясь перепеть друг дружку, изощрялись дрозд и его черный, как уголь, собрат...

Мало-помалу мы опять разговорились. О погоде, о том, какая в этом году чудесная весна, и, конечно, о политике. О том, как славно было бы жить, если бы повсюду царил мир и согласие, о том, как было бы хорошо обуздать правительства, которые любят брать на себя роль жандармов планеты, а заодно — и раскрадывать ее. Мы обсудили все мировые конфликты, потолковали о том, что вместо гонки вооружений лучше бы развивать взаимное сотрудничество и доверие... А затем снова вернулись к своим будням — к их радостям и печалям. Посетовали, что некоторые из госхозов и кооперативов не умеют вести хозяйство, хотя почвы у них ничуть не беднее, чем у рачительных хозяев. Паточка со вздохом признал, что землю обрабатывают небрежно, сеют и урожай собирают поздно, в полях — сорняки, лебеда да чертополох. И пора с этим кончать, а потому нужно показывать людям достойные подражанья примеры. Судя по всему, фруктовые деревья обещают в этом году хороший урожай, и поэтому он обращается ко мне с предложением тут же, не сходя с места, взять обязательство собрать плодов больше, чем в прошлом году (Паточка, хитрец, перечислял при это только яблоки, вишни и груши).

— Ну, на сколько больше фруктов ты дашь нам в этом году? — спросил Паточка, дружески шлепнув меня по плечу.

Я ушам своим не поверил, но он спрашивал всерьез:

— На сколько?

Почесав в затылке, я сделал вид, что прикидываю в уме.

— Да трудно сказать, это зависит от того, сколько чего уродится, яблони и вишни нынче цветут как в райском саду. Так вот, если все распустится, как мы того желаем, ежели дождь не собьет пыльцу, а пчелы как следует все опылят, ежели, дай бог, цвет не спалят морозы, не будет ни слишком сухо, ни слишком дождливо, если плоды не попортит градом и не собьет ветром, ежели достанем перегноя и химикалиев, чтоб защитить деревья от вредителей,— тогда урожай соберем больше прошлогоднего. (Я усмехаюсь.) Тем более что нынче начнет плодоносить и новая яблоневая плантация... Но все же лучше не торопиться. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. А то как раз угодишь в лужу, а это не очень приятно.

Паточка нахмурился:

— Не выкручивайся. За погоду ты, понятно, не в ответе, в непогоду план не выполнишь, да ведь усердье-то мог бы наперед высказать. Не лишнее. Это тоже кое-что значит.

— Да как сказать,— отозвался я,— не люблю обещать, предпочитаю расплачиваться чем могу. Если по правде, то меня злость разбирает, когда слышу, как наперед бахвалятся тем, что только собираются сделать. Цыплят по осени считают. А все эти клятвы, обманные речи да поспешные тосты ради почестей да показухи — все это пустое. Водится такое и в нашем районе. А какие берут обязательства? И на работу-то будут являться без опозданий, и рабочее время под завязку использовать, и материал экономить. Господи боже мой — да ведь это само собой разумеется! Если бы у меня кто об этом запамятовал, я бы ему показал, где раки зимуют.

Ну, а если работа выполнена честно и для всех полезна? Чего там лицемерить! Не стану возражать, если меня похвалят... Признание и слово благодарности любовной птичьей воркотней в ушах звучат, и я не против, чтобы такую работу хорошенько обмыть. Добрая бутылочка за наше здоровье да за то, чтобы с работой нам и впредь везло,— никогда не во вред. Особливо если к тому еще и стол как следует накрыть и чем закусить найдется... Но сперва должно быть сделано дело. А дела, как видишь, мы не боимся. А что главное в нашей работе?.. Урожай, он не только от нас зависит. Да ведь и ты,— обернулся я к Паточке,— тоже не из тех, кто из людей обещанья да обязательства выколачивает ради того лишь, чтоб наперед записать как можно больше. (Это я решил его поддеть.) Треклятое занятие! И откуда пошло? Видать, где-то там, наверху, кое-кто людей за обязательства ценит. А это глупо.

У Паточки побагровело лицо, он потемнел от гнева, но с собой совладал:

— Не трепись. Или ты против соцобязательств? Они поддерживают в людях здоровую инициативу, которой нам недостает. Ты, стало быть, выступаешь против линии, против политики партии!

Надувшись, как индюк, он тяжело дышал.

— Ну так как же у тебя с обязательствами? На сколько в этом году поставки превысишь?

И тут у меня блеснула мысль, как использовать благоприятную ситуацию, которая так неожиданно возникла и прямо сама шла в руки. Злость моя сразу улетучилась, и я усмехнулся в бороду.

— Обязательства?— протянул я. И некоторое время притворялся, будто раздумываю.— Ну что же, пожалуй. А почему бы и нет, игра стоит свеч. Только мы это дело повернем несколько иначе. Оба впутаемся и в случае чего оба окажемся в накладе.

Он слушал мой ответ, подозрительно на меня посматривая, а я выкладывал ему свои мысли. Свой проект фруктового ареала.

Проект этот мы с Евой подготовили и передали руководству госхозом, после чего всем миром, всей нашей бригадой вместе с администрацией еще раз основательно взвесили, пересчитали, перетряхнули и перепроверили. Выгоду этого плана народ уразумел, само собой, не сразу. Но, приняв, стали считать план своим. Руководство хозяйством его одобрило. И вот уже девять месяцев мы ждали решения районного национального комитета. Для утверждения всего комплекса работ необходимо было произвести некоторые, весьма незначительные земельные реформы, присоединить к нашим и объединить между собой несколько участков и полей соседних кооперативов. Мы настойчиво требовали этого от Паточки, но все было тщетно. Он не отзывался.

И вот теперь я предложил Паточке не мешкая (куй железо, пока горячо!) договориться и ударить по рукам. Пусть они в районном комитете возьмут социалистическое обязательство, дадут нам землю и одобрят проект, а мы — долг платежом красен — засучим рукава и возьмемся за работу.

О чем прежде всего шла речь? Всего-навсего о каких-то девяти гектарах бывших панских угодий, которые после февральской революции, во время земельной реформы, отошли к тогдашним беднякам. Теперь же, когда они стали членами кооператива, полученные гектары превратились в приусадебные участки. А ведь эта земля словно создана для яблоневых садов, да и находилась от нас по соседству, за оградой нашего участка, вклиниваясь в земли госхоза. Само собой, владельцы усадеб заупрямились — ни за что, мол, эти земли не отдадим. А Паточка? Паточка даже пальцем не пошевелил. О протестах владельцев слышал, но сам с ними даже поговорить не поговорил! И вот теперь я предложил ему взять такое соцобязательство — до конца лета провести обмен земель, а как только прежние хозяева соберут

урожай, запасутся картофелем, кормовой свеклой, клевером и свезут все в амбары и закрома, мы на этой земле и отчасти на своих полях сразу насадим новую и весьма продуктивную плантацию яблоневых пальметт. И заложим основу для создания целого ареала.

Паточка стрельнул в меня взглядом.

— Спятил, Адам? Ты это дело сюда не приплетай. Эти твои обещанья когда еще осуществятся! Землю мы только что раздали, крестьяне в кооперативы пошли, и вдруг — назад отбирать? Ничего удивительного нет, правильно они не хотят ее обменивать. Эти поля у них под боком.

Я чувствовал, что Паточка не уверен в своей правоте. Однако он начал с наступления:

— Опять ты кашу завариваешь. Говоришь о яблонях, а думаешь про персики. Я этот твой план хорошо помню. Ты под него тайком сорок гектаров отвалил! А опытная плантация, которую ты здесь развел, этого тебе мало?.. Все за славой гонишься! Славы тебе мало? А я не позволю грабить кооперативные земли, которые гарантируют нам надежный урожай.

— Но моя каша, как ты говоришь, придется всем по вкусу,— ответил я, подавляя злость.— И тебе как будто известно, что персиковые деревья, которые пережили губительную зиму, когда яблони и те померзли, теперь родят каждый год. И новую персиковую плантацию ты тоже видел. Так чего же ты от нас требуешь? Чтобы мы топтались на месте, а ты изредка наезжал с проверками? Куда же мы так придем, черт побери?

— Я с этим планом никогда не соглашусь,— отрезал он.— Хоть на рога становись. Покуда наверху не изменят предписание, пока не переменят государственные нормы растениеводства — все твои усилия ни к чему. Я на страже закона. Не стану одной рукой пресекать беспорядки, а другой — их творить.

Мы рассвирепели оба.

— Ну довольно! — прикрикнул Ситарж.— Довольно! Кончайте споры!

Он долго притворялся, что слушает лишь вполуха, а на самом деле не упустил ничего... Ловил каждое слово, порой морща нос, словно это его забавляло. Умел, хитрющий лис, пользоваться преимуществом начальников, которые могут выслушать (если обладают этим даром), выгадать время и меж тем обдумать ситуацию.

— Оба вы несете вздор, ходите вокруг да около, и все зря. Вот вам мой совет: если не можете заключить мир, то подпишите перемирие. Доводы — надо отдать вам должное — и у того и у другого обстоятельные. Пусть будет по-вашему!

Мы не поняли и тупо уставились на Ситаржа.

— Ты, Адам,— помолчав, начал секретарь,— твердишь, будто вы свои раскладки отдали давно, а Йозеф уверяет, что не может, дескать, их принять. Стало быть, остается лишь рассудить, кто из вас прав.

Он обернулся к Паточке:

— Ты пришлешь мне все материалы. Адамовы выкладки и свои. Со всеми потрохами. Если понадобится, поставим вопрос на райкоме. На том и порешим.

— Все материалы? — Голос у Паточки дрогнул.— Дьявольщина какая! Не могу же я делать больше того, что уже высказал. Я свои обязанности знаю.

— Мне нужны все материалы,— снова повторил Ситарж.— А теперь, Адам, покажи-ка, до какого места этот твой новый сад должен простираться.

— С радостью! — воскликнул я.— Пожалуйста, смотрите.

Я обвел рукой всю линию противоположного увала, от маленьких наделов за гумнами, потом наверх к лесу — аж до Добржиньской рощи, за поворотом которой вьется Лаба.

— Оросительную систему,— добавил я,— удобно наладить, забирая воду прямо из реки. А почва на всей площади этого пологого «блюда» разная. По структуре и местоположению годится под различные виды фруктовых пород.

— Хорош кусок, черт побери! — одобрил Ситарж. Задумчиво смотрел он на излучавшую тепло землю, на коричневые и зеленые, взбегающие на склоны полосы полей. Солнце клонилось к закату, и с нашей стороны на посевы поползла тень.

— Еще бы! Кроме Калешовской фермы здесь хозяйствуют три кооператива. И у каждого свои планы и предписания, и они должны их выполнять,— отозвался Паточка.

Возвращались мы в полном молчании.

Уже на пути к нашему домику Паточка принялся припоминать, какие дела ему нужно еще сегодня позарез сделать. Собираясь отбыть, он рассчитывал, что Ситарж поедет тоже. Но тот, как видно, не спешил.

— Ладно,— решил секретарь,— поезжай, Йожка, а я задержусь на часок-другой. Когда еще сюда выберусь! А машину за мной пришли.

Из чистой вежливости я довел Паточку до машины; шофер спокойно спал за баранкой.

Уже держась за ручку дверцы, Паточка на прощанье строго на меня поглядел:

— Не радуйся раньше времени, Адам. Я свое дело знаю. А ты не так, так эдак свернешь себе шею.

Он захлопнул дверцу.

Я стоял и смотрел ему вслед, пока машина не выбралась из сада и, свернув на повороте, не покатила по направлению к городу. Признаюсь, меня ничуть не расстроило, что Паточка нас покинул. Что может быть приятнее, чем видеть врага или соперника, оставившего поле боя? Правда, он не был повержен, только отступил. Мог ли я в данный момент желать большего? Ничего еще не решено, ничего не готово. Все же я понимал, что доброе дело спрыснуто теплым дождичком. И сразу стало легче дышать.

Стоило мне проводить Паточку, как на пороге дома возникла Ева. Паточку она терпеть не могла; он был моим, а значит, и нашим общим неприятелем. (Еве еще невдомек, что мысленно я потираю от удовольствия руки.)

Она тотчас исправила все мои упущения. Добрая, гостеприимная душа, она знала, чем и как уважить гостя.

Ситарж сидел на веранде, держа бокал с вином, опирался локтями о столик и с довольным видом осматривал окрестности.

— У тебя тут и впрямь благодать,— со вздохом проговорил он.— Недурно устроился. (Хитро блеснув глазами, он выразительно кинул взгляд на Еву, а потом перевел его на меня.) Красота. Вроде в городе, а вместе с тем и у него за спиной. Сидишь тут, а душа и тело купаются в блаженстве. Лучшего и желать нельзя... Ну, давай-ка повеселим душу!

Ситарж поднял бокал.

Мы чокнулись. Ситарж не спеша смаковал каждый глоток. Отводя бокал от губ и вдыхая аромат напитка, он поглядывал вверх, на макушку отрога. Солнце клонилось к закату. Громко щебетали птицы, будоража прозрачный, теплый вечерний воздух, от земли шел густой, пряный дух. Все вокруг было объято покоем, утопало в юной свежести весны. Тени надвигающихся сумерек окутывали сад; потемнели стволы дерев; молочная белизна обливала вишневые кроны. Лишь на самой вершине отрога, в последних отблесках дня, в затухающих солнечных лучах ослепительно пылали их цветущие верхушки.

Ситарж, потягивая вино, задумчиво молчал.

— Хорошо здесь. Покойно, свободно. Прямо языческое что-то. Как на ваш взгляд? — Он рассмеялся.— Даже эта твоя необычная форма деревьев — эти яблоневые пальметты... Они так чудно сплелись раскидистыми ветвями, что походят на живую изгородь — и это ничуть не мешает чувствовать себя здесь легко и привольно. Отчего бы это? — Он помолчал.— Забытая почти простота и умиротворение. Черт побери. Во мне словно все успокоилось, и я врос в эту землю корнями.

— Ты ведь в своих родных местах,— напомнил я.

— Возможно, поэтому.— Ситарж согласно кивнул. Потом обернулся ко мне, и взгляд его сделался серьезным.

— Подкупил ты меня там, наверху,— проговорил он.— Знаешь, чего хочешь. Умеешь за свое дело драться.

— Да ведь мы с тобой вечно затевали драки. У нас в предместье... Или забыл?

Он скупо усмехнулся.

— Одного мне никак не понять. Почему ты ко мне с этим сразу не пришел? Знаешь ведь для тебя мои двери всегда открыты.

— Знаю, да не в том суть. Плохо, что, даже задумав полезное дело, я не могу обойтись без твоей поддержки. За всем нужно обращаться к тебе.

Он смотрел на меня долго, внимательно, словно ждал, когда слова дойдут до глубины сердца и можно будет еще раз, по-новому вслушаться в них.

— Вы оба, что ты, что Паточка, никак не поладите меж собой,— вздохнул он.

— Когда-то ладили. В иные времена. Когда начинали. Теперь уже не то. К сожалению. А может, к счастью.

Я тоже сейчас был на удивление рассудителен и уравновешен. Наверное, это было реакцией на наш спор, вообще на встречу с Паточкой.

Ситарж, несколько посуровев, поджал губы.

— Может, ты и прав. Однако он сделал немало полезного... В чем-то я его понимаю. Он всегда напрочь отвергал все, что, по его мнению, выходило за пределы намеченного курса или искажало его. Он считал это отступничеством. Держаться курса, не идти на уступки ни в чем! Это было единственно правильным и верным. Наверху все знают... Всегда знали. Благодаря тому мы и живем теперь при социализме... Вот как он думает... Но при этом забывает об одном: курс создается не только теми токами, что идут сверху вниз, но и теми, что поступают снизу вверх. Обстоятельства меняются, возникают новые, и они не укладываются в готовую формулу. Социализм — дело живое. Как раз потому и нелегкое. Сам небось знаешь. Ей-богу, Адам, все не так просто, как представляется. Ты меня понимаешь?

— Конечно. Но тогда почему...

— Погоди,— остановил он меня.— Всему свое время. Давай обсудим твои дела.

По каким-то соображениям Ситаржу расхотелось говорить о Паточке.

Тут что-то крикнула Луцка, и Ева, извинившись, нехотя поднялась. Ситарж поглядел ей вслед.

— Твоя помощница?

— Все, что связано с персиковой плантацией, вместе поднимаем.

— Повезло тебе! — проговорил он. Это прозвучало похвалой.

— Пожалуй.

Он не сводил с меня пристального взгляда.

— Еще один вопрос. Собственно, два. В этом новом саду, который ты собираешься разбить вместо приусадебных участков, вы на самом деле хотите посадить яблони?

— Лучшей земли, чем там, для яблонь не найти. Сам увидишь, если взглянешь на карту и план. Климатические условия на площади всего ареала приблизительно равные. Спокойные пологие спуски, обращенные к северу и северо-востоку. Структура почвы тоже в общем одинаковая. Глубокий плодородный слой средней зернистости. Главным образом... Но определенная разница в структуре и рельефе земли имеется. С учетом этого наш план предусматривает цельные участки размером около двадцати гектаров. Персики прижились бы на том склоне, что тянется на противоположной от леса стороне. Там им было бы лучше всего... Даже вишня не требует столько перегноя, сколько яблоня. Яблоня не терпит известковых почв. Ты вот сказал, что всему свое время, но всему и свое место.

Взгляд его засветился.

— Да уж, эта твоя затея с персиками! Признаться... были такие моменты, когда и я начинал сомневаться, не безумие ли это. Не слишком ли далеко занесся ты в своих фантазиях. Однако персики налицо. Так, во всяком случае, представляется...

— Нужно было поточнее определить условия,— заметил я.— Какие сорта, когда и где высаживать, чтобы они прижились. В сущности, все сводилось к тому, чтобы переменить время и место посадок и подобрать нужные сорта. Я сознательно высаживаю их в пору вегетации, а не во время зимнего сна, ни в коем случае. На северной стороне. Собственно, я выращиваю их как кустарниковые породы, никаких высоких деревьев. Ствол чуть ли не у самой земли раскидывает плодоносные ветви. На зиму к низкорослому деревцу мы подгребаем слой грунта, он предохраняет растение от морозов. При сильных морозах страдает лишь крона, закрытая часть цела и здорова, и весной с ее помощью ветки быстро идут в рост. Год спустя дерево снова плодоносит... Вот и все.

— Не так уж мало,— помолчав, заметил Ситарж.— Насколько я понимаю, это значит разрушить до сих пор существовавший способ выращивания персиков, то есть произвести настоящую революцию. И это в условиях, совершенно отличных от тех, из которых исходит государственная норма.

— Доказательства нашей правоты у нас налицо,— сказал я.— Персики нашей первой опытной плантации плодоносят из года в год. Деревца, взращенные новым способом, куда устойчивее. Устойчивее абрикосов.

Ситарж раздумчиво покачивал головой.

— Ты мечтатель, но к тому же и упрямый практик,— произнес он наконец.

— А иначе не получается. Нигде. Даже в любви,— рассмеялся я.

— Ах, дьявол! — восхитился он.— Ладно. Но не думай, что уже все в порядке. Нужно еще просмотреть твои бумаги. Все обоснования и разработку.

— Другого я и не прошу. Пока... Это реальный, сбалансированный план.

В эту минуту вернулась Ева. Принесла хлеб и яичницу, поджаренную на шпиге, густо посыпанную свежим зеленым луком.

— Наверное, не откажетесь.

— Конечно, не откажемся,— отозвался Ситарж.— Но можно бы и обойтись.

Ева дружески и открыто взглянула на него:

— Знаете, сколько на свете вещей, без которых можно обойтись, а все же приятно, коли они есть. Жалко, если бы их не было.

Она присела, доверчиво положив руку мне на плечо.

Держа бокал в руке, Ситарж довольно щурился. Я понимал, что в эту минуту для него не существовало ни прокуренных стен канцелярии, ни груды сведений и резолюций, ни бесконечных совещаний,

телефонных звонков и собраний, ни посетителей, добивающихся приема, ни их сетований и жалоб.

— Да, мне здесь нравится,— еще раз повторил он. И тихонько, словно про себя, добавил: — Неужели так еще бывает? Адам и Ева... Как при сотворении мира.

— Да ведь во всякую минуту что-то сотворяется. Началам нет конца. Такая вот вечная напасть, она же и счастье.

К дому подкатила машина Ситаржа, но он ее не заметил. Смотрел в сад, не сводя взгляда с переливчатого радужного отблеска, игравшего на чистом холодеющем небосводе. Что-то занимало его мысли.

— Знаешь, Адам,— спустя некоторое время проговорил он,— я ее вижу.

— Что видишь?

— Эту твою обетованную землю. Плантации, простирающиеся отсюда до самой Лабы. Весь твой необъятный сад. Но сколько хлопот! Сколько труда! Ты отдаешь себе в этом отчет?

— Да ведь не только труд, но и радость.

Он поднялся. В глазах мелькнул живой огонек.

— Слушай,— спросил он,— а у тебя дома нет копии плана?

— Есть.

— Захвачу-ка я его с собой. Увлекло меня это дело. Очень. Хочется с головой влезть, не откладывая.

— Лады,— согласился я. — С большим удовольствием.

Мы остались одни. Стояли на дороге, пока машина не выехала из ворот потемневшего сада.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил я Еву, с трудом сдерживая волнение.

Она кивнула, но как-то безучастно.

— Так что же? Или тебе что-то не глянулось?

— Нет, я рада,— отозвалась Ева.— Но лучше подождем. Жизнь научила меня верить только тому, что уже видишь собственными глазами. Да ты и сам так говоришь.

Я поглядел на нее с удивлением. Что с Евой?

Только теперь я вспомнил: все время, пока Ева угощала и развлекала Ситаржа, она чувствовала себя словно не в своей тарелке. Говорила мало, больше молчала. Это она-то, обыкновенно не упускавшая возможности как-нибудь оживить беседу, одобрить острым словцом. Пламень, обычно пылавший в ней, был чем-то притушен. Не так ярко блестели глаза. Еще в полдень, во время обеда, она светилась радостью жизни. Наш проект! Когда мы начинали его разработку, она горела воодушевлением, не давала себе ни отдыху, ни сроку, лишь бы поскорей довести до конца. А теперь вдруг это как бы ее вовсе и не касалось.

— Что произошло? — настаивал я. — В каких облаках ты витаешь, дружок?

— Да здесь, рядом.

— Нет, уж мне ли тебя не знать, тебя куда-то унесло.

— Все работа да работа,— вздохнула она.— Уж эта твоя работа!

— Моя?!

— Ни секунды мне не можешь уделить.

— Тебе? — рассмеялся я. — Да разве о тебе забудешь? Да если бы я вдруг и забыл — ты бы тут же напомнила. Разве не так?

— В этом я теперь вовсе не уверена. — Она вздернула губку.— Нынче ты с самого раннего утра не обращаешь на меня внимания.

— Да что с тобой, Ева?

— Ты даже не заметил, а на мне нарядное платье,— продолжала она.— Сам говорил, что оно тебе нравится.

По правде сказать, я только теперь осознал, что на Еве выходное платье цвета морской волны, с глубоким узким вырезом и воротничком. Оно очень ей шло. И Ева это знала.

— Очень тебе идет.

— Только тебе это просто-напросто безразлично. Все остальное — важно, а что со мной — безразлично,— мирно, без раздраженья заявила она. Голос ее звучал на редкость спокойно, но не равнодушно. Напротив, в нем ощущалось подспудное напряжение. Он был как тихая поверхность глубокой реки. И выраженье лица у нее было такое же.

— Что случилось, Ева? Давай-ка выкладывай!

— Откуда вдруг такое участие?

Тут я увидел, что она едва сдерживается; покусывая губы, отводит взгляд в сторону. А в глазах уже вспыхивают лукавые огоньки.

— Ну так что ты хочешь сказать?

— У тебя ведь сегодня удачный день, Адам, правда? Так пусть он будет удачным до конца. — Она помолчала. — У меня для тебя сюрприз.

— Для меня?

— И для тебя, и для меня,— понизив голос, промолвила она. В голосе звучала радость, рождавшаяся где-то в глубине души. Рассеянная улыбка все еще блуждала на губах, словно Ева о ней забыла.— Видишь ли... Ты везучий, Адам... Все тебе удается.. Все... Ты снова скоро станешь отцом, Адам.

У меня захолонуло сердце.

— Это наверное? — произнес я срывающимся голосом.

— Врач сегодня подтвердил. Подарю тебе сына. Я знаю: это будет сын. — Ева широко улыбнулась. И вся засветилась.

— Ты даже не представляешь, что это для меня значит! — воскликнул я. — Не представляешь, как я счастлив!

— Представляю.

Она была чудо как хороша. Возбужденная и в то же время притихшая.

— Нет, представляю, представляю,— повторила она.

Мы стояли молча, держась за руки, словно срослись друг с дружкой. Стояли, любовались цветущим садом и вслушивались, как деревьев касается дыхание весенней ночи. И не обронили ни слова. Слова были не нужны.

VI. Двойной урожай

С парнями нашей бригады я ладил. Конечно, смотря по тому, как понимать слово «ладить». Само собой, они не святые — я, кстати сказать, тоже. Сколько голов, столько умов, столько и характеров. А голов у нас — восемь, с Евой — девять. И у каждого она на свой лад. Среди нас есть всякие: один вспыльчивый, дерзок и боек на язык, другой нрава спокойного, порядочный и рассудительный, лишнего слова попусту не обронит; этот — легковесный хвастун, а тот — завистник; рядом с простофилей — хитрющий плут, а возле молокососа — женатик; медлительный, замшелый нелюдим и трудяга рядом с продувным пустомелей. Работа связала нас одной веревочкой. Не у всех, правда, одинаковая потребность и заинтересованность в труде, который принесет нам и урожай хороший, и вознаграждение по заслугам. Но вместе мы дополняем друг друга. Если один даст осечку — он подведет не только себя. Его разгильдяйство скажется и на остальных... Поэтому лодырей среди нас нет.

С двумя из трех взятых к нам работников — они пришли позднее всех — мы вскоре без сожаления расстались (впрочем, не с ними первыми). Один — с виду приятный, общительный малый — оказался не-

исправимым лентяем. Он мог простоять с заступом в руке полдня, пока другие работали не покладая рук; спал, спрятавшись за деревьями или в сарае на мешках и ящиках. Как мы его ни шпыняли — все впустую. Однажды он заснул так крепко, что проспал конец рабочего дня. Я наткнулся на него, когда он поспешал... Наверстать упущенное?.. Какое там! Вручить нам заявление о сверхурочных часах! Хотя на лице его еще не разгладились вмятины от травы, на которой он валялся, и в глазах стояла сонная одурь. Он мог спать даже на ходу... Что поделаешь? Пришлось предложить: не сердись, мол, голубчик. Ступай лучше, откуда пришел. Здесь тебе ничего не выгорит.

А второй? Этот был натура погрубее. Пьяница и прогульщик, выдающий себя за больного ревматика. Руки у него ныли, как раз когда у нас скапливалось больше всего работы. Часами высиживал он у врача, а потом резался с собутыльниками в карты. С такими как ни разговаривай — ангельским, анафемским ли языком,— толку все равно не будет. Этот забулдыга еще и возмущался — он недополучил, дескать, премии, грозил жаловаться, что дни прогулов мы вычли у него из отпуска. Разглагольствовал насчет того, что у всех, мол, желудки одинаковые, все одинаково и есть хотят, и пить, и одеваться хорошо. Разве, мол, не ради такой жизни мы прогнали господ? Ходил клянчить материальную помощь в районную профсоюзную организацию, и те чуть ли не поддались... Так что мы с ним не сработались. И расстались без сожаленья. Он тут же устроился подсобником к каменщикам, тамде платят больше. По пути в город я встречал его неоднократно — в рабочее время он болтался возле пивной «На зубок». И всякий раз, мерзавец, приветствовал меня, подняв пол-литровую кружку!

Коротко и ясно: наша бригада во всем была заодно, и в добрые и в худые времена действовала согласно. Объединяла нас любовь к саду и, разумеется, общие радости, похвалы и награды (как словесные, так и денежные) за устройство пальметтных садов и вишневых плантаций; в этом году мы надеялись на самую большую удачу и с нетерпением ждали первого урожая персиков.

Год назад, когда я впервые пришел в бригаду с предложением освоить соседнюю лощину, не все отнеслись к этой идее одинаково, и это вполне естественно. Одним проект представлялся попросту неподъемным, и они испугались, другие вообще не верили, что столь серьезную планировку земли одобрят наверху. После того как самые серьезные опасения отпали, стали судить да рядить, как распланировать новые плантации, с чего начать, а что оставить на потом. Когда мы заканчивали разработку проекта, вся бригада мысленно уже засаживала деревьями противоположные склоны. Трудные переговоры с соседними кооперативами и в первую голову с владельцами частных усадеб еще больше сплотили нас. Слухи, что в районе наш план не поддержат,— а они уже начали просачиваться, ведь Паточка с Олдржихом не давали обета молчания — снова, в который раз, остудили наш пыл. (Так всегда бывает: душа полна энтузиазма, руки чешутся от нетерпеливого желания приняться за работу — и на́ тебе, выясняется, что заниматься ею как раз и нельзя.) Все это мучило нас, в бригаде вновь начался разброд. А я, глупец, вместо того чтобы поднять дух и рабочее настроение, не придумал ничего лучше, как выложить тепленькую еще новость: Ситарж, дескать, обещал мне, что сам ознакомится с нашим проектом и что теперь все налаживается. Бригада приободрилась. Потянулись дни напряженного ожидания...

Однако вскоре наш Олда снова втянул меня в историю. Я так до сих пор и не знаю точно, что произошло и какие были произнесены слова, но могу себе представить, какая может подняться кутерьма, если столкнутся такие суеслов и язва, как наш тракторист Шамал (этого хлебом не корми, только дай посудачить насчет того, что нам помешать — руки у всех коротки) и Олда, которому лишь намекни на это — он тут же индюком надуется в своей чиновной спеси. Шамал

возьми да и ляпни, что наш план теперь в иных руках, и те руки не чета Олдовым (особым почтением к начальству тракторист никогда не отличался, а тем более к Олде, которого знал еще с тех пор, как тот работал у нас); в отместку Олда тут же дал ему понять, что мнение сельскохозяйственного отдела — окончательно и бесповоротно, потому что на его стороне закон. (Я прямо-таки слышу, как он произносит эти слова. Со мной Олда держится сносно, но все равно его бюрократическая душонка то и дело заявляет о себе, а уж когда не терпится проучить какого-то там тракториста — тем паче.)

Ну так вот, полдничаем мы однажды на ящиках за складом, как часто бывало в теплые солнечные дни, глядь — мчится к нам Шамал с такой поспешностью, будто за ним — пчелиный рой.

— Все пропало! Ничего расширять не будут! — И он, вне себя от ярости, выпалил все аргументы, которые запомнил из разговора с Олдржихом,— мне они были хорошо известны из споров с Паточкой. — Проект уже отклонили. Начальнички! Ведь сказал — возьмут они нас за горло.

Я оказался под перекрестным огнем взглядов. Что отвечать в таких обстоятельствах? Шамал так раскипятился — слова не давал выговорить.

— Начальнички чертовы! Все, что им хоть чуток работы прибавляет, готовы не глядя со стола смахнуть. Руки в брюки — и гуляй! Навязались новые господа на нашу голову! Дожили!

Ох, окаянный этот чешский характер! Со времен трехсотлетнего габсбургского владычества у нас в крови инстинкт неприятия всего, что насаждается «сверху»: при Габсбургах все, что спускалось «сверху», шло на пользу только власть имущим иноземцам, такой протест был для наших предков жизненной потребностью, как инстинкт самосохранения. Во времена фашистской оккупации эта черта у чехов укоренилась еще больше.

— Хватит, уймись! — не выдержал я наконец. — На Олде да на Паточке свет клином не сошелся. Ведь когда они свои когти покажут, ты все равно не отступишь. Ты тут тоже хозяин, и тебе наша земля принадлежит по праву. Твое право и твой долг — отстаивать то доброе, что мы здесь создадим.

Но Шамал никак не мог успокоиться. Его снова занесло.

— Я уже считал дело решенным,— вмешался Гонзик.— Вы говорили, что все на мази, что проект вот-вот утвердят...

Он смотрел на меня в упор. И я не отвел взгляда.

— Ничего еще не решено. Нужно подождать. Кусок большой, не всяк его сразу разжует. (И дернуло же меня проболтаться о своем разговоре с Ситаржем!)

Чтобы как-то подбодрить их, я, повернувшись к Гоудеку, задорно проговорил:

— А ты не вешай носа, ты и без того им чуть землю не роешь. Кто захочет звезды увидеть, тот должен голову высоко держать!

Сказано это было, признаться, не очень умно. Мне стало неловко, едва лишь слова сорвались с языка. Ведь адресовал я их пожилому, всегда молчаливому тугодуму. Трудяга, каких поискать. От зари до зари роется в саду и всегда находит себе дело.

Шамал поднялся и отпихнул ногой ящик.

— Хороша инициатива трудящихся, ничего не скажешь! Болтовня одна. Валяй вкалывай, как паны велят. Не работа — дерьмо!

Отвернувшись, он возмущенно запыхтел. Остальные, тоже расстроившись, молча поднялись следом.

После обеда я пошел проверить, как продвигается летнее опрыскивание яблонь. Очень важно уничтожить вредителей вовремя, тут каждый час воздастся сторицей. И что же? Гонзик, вместо того чтобы приняться за дело, разлегся на траве. Насос и бачок опрыскивателя валяются под деревом, а мой любимец, обычно такой проворный и со-

образительный, предается безделью. И это моя правая рука! Тот, кого я считал надежнейшим помощником. Толковый, ловкий парнишка ходил за мною неотступно, как тень. И чем милее он становился моему сердцу, тем больше я его гонял.

И вот теперь, заложив руки под голову, задрав кверху подбородок, он жевал стебелек и глазел в небо. Гонзик так глубоко и сосредоточенно над чем-то раздумывал, что даже не заметил, как я подошел.

— Не помочь ли тебе встать? — взорвался я. — И давай за работу! Чтоб дело было сделано!

Он вздрогнул. Поморгал заспанными глазками, потом лениво потянулся.

— Доделаю. Сегодня, завтра — какая разница?

— Да ты что? Головомойки захотел? — загремел я.

Он приподнялся и дерзко ответил:

— Такая работа, товарищ начальник, мне не по нраву. Все одно и то же. Хоть лежишь, хоть бежишь. Да и бежать-то некуда.

И это говорит мне Гонзик!

— Оно и видно. Бывало, такой участок ты за один день обрабатывал. Ну-ка встань, перемени позу да пробегись. А там и поговорим. Ну-ка!

Он неохотно поднялся. И так же нехотя, с независимым видом, взял опрыскиватель.

Я его понимал. Хорошо, даже слишком хорошо понимал. В прошлом году, когда мы разрабатывали наш план, он был увлечен ничуть не меньше, чем я. Именно он больше всех интересовался, как продвигается в районе наше дело. От его восторженного взгляда, с каким он слушал меня или наблюдал за моей работой, мне становилось даже не по себе.

Так же лениво, как встал, Гонзик, склонив голову, теперь накачивал воздух насосом.

— Я хочу тебе кое-что сказать, Гонзик. А ты намотай себе на ус. Если у тебя что не получается, если все осточертело и скверно на душе, это еще не причина для того, чтобы бросать дело на полдороге. Я тебя, дружок, ни в чем не обманул. Надеюсь, мы понимаем друг друга. Подождем еще, но не будем опускать руки.

Поглядев на меня, он как-то чересчур поспешно отвернулся. Я прямо почувствовал, как полыхают у него щеки. Потому и отвернулся, чтоб я не увидел.

Не произнеся больше ни слова, Гонзик взялся за работу.

Конечно, веселее на душе у меня от этого не стало. Как последний болван, я поделился своими неприятностями с Евой. И пожалел.

Ева всегда умела ладить с людьми и находила с ними общий язык. Когда мы разрабатывали наш проект — да и в других делах,— тому или иному из членов бригады случалось и оробеть, потерять уверенность в себе или же раскапризничаться, а то и разленится или на дыбы встать. И тут Ева, пуская в ход прирожденное женское кокетство, справлялась с любым отступником куда вернее, чем я, полагавшийся только на строгость и дисциплину. (Кому охота слушать нотации? Никому, по себе знаю. А вот надо же — по-другому не умею!) А Еве достаточно лукаво прищурить глаза, весело рассмеяться или наморщить нос, запустить в нытика гнилым яблоком или стрельнуть вишневой косточкой — и все приходило в норму.

Но на этот раз она сама подлила масла в огонь.

— И ты еще удивляешься? — спросила она, выслушав меня. — Словно с луны свалился. Делаешь вид, будто тебе неизвестно, сколько таких Олдржихов (она с ненавистью выговорила это имя) и Паточек расселось по нашим конторам, где решаются важные дела. И путаются под ногами, когда тебе нужно пройти. Ведь сам чуть не на каждом шагу о них спотыкаешься. А тебе, видать, все еще мало? Да кому после этого работать захочется?

— И ты туда же! Я уже и так сыт по горло. Не хочешь ли ты сказать, что во всем изверилась? Ситарж...

Сморщив нос, она прервала меня:

— Как мужчина он мне нравится. Но я уже сказала: поживем — увидим. Не поверю, пока не смогу убедиться своими глазами. Это только ты у нас готов сразу уши развесить.

— Шутишь?

— Как хочешь думай. И вообще лучше спокойно сидеть и ждать. Мы, значит, спокойненько ждем у моря погоды.

Сердце у меня ёкнуло. Ну и хитрюга! Вроде бы подпевала мне и поддакивала, а на самом деле подзуживала, хотела, чтобы я наконец-то на что-нибудь решился. Ведь наше положение мучило ее не меньше, чем меня.

На другой же день я отправился к Ситаржу. Еве на всякий случай об этом не сказал, благо у меня кроме визита к секретарю были дела и в дирекции госхоза. Ситаржа я не застал. Он пропадал где-то в районе, наверняка с головой погрузился в свои повседневные заботы. Назавтра его ждали на заседании какой-то областной комиссии в Усти... Напрасно съездил, зря время потерял. Всю дорогу твердил себе, что об этом неудачном путешествии Еве ни гугу. Однако она разгадала мои намерения, наверное, уже в ту минуту, когда я утром садился в машину!

— Ну и что? Чего добился? — спросила она, едва я показался в дверях. — Выкладывай как на духу.

— А что тебе хотелось бы услышать? Был в госхозе,— увиливаю я.

— Лучше не выдумывай. Ты был в районе. Я знаю.

Она подождала. Я упрямо молчал.

— Стыдно?

— Почему? Чего мне стыдиться, Ева? Не был я там.

— Не хватать же мне тебя за руку? Но я так и думала,— со вздохом произнесла она. — Наверное, он от тебя прячется.

— Как прячется? — взорвался я. (Бог знает, на что я рассердился в эту минуту.)

Хлопнув дверью, вышел в сад. Отвести душу... Но ничего не помогало. Меня разбирала злость, я только мучился. Душа словно заросла плевелами, заглушившими всякую радость труда. Собственно, уже теперь было ясно, что от будущего года ждать нечего. Нужно бы, конечно, почву под новые высадки подготовить. Но между мною и моей бригадой возникла невидимая, холодная, непроницаемая стена. Паршивые дни!

Но вот как-то вечером у меня дома зазвонил телефон. В такое время? Уже около одиннадцати. Я с неохотою поднял трубку.

— Ты не спишь? — послышался голос Ситаржа. — Чем же тогда занимаются Адам с Евой в этакую пору? — хохотнул он в трубку. Голос был радостный и довольный. — А теперь серьезно. Я только что из области. Ты лучше сядь... Ну так вот, все в порядке. Выгорело твое дело. Проект ваш одобрен целиком и полностью. В соответствии с государственным планом перспективного развития крупнопромышленного производства. Вошел как составная его часть.

Ситарж помолчал.

— Ты меня слышишь?

— Слышу.— Я сглотнул ставший в горле комок.— А ты, часом, не пьян?

Он рассмеялся.

— Ты уже метал громы и молнии, а? Что поделаешь, потребовалось время... Я все отдал перепроверить. Ты выиграл. Так что кое-кто из несогласных и противников твоих поутихли. План и структуры видов одобрил и научно-исследовательский институт плодоводства. Их авторитетное мнение очень способствовало нашему успеху. Теперь —

что касается перспективного плана... С теми соседними усадьбами, с бездековскими наделами можете начинать хоть сейчас. Это решение принято еще раньше — но с условием, что весь план утвердят в области. Так что дело сделано... Значит, теперь держись! А я пойду спать. Не в пример тебе...— усмехнулся он.— Устал... Сил нет. Еле на ногах держусь. Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Ну и хорошо. Я пошел спать.

Блаженная минута. Я обнял Еву.

— Ну а теперь кайся! Мы победили, Ева!

— Значит, все-таки их проняло,— откликнулась она. — Долгонько тянули. Давно уж могли бы все решить.

— Кайся! — повторил я. — Признавайся, кто был прав?

— Конечно, я,— воскликнула она с озорством. — Не я ли говорила, поживем — увидим?

Ох уж это окаянное женское племя! Вечно-то они правы!

— Вот видишь! По-моему вышло. — И она засмеялась.

Сдерживать себя ей больше не хотелось. Щеки ее вдруг жарко вспыхнули.

Прильнув ко мне, она крепко поцеловала меня в губы.

С того дня ко мне вернулась способность воспринимать красоту летнего сада и радоваться ей. Подгонять в работе никого не приходилось, все знали — теперь нельзя терять ни минуты. Прежде всего нас ждала уборочная кампания... Благодаря устойчивой теплой погоде быстро поспела вишня. Следом стали наливаться сладким соком персики. Некоторые были величиной с кулак.

Мы с Евой переживали каждый этап вызревания этих царских плодов: как они округляются и набухают, как обольстительно натягивается их покрытая нежным пушком, золотисто-карминовая кожица, мягкой и сладкой становится плоть... (Переживания были тем живее, что к этому времени Ева и сама тоже порядком округлилась!)

А потом наступил и тот долгожданный день, когда Ева сорвала первый, прекрасный, зрелый, словно дышащий теплом персик и вонзилась зубами в его сочную мякоть.

У меня было такое впечатление, будто само солнце проникло в янтарь, мгновенно его растопив и обрызгав Еве рот.

Она протянула мне персик. Я высосал из него сок. Сок был сладкий, с освежающим, чуть горьковатым, как у миндаля, привкусом.

Остаток мякоти Ева засунула себе в рот.

Первый персик мы попробовали вместе. Новый наш урожай! Разумеется, я не забыл о своем давнишнем обещании и корзиночку ранних плодов отвез Ситаржу. Еще и потому, что мне хотелось похвастаться чудными, вызревшими плодами. (Я взял самые отборные, утром только снятые с дерева.) Он принял их естественно и просто, с радостью. Да и как же иначе? Персики наши вызрели не без его участия.

— Давай показывай,— сказал он. — Это что, с того северного склона? С новой опытной плантации? А может, из магазина? Экспортные подсовываешь? По-моему, как раз такие я и видел.

Он ехидничал, а прищуренные, живые глаза весело улыбались.

— В магазине таких не найдешь. До такой сладости они дозревают только на деревьях.

— Знаю,— кивнул Ситарж. А потом долго и молча разглядывал плоды, перебирал их и любовался. А один надкусил. Попробовал — как первый глоток роудницкого вина.— Слушай,— проговорил он.— Глотнешь вот такого соку... и вроде как кровь перелили... А?

Мог ли он порадовать меня больше? Одарить лучше?

Засмеявшись, Ситарж крепко обнял меня за плечи.

— Ты победил, Адам. Не слишком ли часто я признаю это? Не вздумай заноситься, братец. Конечно, основания у тебя есть...

С легким сердцем возвращался я восвояси.

И я был бы не я, если бы следующую кошелку (и в нее, само собой, мы положили отнюдь не самые худшие плоды) не отослал с Олдржихом... ну кому же еще, как не Паточке! Ни за что на свете я не отказал бы себе в таком удовольствии. И — по моим сведениям — он принял мой дар с некоторым замешательством. Горьким показалось ему это подношение! Жаль, не довелось увидеть его лицо, когда он принимал плоды. Однако моя гордость пересилила любопытство. Я и без того был вознагражден. А воображения мне не занимать. Позже, при встрече, он вел себя словно ничего не произошло. Даже спасибо не сказал.

Но богаче всего в этот сезон был урожай яблок. Сторицей платили нам деревья за уход и заботу. Какая это радость — пройтись по аллее наклоненных стволов, чьи веретенообразные кроны сливаются в один густой зеленый ковер, затканный рельефным узором из золотистых, наливных, жарко пламенеющих, румяных плодов, словно опушенных легким инеем.

Мы проводили в саду все время, от зари до зари.

Работа кипела. Сами мы уже не справлялись со сбором урожая. Нам помогали горожане. Школьников и пенсионеров к нам приехало достаточно. Вишни и яблони были низкими, снимать с них плоды не представляло особого труда, так что любой мог кое-что заработать. Платили у нас прилично. Нижние ветки яблонь склонялись чуть не до земли, так что можно было обирать их сидя — сиди и срывай чудояблоко. Плодов было столько, что машины закупочного пункта не успевали их перевозить. Груды яблок были уложены на соломе, возле переполненного склада, под открытым небом, покрывались росой, воздух был напоен их дурманящим ароматом, и мы уже готовились к ежегодным торжествам в честь завершения уборки. Праздник нынче обещал быть на славу. Все мы заранее радовались ему...

Стоя перед распахнутыми воротами склада, я вел переговоры с закупщиками, и вдруг увидел Еву. Она шла к нам, напоминая прекрасную, налитую сладким соком, тяжелую виноградную гроздь (виноград уже тоже дозревал). Двигаться ей было тяжеленько, но усидеть дома она не могла. Движение и воздух были ей необходимы. Она поспевала всюду: то ее видели среди сборщиков, то возле весов, где она записывала, кто сколько собрал, а то присматривала за грузчиками, которые укладывали ящики на машины. Я прогонял ее с тех работ, которые могли быть опасны в ее положении, но она не слушалась. И еще подсмеивалась надо мной.

Она была почти уже рядом с нами, как вдруг у кучи влажных от росы красных «спартанцев» наступила на закатившееся в траву яблоко, поскользнулась и упала. Я подскочил к ней, но она уже поднялась.

— Ева! — Я с нетерпением ждал, что она ответит.

Она смущенно улыбнулась.

— Вот видишь, все в порядке. Клуша и только. Валюсь на ровном месте, — виновато, но с облегчением проговорила она.

Я хотел отвести ее домой отдохнуть, но Ева отказалась.

— Не думай, что я так легко позволю отогнать себя от тех кушаний, что готовятся здесь к вечернему пиру, — сопротивлялась она. — Вот посижу немножко, отдышусь. Устала. Да ведь такова уж наша женская доля. — Ева улыбнулась, но теперь уже своей милой широкой улыбкой. У меня отлегло от сердца.

— Могло быть хуже. Это тебе урок!

Сев на перевернутый ящик, она подставила лицо солнышку и прикрыла веки.

— Очень люблю солнце. Люблю, когда оно греет.

— Ну вот и наслаждайся. Сиди и отдыхай.

— Времени у меня мало осталось, — проговорила она, обращаясь к солнцу. — К вечеру нужно еще кое-чего приготовить.

Немного погодя Ева поднялась, и около шести они вместе с Боженкой Шамаловой пригласили нас на торжество.

За складскими помещениями, в защищенном от ветра месте было приготовлено королевское угощение. На ящиках, накрытых полиэтиленовыми скатертями, соблазнительно красовался на тарелках сыр, изукрашенный полосками красного перца; ветчина, нарезанная ломтями и обложенная огурчиками; теснились караваи хлеба, зельц, помидоры, лук свежий и маринованный, блюда с отборными фруктами. (Последнее — скорее для пущей яркости стола. Как-никак плоды наших трудов, наша гордость!) И рядом с батареями белого и красного роудницкого — ящик пива. Чуть поодаль над очагом жарился барашек, основательно начиненный чесноком.

Запах мяса и дыма только-только успел перемешаться с ароматом яблок, уложенных вокруг склада, а гости были уже тут как тут. Во главе с директором Гавелкой и виноделом Боушей. (Этот себя не посрамит — знает свое дело. Его красное было превосходно. Выдержки того года, когда от обилия солнца все превращалось в нектар. Разлитое по бутылкам, оно напоминало целительную кровь, подготовленную для переливания.)

Само собой, наши пришли все. Некоторые — новички — поначалу смущались, они еще мало были знакомы с директором, но, отведав вина и яств, осмелели. Гонзик хотел было помочь Шамалу печь барашка, тем самым покусившись на исконную его привилегию.

— Не суйся, куда не след. Поспешишь — людей насмешишь! — охладил Шамал его пыл.

Это присловье никак не относилось к тем, кому предстояло запить обильное угощение добрым глотком вина. Тут гости были еще не на высоте, словно руки их и уста сковывала робость. Директор, похоже, их все-таки стеснял. А тот словно бы к чему-то готовился. И действительно, с бокалом в руке Гавелка пробрался через толпу, обступившую столы, уставленные тарелками и салатницами.

Мы застыли... Сейчас закатит речь! К счастью, Гавелку осенило свыше, а вероятнее всего, бросились в глаза оторопь и испуг на лицах собравшихся.

В нескольких словах поблагодарил он всех нас за труд и тут же поднял бокал для тоста.

— Вот это по-моему! — воскликнул Шамал. — Черт побери, сразу полегчало. А то бывает — море слов, а закуски кот наплакал. Очень приятно, что у нас все наоборот. И барашек уже изжарился!

Все окружили костер, над которым в легком дымке от перегоревших поленьев поджаривался барашек; с его золотистой, хрустящей (видно с первого взгляда!), лопнувшей от огня корочки медленно капал жир. От густого соблазнительного запаха весельем взыграли сердца, шипенье капелек жира на опадавших уже языках пламени звучало торжественной музыкой. Все буквально теряли последнее терпенье.

Шамал, облепленный гостями, как леток пчелами, попытался было разделить барана на порции, но скоро бросил эту затею. И мы один за другим, группами и поодиночке, сами отрезали или отрывали себе куски баранины и, разжившись едой, рассаживались где кому вздумается.

Вот теперь у всех стало спокойно на душе. В густеющих сумерках наш стан вокруг очага казался уютным, давно обжитым, и это было несказанно приятно. Впечатление незабываемое!

Временами слышалось лишь причмокивание да позвякивание рюмок. Кое-кто обгладывал мясо прямо с кости и всей пятерней, этим прибором королей, отправлял вслед закуску, запивая еду вином или пивом — в зависимости от того, кому что шло «по резьбе». Настроение

быстро улучшалось. Мы пировали в своем гнезде, птенец возле птенца, согревая желудок обильной пищей, прополаскивая глотку напитками и теша душу — само собой! — восхвалением собственных заслуг...

Мы все были уже на взводе, как вдруг, откуда ни возьмись, — Олдржих. Он явился приветствовать нас от имени и по поручению отдела сельского хозяйства районного национального комитета!

То-то поднялась суматоха! Я видел, как встает Шамал, держа в руках кость, которую не успел обглодать. В голове у него, видать, уже зашумело. (Он не забывал отхлебывать из бутыли, пока вертел над костром барана, дабы жару внешнего огня соответствовало тепло, что разливалось по телу.) И с места в карьер тракторист накинулся на Олдржиха:

— Ты чего здесь потерял? Посмотрите-ка на него, стервеца! Опоздал, брат, ничего уже не осталось. Но кое-чем я тебя угощу!

И уже сжал увесистый кулак, насилу мы его удержали.

— Так кто был прав, ребята? — воинственно кричал он, но крик его потонул в шуме голосов. Он вошел в раж, рвался в бой, и нам бы не справиться с ним, не вмешайся его жена. Она знала верное средство. Взяла и выплеснула ему в лицо полведра воды со льдом, в котором охлаждались бутыли белого вина.

Казалось, вечер испорчен, но все на удивление быстро вошло в норму. Шамал, отряхиваясь от воды (с его шевелюры она стекала потоками), сконфуженно слышал, как Олдржих сбивчиво оправдывается, признавая нашу правоту.

— Ведь я с вами, — хныкал он. — Я же все-таки ваш, черт возьми!

— Эхма! Это надо отметить,— вмешался наш директор.— Выпьем, стало быть, как на крестинном пиру. На таком пиру ни одному бездельнику кусок поперек горла не встанет.

Все дружно согласились и чокнулись. Один Шамал еще сопротивлялся. Но веселье продолжалось. Потом он и с Олдржихом чокнулся, а после нескольких рюмочек оба они уже гуляли в обнимку, поддерживая друг дружку.

Вечер удался на славу!

Веселым застольем и дружной забавой мы отметили хорошую работу и подготовку к новой... В эти минуты забылись наши печали, трудности и обиды; нами овладело чувство освобождения. И впрямь необходимо было расслабиться, дать отдых телу и душе. А что сравнится в таком случае с радостным, беззаботным гуляньем, с веселыми посиделками в кругу надежных друзей, где легко и привольно духу?..

Насколько приятнее любого банкета такая вот пирушка, среди приятелей, беззаботно потягивающих винцо у костра прямо в саду; раза два-три мне доводилось бывать на приемах по поводу вручения премий и медалей, полученных на разных выставках, где мужчины в накрахмаленных воротничках и дамы в роскошных нарядах наперегонки бегут к столам и, работая локтями, проталкиваются к холодным закускам — колбасам, сырам, паштетам, к холодной вареной дичи — брр... не люблю я эту холодную закусь! — и к крохотным порциям сладкого или к южным фруктам. В одной руке тарелка, в другой вилочка, они застывают с набитым ртом и натужной улыбкой на лице и расступаются, услужливо пятясь, когда министр или иной ответственный деятель в сопровождении свиты распорядителей пожелает пройти сквозь их строй в соседний зальчик и подсесть к столу, уставленному горячими и куда более изысканными блюдами.

Насколько наше жаркое аппетитнее, а напитки — приятнее! И как хорошо, когда выпадает эта редкая возможность — вместе поразвлечься, позубоскалить равному над равным, досыта посмеяться друг над другом, над самим собой и, ясное дело, над теми, кого нету рядом, над теми, кто нам помогает, а в особенности над теми, что так

заботливо и щедро снабжают нас разного рода инструментами и руководствами, всяческими предписаниями к исполнению, отвлекают от работы, которая, как известно, кормит нас, а заодно и их тоже. Вот так, рассевшись, как кому придется, веселимся мы, едим, пьем да языки чешем. Даем разгуляться и мысли и сердцу.

Гости и хозяева перемешались, так что нельзя уже было различить кто где, и я сложил с себя полномочия главного устроителя. Всяк веселился как умел, с кем хотел, болтая о чем придется. Наконец-то...

Именно это слово вырвалось и у Евы, когда я подсел к ней на лавочку, устроенную из ящиков и тесовых досок.

— Наконец-то ты со мной...

В начале вечера она была рядом, но застолье разлучило нас, поминутно отвлекая то одного, то другого. Ева забавлялась от всей души. Ведь это был и ее праздник. То из одного, то из другого кружка пирующих доносился ее голос, звенел ее смех. Лицо у нее раскраснелось, она хитро поглядывала на меня, с наслаждением вонзая зубы в хорошо пропекшееся мясо и отдирая его от ребрышек; губы у нее лоснились от духмяного жира. А вот пить сегодня ей было нельзя, хотя она и позволяла себе слегка пригубить то с тем, то с другим.

После хлопотного дня чувствовалось, что она утомилась, да это в ее положении и неудивительно. Ко всему прочему, ей предстояло еще уложить в постель Луцию (а той совсем не хотелось спать; за окном то и знай слышались раскаты веселого хохота). А потом — надо было отовсюду отгонять Томека (он тоже ухватил кусочек барашка и не прочь был остаться с нами на всю ночь. Он ведь помогал убирать урожай, так что свою долю вполне заслужил. Да только больно много говорилось такого, что никак не предназначалось для его слуха!) Неудивительно, что усталость теперь давала себя знать, и Ева спокойно отдыхала на лавочке.

— Ну, как ты тут?

Оказавшись рядом с нею, располневшей, с заметным уже животом, я умилился.

— Хорошо, — кивнула она.

— Да ведь поздно уже, лучше бы пойти лечь.

— Немного погодя, — согласилась она.

Укутавшись в старый растянутый свитер, она прижалась ко мне и блаженно улыбалась...

— Вот так мне очень хорошо, — прошептала она.

Похолодало, но от костра приятно тянуло теплом. Луна светила словно фонарь, на небосклоне прибавилось звезд.

Духовитый аромат яблок, мешаясь с дыханием земли, заполнял все пространство вокруг кострища.

— Ночь просто волшебная!

— Посмотри, Адам, — тихо проговорила Ева, кивком головы показывая куда-то поверх костра, на бескрайнюю цепь яблоневых зарослей. Лунный свет отражался на Евиных скулах и гладком чистом челе, взгляд выразительных темных глаз сейчас был подернут странной пленкой. В выражении лица, размягченном, преданном и доверчивом, уже появилось что-то материнское.

— Видишь? — переспросила она.

Я проследил за ее взглядом.

Кроны яблонь были освещены светом луны и звезд, они утопали в сиянии ночи, зато под нижними ветками листья казались черными. Лишь на ближайших деревьях, там, куда доставал отблеск костра, на увядающих, серовато-зеленых листочках мерцали, возгораясь и угасая, световые вспышки. А среди листвы, напоминая тонюсенькие солнечные лучи, поблескивали в отсветах костра паутинки бабьего лета. Они чуть вздрагивали, словно их касалось легкое девичье дыханье.

Ева стиснула мою руку своею теплой ладонью. Я прижал жену к себе и медленно, глубоко вздохнул. А она задержала дыханье и лишь немного погодя выдохнула. Ее и мое дыханье словно переливалось одно в другое. И вдруг — среди окружающих нас друзей, в гомоне шумливых разговоров мы остались одни...

Но ненадолго. Тишина, воцарившаяся вдруг, внезапно взорвалась смехом и выкриками, как если бы тихая и гладкая поверхность лениво текущей реки наткнулась на пороги.

Это Боженка с Гоудеком принесли огромный котел обжигающе горячего супа из потрохов. Уже один его острый, пряный запах, бивший в ноздри, взбадривал утомленные тела, вновь горячил охладевшую кровь и выводил из дремотного отупения.

— Хочешь? — спросил я Еву.

— Хочу, — улыбнулась она.

Я подал ей тарелку, она нагнулась над ней и вдруг замерла. Прижала руку к боку и побледнела.

— Ева, что с тобой? Что случилось?

— Что-то кольнуло. Ничего, пройдет.

Однако от боли прикрыла веки и прикусила губы с такой силой, что они побелели. Лишь некоторое время спустя кровь снова прихлынула к ним.

— Голубушка, тебе очень больно? Может...

— Нет. Уже отпустило.

Она улыбнулась, но в уголках крепко сжатых губ затаилась боль.

VII. Пустоцвет

Десятый день... Жду в роддоме. Бесконечно тянутся дни и ночи тоски и надежды. Врачи предполагают преждевременные роды. Я возил Еву на уколы. Но ей сделалось совсем плохо. Начались судороги, и подскочила температура, выступил обильный пот. Ева горела, как в огне. Ее била лихорадка, она корчилась от болей... Мы понимали, какое нам грозит несчастье, но до последней минуты отказывались верить... Ева держалась мужественно... А потом назначили операцию. Кесарево сечение. Ребенок уже не подавал признаков жизни.

Не помню, как я пережил тот день...

Доктор вел себя весьма любезно: «Дела не слишком хороши, но будем надеяться. Многое зависит от того, как пройдет ближайшая ночь. Утром позвоню... Нет, нет, пустить вас в палату не могу. При ней будут врачи. Я позвоню, не сомневайтесь». Исполненный участия и сочувствия, он дружески потрепал меня по плечу. Интонации его неторопливого, усталого голоса на всю жизнь врезались в мою память.

Я вышел из кабинета, едва держась на ногах. Голова разламывалась, сердце сжала внезапная спазма. Я был в отчаянье... Неродившееся наше дитя, только-только готовившееся издать первый крик, было уже мертво. А теперь и над Евой нависла опасность... Неужели и такое допускал доктор, неужели и так можно было истолковать его слова?

Они все громче звучали во мне. Окружали меня со всех сторон, сжимали виски, останавливали дыханье.

Наконец я очутился на улице. Некоторое время стоял под дождем и ветром. Начиная с полудня — а может, и с самого утра! — дождь лил как из ведра. Теперь уже смеркалось.

Вымокнув до нитки, я сел в машину, но мотор заводить не стал. Никого не хотелось видеть, хотелось побыть одному... Так вот я сидел и курил — сигарету за сигаретой. Сидел долго, уставившись в пустоту.

Ева. Ева и наступающая ночь.

Меня трясло. Она там борется за жизнь, а я тут сижу как истукан. И почему только все это должно было выпасть на ее долю? Вто-

рой раз судьба посылает мне такое испытание. Однажды я так же вот ждал... (А может, это случилось со мной в какой-то иной жизни?) Но теперь я помню только о Еве. И вообще — была ли у меня до нее другая женщина? Наверное, она единственная, и не от этого ли такая страшная пустота и беспросветность вокруг?..

Черная глубокая пропасть! Нет, нет, я не могу допустить такой трагедии!

Ах да. Томек и Луцка. Совсем позабыл. Надо ехать.

Дети бродили как неприкаянные. Тень страха и тоски падала и на них. Я попытался их успокоить, но тревога была слишком сильна.

Ужин. Несколько ломтиков ветчины с хлебом, чай. Малыши ели мало, весь вечер были подавленные, присмиревшие. Ева не шла из головы. Она была тут, рядом с нами. Со всеми... Ну вот, наконец-то дети отправились спать.

А Ева осталась со мной.

Она была во всем, до чего бы я ни дотрагивался, на что бы ни глядел. Она заполняла собой всю комнату, возникала возле пустых тарелок и чашек, что оставались неприбранными на столе. Вот тут она помогала Томеку и Луцке делать уроки. Тут она когда-то кормила маленькую Луцку грудью. Располнев, все боялась, сумеет ли сбросить лишний вес. Но была счастлива.

Вот кресло, где она сидит по вечерам, поджав под себя ноги, и смотрит телевизор или читает — пока книга вдруг не выпадает у нее из рук. Смутившись, с трудом разомкнув смежившиеся веки, смеется над собой... Здесь на тахте лежал Томек, когда сломал на лыжах ногу; ему не хотелось оставаться в своей комнате одному. И она сидела рядом, пока мальчик не засыпал.

А прошлое рождество! Была слякоть. Но украшенное игрушками, свечами, искрившееся бенгальским огнем деревце, как всегда, стояло в углу у окна. Ева нетерпеливо ждала, когда дети развернут подарки. Просто не могла нарадоваться их радости... А потом стала смотреть те, что подарили ей. Мыло и духи от ребят!.. Рисунок от Луцки... Вот в руках у нее последний сверток, небольшой, перевязанный ленточкой... И снова удивительным волнением дрогнули ее губы. Это был янтарный кулон с узором из мелких листочков древних хвощей, прозрачный, как пронизанный солнцем день. Кулон на золотой цепочке, в тонкой золотой оправе.

На Еве было платье цвета морской волны, с глубоким вырезом. Я видел ее лицо, когда она, подойдя к зеркалу, прилаживала украшение на открытой шее. Золотистые его узоры закрывали почти весь вырез, ложась на высокую грудь. Кулон нравился ей, она вся светилась счастьем. Вот повернулась ко мне... Взволнованная, тронутая вниманием, она была необыкновенно хороша... Тех чувств, что отразились на ее лице, того выражения любви, которое увидел я, самой ей не могло показать ни одно зеркало...

Я ежусь. Трудно смотреть на вещи, среди которых она порхала, вернувшись с работы, вглядываться в пространство, где мы жили все вместе. И вдруг — ничего из этого больше нет, только болезнь и муки. Ее отчаяние, беспомощность и одиночество. Поистине вообразить Еву страдающей нет сил.

Не знаю, как я очутился в саду.

Темно. Дождь хлещет в лицо, ветки деревьев извиваются, словно уплывая куда-то. В саду терпко пахнет мокрыми опавшими листьями. А у меня — во рту, на губах — горечь, по спине бегут мурашки. Ветер и дождь. Я бросаюсь им навстречу. «Хоть какое-то движение!» — говорю себе.

Нет, не от Евы я убегал. От нее мне бежать некуда, даже если захочешь. Она неотлучно со мной. Теперь в голове — иные воспоминания, перед моим мысленным взором иные картины, все мелькает, как кадры кино.

Отпуск в Татрах. Мы с Евой взобрались на Польский хребет. Чистое небо. Неподалеку, скользя по остаткам снежного наста, скачут серны... А прямо против нас, над скалистым уступом, поднимается слабой струйкой туман. Набухает, будто джинн. И секунду спустя заволакивает небо. И вдруг на землю стремительно обрушивается дождь...

Под проливным дождем, по скользким каменьям скатываемся в Беловодскую долину; промокнув до костей, состязаемся с непогодой. На турбазе перед Лысой Поляной Ева выжимает блузку и лифчик. А в глазах искрится смех.

Рассвет... Это уже в другое время. Тогда она носила Луцку. Утро. Я бужу Еву. Она ворочается спросонья, потом перекатывается на другой бок, показывая мне спину. Наклонившись, я подношу к ее носу пучок вызревшей земляники. Некоторое время она дышит спокойно, но постепенно дыхание углубляется, она чувствует аромат ягод. Глаза все еще закрыты, но она вслепую, полураскрытыми губами объедает ягоды одну за другой. С наслаждением потягивается.

— Хочу еще. Нету больше? — взглядывает она на меня. И вдруг поднимает обнаженные теплые руки и, опьяненная сладостным пробуждением, раскрывает мне свои объятья. Знает, что я... Я ложусь рядом. «Можно?» — «Нужно, глупенький».

А вот слышится резкий крик, и я вижу ее рассерженное лицо. Она только что застигла на месте преступления одного из тех бездельников, с которыми нам потом пришлось расстаться, — он перекидывал через забор третий куль с химикалиями, которыми обязан был удобрить почву под персиками и вишнями. Ева сама, лично, скрупулезно отмеряла дозы; удобрений было мало. Негодяй пытался что-то вякать в свое оправданье, но потом обреченно махнул рукой. Знал, что все напрасно. Ева, распалясь от ярости, ведет его ко мне...

А вот мы купаемся и загораем на морском пляже под высоченными вершинами Кавказских гор... Ева выходит из морской пены, вся в каплях воды... По древней каменистой дороге, крутыми зигзагами вьющейся меж отвесных скал, мы едем высоко-высоко в горы, к отливающему бирюзой озеру Рица. Обратно возвращаемся вечером.

Знакомимся с местными кушаньями. Пьем здешнее вино — темно-красное, сладковатое, такое густое, что язык вот-вот прилипнет к небу... Долго любуемся закатом солнца, золотыми полосами, мерцающими на голубовато-зеленой поверхности моря. А вот и дельфины, они то и дело выпрыгивают из воды, меж тем как солнце на горизонте, теперь уже кроваво-багровое, опускается в глубины моря.

Вот мы танцуем на паркетной площадке, в тени платанов. Я прижимаю к себе ее гибкое, благоухающее морем, чудно загоревшее тело. Кровь в ней бурлит. Я знаю, так вспыхивает желание. Я расплачиваюсь, Ева вытряхивает из туфли камушек. Проходивший мимо волокита попытался хлопнуть ее по бедрам. Вздернув голову, она с размаху трескает наглеца каблучком туфли по лбу. Я проталкиваюсь к ней, но она уже смеется:

— Все нормально. Оставь его. Видишь, испарился. — И показывает мне острый каблучок.

— Пойдем. — Она переходит на шепот. Жаркий шепот — как обещание и призыв...

Блаженное успокоение. Ева вынимает из граната темно-красные, соком налитые зернышки, набрала полную тарелку. Во взгляде лукавство и истома, она проникновенно и в то же время расслабленно шепчет:

— Мне хотелось бы всегда любить тебя, как теперь. Проглотить всего, без остатка...

— Вот тебе еще один гранат, — отвечаю я, отыскивая самый крупный плод. Она улыбается. И вдруг — ни с того ни с сего — погружается в печаль и произносит со вздохом:

— Жалко, с нами нет Луцки и Томека.

Картины мелькают одна за другой, возникая и пропадая...

Я снова проникаюсь ее страданием. Несчастный, жалкий, изнемогший, совершенно обессилевший, лежу на ее больничной койке. Мучаюсь и мечусь, переживая ее муки. Внутри все содрогается, стучат зубы — настолько изматывает меня горячечный жар в крови... Теперь надо мной склоняются врачи, и мое тело, готовое раскрыться и выпустить на волю новую жизнь, вдруг разламывается и пустеет.

Я проклинаю сад. Треклятое яблоко! Неужели так было суждено? Ну почему не вымерзли цветы?..

Я ругаюсь вслух — хоть какая-то разрядка. Вновь прихожу в ярость и снова обливаюсь слезами...

...Снова и снова отгоняю от себя эту горестную, немыслимую картину. Какое это все-таки чудо, что мы живем! И что было бы, не появись на свете ни я, ни Ева, не стань мы такими, какие есть...

Передо мной — моря пролитой крови. Войны, бессмысленные убийства, на смену им идут голод, чума и прочие эпидемии, пепелища и разбой, набеги и буйство наводнений... Головы, воздетые на кол; костры, на которых безумцы в сутанах спалили во имя господне сотни тысяч мужчин, женщин и детей. Я представляю себе эту бойню с той минуты, как человек впервые взял в руки палку, до разрывов бомб, которые уже унесли сотни тысяч жизней и готовы уничтожить жизнь вообще. Во мне воплотилось все страдание мира, и я говорю себе: «Ведь если бы несколько тысячелетий назад хотя бы одного из моих или Евиных предков поразил удар копья или скосило эпидемией чумы — не было бы теперь ни ее, ни меня. И разве это не чудо, что мы живы? — вновь и вновь повторяю я. — Нет, она не смеет уйти. Возможно ль, чтобы я ее потерял?»

Так я и провел всю ночь, не раздеваясь и не сомкнув глаз. Сижу в кресле и отхлебываю горячий кофе. То и дело встаю — проверить, все ли в порядке с аппаратом, лежит ли трубка на рычаге. Вздрагиваю, когда в комнате Луцки звенит будильник. Пора готовить детям завтрак, но я не в состоянии, не могу. Сижу и жду...

Наконец-то звонок! С бьющимся сердцем, не дыша, я протягиваю руку к аппарату... Словно из-за завесы глухо доносится:

— Кажется, антибиотики сделали свое. Температура несколько спала. Теперь Ева спит... О полной безопасности говорить рановато, но все же... Что, навестить? Нет-нет, сегодня нельзя. Ни в коем случае. Да, да, сообщим при первой возможности...

С облегчением перевожу дух. Сбрасываю бремя, которое так угнетало меня, пытаюсь встать, но ноги не слушаются. И я снова опускаюсь в кресло...

У дверей пришлось постоять, чтобы хоть немного успокоиться. Сердце готово было выскочить из груди.

Она оцепенело лежала на больничной койке, обессилев после долгих часов трепавшей ее лихорадки. Запрокинув голову, с отсутствующим взглядом смотрела прямо перед собой. Лица нельзя было узнать, оно похудело, черты заострились, кожа сделалась пепельно-серой, щеки ввалились. А нос стал длиннее. Губы запеклись, потрескались, под глазами — чуть ли не до висков — глубокие, черные круги. У нее был такой жалкий вид, что я с трудом сдержал слезы.

Палата рассчитана на троих, но сейчас Ева одна. Две другие женщины ждали своих гостей в коридоре.

Я провел ладонью по бледным, восковым щекам, по растрепанным, слипшимся от пота волосам и позвал: «Ева!..»

Она не услышала.

Я взял ее руки в свои ладони. Почувствовал, как бьется в них пульс, но и только: они не дрогнули, лежали, будто неживые.

— Ева, я здесь, я с тобой.

Только теперь она пошевелилась, чуть повернула голову. Поглядела на меня горестными, страдальческими глазами. Губы ее полураскрылись. Она хотела что-то произнести, но запнулась и, только справившись с волнением, прошептала:

— Это ты?

Я поцеловал ее пересохшие, обметанные губы и погладил лицо.

— Я снова с тобой... — проговорил я вслух.

Но она ушла в себя и словно заблудилась где-то вдали. Возле губ на обычно столь гладкой, дивной коже прорезались две глубокие, скорбные морщины. Медленно-медленно в глазах разгорался огонь, пока они не вспыхнули почти неестественным блеском. Она впилась в меня взглядом.

— Я уже никогда не подарю тебе ребенка, — выдохнула она. — Не рожу тебе сына. Прости меня... — Она вытянула руку и выразительным жестом положила ее на живот.

Все во мне затрепетало от жалости и умиления.

— Выбрось это из головы, — сказал я. — Главное, ты жива и мы вместе.

Я утешал ее, но она упрямо сжала губы.

— У тебя уже никогда не будет сына.

— Но у меня ведь есть сын. Ты уже подарила мне его.

Она медленно покачала головой.

— Не лукавь. И не утешай меня, Адам. Мне следовало быть осторожнее, — произнесла она, горестно вздохнув.

Сжав ее лицо в своих ладонях, я близко-близко заглянул ей в глаза.

— У нас есть сын. Твой и мой, как Луцка, — снова сказал я, попытавшись улыбнуться. Мне хотелось отвлечь ее от мучительных раздумий. — Знаешь, как говорится про такую парочку? «Хороша парочка, баран да ярочка». Сколько же тебе пришлось вынести! Но все позади. Скоро дело пойдет на поправку. — Я поднял руку и пальцами отвел прядь волос, упавшую на ее лицо.

— На поправку? — прошептала она. Уголки губ горько опустились. Теперь она, схватив мои ладони, прижала их к своему лицу. И расплакалась.

Домой Ева вернулась через пять недель. Когда я привез ее, непоседа Луцка завизжала от радости: «И-и, мамочка!»

Подбежав к ней, она обхватила ее и так и прилипла, а Томек остановился сзади — стоял и смотрел на мать широко раскрытыми, сияющими глазами.

Ева, всхлипывая, прижимала к себе то одного, то другую. И с той поры никогда их от себя не отпускала.

Я не узнавал ее. Домой вернулся совсем иной человек, не тот, с которым я прожил долгие годы. Я вспоминал времена, когда мы еще плохо знали друг друга и поведение ее частенько ставило меня в тупик... Мне она казалась тогда капризной, переменчивой... Неуемная радость жизни, дразнящая, полная чувственности, била из нее ключом... И потом сменялась вдруг смиренной, тихой покорностью. Порой она, словно в кокон, погружалась в мечтания, а то вдруг ею овладевал неугомонный, неодолимый практицизм.

Она во всем была страстной — как в любви, так и в упрямстве. В ней жили будто два существа. Но все эти всплески и перепады настроений били ключом из одного источника — из ее страстного сердца. Она ничего не таила в себе, была непосредственной, открытой, честной в своих симпатиях и антипатиях и деятельной. Отдаваясь тому или иному увлечению, она словно сжигала всю себя, без остатка.

А теперь ее жизненная энергия куда-то улетучилась.

Я заставал ее погруженной в раздумье, со взглядом, устремленным в пустоту, даже раздражительность былых «черных дней», когда она могла резко вспылить, потонула в какой-то отупелости.

Ночью она просыпалась в холодном поту и, сжимая мою руку, полная безотчетного страха, шептала, что ей приснился зловещий сон. Чаще всего эти дурные предзнаменования сулили беду нашим детям. Все, что сохранилось живого в ее сердце, сосредоточилось теперь только на них.

Если ребята отлучались из дому, она поминутно глядела на часы, пугалась телефонных звонков. Боялась, как бы с Луцией или с Томеком чего не стряслось. Стоило им появиться, как страхи исчезали. Долгими зимними вечерами она корпела с Томеком над его домашними заданиями, над коллекцией марок или бабочек, потом, перед тем как лечь спать, забиралась в постель Луцки, и они долго шушукались. Луцка от радости сияла, словно ясное солнышко, о чем-то щебетала, и сердце Евы исходило нежностью. На худом, почти прозрачном лице ее в эти минуты появлялась тихая и кроткая, болезненная улыбка.

Но казалось, что этой ее ненасытимой тяги к детям ни Томек, ни Луцка утолить уже не могли.

Когда у Шамала заболела жена и ее отвезли в больницу, Ева сама привела к нам их младшенького, Вашека, и привязалась к нему — едва ли не сильнее, чем к своим собственным детям.

— Ева, не слишком ли много ты на себя взваливаешь? — спросил я как-то, озабоченный ее поведением.

Задумчиво взглянув на меня, она, помедлив, ответила:

— А если бы это был наш младшенький? Втроем им веселее.

Несколько раз она устраивала и общие воскресные обеды. Шамал сперва отнекивался, а потом позволил себя уговорить. За стол садилось человек восемь, и сразу становилось веселее. Пятеро детей в доме! Сплетясь в один клубок, они кувыркались, прыгали и чуть не переворачивали дом вверх тормашками. Я смеялся: дескать, тут не хватает только постового-регулировщика — он бы указывал, куда кому двигаться, чтобы избежать пробки и без помех добраться до цели.

Но Еве этот шум и гам были как раз нужны. Только в больницу — навестить Боженку — она не пошла.

Я знал, что ее мучит, сострадал глубоко ее печали. Однако никак не мог постичь ее внезапного отвращения ко всему, что связано с садом. Стоило мне заговорить о нем, она тотчас же делалась безучастной. Если ко мне заглядывал Шамал, Гонзик или собиралась вся бригада — обсудить дела и посовещаться,— она уходила из комнаты. И за всю зиму ни разу не заглянула на плантацию.

Только по весне — трава уже зазеленела — она согласно кивнула в ответ на мое приглашение вместе пройтись по саду.

Расцветали персики, нежно светясь розовыми лепестками. Огромный сад полыхал розовым огнем. Я вспомнил, как была восхищена и взволнована Ева в прошлом году, когда сама позвала меня в сад. Как я мечтал, чтобы радость возвратилась к ней! Ведь деревца, выпестованные ею самою, пошли в рост! Она сажала их вместе со мной, отдавая им свой труд, мысли, силу своих рук. Она относилась к ним как к живым существам.

Теперь она стояла среди них оцепенело и неподвижно. Потерявшись, молча разглядывала шелковистые, дрожащие лепестки... Воздух был напоен ароматом, наполнен жужжаньем, трепетом крыл, заливистым щебетом птиц... Широко раскрыв глаза, Ева пустым, остылым взглядом смотрела вокруг. После долгого молчанья с трудом разомкнула губы:

— Вот и деревья, даже деревья родят, Адам. А я... Я-то что же? Пустоцвет. И за какие грехи мне такая казнь?

В голосе ее закипали слезы.

— Я измучена, выжата начисто.

Уголки скорбно опущенных губ судорожно дернулись.

— Пустоцвет. И как бы ты, мой милый, ни тщился привить ко мне новую жизнь, меня уже не воскресишь, она уже не привьется.

Стиснув мои руки, она не сводила с меня отчаянного взгляда темных, лихорадочно блестевших глаз.

— Ты не переменишься ко мне? Признавайся! Только правду говори.

Я не мог даже предположить, что страдания ее столь мучительны, что случившееся несчастье настолько глубоко ранило ее.

Однако после этого разговора Ева больше уже никогда не позволяла себе говорить о своих муках.

С наступлением теплых июльских вечеров Ева чуточку отошла, приободрилась. Закончив работу, мы усаживались на веранде — редко одни, чаще с кем-нибудь из знакомых, кто заглядывал на огонек, поговорить по душам об увиденном, услышанном или передуманном, а то и посмеяться, повеселиться или чертыхнуться в сердцах. (У нас в Чехии всегда находилось что высмеять и что обругать, в чем, в чем, а в этом недостатка никогда не было). Кое-кто забегал просто передохнуть, размять кости и промочить горло, смыть неотвязную заботу глотком холодного пивка... Старый славный Гоудек навещал нас чаще всех. Приходил послушать, подремать. Случалось, подваливала целая куча народа. Болтали кто о чем, а нет-нет да и заводили песенку.

Еве это шло на пользу; за время зимнего своего затворничества она на самом деле изголодалась по обществу. Багрянец вызревающих вишен словно коснулся и ее щек. Дружески настроенная, приветливая, она радушно встречала гостей.

Все чаще пыталась смеяться, наслаждалась приятельской беседой, как искушенный гурман, умеющий оценить поднесенный к губам напиток в запотевшем бокале. При взгляде на ее улыбающееся, радостное лицо мне тоже делалось веселее, теплело на душе. И мысли рождались иные, более плодотворные.

Олдржих тоже частенько заглядывал к нам и, удобно расположившись, сидел, как пришитый, украдкой косясь на Еву. Мудрствовал лукаво и наблюдал, как Ева нежится в кресле, а чаще — сидит на ступеньках, удобно прислонясь к прогретой стенке дома, подставляет солнышку лицо, жмурит глаза, смеется, перекинув ногу на ногу.

Она не могла этого не замечать, еще бы! Такое внимание было бы ей приятно, но, как он ни тщился, все без толку. Он пытался заигрывать с Луцией — девочка иногда садилась к Еве на колени,— подмазывался и к Томеку, поминутно лез в карман за каким-нибудь лакомством. Но Ева была непреклонна. Лишь изредка, бывало, обожжет его взглядом...

И вот однажды — он по привычке бахвалился «нашим вкладом в развитие плодоводства» — Ева молча поднялась и ушла. После такой демонстрации Олдржих, смутившись, умолк.

Я попенял Еве за это.

— Он теперь переменился. Помогает нам. Старается, по крайней мере.— Тут она хлестнула взглядом меня.

— Тебе все еще мало? Он тебе все еще не надоел? Трепался тут, лицемер, притвора! Слушаешь и не знаешь, откуда в нем что берется. Словно магнитофонную пленку включили, на которую кто-то речей наговорил. И такому типу ты веришь? Ну, признавайся! Да ведь он ко всякому приспособится, кто посильнее... Будь деревья такими, как он, на них один год вызревали бы груши, на следующий, глядишь, мы и сливы бы снимали либо орехи трясли. А может, на одной и той же веточке разные плоды родились. Благодарю, не надо! Паточка и тот куда милее. По крайности — характер, он, как бульдог, защищает то, во что верит... А таких, что нос по ветру держат, не переношу. Видеть их рядом — брр! — Разошлась, расшумелась...

Конечно, доля правды в ее словах была (нужно сказать, изряд-

ная), но только лишь доля. Увы, коли самому нельзя выбирать себе окружение и в жизни и на работе, что тут поделаешь? Приходится довольствоваться по крайней мере тем, кто хоть не вредит, а кое-где даже и помогает. А главное — не мог я забыть той неоцененной службы, которую сослужил Олда нашему саду своей нерадивостью. За это благодарствую поболее всего.

— Не понимаю, почему именно к Олдржиху я должен относиться плохо? — возразил я. — Временами он бывает мне полезен.

Мое замечание рассердило Еву пуще прежнего.

— Молчал бы уж! — прикрикнула она. — Ты сам такой же, как и он! (Тут она явно преувеличивала.) Что тот, что другой — оба вы политиканы! Никогда у вас не разберешь, где правда, а где вранье! Он-тс небось и впрямь считает, что ты к нему невесть как расположен.

— И прав, совершенно прав,— подзадориваю я ее.— Расположен. На свой манер, разумеется, да и выбора нет. Иногда, Ева, нужно уметь довольствоваться малым. Ты и сама это прекрасно знаешь. А потом... У каждого из нас свои слабости и пристрастия. А другие зачастую этого даже уразуметь не могут.

— Нет, ты и впрямь блаженный! — Ева не собиралась отступать.

— Давай валяй дальше! — подначивал я ее. — Уж не думаешь ли ты, что лучше сидеть сложа руки да сетовать: что, мол, тут поделаешь, люди кругом не те, нам бы подходящих... Чем так вот ныть, лучше я и таких работать заставлю. Иль я не прав?

— Много Олдржих тебе наработал! Ты еще пойди ему поклонись! — возмутилась Ева. — А я не стану за клок шерсти благодарить, коли знаю, что вся овца моя. Не так уж я глупа. А ты чуть что и уже — «чего изволите?». Удальцы вроде него как ночные бабочки на свет слетаются, но крыльев никогда не обжигают. И я не удивлюсь, если они свет этот заслонят собой и вконец потушат.

Глаза ее сверкнули.

— Случайно не ты ли как-то мне припомнил и дал прочесть такие слова, кажется, Толстого: если у самого нет сил гореть и распространять свет, не засти его по крайней мере? Или что-то вроде этого.

— Вот именно так я и поступаю. Помогаю Олде не застить свет.

— Отговариваться ты умеешь, всегда найдешь способ вывернуться... А я бы таким, как он, спуску не давала!

— Не сомневаюсь,— плачу я ей той же монетой. — У тебя одна радость — веником махать. Когда ты наводишь порядок — лучше тебе под руку не попадаться,— рассмеялся я и хотел было ее поцеловать, но она отпрянула.

— Оставь, пожалуйста. Нечего руки распускать! Ненавижу! Вот как получишь тряпкой. (Пока мы разговаривали, она старательно терла и расставляла посуду.)

Я расхохотался. И хохотал до слез. Ведь впервые за много дней она вскипела и разозлилась, как в былые времена.

Да и пора бы уже!

(Окончание следует)

МАРТЕМЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА АРКАДЬЕВНА

Советский переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводе издавались романы К. Чапека «Фабрика абсолюта» (1968), Р. Тесноглидека «Лиса-плутовка» (1972), Вл. Ванчуры «Маркета Лазарова» (1975), В Ржезача «Свет тьмы» (1980), новеллы В. Минача «Вместо цветов» (1967), Ф. Швантнера «Деревенский священник» (1975), рассказа Й. Пушкаша, Ганы Зелиновой, Й. Кота и др.

Рассказы каталонских писателей

От составителя

После краха франкизма в Испании началась ломка старых порядков и социальных институтов. Одним из важнейших завоеваний прогрессивных сил страны наряду с принятием конституции стало предоставление статуса автономии Каталонии, Галисии, Стране Басков.

Журнал «Иностранная литература» знакомит своих читателей с рассказами прозаиков Каталонии, исторической области на северо-востоке страны, имеющей богатые литературные традиции. (Стихи нескольких каталонских поэтов журнал опубликовал в №4 за 1981 г.)

В течение многих лет сознательно проводившаяся искусственная «испанизация» каталонской культуры являлась составной частью идеологической программы испанского фашизма. Был закрыт ряд издательств, публиковавших книги на каталонском языке, упразднено большинство выходивших в Каталонии газет и журналов, в школах введено обучение только на испанском — «языке империи». Трудно переоценить роль, которую в эти годы сыграли писатели в сохранении национальной литературной традиции [1].

Многие из них не изменили родному языку, для чего требовалось немалое мужество: ведь тем самым они заранее определяли судьбу своих произведений, которым если и дано было увидеть свет, то значительно позже. Это было формой протеста против официальной идеологии и утверждением своей духовной самобытности. Среди таких писателей — Салвадор Эсприу (1913—1985) [2]. Его творческий дар многогранен — Эсприу работал во всех жанрах. Публиковаться начал еще в 30-е годы как прозаик и драматург, а с середины 40-х стали появляться поэтические сборники, принесшие ему известность. Среди прозаического наследия Эсприу немалое место занимает новеллистика. Эсприу — писатель глубоко философичный, неразрывными нитями связанный с Каталонией и одновременно с национальной философской и художественной традицией Испании, особенно с Унамуно, с которым его сближает интерес к смерти как одной из основных реальностей человеческого бытия. Для Эсприу смерть нередко не только физическая кончина, но и бездуховное, выморочное существование. Разве можно определить иначе чем медленное умирание жизнь трех затворниц из одноименного рассказа? С другой стороны подходит писатель к этой же теме в рассказе «Тереса-которая-спускалась-по-лестнице», по праву считающимся лучшим в новеллистике Эсприу.

Совсем в другой тональности выдержаны рассказы Пере Калдерса (род. в 1912 г.), которого, как и Эсприу, называют классиком каталонской литературы XX века. Его судьба сложилась иначе: после окончания национально-революционной войны Калдерс покинул франкистскую Испанию, уехав в Мексику, где продолжал работать, в значительной степени «в стол». Только в 1963 году он вернулся на родину. В живых, полных юмора и иронии рассказах этого писателя обыгрывается одна ситуация — человек, привыкший к рутинному, обывательскому существованию, вдруг сталкивается с чем-то необычным, выходящим за рамки его представлений о действительности. Ранний рассказ «Неожиданности в доме № 10» относится именно к этой линии в творчестве Калдерса. В более поздних рассказах смысловой акцент переносится на психологию человека, столкнувшегося с необычным.

К старшему поколению каталонских писателей принадлежит и Мерсе Родореда (род. в 1909 г.), начавшая публиковаться еще в 30-е годы. Опыт лет, проведенных вдали от родины, воспоминания о войне стали темой многих ее произведений. Общенациональную известность писательнице принес роман «Площадь Диамант» [3] (1962), счи-

[1] Подробнее см.: А. Брок. Размышления о каталонской литературе последних десятилетий. «ИЛ», 1985, № 6.

[2] Переводы его стихов публиковались в «ИЛ», 1978, № 10.

[3] См. «ИЛ», 1981, № 11.

тающийся лучшим произведением каталонской литературы о гражданской войне. Все книги Родореды, даже когда она пишет о войне, удивительно лиричны; особенно показательны в этом смысле рассказы писательницы, в том числе и публикуемый.

Мария Аурелия Капмань (род. в 1918 г.) заявила о себе в 1952 году, когда она опубликовала роман «Нам нужно умереть». Впрочем, это было не первое ее художественное произведение: написанный четырьмя годами раньше и получивший в рукописи почетную премию имени Жоанота Мартореля роман «Небо непрозрачное» долго не мог увидеть свет по цензурным соображениям. Ведущая тема в книгах Марии Аурелии Капмань — внутренний мир женщины, при этом ей удается избежать крайностей феминизма. Писательница всегда была среди тех, кто реальными делами, а не на словах боролся за сохранение каталонской культуры. Не случайно именно Марии Аурелии Капмань было доверено руководство отделом культуры Женералитата (правительства Каталонии) после получения автономии.

Самый молодой среди публикуемых авторов — Жауме Фустер. Его первый роман увидел свет в 1971 году, после того как, испробовав множество профессий, Фустер понял, что его призвание — литература. Он родился в 1945 году, и его духовное становление пришлось на 60-е годы, когда внешняя оболочка «социального благоденствия» мало кого могла обмануть. Молодое поколение не прошло национально-революционной войны, ставшей первой схваткой с фашизмом — 50-летие с ее начала отмечается в этом году,— но оно все чаще оборачивалось назад, к историческому опыту старших, пытаясь понять не только истоки национальной трагедии, но и противоречия современного испанского общества. Не случайно в 70-е годы военная тема становится ведущей в испанской прозе. В рассказе «Гибельное одиночество» Жауме Фустер возвращается в прошлое, им не пережитое, но вошедшее в плоть и кровь каждого испанца. 1939 год, после захвата Каталонии франкистами прошло совсем немного времени. Барселона в руках франкистов, холодное осеннее солнце, ветер, разорванные республиканские плакаты на мостовых и Эсперанса, тщетно пытающаяся узнать что-либо о судьбе любимого. Ее боль и отчаяние, которыми дышит почти каждая строчка рассказа, вызваны не только потерей близкого человека; это в равной степени и горечь поражения, боль за свой народ, за Каталонию. Это и ненависть к фашизму, и растущее внутреннее сопротивление ему, желание выстоять, недаром героиню зовут Эсперанса — Надежда.

Н. МАТЯШ

САЛВАДОР ЭСПРИУ

Тереса-которая-спускалась-по-лестнице

I

Нет, так нечестно, ты подглядываешь. Закрой глаза и повернись лицом к церкви. Только сначала договоримся, как побежим. По улице Кордерс, по улице Бомба, на Рера-ла-Флека, по улице Эзглезиа и на площадь. Нет, по берегу ни за что, а то в песке завязнем. И так далеко, а если еще туда свернем, то в жизни друг друга не догоним, только устанем зря. Граница — возле дома настоятеля, понятно? И пожалуйста, не жульничать. Бежим, Тереса водит! Так нечестно, она подсматривает. Тереса, милая, ты что, не слышала, встань лицом к церкви. Если отвернешься, глаза можешь не закрывать, только не шевелись, пока не крикнем. Да вы не поняли, что ли? Конечно, свернем на улицу Торре. Нет, не по берегу, там песок очень глубокий. Как, снова считаться? Ну, Тереса, мы ведь уже считались. Опять она не согласна! Только время зря теряем. Скоро совсем стемнеет, лодки причалят, а мы так и не начнем. Что, «Панчита» возвращается с Ямайки? Подумаешь, мой отец и подальше

плавал, до самой России. Вернулся оттуда в мохнатой шубе, весь заросший, прямо как медведь, и сразу пошел в церковь помолиться. Так брат Жузеп д'Алпенс в шутку начал креститься, как будто черта увидал, отец часто про это вспоминает. Мы играем или нет? Можно подумать, на белом свете у вас одних есть парусник. До чего же ты упрямая! Ладно, посчитаемся, но уж если кто выйдет, пусть не жалуется. Эни-бени-рес, квинтер-минтер-жес. Опять ты, Тереса. Бежим! Бареу, ты что, хромаешь? Подождите, ребята, Бареу хромает. Исключим его или пусть сторожит? Хорошо, помогай ей водить. Не хнычь, Тереса, ты теперь не одна. Ладно, начали. Эй, ну-ка спиной! Если Бареу, хоть и хромой, будет часовым, нам до дома настоятеля ни за что не добежать. Кто там кричит «пора!». Нет, Тереса, нет, еще не пора. Не спускайся, Тереса, не спускайся, тут какой-то дурак закричал раньше времени. Извиняюсь, меня поймали, так я же еще и обманщица? Просто тебе не хочется играть, водить неохота, вот и все. Не спускайся по лестнице, тебе говорят, не спускайся! Ну и пожалуйста, я с тобой не вожусь! Можешь потом просить, ни за что играть не буду.

II

Как, ты до сих пор их не видел? Да ты что! Они же еще вчера приехали. На этот раз вернулись из роскошного путешествия, представляешь, целых три месяца; сначала по Балтийскому морю, потом по суше: Швейцария, Милан, Венеция и Флоренция. Странно, капитан ведь не думал ехать в Италию, как всегда собирался по торговым делам, и только морем. Видно, девочки уговорили его все превратить в увеселительную прогулку. Отец ни в чем не может им отказать. Ты посмотри, как обе сияют, и рассказам, наверное, конца нет. А уж чего только не привезли: и хрусталь из Триеста, и фарфор из Каподимонте, и мрамор, и шелка, и медальоны... Во Фьезоле они случайно столкнулись с Висенсом де Пастор. А может, не так уж и случайно, он ведь влюблен в Тересу. Подозреваю, что не очень-то бедняга преуспел: ходит повесив нос и молчит как рыба. Да, что и говорить, красивые девушки, особенно Тереса, правда? Нет, я не согласна, Тереса красивее. Особенно после этого путешествия. У нее в глазах появился глубокий лучистый свет, в них сияет радость, так и рвется наружу, как ни скрывай... Жулия, конечно, утонченней, но не такая яркая, и потом, она ведь слабенькая. Их мать умерла от туберкулеза, и капитан страшно горевал. Эта смерть, да еще несчастье с сыном, негодный он мальчишка. Кажется, живет теперь на Тринидаде, среди негров и белых подонков. Женился на креолке или, может, на метиске, и у них родился ребенок, уродливая, горбатенькая девочка. Думаю, несладко им там приходится. Вот, остановились. Только посмотри, как они спускаются по лестнице, будто и ступеней не касаются. Нет, ты как хочешь, а Тереса гораздо красивее. Можешь смеяться, но они — словно настоящие герцогини, и сегодня вечером, на празднике, их непременно выберут королевами красоты.

III

Не здоровайся с Тересой, не здоровайся, она все равно никого не видит. Подумать только, как изменилась, а в молодости до чего веселой была... Конечно, столько несчастий, одно за другим. Умерла Жулия; бедняжка так мучилась, так долго и мужественно боролась со смертью! В самый день ее кончины «Панчита» разбилась, села на мель около Руана. Вальалта очень богат, и состояние его особенно не пострадало, но ведь он любил свой парусник. Со дня крушения капитан больше ни разу не ступил на палубу: возненавидел плавания. Теперь целыми днями сидит у себя в поместье «Пьетат», среди де-

ревьев и книг, и смотрит на море издали. Этот высокий сильный мужчина превратился в трясущегося старика. И рассказов о былых приключениях от него больше не услышишь: он теряет память. А какой был человек! Говорят, мальчиком служил юнгой у самого Барсело[1] и даже участвовал в его экспедиции против Алжира. Может, по годам и не сходится, но все равно, он весь мир объездил: был и в Ило, и в Мексике, и на Никобарских островах, и на Новой Земле, и в Одессе. А теперь единственное, чего капитан хочет,— это дожить последние дни в тишине сада, и дочь за ним ухаживает. Ну да, Тересе сейчас лет сорок, а может, и больше, и Висенс де Пастор все еще ждет ее решения, но Тереса никого не любит. Не здоровайся с ней, она тебя не увидит, она спускается по лестнице, не замечая ступеней.

IV

Ты только посмотри, как она спускается по лестнице — настоящая дама! Что за поступь: медленная, величавая, уверенная и какая легкая! Да, в наше время в этом знали толк. Тереса очень стара, мы с ней ровесницы. Ну конечно, помню! В детстве мы столько раз играли вместе — вот на этой самой площади — и в разбойников, и в салки, и в прятки, и в колдунчики. Сколько лет прошло с тех пор! Тогда поселок казался нам гораздо больше, просто огромным, и все здесь было по-другому, ярче и веселей. Мы обегали его весь, но каждый день открывали какие-нибудь новые, неведомые места, а по вечерам ждали возвращения лодок, а то и парусника из далеких стран, из Америки или из Китая. Мой отец сам был лоцманом и плавал даже в Россию, по холодным морям, огибая ледяные скалы. Вернулся в роскошной меховой шубе, совсем как медведь, в церкви все чуть с ума не посходили. Все прошло. А то, бывало, к вечеру мы нарушали запрет и забирались в заросли камыша, замирая от ужаса и восторга. Мы шли медленно, на ощупь, и постепенно нас охватывало предчувствие чуда. Долина Ремей была окутана тонкой пеленой тумана, а за ней кружились ведьмы в бешеном хороводе. Вернувшись домой, мы пугали наших бабушек рассказами о привидениях, которые бродят в камышах. Все прошло. Мы выросли, я вышла замуж. Тереса и ее сестра Жулия, та, что болела туберкулезом, много путешествовали с отцом, капитаном Вальялтой, на своем паруснике «Панчита». Потом парусник разбился, Жулия и старик умерли. А теперь, сама видишь, Тереса проходит мимо и даже не смотрит на меня, и ее горбатая племянница семенит следом, точно кривая собачонка. Надо же, проходит совсем рядом и даже не замечает! Моя семья ничуть не хуже ее, а получается, я должна ей кланяться, как какая-нибудь служанка. Все изменилось. Тереса теперь — убитая горем старуха, она разучилась смеяться. И поселок кажется мне, да и ей, конечно, тоже, таким маленьким, таким скучным и жалким! А были времена, когда он представлялся нам бескрайним, словно окутанным волшебным облаком. Улица Бомба, Рера-ла-Флека, улица Торре... Тереса вприпрыжку спускалась по лестнице, а теперь смотри, как выступает. Что верно, то верно, настоящая дама.

V

Еще бы, конечно, у Капитанши дорогой гроб. Племянница-то у нее скупая, но уж на такое дело расщедрилась. В конце концов, они одной крови, и горбунья не захочет выставлять себя на посмешище. Подумать только, какое богатство на нее свалилось, и чего только в жизни не бывает. А сеньор Висенс де Пастор совсем сгорбился, прямо вопросительный знак. Надо же, на старости лет остался один как перст, а ведь говорят, он всю жизнь любил Тересу. Да, народу полно, такое нечасто увидишь, не каждый день Капитанши умирают. У-у,

[1] Барсело Антонио (1717—1797) — испанский мореплаватель.

еще какая богатая, тысяч двести золотых унций, а то и больше. Огромные деньги, и все горбунье достались. Да что ты, я не завидую, меня бог здоровьем не обидел, и спина прямая, как у людей, грех жаловаться. Посмотри только, как соседки за ней увиваются; вчера и близко к себе не подпускали, а теперь вон как юлят. Все здесь: и коротышка Ботил, и хромая Фита, и Катерина, и Нарцисса Мус. Три последние обряжали старуху, потому что Паулина, племянница, сама бы не справилась, а сейчас ходят с кружкой, пожертвования собирают, кривые душонки. Знаешь, что мне рассказала Нарцисса? Что когда они искали саван, то нашли коробочку, а в ней золотистый локон и портрет какого-то юноши. Да еще внизу имя написано, очень странное, французское, что ли... Это же надо, никто ничего не подозревал, ведь Тереса столько путешествовала! И всегда была такой гордой, такой холодной. Не здоровалась даже с моей крестной, царство ей небесное, потому что та была бедная, а между прочим, девчонками они вместе играли. И вот тебе раз, тайный любовник! Хотя, конечно, это все пустые разговоры, может, там ничего плохого-то и не было. Тише, уже выносят. Тяжело им, наверное, лестница такая крутая, не споткнулись бы. Да, гроб дорогой, очень дорогой, можешь не сомневаться. Как потеют, бедняги, просто жалко смотреть. Еще, чего доброго, уронят покойную на ступени.

Три затворницы

Одна только сеньора Магдалена Блази до сих пор навещала сестер Жинебреда. Четыре-пять раз в году она заходила в их убогую квартирку на улице Льянтерна, возле Пласа-дель-Сол, чтобы «развлечь немного этих несчастных». Младшая, Мадрона, давным-давно умерла, и сестры — Амелия и Элпидия — жили теперь вдвоем, причем Элпидия постоянно хворала. «Виной тому редкое имя»,— любила повторять сеньора Блази и всякий раз смеялась своей выдумке. Сестры выслушивали докучливую болтовню словоохотливой гостьи с многозначительной улыбкой нищих старых дев — улыбкой уклончивой, сдержанной и угодливой одновременно. Навещая бедняжек, сеньора Магдалена Блази дарила им чиненое-перечиненое белье, лежалые сладости, щербатую посуду, дешевые духи, которые она переливала в порожние флаконы от дорогих духов, старое от времени засохшее мыло. Сестры принимали все это со смешанным чувством смиренной признательности и обиды, рассыпались в вычурных изъявлениях благодарности, надеясь в один прекрасный день получить что-нибудь более существенное. «Если вам не нравится, так прямо и скажите, я унесу назад»,— говорила сеньора Блази, и в голосе ее слышались ледяные нотки, предвещавшие взрыв негодования в случае отказа. Дабы успокоить старуху, сестры поспешно забирали подношение и принимались уверять, что очень довольны и что в хозяйстве все пригодится. Существуя буквально святым духом, в основном благодаря весьма неустойчивой благосклонности кузена Рибалты и Анжелики Антоммарчи да еще скромным заказам на вязание чулок, сестры Жинебреда проявляли поистине поразительную изобретательность, достойную удивления гораздо больше, чем евангельские чудеса. Особенно старшая, Амелия, потому что младшая без конца болела. Элпидия была, как это ни печально, только обузой в городе, истерзанном войной. Да, обстоятельства не баловали ни сестер, ни безработного плотника, который обитал этажом выше, ни капеллана, отца Силви Саперас, снимавшего комнату еще выше, столь же забитого жизнью, как и супружеская пара, ютившаяся под самой крышей (молодая чета, в тревожном нетерпении ждущая появления первого ребенка), и всех, кто населял этот дом в сы-

ром рабочем квартале. Даже сам домовладелец, адвокат, существовавший на скромные доходы от сдачи квартир, намекал (и напрасно), что, если господь не смилуется, он просто умрет с голоду. Жильцы, однако, видели, что жена его день ото дня толстеет, щеголяет в заложенных съемщиками драгоценностях и покупает в лавках самые лучшие продукты. С недоверием, и совершенно, впрочем, незаслуженным, относились также к капеллану, поневоле соблюдавшему строгие заповеди христианства, и к сестрам Жинебреда, «этим сеньорам, которые ходят к мессе в дорогих мантильях». В сострадании старым девам было отказано как представительницам враждебного лагеря, класса угнетателей, обреченного на скорую гибель. Воспитание, полученное сестрами в лучшие времена, отделяло бедняжек от остальных жильцов и настораживало, несмотря на их теперешнее бедственное положение; ни к чему не приводили попытки одиноких женщин заслужить расположение и дружбу соседей с помощью приветливых слов и сладких улыбок, щедро расточаемых отчасти по доброте, отчасти из страха. Мысленно жильцы давно предназначили обеих, а заодно и отца Силви вместе с домовладельцем в жертву грядущим историческим событиям. Старые девы чувствовали это и содрогались от ужаса, ибо всеми силами души любили жизнь. Они были немощны и бедны, но любили жизнь, ту самую жизнь, которую Мадрона покинула так неожиданно, совсем молодой, три десятка лет назад. Сестры частенько беседовали об умершей друг с другом и с сеньорой Магдаленой Блази. «Она была самой красивой из вас,— изрекала гостья,— и самой достойной, а все потому, что больше походила на отца, чем на мать». Амелия и Элпидия безропотно выслушивали сии неприятные откровения, так как Мадрона давно умерла, и все трое поднимали глаза, чтобы взглянуть на портрет девушки (белокурой, с расплывчатыми чертами лица), который висел между портретами папы и мамы. «Ваш отец не имел себе равных»,— расхваливала сеньора Блази с бесстыдством старой женщины. И смотрела на широкое чувственное лицо, украшенное длиннейшими усами а-ля последний кайзер. Злые языки намекали, будто сеньора Блази некогда состояла в любовницах у сеньора Жинебреды. Сестры это знали, верили слухам, ненавидели их и тем не менее изо всех сил, заговорщически переглядываясь и снисходительно улыбаясь, старались поддержать разговор. Обеим нравилось вместе с сеньорой Блази воскрешать из небытия мир их молодости, чудесный мир, полный радости и изобилия. Папа часто уезжал в Париж по делам (так он именовал свои похождения, утверждала сеньора Блази) и возвращался с роскошными подарками для жены — увы, ей было что прощать супругу,— и для дочерей, чрезвычайно образованных девиц, сведущих во французском и в музыке. Амелия и слабая здоровьем Элпидия исполняли в четыре руки «Qui vive»[1] или «Mio bel amoretto»[2], модные тогда произведения, по нотам, приобретенным папочкой у Дотезио, а Мадрона восхитительно пела высочайшим сопрано, которому с превеликим усердием вторил нестройный хор слуг на лестнице. Иногда устраивали танцы и семейные концерты с участием кузенов — Килдета Ногерес и братьев Рибалта, студентов университета. Сестры Жинебреда приглашали подружек, кузены приводили приятелей, относительно приличных молодых людей, робких и обильно потеющих по любому поводу. Карлетс Рибалта вместе с Мадроной пел легкомысленные куплеты на мотив «Chanson créole»[3] Кеттерера или «L'adieu»[4] Гюстава Санжа, а также дуэты из итальянских опер. Затем старшие Жинебреды исполняли «Mandoline»[5] Томе, «L'hirondelle

[1] «Здесь обитает» *(итал.)*.
[2] «Мое милое увлечение» *(итал.)*.
[3] «Креольская песня» *(франц.)*.
[4] «Прощай» *(франц.)*.
[5] «Мандолина» *(франц.)*.

perdue»[1] Гесса, «Serenade»[2] Франца Хитца или «La harpe éoliène»[3] Сиднея Смита. Вечер завершался исполнением «Vorrei morire»[4], которую Эстанислау Рибалта (вскоре он заболел туберкулезом и скончался во цвете лет) пел с небывалым чувством. Гости пытались скрыть за светскими улыбками душераздирающую тоску, навеянную «этой глупой песней». Затем представители сильного пола повторяли заученные фразы о величии Вагнера, а девушки впадали в легкое оцепенение, делая вид, что внимательно слушают, пока не приходило время садиться за стол, обильный стол тех времен, во главе с родителями, Анжеликой Антоммарчи и Магдаленой Блази. За окнами темнело, гости начинали прощаться. Оставшись одни, сестры вспоминали вечеринку, с пугающей резкостью обличали недостатки подруг, подробнейшим образом обсуждали финансовые и физические особенности приятелей кузенов и забывались сном только на рассвете, строя планы относительно следующего празднества — возможной прелюдии к таинству брачной церемонии. И в самом деле, благодаря этим вечеринкам был заключен не один супружеский союз, и каждый из них Амелия и Элпидия теперь тщательно обсуждали с сеньорой Блази. Почти все браки оказались совершенно неудачными. «И это утешает нас в нашем одиночестве»,— вздыхали Жинебреды. Обе (особенно Амелия) уверяли, будто им до смерти надоело отвергать назойливых женихов, но сеньора Блази говорила, что никто никогда всерьез не помышлял о том, чтобы жениться на бедняжках, «потому что у вашего отца, кроме долгов, за душой ничего не было. Да вы как миленькие побежали бы под венец, сделай вам кто предложение». Амелия и Элпидия с негодованием возражали старухе, но в глубине души сознавали, что она права. Как-то раз все три сестры одновременно влюбились в кузена Рибалту, стройного, с некоторой претензией на элегантность. В конце концов Карлетс предпочел Мадрону. Отчаяние сплотило двух старших против младшей, которая незамедлительно стала жертвой множества мелких жестоких выходок, чередовавшихся со слезливыми примирениями и классическими сценами ревности. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, самым обычным зимним вечером, Мадрона не умерла, проболев совсем недолго. Была она девушкой без всякого воображения, мечтала только о том, чтобы выйти замуж и всю жизнь разъезжать в собственном автомобиле. Но для безутешных родителей и Карлетса ранняя смерть окружила ее образ радужным ореолом, а в душе Амелии и Элпидии разбудила запоздалые угрызения совести. Все превозносили покойную Мадрону, с тех пор ставшую предметом трепетного почитания. В каждой комнате водрузили портреты девушки, застывшей в самых что ни на есть величественных и малопривлекательных позах; перед портретами на стеклянных полочках были устроены миниатюрные алтари, украшенные свечками и искусственными цветами. Поклонник Мадроны вскоре женился на богатой женщине, перестал посещать семейство Жинебреда и постепенно превратился в господина апоплексической наружности, категоричного и совершенно глухого. Теперь сестры иногда ходили к нему клянчить остатки трапез, а уж перепадало им что-нибудь или нет — зависело от капризов пищеварения сеньора.

Смерть Мадроны была первым ударом, постигшим семью. Вскоре мать разбил паралич, и несчастная постепенно впала в полный идиотизм. Сидя в инвалидной коляске, она изрыгала проклятия и не давала никому ни минуты покоя, словно хотела наконец отвести душу после стольких лет смиренного молчания. Светская жизнь стала совершенно невозможной для сестер, а вслед за одиночеством пришло и полное разорение семьи, которая неизвестно каким образом вдруг

[1] «Погибшая ласточка» *(франц.)*.
[2] «Серенада» *(франц.)*.
[3] «Эолова арфа» *(франц.)*.
[4] «Я хотел бы умереть» *(итал.)*.

оказалась без гроша. Отец уверял, будто в свое время растратил все средства на поправку здоровья.

И тем не менее, пока он был жив, Жинебредам удавалось сохранить хотя бы видимость прежнего благополучия. Каждое лето сестры отправлялись вместе с тяжелобольной матерью на дачу — этот дом семья снимала уже много лет подряд. Когда-то девочками они резвились с кузинами в саду, где посередине журчал маленький фонтан, а кругом росло с полдюжины розовых кустов и акаций. Жила там и старая черепаха, которая поедала ломтики помидоров и листья салата. Сидя в саду, Амелия и Элпидия вспоминали Мадрону, превращенную их воображением то ли в прекрасную фею, то ли в святую. К вечеру обе сестры чувствовали себя совершенно разбитыми и подавленными. Плыли по небу облака, незаметно, час за часом, скользило время, хрустела салатом черепаха. Дочери-сиделки устраивали мать, слюнявую и беспомощную, под какой-нибудь акацией; так проходили дни, серые и однообразные, пока сеньора Жинебреда наконец не преставилась. Теперь, если Элпидия была в состоянии, сестры совершали прогулки до той самой дачи, останавливались у металлической ограды, подолгу смотрели в сад и думали обо всем сразу — о Мадроне, о родителях и о черепахе. Грусть притупилась, стала смутной и далекой, слабой, как их собственное дыхание. Чтобы выразить такую грусть, слова не нужны, довольно одной улыбки. В саду попрежнему журчал фонтан и кругом росло с полдюжины розовых кустов и акаций.

Пришло время — и отец тоже умер. К старости он превратился в господина благообразной наружности, опирался на палку и поигрывал в ломбер в каком-то заштатном клубе. Сеньор Жинебреда смежил очи со спокойным безразличием хорошо воспитанного человека и оставил дочерей на произвол судьбы. Вспоминая его, сестры произносили задумчиво, без тени упрека: «Ах, если бы нас видел бедный папочка!» Отец как бы возглавлял вереницу призраков из былых времен.

Амелия и Элпидия получили самое изысканное образование, для них нанимали частных учителей, из коих наиболее серьезной была Адела Монтолиу. Родом из знатного семейства, пришедшего в упадок, Адела была старой девой лет тридцати пяти, по-солдатски подтянутой, близорукой, безвкусно одетой, романтически настроенной и чрезвычайно comme il faut. Жила она с матерью, настоящей дамой, некогда очень красивой, которая разорила своего супруга, с чисто спортивным азартом практикуясь в грехе прелюбодеяния. Уродливая Адела, обреченная, напротив, неустанно следовать правилам строгой морали, преподавала сестрам Жинебреда французский и историю, руководствуясь изложением Anquetil. Под ее наблюдением сестры читали французские романы. Во-первых, произведения мадам Штольц: «Магали», «Белый дом», «Злоключения м-ль Терезы», далее непременно «Младшая дочь» мадемуазель де Флерио, а также «Элиан», «Анна Северен» мадам Полин Краван. Повзрослев, сестры получили разрешение познакомиться, разумеется во французских переводах, с книгами госпожи Марлит «Вторая жена», «Дом Шиллинг», «Маленькая принцесса де Брюйер». Тайком же девушки, всю жизнь читавшие только по-французски, проглотили несколько увлекательных историй Бурже и даже пару сладострастных творений Прево.

Адела Монтолиу диктовала им из книги мадам де Ламбер и обожала повторять, что «стезя женской добродетели крута, ибо ту, что идет по ней, не ждет в награду мирская слава. Редко покидать свой дом, заниматься лишь собой и своей семьею, быть простой, справедливой и скромной — все это нелегкий труд, так как он скрыт от людских глаз. Нужно обладать большой силой духа, чтобы бежать от суеты света, и большим мужеством, чтобы быть единственной свиде-

тельницей своих достоинств». Кроме того, Адела научила их разбираться в кружевах. Сестры Жинебреда могли рассуждать о качестве и особенностях алансонского, миланского и брюссельского кружева, а также фламандского, английского и венецианского и беседовать о многих других утонченных и бесполезных предметах. Больше они ничего не знали.

Амелия и Элпидия до сих пор иногда встречали свою бывшую учительницу, уже очень старую, сгорбленную и брюзгливую. Происходило это в церкви в Фелипонс, перед распятием, где сестер охватывали благочестивые чувства, и слова молитвы перемежались с разговорами о том, как трудна стала жизнь. Все три женщины давно позабыли наставления мадам де Ламбер, погрузились в пучину беспросветной нищеты и с некоторым даже удовольствием рассуждали на тему о том, что «нам, беднякам, теперь приходится несладко». В свои восемьдесят лет Адела окончательно покорилась судьбе. Сестры могли протянуть еще лет двадцать и одинаково боялись как жизни, так и смерти. Теперь учительница и ее бывшие воспитанницы достигли полного взаимопонимания и держались на равных, делясь насущными проблемами. «Если бы по крайней мере Элпидия поправилась»,— вздыхала Амелия. Но Элпидия и не думала поправляться; с тех пор как умер отец, вот уже пятнадцать лет она укладывалась в постель с первыми холодами и хворала до самой весны, попеременно жалуясь то на голову, то на грудь, то на живот. Амелия самоотверженно лечила сестру и чутко прислушивалась ко всем ее желаниям, увы, как правило невыполнимым за недостатком средств. Она ни на минуту не теряла выдержки и мужественно терпела несносные капризы отчаявшейся больной. Однажды соседка, чья кошка принесла потомство, подарила старым девам котенка, дабы развлечь Элпидию. Подарок был принят без особого восхищения, «только чтобы не обидеть эту добрую женщину», но вскоре киска стала радостью и утешением сестер. На шею ей повесили колокольчик и нарекли именем «Мурр» — литературная реминисценция времен Аделы Монтолиу. Но вскоре от этой затеи пришлось отказаться — животное на такую кличку отзываться не желало. Гораздо охотнее кошка шла на классическое «кис-кис», и Жинебреды не могли нахвалиться на ее необычайную сообразительность. Сестры привыкли включать кошку в свои беседы, и казалось, что умница почти все понимает. Киска напоминала им Мадрону, ту самую покойную Мадрону, которую обе когда-то и любили и ненавидели. Они с удовольствием назвали бы зверька Мадроной, если бы не боялись оскорбить этим память об умершей. Когда их любимица впадала в беспокойство (ее никогда не выпускали на улицу), сестры делали вид, будто очень раздосадованы, но широкие ноздри Элпидии раздувались еще больше, а запавшие глаза больной начинали блестеть. Она не переставая гладила кошку, и та устраивала, по словам Магдалены Блази, «поистине отвратительные сцены». Но Жинебреды не обращали на ворчание гостьи внимания. Прикрыв веки, они думали о Мадроне и предавались тоске по былым временам.

Прошлого не вернешь. Оставалась только изнурительная борьба, изо дня в день, за корку хлеба, а впереди ждала пустота. Каждое утро Амелия спускалась по лестнице, относила заказчикам готовые чулки и отправлялась стоять в бесконечных очередях, чтобы достать хоть немного мяса для сестры. Возвращалась она поздно, уставшая, и неизменно шла все теми же улицами: улица Ауроры, Виртут, улица Муртра, Плаза-дель-Сол, улица Льянтерна. Грязь, стайки ребятни, нищие без рук, без ног, чуть ли не без головы. Угольные лавчонки, торговцы всякой всячиной: тазы с оливковой водой, перец и виноград, зеленые бананы по бешеной цене. Толпы людей, которых не вывести на путь истинный никакому миссионерству — ни религиозному, ни социальному. «Хоть бы Элпидия поправилась! — думала Амелия по дороге домой. — Хоть бы она поправилась или уж умерла». И сама

не заметила, как размечталась о смерти сестры, представила, как будет скорбеть об усопшей, и ей стало жалко себя до слез. Элпидия, бедняжка, почиет рядом с Мадроной и родителями, а она останется, чтобы нести груз долгих лет одиночества, возможно, в какой-нибудь обители (давняя и тайная мечта), пока наконец не воссоединится с остальным семейством. Поднимаясь по лестнице, Амелия улыбнулась своим мыслям и вдруг очнулась, ощутив укоры совести. Да разве можно желать смерти сестры, подумать только, смерти сестры! Женщина открыла дверь, бросилась к кровати Элпидии и обняла больную. Словно отгадав тайную причину этого неожиданного порыва нежности, Элпидия неприязненно отстранилась: «Поправь мне подушку». Но Амелия растерялась и не выполнила просьбы. «Поправь мне подушку, слышишь! — повторила Элпидия.— Почему ты не поздоровалась с Магдаленой?» — «Я как раз собиралась уходить»,— сухо сказала сеньора Магдалена Блази, которая на этот раз принесла несколько пустых коробок. «И больше сюда ни ногой»,— решила старуха. Ее раздражала кошка, снова впавшая в беспокойство, кашель Элпидии, отчаянная нищета. «Я слишком стара для подобных зрелищ»,— подумала она. «На днях уезжаю,— объявила Магдалена сестрам. — Говорят, война на носу, и мне вовсе не улыбается быть застигнутой врасплох в этом городе». Сестры побледнели. «Прощайте, девочки!» — сказала сеньора Блази. «Прощайте, Магдалена!» Амелия проводила старуху до лестницы, и когда вернулась, на обеих тяжким грузом навалилась пустота и одиночество. Как ужасно сидеть вот так, в крохотной клетушке, и покорно дожидаться воздушных налетов! Общая смерть, которая соединит всех — и капеллана, и плотника, и молодую чету, и домовладельца с женой (хотя этих скорее нет: успеют вовремя уехать). Обе с завистью думали о Мадроне и других покойниках, им уже мерещился вой сирены, они гладили кошку, плакали вместе, тесно обнявшись; потом вытерли слезы и с жадностью проглотили свой скудный ужин.

Перевод М. КИЕНИ

ПЕРЕ КАЛДЕРС

Неожиданности в доме № 10

Неожиданности начинаются в доме № 10 с самого утра. Патруль и двое вооруженных полицейских грозятся высадить дверь квартиры на втором этаже. Один из них кричит голосом, который сразу выдает официальное лицо. Чувствуется, что у него большие полномочия.

Наконец дверь открывается и выходит монархист. Заспанный, весьма удивленный. На нем светлый костюм и соломенная шляпа, наверняка уже вторая за сезон.

— Кто бы мог подумать, вот бедняга...— обсуждают событие консьержка и соседка с третьего этажа (обе еще не знают, что именно там назревает новая драма — супружеская измена).

Двенадцать семей — обитатели дома № 10 — осознают всю важность ареста. Это неудивительно — двадцать пять лет спокойной жизни, ни единого происшествия, решительно нигде, от подвала до чердака. Бедные жильцы оказались неподготовленными к резким поворотам судьбы и совершенно не в состоянии осмыслить происходящее. Ни с того ни с сего привычный ход их жизни — милая утренняя суета, завтрак, чтение газет — прерывается визитом полиции. Потря-

сенные соседи ищут поддержки друг у друга, пытаясь сообща проникнуть в тайну ареста.

Но неожиданности этого дня и не думают прекращаться. Кажется, они прочно обосновались в доме № 10 и разгуливают по этажам, внося в жизнь мирных обывателей беспорядок и сумятицу.

Вдруг раздаются три выстрела. Кто-то из соседей падает в обморок — наверное, старая кубинка. Бедняжка не смогла выдержать более одного потрясения в день. Она рухнула на ступеньки как раз в тот момент, когда разразилась пышным дифирамбом в честь арестованного монархиста. В любое другое время ее обморок стал бы предметом бурных обсуждений, но сейчас все слишком заняты выстрелами на третьем этаже.

Соседи гуськом поднимаются наверх с невиданными предосторожностями, вызванными важностью возложенной ими на себя миссии. Однако их путешествие на третий этаж прерывается на полпути появлением хозяина квартиры. Он скатывается по ступенькам, сжимая в руке пистолет, потом швыряет его в лестничный пролет, бормоча при этом слова, которые сильно задевают честь его супруги. Убегая, муж добавляет еще кое-что, из чего следует, что «брачный союз» пары с третьего этажа давно уже дал трещину, и строгий суд соседей, не колеблясь, устанавливает факт прелюбодеяния. Ах, чего только не бывает на этом свете!

Обманутый муж оказался не слишком метким стрелком, поэтому через несколько минут в дверях появляется его супруга. Она выходит, пошатываясь и размахивая перед носом пустой бутылкой. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, куда исчезло ее содержимое. Оказавшись на лестничной площадке, хозяйка квартиры мгновенно «обнаруживает» отвратительное привидение, замурованное в стене. Призрак получает сокрушительный удар бутылкой, которая разлетается на тысячу осколков. Сразу вслед за этим сильнейший припадок потрясает неверную супругу, и она валится на ступеньки.

Воцаряется мертвая тишина. Делегация соседей, завороженно следившая за событиями, переходит к решительным действиям: все поднимаются на третий этаж, подбирают несчастную и бережно переносят ее на постель. Полчаса спустя прибегает раскаявшийся супруг. У него в руках — ожерелье из фальшивого жемчуга. Муж явно хочет показать присутствующим, что подарок — знак примирения. С этой минуты происшествие теряет интерес и соседи разбредаются по квартирам.

Но неожиданности, раз начавшись, вовсе не желают прекращаться и снова во весь голос заявляют о себе. Через некоторое время мозговой аппаратик соседки со второго этажа, уже давно барахливший, окончательно ломается и придает ходу мыслей старушки весьма оригинальное направление. Осторожно выйдя из квартиры, она стучится во все двери и приглашает соседей «взглянуть на чудо». Жильцы, в течение дня уже не раз имевшие возможность обуздать свои эмоции, покорно плетутся в ее каморку. Тщательно заперев входную дверь, старушка ведет их к комоду, где под стеклянным колпаком для сыра, словно под балдахином, покоится испорченная юла.

— Я нашла ее в церкви. Посмотрите, какая прелесть. Не подумайте, что я ее присвоила! Теперь всех, кто приходит, я обязательно спрашиваю: «Вы, наверное, за юлой?» До сих пор хозяин не объявился, значит, она моя.

«Ну что ж, этого давно следовало ожидать»,— заключают жильцы и удаляются, притворно повосхищавшись сокровищем соседки. Идиотизм старухи в других обстоятельствах взбудоражил бы всю площадку, но сегодня ему уготована весьма скромная роль.

В то время как одни жильцы осматривают чудесную юлу, другие высовываются из окон, привлеченные душераздирающими воплями.

Зачинщик скандала — торговец с четвертого этажа,— стоя на балконе, вертит за хвост кота. На лице друга животных недвусмысленно прочитывается горячее желание вышвырнуть питомца на улицу. Наконец ему удается выполнить свое намерение, однако кот, перед тем как полететь головой об асфальт, успевает вонзить коготки в лицо торговца и уносит с собой в могилу часть холеной щеки любимого хозяина. Тут-то и раздается безумный крик, ненадолго заинтриговавший соседей.

После этого в течение получаса не происходит ничего неожиданного — жильцы успевают перевести дух и начинают обсуждать случившееся.

Однако судьба избрала именно этот день, чтобы их сосед — чудак-изобретатель — открыл то, что давно и упорно искал. Он выбегает на лестницу с торжествующим криком: в руках — черная пахучая паста,— вероятно, таинственный плод бессонных ночей и титанических усилий местного «эдисона» (наконец-то соседи узнали, что это!). Изобретатель вприпрыжку спускается по ступенькам, но, внезапно споткнувшись, падает, произведя при этом сногсшибательный удар головой о деревянную скамейку на лестнице. Первый, кто подбегает к нему — крикливый владелец покойного кота. Он бесстрастно комментирует:

— Ненормальный какой-то. Вокруг черт знает что творится, а этот тип даже не вылез из своей берлоги...

С отвращением указав пальцем на черную пасту, торговец просит консьержку «немедленно выбросить эту мерзость». Консьержка повинуется, а прочие присутствующие уносят безжизненное тело изобретателя.

Последнее событие не взволновало уже ровным счетом никого. По мере того как день клонится к закату, обитатели дома № 10, привыкшие к неожиданностям, становятся все менее чувствительными к происходящему. К вечеру все окончательно успокаиваются, и только что-нибудь поистине сенсационное способно вывести закаленных жильцов из себя. Поэтому происшествие с сеньорой преклонного возраста мало кого волнует. Сеньора преклонного возраста торжественно выплывает на лестничную площадку, тщательно подготовленная для tournée по домам своих приятельниц. Она одета в черное, в нескольких местах строгий туалет украшен поблескивающими драгоценностями. На голове шляпа, вызывающая желание сделать ее хозяйку мишенью для стрельбы из лука. Сеньора преклонного возраста крайне нервна, недовольна, взвинчена. Она с опаской ступает в лифт, молясь о том, чтобы тот доставил ее персону вниз в целости и сохранности. Но своенравный лифт дома № 10, лишенный всякого представления о приличиях, не долго думая, застревает между этажами. Сеньора безуспешно пытается открыть дверь и истерично колотит в стекло ручкой зонтика, производя при этом невообразимый грохот. Потом она начинает испускать крики, от которых кровь стынет в жилах. Жильцы, сгрудившиеся на площадке, тщетно пытаются успокоить сеньору и принимают все меры к ее спасению. Одна из сердобольных соседок, сжалившись над несчастной узницей лифта, предлагает передать ей сердечные капли. «Первая помощь» в виде бутылочки с каплями, привязанной к длинной палке, поступает в лифт через разбитое стекло. Но уже слишком поздно — сеньора от ужаса совершенно обезумела и выливает содержимое бутылочки на голову, словно одеколон. Когда пленницу наконец освобождают, она не в состоянии передвигаться самостоятельно, и жильцам приходится выносить сеньору на руках.

События сменяют друг друга с головокружительной быстротой. Соседка с четвертого этажа справляет день рождения, и муж преподносит ей в подарок кастрюлю-скороварку. Инструкция, сопровождающая этот агрегат, гарантирует домашним хозяйкам «абсолют-

ную безопасность в обращении». Несмотря на твердые гарантии, в деле кастрюля демонстрирует удивительно независимый характер. Давление внутри нее катастрофически нарастает и достигает рекордного уровня. Потом раздается свисток — верный признак того, что вода закипела. Кастрюля свистит с оглушающей пронзительностью, и хозяева интуитивно понимают, что так свистеть можно только раз в жизни. Действительно, это уже ее лебединая песня, ее последнее прости. В результате финального взрыва именинница получает весьма заметные ожоги, а на лбу супруга, имевшего неосторожность преподнести столь ценный дар, навечно остается памятный след от отлетевшей крышки.

Уже давно в доме проживает тихий, безобидный дурачок. В этот знаменательный день и у него появляется счастливая идея: отрезать кусочек водопроводной трубы и смастерить флейту. Когда в результате его «изобретательности» в доме начинается потоп, жильцы находят соседа по колено в воде, исполняющего на свинцовой флейте бравурный военный марш.

На некоторое время снова привлекают к себе внимание неверные супруги с третьего этажа. В угаре пламенного примирения они умудряются проглотить ожерелье из фальшивого жемчуга, запивая его вином. Мужу удается, собрав остаток сил, выползти на лестницу, взывая о помощи. Подоспевшая карета «скорой помощи» театрально увозит не в меру пылких супругов.

Бывший карабинер, сержант в отставке, не дав никому опомниться, оказывается виновником нового происшествия. Его собака — старый, неуклюжий, но чрезвычайно любопытный пес — просунула морду между прутьями балконной решетки и жадно оглядывает улицу. Вдоволь насладившись увиденным, собака хочет вернуться в дом, но, оказавшись добычей решетки, не может вытащить голову и начинает протяжно выть. Экс-карабинер, сторонник решительных мер, пытается помочь животному освободиться, пиная его изо всех сил. Однако железные прутья не поддаются, и сержант красивым жестом выпускает в собаку несколько пуль, чем навсегда прекращает ее адовы муки.

Следующая за этими событиями полуторачасовая мирная передышка только настораживает жильцов. Они чувствуют, что впереди — окончательная, финальная катастрофа, которая будет тем ужаснее, чем позднее произойдет.

Поэтому, услышав на лестнице сильный взрыв, никто особенно не удивляется. Все заранее смирились с нанесенным им ущербом. Только старая кубинка ропщет на судьбу: ее любимая мадонна, висевшая над изголовьем кровати, бесследно исчезла.

Все соседи (кажется, от взрыва никто не пострадал) собираются на лестнице. В одном они единодушны — жильцы с первого до последнего этажа ожидали, что произойдет нечто ужасное, неотвратимое, неизбежное.

Расталкивая друг друга, товарищи по несчастью спускаются вниз. Трагическое зрелище, представшее их алчным взорам — развороченная взрывом и донельзя обезображенная комната консьержки,— вполне удовлетворяет всеобщее любопытство. Да, вероятно, это именно то, что так долго и напряженно они ждали,— «последний удар судьбы».

Облегченно вздохнув, жильцы начинают коллективное расследование инцидента. От груд мусора исходит сильный запах газа, что легко позволяет определить природу взрыва. А вот и консьержка, она громко зовет своего сына. Никто не сомневается, что мальчик спит вечным сном под обломками. Начинаются спасательные работы, которые, однако, прерываются в самом разгаре появлением виновника суматохи. Сын консьержки весело сбегает вниз по ступенькам, чистенький, причесанный, целый и невредимый. Так гром-

ко, как только может, мальчик сообщает, что на чердаке воры, которые связали его папу и хотят унести сохнущее там белье. Парочка соседей, слегка отравленных газом, пользуясь всеобщим замешательством, падает в обморок.

На улице, напротив дома № 10, собирается толпа зевак. Конечно, на такое стоит поглазеть, даже если придется простоять несколько часов. На чердаке тем временем вспыхивает жестокая борьба, которая заканчивается постыдным бегством воров, успевающих, однако, прихватить с собой белье.

Всем становится ясно, что финал еще впереди. Двери квартир распахнуты настежь, соседи настороженно следят за происходящим, в любую минуту готовые лицом к лицу встретить опасность. Совершенно очевидно, что сегодняшние события — не случайность; они назревали долго, может быть все двадцать пять лет. Но не слишком ли много для одного дня? Тем не менее, в ожидании последнего удара, жильцы вовсе не намерены дать застать себя врасплох. Они устраивают диспуты, выдвигают теории, пытаясь угадать, что же все-таки случится. На втором этаже разгораются особенно бурные дебаты: здесь обитает местная знаменитость — известный учитель, любитель цитат и глубоких суждений, энциклопедист, мастер на смелые, часто фантастические прогнозы. Он сосредоточен, погружен в свои мысли, на его светлом челе — забота о будущем. Уже несколько часов «энциклопедист» задумчиво бродит из угла в угол, храня таинственное молчание. Потом вдруг резко останавливается, пораженный внезапной догадкой, и изрекает:

— Все ясно. Этот дом, наверное, просто развалится...

Неожиданностям приходит конец. Новость мгновенно распространяется среди потрясенных обитателей дома № 10. Они поспешно начинают складывать пожитки и пытаются улизнуть. Но нет, уже слишком поздно. Стены трескаются, и дом с жалобным стоном разваливается, превращаясь в груду обломков.

Перевод П. СКОБЦЕВА

МЕРСЕ РОДОРЕДА

Воспоминание

Ну, так вот... Можете считать это приключением. Было мне тогда лет двадцать. Подумать только! Дома у меня случались — как бы это сказать? — приступы депрессии. Понимаете, я не ел, не спал, постоянно с неприятным ощущением вот здесь, посередине, нет, нет, чуть-чуть в стороне, между сердцем и желудком. Мне было очень, очень плохо. Доктор сказал, что нужно развлечься. Развлечения, обязательно развлечения. И на первое время посоветовал каждое утро охотиться. Знаете, я никогда раньше не охотился, но доктор сказал, что, быть может, охота пойдет мне на пользу. Ну, так вот... Деревенские мальчишки, завидев меня издали, сбегались со всех сторон и стайкой шли следом до самого дома, потешаясь надо мной, потому что я всегда возвращался с пустой сумкой. (Им, конечно, и в голову не приходило, что неудачи не имели для меня никакого значения.) Какая-нибудь птичка вспархивает с дерева, вьется, летит — и мое воображение уже далеко. В конце концов мальчишки встречали меня такими криками, что я иногда делал крюк и заходил в деревню со стороны огородов, а не леса... Вы и представить себе не можете, как отвлекает охота. Заберешься в заросли кустарника, притаишься... Птица пролетает, делает круг, носится туда-сюда... кажется, вот-вот сядет на ветку, но вдруг, услышав, как трес-

нул какой-то сучок, улетает, а когда ты меньше всего ожидаешь — раз! — она снова на ветке. Совсем рядом маленький пуховый комочек... доктор сказал: ловите птиц, вы отвлечетесь... Вот она перед тобой, и, затаив дыхание, ты вскидываешь ружье, прицеливаешься, стреляешь... а птица как ни в чем не бывало исчезает в небе или в глубине леса... Но потом доктор посоветовал отцу отправить меня на время за границу... Мой отец! Пресвятая Дева! Когда мне было двенадцать лет, я написал письмо девочке, которой было пятнадцать. Начиналось оно так: *«Незабываемая Хуанита! С тех пор как я увидел тебя, твой образ стоит у меня перед глазами»*. Девочка показала письмо своему отцу, а тот моему... И отец, когда приходили гости, посылал за мной, горничная приводила меня из спальни в гостиную; я здоровался со всеми за руку, а потом, стоя посередине, скрестив руки за спиной, пересказывал на память это письмо от начала до конца... *«Незабываемая Хуанита!»* — и так далее. Шутка продолжалась целый год. Мой отец... А знаете, он любил меня. Моя мать умерла родами; едва вступив в дом в день своей свадьбы, она сказала: «Я так люблю сельское уединение...» Вы бывали в Монтрё? Отец отправил меня в Монтрё, вернее в Кауш. Помните ту гору, с отелем у самой вершины? Так вот, в этом отеле я и жил. Внизу — Женевское озеро, безмятежное спокойствие воды, а по ту сторону озера — горы, стоящие стеной, теснящие друг друга... Полуденные Зубы [1]... и много, много всего другого! Я жил там очень спокойно: каждое утро совершал прогулку верхом, потом спал или, часами напролет сидя в шезлонге, смотрел на небо, а то на берегу озера читал стихи, ел, как наследный принц. Да всего и не припомнишь. Столько времени прошло... Тогда я был молод... Подумать только, двадцать лет! Играли квинтет си минор Брамса. Квинтет!.. Вам все это ничего не говорит. Квинтет Брамса!.. И представить не можете, какая атмосфера царила в те времена в концертах. Пресвятая Дева! В тех местах жили люди состоятельные... Ко, Монтрё, до Шильонского замка рукой подать. Багрового цвета плющ — стояла осень, теплая осень, постепенно вызолотившая все вокруг, благословенный покой,— у вершины горы, словно орлиное гнездо, отель, крыша которого почти касается неба, тень Байрона, Шелли и то, что стоит за этими именами... Концерт открылся не помню чьей симфонией. Помню лишь полную тишину, элегантного дирижера и смычки, мелькающие вверх-вниз, и публика — мужчины в безупречных костюмах, а женщины... Пресвятая Дева, лучше и не вспоминать! И надо всем — тень Изабеллы Австрийской [2], убитой в Женеве всего лишь несколько лет назад. Одна из самых прекрасных женщин Европы... Дипломаты со своими семьями, английские и аргентинские миллионеры, счастливые, довольные собой, и люди, суетливые, с горящими глазами... блеск брильянтов... *The day, the hour, the sunshine and the shade...*[3] Императрица Изабелла... Вы никогда не бывали в Вене? Правда?.. Однажды вечером, в Пратере... впрочем, это не имеет значения. Если вы когда-нибудь поедете в Монтрё, между Монтрё и Шильоном вы увидите английское кладбище, а у входа — статую, изумительную, на мой взгляд: она навевает столько воспоминаний... Женщина необыкновенного благородства, с цветами в руках... не могу объяснить, в чем ее очарование... Но она прекрасна. Сколько времени провел я, глядя на нее!.. А музыка источала свое волшебство. Квинтет Брамса!.. *«Presto non assai ma con sentimento»* [4]. Внутри как будто била крылами голубка. Я закрыл глаза и, когда мне стало казаться, что я парю в пространстве, почувствовал каплю пота, стекающую по шее. Очень осторожно я вынул платок, и, когда слегка повернул шею, увидел... Не знаю, как описать ее,

[1] Горы близ Женевского озера.
[2] Имеется в виду Изабелла Виттельсбах, императрица Австрии (1854—1898).
[3] В тот день, в тот час сиянье солнца и тень... *(англ.)*.
[4] «Быстро, но не слишком, с чувством» *(итал.)*.

лучше этого не делать... Она сидела двумя рядами ниже, со стороны первой скрипки. Только цветов не хватало у нее в руках. Волосы, профиль... и лицо — тонкое, нежное, аристократическое, напоминающее портреты Рейнольдса или Гейнсборо... И музыка, волнами окутывавшая салон. Не поверите, но у меня дрожали руки, а удары сердца отдавались как колокольный звон. Я снова закрыл глаза... Мне было только двадцать, сорок лет прошло, но все это стоит у меня перед глазами, как сейчас: кларнет выводит та-та-та-ти-та-тата... тати-ти-ти-ти-ти-ти-ти...ти тиририт...тиририт... Мне бы не хотелось, чтобы вы смеялись, я так вам доверяю... Когда музыка смолкла, зал взорвался. И повсюду букеты лилий. Пресвятая Дева! Аплодисменты отвлекли меня, и я потерял ее среди толпы... А дальше все было как в романе. Девушка, которую я считал навеки потерянной для себя, жила в том же отеле. Это была настоящая идиллия. Каждое утро мы отправлялись на верховую прогулку... Рассказать об этих двух месяцах невозможно. Так продолжалось до тех пор, пока однажды она не уехала, а я так и не осмелился сказать о моей любви... Не осмелился. Как всегда, мне мешали сомнения. И она уехала. Совершенно случайно, той же осенью, я узнал ее адрес. Она жила в немецкой Швейцарии, в монастыре. Вернее, это был не монастырь в полном смысле слова, а общежитие протестантской общины. После долгих колебаний я сел в поезд и отправился туда. Я хотел видеть ее, сказать ей... Я весь был одно сплошное чувство... Но, сойдя с поезда, я подумал, что поступил неправильно, не предупредив заранее о приезде... Тогда подобные вещи имели значение, не то что теперь... Я бродил по городу в поисках конверта и бумаги. Хотел написать несколько слов, чтобы не застать ее врасплох. Наконец я нашел лавчонку, где торговали всякой всячиной. И вот самое главное. Я был как больной, с пожелтевшим лицом покойника... Войдя в лавчонку, я почувствовал, что слова застревают в горле... Я застыл на месте. Помню только стоявшие на прилавке широким раструбом вниз стеклянные колокольчики, внутри которых были альпийские цветы. Очень красиво. В углу лавки хозяйка и какая-то женщина выбирали кувшинчики... Неожиданно я почувствовал такую тревогу, что решил, будто схожу с ума. Я вышел, так и не раскрыв рта. Я говорил себе: не беги, не надо бежать... За улицей, поднимавшейся в гору, следовала другая улица, она три или четыре раза делала повороты, затем — небольшая площадь с фонтаном посередине и что-то вроде аллеи низкорослых деревьев... Я искал вокзал и никак не мог найти, будто кто-то спрятал его. А когда вышел к нему, показалось, что мне привиделся кошмарный сон и что я наконец спасен, сам не знаю от чего. Возвращение... снова Монтрё. Так все и кончилось: пронизывающий холод и я, сидящий у огня, читаю поэтов, которые, готов поклясться, знали ее: *«She walks in like the night...»* [1].

Спустя много лет, двенадцать, а то и больше, я жил в Париже. Мне всегда нравилось ходить пешком. Париж я знаю наизусть — кварталы, улочки, все его уголки. И кладбища; целыми днями я бродил по кладбищам. Однажды вечером, кажется, я вам это уже рассказывал, меня заперли на Пер-Лашез... мне пришлось выбираться через боковую дверцу. И вот однажды, когда я уже считал, что все случившееся той осенью лишь привиделось мне, я встречаю ее на улице. Вот так просто — на улице. Она выходила из такси. Я хотел пойти за ней, но она тут же скрылась в каком-то доме. Проще всего было узнать у консьержки, живет ли она там, но я на следующий день послал туда своего друга. И можете себе представить, сеньор, она жила в Париже, в этом самом доме! И до сих пор была не замужем! Что вы скажете? Былое воскресло, и все перепуталось в огромный клубок: Монтрё, Ко, прогулки верхом, стальная гладь озера, *«She walks... like the night»*. Я доверился своему другу,

[1] «Она идет во всей красе — светла, как ночь...». Байрон. Перевод С. Маршака.

который знал меня давно, и он посоветовал пойти к ней и сделать то, чего я не сделал, когда мне было двадцать: признаться в любви. Одевайся, сказал он, и иди. А как одеться? Торжественно. Надо выглядеть торжественно. Я надел визитку и полосатые брюки. Купил букет цветов... Я шел по улицам Парижа и будто видел их впервые. Я мог бы взять машину, но решил идти пешком, чтобы дорогой немножко успокоиться... И хотите верьте, хотите нет, но я шел, шел и заблудился. Я бродил и бродил с букетом в руках, переполненный воспоминаниями, которые столько лет спустя возвращались еще более яркими, живыми: *Herein is enshrined the soul of the clarinet* [1]. И звучала музыка, словно состоящая из вздохов: фа-а, соль, фа, ми, фа, соль, ми; фа-а ... ми, ре, до; ре, ми, до, ре-е... ля, лу-у... Пресвятая Дева! Знаете, я с тех пор всегда вожу в чемодане пластинку... Наконец я нашел ее дом. Но не переступил порог подъезда. Не смог. Отойдя подальше, я сел на скамью, осторожно, чтобы никто не заметил, положил букет цветов и вернулся домой. Что вы говорите? Подождите, самое ужасное еще впереди. Через два месяца мне пришлось уехать из Парижа, много путешествовать. Моя карьера, понимаете? Годы шли, и наконец я женился на одной венке... Вена!.. Но не будем отвлекаться, бога ради, не будем отвлекаться... Все случилось очень быстро, этот брак устроили мои родственники. Вы знаете мою жену, знаете мой дом... И все же вы не можете себе даже представить, как мне повезло. Если бы только не бесконечные партии в бридж!.. Пролетели годы, много-много лет... в этой истории все связано с течением времени. Мы с женой изъездили весь свет и наконец решили обосноваться в Париже. Снова Париж. И вот конец этой истории: не так давно, разыскивая телефон знакомых, уезжавших в Барселону — мне нужно было с ними передать поручение управляющему (со мной сыграли «шуточку» — пополам перерезали мое имение шоссейной дорогой),— я увидел в телефонной книге ее имя. Она живет напротив моего дома. Что вы на это скажете? Мы словно два листочка, которые ветер то соединяет, то разносит в разные стороны, соединяет и разбрасывает... Живет как раз напротив моего дома... Ну, не совсем напротив, если быть точным, но близко, близко, понимаете?.. Возможно, мы часто проходим мимо друг друга, и я не узнаю ее, а она не узнает меня. Too long, too late [2]. Я не знаю, что с ней сделала жизнь, и нет у меня желания узнавать... Пресвятая Дева... никакого желания.

Перевод Н. МАТЯШ

МАРИЯ АУРЕЛИЯ КАПМАНЬ

Море ласковое, море коварное

Вокруг шумело море, такое голубое, нет, синее-синее, а может, темное, как старая смола или слякоть.

— Неправда, так не говорят!

Это когда на море шторм, объясняет Барбара, или когда дует мистраль и волны большие-пребольшие.

Барбара расчесывает девочке волосы и болтает без умолку. Вокруг смеются, но она не обращает внимания и все говорит, как будто боится той тишины, которая наступит, стоит только замолчать.

[1] Здесь хранится душа кларнета *(англ.)*.

[2] Слишком давно, слишком поздно *(англ.)*.

— Барбара, а Барбара, ай! а правда, что если мужчина пролезет в замочную скважину, то превратится в женщину, а если женщина пролезет, ай! в замочную скважину, ай! ай! то превратится в мужчину, ай! ай! ай! Ты мне больно делаешь, Барбара!

Барбара отвечает, что вовсе не делает ей больно, а просто расчесывает волосы, потому что, если девочек не причесывать, у них на голове вырастают водоросли, и что если бы она ее не причесывала, то кто бы это делал и что, когда наступает лето, все только и думают о том, чтобы понежиться в мягкой воде в бухте, да, да, только об этом и думают, и что, если мужчина и женщина вместе пролезут в замочную скважину, никто уже не узнает, где был он, а где она, и что...

— А что будет, если туда пролезет контрабандист?

— Что будет, что будет, да ничего не будет, глупышка! И вовсе я тебе не делаю больно, просто косы заплетаю. Контрабандист в замочную скважину, вот глупышка!

Барбара медленно проводит гребнем по волосам девочки, поворачивает ее голову вправо, потом влево, прокладывает светлую дорожку пробора, и кажется, будто эти густые волосы — широкое поле, а гребень — стальная борона, вот Барбара разделяет волосы на две равные части, а потом каждую из них еще на три, чтобы заплести тяжелые косы, густые жесткие волосы сопротивляются гребню, непослушные пряди выбиваются из-под него, спутываются и застревают между острыми зубьями бороны, словно срезанные сорняки в густой пшенице золотых волос девочки.

Все, что нравится Барбаре,— золотое, волосы золотые, гребень золотой, солнце золотое.

Мастер есть непростой
(поет Барбара)

В нашей деревушке.
(у Барбары красивый голос)

И прозвали его
(голос немножко трескучий, но красивый)

Золотые руки.

— Однажды привезли золото,— рассказывает Барбара.

Это не шутка, ей-богу, золото, но девочка не верит, потому что Барбара всегда выдумывает, никогда не знаешь, кто был тот человек, который погиб в море, ее отец или муж, и погиб ли он в море или его зарезали...

— Ну зачем ты обманываешь, Барбара?

— Это ты обманываешь! Ты что же думаешь, что все знаешь, если ходишь в свою школу в городе, ах, вчера я получила двойку, а сегодня четверку! Нет, ничего-то ты не знаешь, ничего, даже того, что море заманивает в ловушку и тянет на дно.

Барбара чувствовала, что теряет доверие, и это ей совсем не нравилось. В отместку она сильно стягивала волосы девочки на затылке, и та просто не могла закрыть глаза.

Барбара любила рассказывать страшные истории про море — далеко не всегда правдивые, как говорил отец,— и однажды девочка вдруг поняла, что Барбара никогда в жизни, честное слово никогда, не входила в море, в это коварное, ужасное море, которое вздымает большие волны, хватает и проглатывает добычу.

— Все ты выдумываешь, ну где ты видела ловушки в море, да нет там никаких ловушек, надо же, ловушки... чепуха какая.

Море мягко качает тебя на волнах, щекочет, как плюшевое одеяло из пены. Морская вода обнимает тебя и лижет кожу, а когда ныряешь, не дает утонуть и выталкивает на поверхность.

Барбара большая и толстая; если девочку кусает пчела, если она падает с велосипеда, если ей в палец вонзается острая колючка мор-

ского ежа, если ее колотит Бьель, если эта злюка Марта крадет у нее бумажных кукол, если она вдруг просыпается среди ночи от страха, потому что стекла в окне дребезжат, Барбара всегда рядом.

— Никакого страха нет,— успокаивает Барбара,— надо раскрыть глаза широко-широко, и страх убегает, как побитый пес. Смотри, смотри — видишь, как он прячется?

Девочка дрожит, но вот ей кажется, что там, вдали,— маленькая, убегающая тень, эта тень лукаво грозит пальцем, словно говорит: «Погоди, я еще вернусь!»

Море льнет к песчаному берегу, откатывается назад, а потом возвращается опять и опять, как горячий поцелуй, еще, еще, еще — шепчет волна. Когда волна отступает, множество дырочек на песке миллионами глаз жадно смотрят ей вслед.

— Ты станешь черной, как жук, как дрозд, как сажа в печке. Такую замарашку никто не захочет взять замуж, вот и останешься навек старой девой.

Самое ужасное, что может произойти с женщиной,— остаться старой девой.

— Но почему?

— Потому что у каждой женщины должен быть муж, свой муж, который всегда будет рядом с ней, что бы там ни случилось, идет ли снег или дождь, работают люди или веселятся.

— Но у тебя же нет никакого мужа, Барбара.

— Я вдова!

— Вдова, старая дева — какая разница?

Барбара ухитряется быть одновременно повсюду, во всех уголках дома, за любой дверью — вечно неугомонная Барбара.

— А почему ты не ходишь к морю?

Она отвечает, что занята, что у нее нет времени, но это неправда, просто Барбара боится моря.

Барбара толстая, около нижней губы у нее родинка, родинка с тремя волосками, один из которых длиннее других. Барбара часто смеется, но у нее ужасный характер. Как злится Барбара, когда ей говорят, что она боится моря, что она никогда не входила в море, никогда не качалась на волнах, разве что только на лодке, да, да, только на лодке, и что однажды в тихий летний вечер, во время праздника святого Телма, лодка Барбары налетела прямо на маяк. Она сердится и кричит, что никто, ни девочка, ни ее мать, ни ее отец,. ни те бездельники, что каждое лето путаются в доме под ногами,— и ведь никогда не знаешь, сколько их: десять или пятнадцать? — все, то есть никто, никто ничегошеньки не знает о море.

Они думают, будто море — синяя полоса, что тянется вдоль песка, синяя и блестящая, в которой плещутся водоросли и мельтешат прозрачные мальки. Море нельзя вспахать, как землю, и нельзя измерить, море не цветет и не колосится, как поле, ему все равно, идет ли дождь, для него нет ни завтра, ни вчера, только сейчас, сегодня, море вздымает большие волны, оно забирает тебя всего без остатка.

— Зачем, по-твоему, мужчины уходят в море, глупышка? — спрашивает Барбара, с силой проводя гребнем по непослушным волосам.— Потому что море — богатое, и когда бывает шторм, оттуда достают мешки золота, и моряки уносят с собой добычу и только посмеиваются над крестьянами, которые всю жизнь копошатся в своей земле, чтобы добыть краюшку хлеба, капельку вина.

— А откуда их достают, мешки с золотом, со дна моря?

Барбара бестолковая, она ничего не может объяснить, Барбара не знает, откуда достают мешки с золотом, она даже не знает точно, есть ли в них золото, потому что уже рассказывает про табак, который сладко пахнет медом и сушеным инжиром. Барбара говорит о монетах, о звонких золотых монетах, тех, что моряки достают

из грозного, коварного моря, которое начинает бурлить, клокотать и пениться, когда меньше всего ожидаешь, Барбара говорит о море, о море, где дует теплый сирокко, а то вдруг ледяной мистраль, и тогда оно разбивает корабли о высокие скалы.

— Но почему, почему они не могут подождать, пока море успокоится, и почему в какой-нибудь летний день не бросят якорь возле отмели, где такой мягкий, такой гладкий, такой желтый и горячий песок?

Барбара смеется, ее смех — словно перезвон золотых монет, Барбара смеется и надменно говорит, что мужчины уходят в море, чтобы добывать золото, много монет, горы золотых, которые они делят, сидя вокруг стола, не то что некоторые, знает она таких, те, что приходят на море, только чтобы зад помочить.

— Бесстыдница, ты просто бесстыдница, Барбара, нельзя говорить *зад*, мама говорит, что нельзя так говорить.

— Говори, как хочешь,— возражает Барбара,— задница, или ягодицы, или, если так уж тебе нравится, «мягкое место». Только знаю я, что вы называете морем, знаю: ту капельку воды, где мочите кончики пальцев, там, у волнореза в бухте.

Море не просто вода, девочка понимает это, правда, не может объяснить Барбаре, которая совсем ее не слушает. Она не может объяснить, почему вода в душе или в ванне, вода из крана на кухне или из рукомойника в саду только мочит тело. Море зовет тебя, подпускает совсем близко и обволакивает сладким дурманом, тихо вздыхает и нашептывает на ухо чудную сказку, которая никогда не кончается. А какая сладкая волшебная грусть охватывает тебя каждый вечер, когда видишь, как там, далеко-далеко, солнце встречается с морем!

— Что ты там бормочешь? — спрашивает Барбара и, не дожидаясь ответа, говорит: — Его убили на пустыре, там, где большой крест.

И неизвестно, говорит ли Барбара о своем отце или о своем муже, и был ли он ее мужем или женихом. Барбара постоянно сыплет словами, всегда и везде, что бы она ни делала: подметает ли кухню или лущит горох, замешивает тесто или воюет с непослушными волосами девочки, затягивая их, чтобы не спутались, когда та будет нырять в море.

— Подумать только, бросаться с головой в море, глупость какая, как будто это купальня или пруд.

— Ты говоришь, его убили, Барбара? Кто же его убил?

— Море.

— Море?

Барбара не отвечает, и на минуту воцаряется молчание, но вот она снова проводит гребнем по волосам девочки и снова бормочет под нос что-то непонятное.

Барбара и говорит и молчит по-своему. Ее молчания, так же как и ее разглагольствования, полны смысла. За словами Барбары всегда стоит что-то таинственное и прочное, что направляет разговор, куда захочет, и никогда не знаешь, куда он направится. Поэтому Барбара не любит, когда о чем-нибудь спрашивают, и всегда отвечает вопросом на вопрос.

— Барбара, а почему ты никогда не ходишь купаться?

— Куда ты подевала тапочки, а? Живо говори!

И вдруг ни с того ни с сего:

— Что такое море, по-твоему, стрекоза? Ты ведь не знаешь — оно коварное. Еще какое коварное. Зачем, по-твоему, мужчины уходят в море, глупышка? Потому что море богатое, и если люди побеждают, они отбирают у него мешки с золотом. Поэтому моряки позванивают золотыми монетами и смеются над крестьянами, которые всю жизнь только и знают, что копошатся в своей земле и плодят детей.

таких же сгорбленных, таких же рабов земли, как и они, рабов дождя и града.

— А откуда их достают, мешки с золотом, со дна моря?

Объяснения Барбары уже совсем невразумительны, потому что она не знает, откуда берутся мешки с золотом, и золото в ее рассказах давно превратилось в табак, в мешки и ящики, завернутые в клеенку, чтобы не дай бог не промокли, полные светлого табака, кажется, Барбара говорит, что он светлый, как золото, тот табак, что пахнет медом и сушеным инжиром. Монеты, множество звонких монет раскладывают на столе в одинаковые кучки, они поблескивают при свете керосиновой лампы. Эти звонкие монеты мужчины отнимают у моря, у коварного моря, у моря, которое бурлит, и клокочет, и не желает расставаться со своими сокровищами. Коварное море в самый неожиданный момент вздымает большие волны и разбивает корабли о высокие скалы, так было и когда разбилась «Мариола», на которой погибли отец и муж или жених — кто его знает,— а может, просто выдуманная любовь Барбары.

— Ну почему же контрабандисты не могут подождать, пока море успокоится, почему? И почему в тихий летний день не бросят якорь возле отмели, где песок такой мягкий, такой гладкий, такой желтый, такой золотой, как ты любишь говорить, Барбара?

Барбара смеется, ее смех будто перезвон золотых. Барбара смеется, гласные «о» и «э» растягиваются и пробираются из горла к кончику носа, и смех такой живой, такой густой и сочный, что Барбара давится смешинками и чихает, а потом вытирает слезы на глазах краем передника. Когда наконец смех, идущий откуда-то из глубины, прекращается, Барбара объясняет девочке, что мужчины уходят в море за золотом, за звонкими золотыми монетами, а те, что вечно торчат на берегу, знаем мы, зачем они приходят к морю — зад помочить.

— Бесстыдница, да ты просто бесстыдница, Барбара, нельзя говорить *зад*, разве ты не знаешь, что нельзя так говорить?

— Называй, как хочешь, задница, или ягодицы, или, если тебе так больше нравится, «мягкое место». Все равно, море для вас — та капелька воды, где вы мочите кончики пальцев, там, у волнореза в бухте.

Девочка знает, что море — совсем не то, что вода, и она так хотела бы рассказать об этом Барбаре, но та расчесывает ей волосы и не слушает, совсем не слушает. Вода из душа, или из крана, или из рукомойника в саду — просто-напросто вода, она мочит кожу и одежду, но море, море доброе и ласковое, хотя иногда суровое, оно затягивает тебя глубоко-глубоко, а потом возвращает на поверхность, и еще, еще эта черта, эта таинственная черта там, далеко-далеко, где на закате встречаются солнце и море.

— Что ты бормочешь? — спрашивает Барбара и, не дожидаясь ответа, говорит: — Его убили, когда дули сильные ветры с запада.

И неизвестно, говорит ли она о своем отце, или о своем муже — муже или женихе? — или просто о каком-то неизвестном, и погиб ли он, когда разбилась о скалы «Мариола», или его застрелили, и кто его застрелил, может быть, карабинеры, которые выслеживают жертву, когда контрабандисты, словно муравьи, один за другим выползают из трюма корабля с тюками за спиной, а может быть, его же дружки в таверне из-за какого-нибудь туза или шестерки, или потому, что он не предупредил их об опасности и не закричал в темноте, как жаба, и карабинеры неожиданно накрыли всех в трюме.

— Его убили? Кто его убил?

— Море,— отвечает Барбара,— подумать только, бросаться с головой в море, глупость какая, можно подумать, что это купальня или пруд.

Вот девочка наконец выскользнула из цепких пальцев Барбары и радостно бежит, бежит к морю, до нее долетают обрывки слов Барбары, слов, которые сыплются часто-часто, будто горошинки из стручка.

— Осторожнее, море такое коварное. Море заманивает в ловушку и тянет на дно.

Перевод П. СКОБЦЕВА

ЖАУМЕ ФУСТЕР

Гибельное одиночество

1

На темной потрескавшейся стене, рядом с громкоговорителем, из которого несутся победные звуки гимна, как влажное пятно, как застывший комок гипса, белеет календарь. Эсперанса не может больше слышать этот гимн и видеть, как исходит слезами календарь. Она откидывает в сторону иголку, встает, накидывает шаль и, не слушая поучений сеньоры Карметы, которыми та напутствует ее, выходит из мастерской. Эсперанса спускается по неосвещенной лестнице, пересекает просторный подъезд и оказывается на залитой светом улице,

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЕВЫХ

красно-желтые полосы франкистского флага как будто проступают на разорванных плакатах, насмехаясь

НО ПАСАРАН

не только над ними, но и над ней, над прохожими, которые выглядят испуганными и запыленными. И над Жорди. Особенно над Жорди, лицо которого чудится ей под всеми фуражками, как будто Эсперанса узнает его в каждом проходящем мимо военном.

Ноябрьский ветер приносит вместо гимнов запахи скудной пищи и падали, и слезы Эсперансы высыхают — как раз перед внушительным административным зданием.

Внутрь она входит с камнем на сердце, как и в другие дни. Как и в другие дни, тут очередь — всегда одни и те же униженные люди: женщины с покрасневшими глазами, наголо остриженные дети, во взгляде которых застыла обреченность. А за барьером люди в форме разговаривают, курят и смеются, победоносные, как гимн или холодное ноябрьское солнце.

Эсперанса обращается к полному бледному парню, который, когда не слышат другие, говорит по-каталонски[1]. Он совсем не похож на Жорди, но ей внушает доверие: не насмехается, как все, и глаза у него печальные, как глаза побежденных.

Какой-то мужчина поднимается с деревянной скамьи, чтобы она могла сесть. Эсперанса тяжело падает на скамью, словно в колодец, наполненный звуками гимна и холодным ноябрьским солнцем, колодец, из которого ей уже никогда не выбраться.

2

Печка закоптила все вокруг. В клубах дыма, поднимающегося к потолку, ей чудится лицо Жорди. Из-за слез она не очень хорошо его различает, но знает, что это Жорди и что он с ней разговаривает. Однако Эсперанса не отвечает. Зачем? Ведь когда дым рассеется, лицо исчезнет, и одиночество станет еще более враждебным, более тягостным. Эсперанса ставит кастрюлю на печку и идет в комнату —

© Yaume Fuster, 1983.

[1] В течение ряда лет после победы франкизма на всей территории Испании официально признавался только один язык — испанский; употребление других языков (каталонского, галисийского, баскского) в общественных местах было запрещено.

вытертый ковер, незастланная постель, хранящая следы тревожного сна, а с прибранной полки смотрит на нее фотография. И как всегда, в горле встает ком, превращающийся в свинцовый шар — расплавить его не под силу даже мятым листочкам писем, которые изредка приносит священник[1]. Эсперанса помнит их наизусть — слова, отдельные фразы, рисунки, почерк.

Комната темная и сырая. Стены призрачны, как театральные декорации,— и запахи сна, унижение, холодное ноябрьское солнце, победные гимны уходят, уступая место открытым полям Кастилии.

Эсперанса бежит рядом с товарищами, крепко прижимая к себе винтовку, она слышит разрывы пуль и чувствует запах смерти. А после Эбро — покинутые дома и щемящее чувство поражения.

Неожиданно экран воображения становится белым, картинка пропадает, как будто фильм прервали ради гимна и вскинутой кверху в ритуальном приветствии руки. Эсперанса поднимает глаза — представление начинается снова. Раздвигается занавес, исчезают серые стены и вонь со дворов, тошнотворная, как оскорбительное прикосновение. Перед глазами — поля Франции, блохи, вши. Или сенегальцы, тут же превращающиеся в мавров[2], их остро отточенные, чудовищные, меткие штыки безжалостно вспарывают животы и приканчивают.

3

Черные люди с их песнями проходят перед ней. Но Эсперанса их не замечает, как будто их нет вовсе. Они не кажутся ей нормальными, как нам, она отказывается их ненавидеть, как мы,— они для нее просто не существуют. Черные люди, их черные песни, которыми они подстегивают себя, опьяняясь своей черной победой, превращаются в трубный военный гимн.

Воспоминания для нее — дело непривычное, но теперь она цепляется за них. В прошлом — купанье в море летом, прогулки на волнолом зимними вечерами и нежность Жорди мешали ей подумать о нем как следует. А теперь — колокольный звон, от которого раскалывается голова, и женщины в черном, заполнившие все уголки города, вызывают у нее постоянное желание вспоминать. Это становится больше чем потребностью — способом покончить с гибельным одиночеством, последним прибежищем. Но ни ночь, ни день не приносят успокоения.

Женщины, плачущие и униженные. Меняется форма, каталонский акцент остается. Запах больших восковых свечей, а в воздухе, колышущемся от взмахов крыльев ангелов, разлиты безмолвные молитвы.

4

Иголка мелькает в непрерывном танце. Сеньора Кармета украдкой жалостливо смотрит на нее. По радио не передавали гимнов, но говорили о войне, и в металлическом голосе диктора звучали литавры. Другие женщины страдают. Тогда еще можно было страдать. А потом наступит время разлуки и гибельного одиночества. Эсперанса думала о таких же, как она, женщинах, о вое бомбардировщиков и свисте бомб. Официальное извещение о смерти теперь уже не придет, придет письмо из Франции.

Эсперанса чувствует себя старой и умудренной. Она уже не думает о незнакомых и далеких женщинах, которым неведома разлука. Она думает о письме, что придет из Франции, или об известии, кото-

[1] Письма из лагерей, где были интернированы испанские республиканцы, перешедшие на французскую территорию, пересылались через Красный Крест и нередко доставлялись священниками.

[2] Сенегальцы охраняли лагеря, где содержались интернированные во Франции республиканцы; марокканцы входили в отборные соединения франкистов.

рое однажды ей неожиданно сообщат на улице и которое лишит ее покоя, заставит отступить отчаяние.

Спокойным движением сеньора Кармета выключает радио. Холодное ноябрьское солнце застыло на потолке, как флаг, рвущийся на ветру. Эсперанса благодарна ей за этот жест, для которого требуется мужество, за невольное желание поддержать незнакомых женщин, что разглядывают фотографии и ждут писем со словами любви, писем, рассказывающих о будничных делах. Иголка мелькает, нить вышивает узор. И скупые слезы скатываются по щекам.

Голос у сеньоры Карметы хрипловатый и вкрадчивый. Эсперанса слушает, что та говорит. Может, она и права. Так многие поступают. Какая разница между молитвой и этим? Сеньора Кармета говорит, медленно роняя слова, как будто обращаясь к платью, что теребит в руках. И пока хрипловатый голос поучает Эсперансу, руки не перестают комкать ткань, а иголка продолжает свой танец.

5

Люди в очереди не разговаривают. Слова нужны, только чтобы выяснить, кто последний, поздороваться, извиниться, если толкнули или наступили на ногу. Очередей в городе полным-полно. Люди уже привыкли и терпят. Они относятся к очередям спокойно, как к руинам дома, которые обнажают остановившееся мгновение чьей-то жизни. Обои на стенах, часы в кухне — все потеряло смысл. Эсперансе грустно.

Наконец они входят. Здесь звучат распоряжения, слова мешаются с запахом лежалой свинины, проросшего картофеля, разлитого супа. Она произносит несколько слов. Всего три, они срываются с ее губ, невнятные, звучат невразумительно. Мужчина подходит к ней. Все, на что она осмеливается, это, протягивая деньги и чеки, шепотом задать вопрос. Мужчина смотрит на нее, и на губах его стынет молчание страха. Когда Эсперанса уже теряет надежду, она слышит слова, произнесенные тихо, как непристойный секрет.

Равнины, провонявшие вековой мочой. Стены, впитавшие унижение. Худосочная, болезненная девушка. Сеньора Анита в черном.

Завтра в семь часов, тихо-тихо, чтобы никто не видел.

6

Страх, как рыбья кость, застревает у нее в горле. Страх и тоска, и еще предчувствие, что сейчас ей откроется истина, которая ранит больнее разлуки. Потому что штыки вспорют тело Жорди. и земля Франции превратится в его могилу. Но пойти нужно. Нужно взять фотографию, спрятать ее в сумочку и закрыть за собой дверь.

На лестнице темно, разрушенный дом хранит молчание недавнего поражения.

Худосочная и болезненная девушка. Сеньора Анита в черном. Ровно в семь часов, тихо-тихо, чтобы никто не видел.

7

В комнате пахнет заточением и могилой. Слева от нее сидит женщина, у которой грязные, с черной каймой, ногти. Когда их пальцы соприкасаются, Эсперанса чувствует отвращение. Зато у мужчины, сидящего справа, ухоженные руки с аккуратно подстриженными ногтями. На старческих руках вздулись вены. Свет, льющийся с потолка, ложится на белую шевелюру.

Голос сеньоры Аниты мешает Эсперансе рассматривать старого мужчину с ухоженными руками. Женщина говорит, тщательно выбирая слова.

Обстановка становится напряженной, пальцы дрожат.

8

Она рассказывает ему обо всем: о медиумах и о своем страхе. По щекам беременной женщины, которая искала своего мужа, потекли слезы, когда худосочная и болезненная девушка заговорила о тропических странах. А объяснить, почему сеньор Энрик идет провожать ее и рассказывает о прежней жизни, о сегодняшнем одиночестве и о разлуке, она не может. Иголка рисует слова, рисует узор, в котором нет места бегству и чужой утраченной жене. Иголка с ниткой не останавливается и не устает.

Завтра в семь, тихо-тихо, чтобы никто не видел.

9

Идет дождь. Город как будто проваливается в грязь, которая, кажется, хочет затянуть в себя проходящих людей. Служебные машины оставляют на мостовой борозды, с высокомерием победителей окатывают всех водой с головы до ног.

Эсперанса чувствует себя опустошенной. От долгого сидения у нее затекли ноги, устали глаза — она много плакала. Полный бледный парень смотрит на нее и молчит. Слова не нужны. Она вернется в комнату, где пахнет заточением и могилой, расскажет о своем одиночестве столу, который двигается, худосочная и болезненная девушка будет говорить о далеких землях и тропической жаре или о сырой земле, взрыхленной штыками, которые пригвождают тело навсегда.

10

Она не будет говорить о далеких землях. Сеньор Энрик поглаживает батистовый платочек, пахнущий одеколоном. Сеньора Анита нюхает платок, пристально смотрит на портрет женщины и просит всех сосредоточиться.

Худосочная и болезненная девушка говорит о тьме, о мире, об огромных расстояниях. Тогда сеньор Энрик немножко поплакал. Из его блеклых глаз закапали мелкие, как дневной дождик, слезы. Он не рыдает и не сотрясается. Но по бесцветным щекам мужчины текут слезы.

Сеньора Анита утешает его. Она приносит рюмочку ликера, гладит по спине. Сеньор Энрик закашлял — он поперхнулся и попросил прощения. Все наклонили головы, как будто бы чувствовали себя виновными в бомбежках или, может быть, в его слезах.

Потом на лестнице, сеньор Энрик вызвался проводить Эсперансу. Вместе они перешли улицу, не глядя на разрушенный дом. Остановившись перед подъездом, Эсперанса начинает рассказывать. Она чувствует, как ком в горле рассасывается, пока она говорит. Замужество, письма, молчание, безысходность. Официальные учреждения, полный бледный парень, неуслышанные молитвы. Сеньор Энрик уже не плачет. Он идет рядом и берет ее за руку, как будто потерялся и боится не найти дорогу назад.

11

Сеньора Кармета открывает дверь. Она возвращается растерянная, как будто гимн поднялся по лестнице, собирая дань с жильцов. Эсперанса выходит в прихожую. Глаза у нее искрятся, сердце готово выпрыгнуть из груди. Слова извинения, прошептанные с опущенными глазами. Это не был ни гимн, ни кусок плоти, растерзанной штыком. Сеньор Энрик растерялся. Эсперанса отбрасывает в сторону свое одиночество, прижимает его к груди, и оба спускаются по лестнице.

12

Дождя не было, но небо нависло, серое, как предчувствие, как руины, как мысли побежденного города. Люди, у которых поражение перекинуто через руку, как плащ. Холодно.

Эсперанса не осмеливается даже говорить. В трамвае, пока сеньор Энрик покупает билеты, она думает об ушедших временах, мучаясь воспоминаниями о летних трамваях, отвозивших ее к Жорди.

Сеньор Энрик садится рядом. Он смотрит на свои ухоженные руки со вздувшимися венами, с коротко подстриженными ногтями. И его сдержанные слезы кажутся такими же уместными, как никелированные поручни, блестящие сиденья и надписи, запрещающие разговаривать. Это слезы покорности судьбе, слезы, вызванные знанием того, что до сих пор было неведомо. Эти слезы рассказывают об общей могиле, об останках, которые раньше внушали любовь и уважение, об останках человека, рядом с которым состарился он, его любовь и страсть.

13

Маленькая, забитая мебелью квартирка. В столовой два серванта ломятся от посуды. Эсперанса понимает, что фарфоровые чашки и бокалы не вяжутся с теснотой квартирки и темной лестницей. Но она не обращает на это внимания. Сейчас все кажется естественным. Даже страх. Она не слушает ни слов сеньора Энрика, ни болтовни хозяйки, ни односложных замечаний полного человека, у которого шея обернута шарфом, а поверх рубашки надета пижамная куртка. Для нее существуют только глаза загорелого парня, худого-прехудого, который озирается, как будто он еще не привык к ограниченному пространству: оно, может быть, вполне безопасно, но тут не хватает простора и товарищей, не хватает запаха отхожих мест и разрывов пуль. Кажется, что он задыхается среди засаленных стен и нагромождения мебели. Эсперанса отпивает глоток из поставленной перед нею кем-то рюмки. И тогда они приступают к главному. Они начинают говорить о войне. Парень был ранен в ногу, четыре месяца провел в госпитале, и его отправили домой. В столовой еще витает страх перед концентрационными лагерями и городскими тюрьмами. Парень яростно курит, время от времени потирая раненую ногу. И только когда заходит разговор о войне, оживляется, глаза у него начинают блестеть, как будто солнце всех трех лет осветило его лицо, а ветер кастильских равнин пробился через поры, пропитанные потом дорог.

Эсперанса вспоминает письма Жорди. Те же слова, те же образы, та же гордость и тот же страх. Она узнает то сражение, то офицера, то пейзаж, то смешную историю. Стоит только закрыть глаза — и она видит почерк Жорди.

Но конкретные вопросы не рассеивают ее сомнений. Госпиталь, переход границы со всем полком...

Жорди, что дальше?

14

Сеньор Энрик чувствует себя виноватым. Ведь это он нашел парня, подумав, что, быть может, тот что-то знает, что у него могут быть сведения, которые Эсперанса вот уже четыре месяца разыскивает по всем учреждениям города.

Мрамор серый, как ноябрьское море. У мрамора тот цвет, который они заслужили, слишком холодный и правдивый. Цветы появятся потом: должно пройти время, чтобы раны затянулись. А сейчас здесь только слезы, серые, как море и как мрамор.

Спрашивает Эсперанса. Сеньор Энрик не может. Голос его разбивается на тысячи звуков, когда они входят в душное учреждение.

Это Эсперанса спрашивает, уже зная ответ, и это она ведет сеньора Энрика на общую могилу. Общую могилу, где закапывают кости, хрящи, ненависть, любовь, ожидание и страх, уравнявший всех.

15

Сеньора Анита смотрит на портрет Жорди. Черты ее лица напрягаются, а глаза превращаются в два горящих отверстия. Затем, пока фотография переходит из рук в руки, она что-то бормочет. Эсперанса чувствует себя неловко, когда достает фуражку, грязную, пропотевшую, но еще хранящую запах его волос и ветер равнины.

Эсперанса ждет меня

написано на подкладке. И почерк Жорди кажется наивным, беспомощным, чужим. Эта фуражка всего лишь старая тряпка, отголосок иных времен, и Эсперансе стыдно. Но сеньор Энрик, который пришел только ради нее, берет фуражку, как будто это реликвия. И в его руках старая тряпка приобретает смысл, стыд уходит, уступая место гордости.

Молчаливая равнина над дрожащими пальцами, над круглым столом, над стенами, пропахшими заточением.

Голос сеньоры Аниты звучит как похоронное песнопение. Эсперансу бьет дрожь. И после вызывания духов, после молчания, длящегося вечность, худосочная и болезненная девушка начинает бормотать. Сначала тихо, монотонным голосом, нараспев. Затем речь становится более внятной. Эти слова воссоздают уже знакомые Эсперансе картины: военный поезд, летний зной на кастильской равнине, силуэты летящих бомб...

И вдруг снова молчание. Ни сырой земли, ни острых штыков, которые распарывают внутренности, ни людей в белом. Только крик Эсперансы, поднимающийся до самых темных уголков и не встречающий отклика, разрывает молчание.

16

Дети едят серый хлеб и выданный по карточкам шоколад. Маслянистая вода бьется о скалистый волнолом. И скудное вечернее солнце сглаживает острые углы скал, укорачивает размеренный полет чаек. Поток желтого света заставляет щуриться покрасневшие от разлуки глаза. Она опускает голову. Ухоженные руки с коротко подстриженными ногтями, опутанные венами, сворачивают папиросу. Это те же жесты, что и у Жорди. Большой и указательный пальцы правой руки придерживают рисовую бумагу, пока указательный палец левой разравнивает щепотку табака. После этого двумя указательными и двумя большими пальцами быстро свертывает бумагу, оставляя полоску, которую смачивает языком. Разравнивает трубочку, разминает один из углов и засовывает ее между губ. Чиркает спичкой и с наслаждением делает первую затяжку.

Затем он пристально смотрит на нее, и зрачки его старческих глаз сужаются под холодным ноябрьским солнцем. Говорит он спокойно, размеренно, как будто не осмеливается говорить о том, что на самом деле известно... Она видит, как он погрустнел — он в конце концов примирился со смертью. И теперь это всего лишь такой же старик, как другие, курит сигарету и сидит на холодном ноябрьском солнце, пока дети играют на камнях.

Он говорит о жене так, как будто она умерла много лет назад. Он с легкостью вспоминает — они часто приходили сюда смотреть, как играют дети, которых у них не могло быть никогда. А Эсперанса слушает его и думает, что она тоже приходила сюда с Жорди и что это можно рассказывать теперь как приятное воспоминание, как историю, которая произошла с другой женщиной.

Сеньор Энрик прикрыл веки, голос его стал тоньше и глуше. Эсперанса видит их обоих, сидящих на парапете, глядящих на детей и неспешно разговаривающих. Потом, когда начинает смеркаться, они не торопясь возвращаются домой. И сеньор Энрик читает газету, пока его жена готовит ужин. Жорди комментирует наиболее интересные сообщения, и Эсперанса отвечает ему из кухни, спрашивает, что он предпочитает — тушеную рыбу или жаренную в яйце. Он сворачивает сигарету после ужина, пока она убирает со стола. Они немного слушают радио, а потом идут спать.

Они будут заниматься любовью, как делали это столько раз, и она удивится его бережности. Они состарились рядом, и, конечно, желание уменьшилось, но любовь еще осталась.

Сеньор Энрик объясняет ей, что Роза, как и она, умела шить и сама себя одевала. Эсперанса открывает шкаф, набитый одеждой, потерявшей всякий смысл, и говорит, что да, возможно, здесь сыщется что-нибудь ей впору. При этом она кривит душой, потому что ей жалко человека, в дрожащем голосе которого слышится мольба, и она соглашается.

17

Квартирка маленькая и изящно обставленная. Она садится, пересилив себя. Сеньор Энрик зажигает лампу под потолком, угощает ее засохшим печеньем, сладким вином и делает вид, что сеньоры Розы тут нет, что она вообще никогда не существовала. Но по углам и в воздухе разлито присутствие этой женщины. Это она ставит на стол печенье и пробует сладкое вино. Это она показывает резьбу на старинной мебели. Это она смотрит на Эсперансу и, улыбаясь, говорит ей, что Жорди вернется, что он не исчез навсегда, как она, что Жорди существует в резьбе старинной мебели, в пыли, которой пропитаны чехлы на креслах.

Сеньор Энрик развязывает узел с бельем. Появляются яркие летние платья, будящие воспоминание о Бадалоне[1], сумерках на Тибидабо[2], салатах в вечерний час, появляются пасхальные вечера, розы и гвоздики, похожие на застывшие капли крови; вечерний ветерок, развевающий юбки, и сентябрьский дождик, ласково падающий на светло-зеленую кофточку, и знакомые мелодии праздника святой Лусии. В ресторане гирлянда из сосновых веток и фаршированный цыпленок, приготовленный на жаровне.

Но все перебивает нафталин, дыхание смерти. И опадают лепестки с пасхальных роз, исчезают солоноватый летний воздух и цветы с Пласа-Нова. И глаза Эсперансы, в которых отражаются глаза сеньора Энрика, засверкавшие было, вспыхивают сомнением, тускнеют, и из них выкатываются сладкие слезы, слезы не о тех, кого нет, а о тех, кто остался.

Она достает тонкую шерстяную небесно-голубую шаль, пальцы перебирают кисти, ища воспоминания о холоде, затерявшемся где-то в глубине шкафа среди нафталиновых шариков. Сейчас она ее накидывает, примеривая. Ей кажется, что она накинула на плечи жизнь другой женщины, ее любовь, другую историю, которую она смутно угадывает, но не знает.

Сеньор Энрик смотрит на нее и улыбается. И в его улыбке отражаются зимние вечера около жаровни, усталость прожитого дня и восхищение. Он говорит, что Эсперанса похожа на нее, что в молодости... Но Эсперанса не слушает его и не смотрит. Ей кажется, что шаль превращается в неизвестно откуда появляющуюся руку Жорди, которая обнимает ее и ведет осторожно между мраморными столиками и посетителями казино.

---

[1] Город в Каталонии на берегу моря.

[2] Гора в Барселоне, с которой открывается вид на город.

Сеньор Энрик лег первым и распустил ее прическу. Волосы кольцами струятся по шерстяной шали, мешаясь с выдернутыми нитками, разговаривают между собой, живут своей жизнью, тоскуя по летнему ветерку и влажным поцелуям воскресной ночью.

Старый мужчина смотрит на нее смущенно. Он трогает ее грудь и стонет. И здесь не годятся ни слезы, ни сладкая грусть: все слишком реально. Эсперанса это понимает. Она не хочет быть ни с кем, она не хочет чужих платьев, бессильной тоски. Резким движением она сбрасывает шаль, сбрасывает с плеч тень другой женщины и бежит по коридору.

Двери скрадывают незнакомую жизнь. Комната, деревянная кровать с кретоновым покрывалом, шкаф, открытый, словно пустая могила, коврик, истонченный вздохами и поцелуями.

Она садится за туалетный столик, снова собирает волосы. На стекле столика расчески, флаконы. С распущенными волосами она чувствует себя обнаженной. Жорди нравилось смотреть, как струятся ее волосы по голым плечам. Каждое утро она садилась за туалетный столик и перламутровой щеткой расчесывала локоны. Жорди, лежа в постели, смотрел на нее, потом подкрадывался к ней, и она в зеркале видела его улыбку, и время останавливалось, когда он наклонялся поцеловать ее затылок.

Руки Эсперансы вертят перламутровую ручку щетки. Страх раскололся на тысячи кусочков за закрытыми окнами, и побежденный ноябрь превратился в воображаемый сладкий май. Она уже не плачет. Она больше никогда не заплачет. Время слез рассыпалось, как рассыпаются волосы. На улицах нет победы, голос Жорди возвращается, наполняет пустоту, становится сильным и звонким. На улицах нет поражения, возрождается гордость, и кирпичи один за другим возвращаются на свои места, восстанавливая дома; их заполняют дети, которые не играют в войну, и стирается черный цвет в одеждах женщин.

Жорди стоит в дверях. Он смотрит на нее, и в его глазах нет ни равнин Кастилии, ни черных штыков, распарывающих животы. В его глазах, отраженных в зеркале, Эсперанса видит надежду, видит будущее и доброе море, играющее камнями.

Эсперанса (Роза) расчесывает волосы и смотрит через зеркало туалетного столика на Энрика (Жорди), который ей улыбается уже без дрожи и без слез с порога спальни.

Перевод Н. МАТЯШ

◆

РОБЕРТ СТОУН

Флаг на заре

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

Джастин сидела в тени на веранде и без особого интереса перечитывала «К Финляндскому вокзалу»[1]. Она почти задремала над книгой, но тут ее внимание случайно привлек человек, плывущий с аквалангом вдоль южной оконечности Плайя-Тате. Уже несколько дней в амбулатории все было готово для приема раненых повстанцев; ночами Джастин не смыкала глаз, беспокойно расхаживала среди носилок, тазов и коробок с хирургическими инструментами и слушала передачи правительственного радио. Когда эти передачи кончались, она слушала передачи вооруженных сил США или Би-би-си. А иногда, уменьшив громкость, настраивала приемник на волну радио Гаваны. Ночи тянулись долго.

Вода в это время дня была высокая; проплыв над внутренней грядой рифов, незнакомец направился в сторону придорожной полосы пляжа и оказался прямо напротив лестницы, ведущей в миссию. Всего в нескольких сотнях ярдов от лестницы в море впадала довольно большая речка, берущая начало в предгорьях сьерры и несущая из горных селений всякий мусор и нечистоты. Для купания здесь было слишком грязно. Креветки, обитающие поблизости от устья речки, вырастали до огромных размеров, привлекая ловцов-любителей из окрестных отелей. По ночам Джастин часто видела здесь скопление рыбацких лодок. Знала она и то, что недалеко от берега находится глубокая впадина, где акулы лакомятся креветками.

По-видимому, турист из какого-нибудь отеля. Скоро их понаедет еще больше, поскольку фруктовая компания начала ликвидировать неприбыльные плантации и переключаться на курортный бизнес.

Появление этого шального пловца изрядно ее раздосадовало. Если он замешкается у впадины, придется спуститься на берег и сказать ему, чтобы держался подальше от опасной зоны; но общаться с такими вот пришельцами у нее не было настроения. А еще больше ее огорчило то, что человек вылез из воды, снял ласты и уселся на пирсе миссии.

В это время мимо пирса проходили две женщины с корзинами белья на головах, и Джастин показалось, что он деланно улыбнулся им и совсем уж некстати сказал: «Buenos dias». Пока Джастин разглядывала его, на веранду вышел отец Эган.

— Кто-то сидит на пирсе,— сказал он.

— Наверное, турист. С аквалангом приплыл.

— Как вы думаете, что ему здесь нужно?

— Ему нужны солнечные ванны на сверкающих песках Текана. За них он и деньги платил.

— Но почему он на нашем причале?

Окончание. Начало см. в № 1, 1986 г.

[1] Книга американского литературоведа и писателя Эдмунда Уилсона (1895—1972), посвященная истории социалистических идей, начиная с Дж. Вико.

— Потому что чувствует себя здесь хозяином. Ради бога, Чарли, идите и спросите его сами.

Она смотрела, как Эган спускается по лестнице: щеки отвисли, ноги не слушаются. Силы покидали его с ужасающей быстротой; за последние месяцы он так сдал, что порою выглядел дряхлым стариком.

Эган заговорил с туристом; турист взял предложенную им сигарету и закурил от его огня. Странная это была пара: турист, высокий, загорелый, мускулистый,— и рядом серая, бесформенная фигура Эгана. Они оглянулись; Эган показал рукой на лес, темнеющий за домом. Раздраженная Джастин встала и отправилась на кухню приготовить себе кофе.

Прежде все было как в тумане, да и сейчас тоже, что бы ни говорил Годой. Придет же время, утешала она себя, когда от нее наконец потребуется конкретное дело. А то говорят, говорят красивые слова, а вместо дела рисуют одни радужные перспективы и предлагают ждать. Ждать справедливости. Светлой жизни в будущем. Революции. Есть же предел терпению. Мученица Джастин.

Возвратившись с чашкой кофе на веранду, она увидела, что Эган и пловец беседуют, уже сидя на мостках. А почему бы и нет, размышляла она. Все мы теперь не более чем туристы. Сколько недель уж прошло, а к нам никто не наведался. Видно, Кампос знает способ отваживать от нас людей.

Несколькими минутами позже отец Эган, тяжело отдуваясь, поднялся наверх.

— Знаете, кто этот человек? Антрополог. Приехал в город по делу, а теперь вот хочет осмотреть развалины.

— Ваши или мои?

Она еще острит, усмехнулся Эган.

Но Джастин было не до шуток.

— И вы вызвались показать ему эти развалины?

— Да. И пригласил к нам в пятницу на ужин.

Джастин испуганно уставилась на него.

— Идите обратно и отмените приглашение,— потребовала она ледяным тоном.— Мы не можем его здесь принимать.

— Очень даже можем.

— Не можем! — чуть не закричала Джастин.

— Почему, позвольте узнать?

Она не ответила и отвернулась.

— Господи, ну хоть в городе, я надеюсь, мы сможем с ним поужинать? Не понимаю, какие тут могут быть препятствия. Или, по-вашему, у меня слишком непрезентабельный вид?

— Не в этом дело,— сказала Джастин. А впрочем, пусть, решила она. В конце концов, он может и не прийти. Да и Эган забудет.

Джастин стала наблюдать за пловцом: тот, сидя по пояс в воде, надел ласты, поднялся и медленно зашагал прямо к впадине. Еще немного — и дно пойдет круто вниз, и тогда, если его не предупредить, он окажется над самой глубью. Гиблое место для туристов — сюда подплывают акулы, а дно усеяно морскими ежами. Вдруг она заметила, что пловец как-то странно дернулся, одной рукой зашлепал по воде, а другой ухватился за ногу. Джастин поднялась со стула. Турист выполз на отмель и лег на спину, зажав ладонями рану.

— Черт бы побрал этого дурацкого туриста! — пробурчала она.

— По-моему, он ранен,— растерянно сказал Эган.

— Наверное, на морского ежа наступил, вот и ранен. А может, что и похуже.

Джастин прошла через кухню в амбулаторию, захватив по пути ведро. Достала бутылку нашатырного спирта, вылила в ведро, потом разбавила колодезной водой. Спустившись с этим раствором вниз, пересекла дорогу и подошла к пловцу. Тот уже сидел, выпрямившись,

спиной к морю. Он скрючился от боли, стиснул зубы, лицо его, несмотря на загар, побледнело.

— Смотрите, куда вы сели, сэр. Вокруг вас сплошь морские ежи.

Пловец подался в ее сторону и уперся рукой в дно. Она протянула ему руку, и он с трудом поднялся. Джастин помогла ему выбраться из воды и осмотрела левую ногу: так и есть, распухла и побагровела от мелких впившихся в кожу колючек. Она плеснула на больное место раствором нашатыря и стала растирать ватным тампоном.

— Можно было и мочой полить,— заметила она.

— В сидячем положении это трудно,— возразил мужчина.

Было видно, что он благодарен ей и смущен. Рослый, крепкого сложения; лицо же выдает мягкотелость, привычку потакать своим желаниям. Впрочем, может, она и ошибается. Трудно человеку, особенно туристу, справиться с такой адской болью.

— Искренне сожалею, что причиняю вам столько хлопот. Вы из этой миссии?

— Точно.— Она взяла из аптечки пинцет и извлекла колючку.— Смотрите-ка! Одну уже достала.

— Боюсь, что отвлекаю вас от более важных занятий.

— Да бросьте вы.— Джастин вытащила вторую колючку.— Поболит еще некоторое время, но острая боль пройдет очень скоро. Ничего серьезного.

— Кажется, мне повезло.

— Кажется, да. Когда вы скорчились, я подумала, что вас акула зацепила.

— Акула? Здесь?

— В этой впадине есть акулы. И на дне — целый ковер из морских ежей. К тому же вода грязная, как в порту.

— В таком случае лучше мне плавать возле Плайя-Тате.

— Верно. А здесь очень мерзко.

Ну, что еще? Надо дать ему аспирин, решила она, и отвести в тень. Шока у него вроде нет. Первая помощь туристу оказана.

Она помогла ему перейти дорогу, усадила под сейбой и отправилась наверх за аспирином.

— Вот бедняга,— сокрушался Эган.— А парень славный.

— Точно,— сказала она, ставя на место ведро.

Возвращаясь к своему пациенту, Джастин увидела, как двое молодых шалопаев, шедших со стороны города, остановились и начали над ним потешаться.

А вид у него и правда нелепый, подумала она, взглянув на его ласты, лежавшие теперь на коленях, сдвинутую на лоб маску с торчащей кверху трубкой и наколенники фирмы «Дэй-Гло». Странный тип. Ни к селу здесь, ни к городу.

— Примите аспирин,— сказала она.— Две таблетки сразу. Забыла воды с собой взять.

Он положил таблетки в рот и проглотил. Лицо его немного порозовело. В рассеянном свете предвечернего солнца, проникавшем сквозь ветви огромной сейбы, она заметила у него на мочке правого уха два одинаковых, едва различимых рубца. Кончика мочки не было.

— Меня зовут Фрэнк Холливелл,— представился пострадавший.— Я только что разговаривал с отцом Эганом.

— Да? — Когда солнечный блик не падал на его ухо, рубцы становились невидимы.— Как вы будете добираться обратно?

— За мной придет катер.— Он взглянул сквозь листву сейбы на солнце.— Вот-вот должен подойти.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь гораздо лучше.

— Вот и хорошо. Будьте впредь осторожны.

— Кажется, в пятницу я у вас ужинаю?

— По-моему, нет.— Джастин покраснела.— Отец Эган хочет встретиться с вами в городе. Если здоровье ему позволит.

— Понимаю.

— У нас тут беспорядок. Мы скоро закрываемся.— Почему-то его доверчивый взгляд смущал ее.— Придется им без нас обходиться.

— Вы монахиня?

— Да.

Он поинтересовался, к какому ордену она принадлежит. Она ответила. Он кивнул — он уже не впервые слышит об ордене девоционистов. Он тоже католик.

— По рукам получали? — в шутку спросила она.

— Не по рукам. Я у иезуитов учился.

— А, понятно.

— Вы тоже поедете с нами ужинать? — Тон, которым он задал этот вопрос, насторожил ее. Похоже, он решил за ней поволочиться. И что это с людьми делается? — спросила она себя. Попробуй, разберись.

С Джастин это иногда случалось: расслабится немножко, заговорит с мужчиной просто и непринужденно, и он уже воображает, что она хочет пофлиртовать. Это выводило ее из себя. Наверное, дело тут в ее внешности.

— Нет, я не могу,— сказала она.— Вещи укладывать надо. На мне вся амбулатория.

— Каково быть нынче монахиней?

— Монахини разные бывают.— Он таки забрасывает удочку, подумала она. Видно, не может удержаться. Вот откуда мягкость лица.

— А как вы относитесь к своему монашеству?

— Как к пережитку средневековья. Словно я не от мира сего.

Он засмеялся, и смех этот — она ничего не могла с собой поделать — был ей приятен.

— Что с вашим ухом, мистер Холливелл? — Ей хотелось вынудить его к обороне.

Вопрос этот как будто удивил и смутил его.

— Обрядовый племенной шрам. Юго-Восточная Азия.

— Правда? Где именно?

— В Индонезии,— быстро ответил он.— На острове Целебес. Я антрополог.

— И вы совершили обряд?

— Да. За компанию. Только просил их не слишком меня уродовать.

Над морем раздался шум мотора, напоминавший жалобный вой циркульной пилы. Холливелл и Джастин разом обернулись и увидели шедший в сторону Плайя-Тате катер.

— Ну,— вздохнула она,— берегите ногу. Радуйтесь, что наступили только на младенца, а то пришлось бы резать, иначе колючки не извлечешь.

— Спасибо,— сказал он.

— Старайтесь держать в чистоте.

— Что?

Она засмеялась:

— Ногу.

— А, да, конечно. Послушайте, может, мы еще увидимся? На развалинах или в другом месте. Мне очень хотелось бы поговорить с вами.

— Не знаю. Работы много.

— Будете паковать чемоданы и читать по четкам молитвы.

Она улыбнулась ему и пошла к себе.

Нахальный, высокомерный и, насколько она поняла, порочный тип. Но по-своему симпатичен.

На веранду Джастин вернулась в слегка приподнятом настроении, однако едва она отдала себе в этом отчет, как снова помрачнела; ее уже одолевало чувство вины и стыда. Легкомысленная, глупая девчонка. Вспомнив о том, что ей предстоит провести в ожидании бессонную ночь, она пришла в ужас. Но надо терпеть. Нельзя терять веру в этих людей.

Она ухватилась за перила и так сильно сжала их, что у нее побелели пальцы.

— Господи, это невозможно,— проговорила она.

Эган сидел в кухне. Пьяный.

— Ну-ну-ну, моя хорошая,— пробормотал он.

Холливелл допил ром, подумал, не налить ли еще, решил налить и торопливо наполнил стакан. Ему было неловко перед самим собой: так много он не пил уже несколько лет.

Ром притуплял душевную боль. Усилием воли Холливелл сосредоточил свои мысли на голубоглазой женщине, встреченной на пляже миссии. Ему хорошо запомнилась спокойная уверенность, с которой та вывела его из воды. Казалось бы, легкое движение, почти касание, а ведь она вложила в него все свои силы. Несколько секунд поддерживала его, не давая упасть. Удивительно. О чем это говорит? О надежности. Об уверенности в себе. О вызывающем высокомерии и спокойном сознании своего превосходства, которое так поразило его. Ай да монахиня!

Очень оно коварно, это женское высокомерие. Есть женщины, которые, общаясь с мужчинами, не могут удержаться, чтобы не дать им понять, что они хозяйки положения. Любят без всякого повода подчеркивать свои мифические преимущества. Женщина — источник жизни. Созидательница. Ее можно согнуть, но не сломить. Очень скоро убеждаешься, что все эти рассуждения весьма примитивны. Произнося банальные фразы, скажем о геноциде или о погоде, они могут исполнять «хула-хула» или другой какой-нибудь зажигательный танец. «Ваши глаза горят слепой страстью,— вещают они,— наши же — ясные и спокойные. Мы настрадались от вашего пустословия, вашего буйства, ваших необузданных фантазий, но выдержали. Мы не хуже вас способны судить о вещах и умеем владеть собой. Так что пора повзрослеть».

Он налил себе еще рома и разбавил теплым «попи-лимоном». Лед в ведерке, принесенном из бара, растаял.

Понравилась она ему, вот в чем дело. Он может сказать все, что пожелает, или ничего не сказать, и пусть эти осведомители и продажные души доносят о каждом его слове — ему безразлично. Ему действительно было безразлично.

Значит, она чувствует себя в этом мире, в современном мире, как дома? Видимо, да. Видимо, такого вопроса для нее даже не существует. Но Холливелл поставит его перед ней; в конце концов, это входит в круг его профессиональных интересов. «Не слишком ли много вы мните о себе?»

Должно быть, она верит в возможность такого устройства мира, которое не оставит места для ее сомнений. Жизнь в этом мире будет удовольствием. Во имя Бога, или Человечества, или некоего Высшего Принципа возникнет новый, упорядоченный мир с верхом, низом и боковыми стенками. Правильные действия ведут к правильным последствиям. Изумительное мировоззрение. Если оно восторжествует, то создаст свои формы искусства, свою архитектуру, свой режим питания.

Однажды в Сайгоне он курил опиум в компании молодого офицера воздушно-десантных войск, который назвал себя победителем.

«Если мы с вами схватимся, я обязательно возьму верх,— объяснил молодой офицер,— а вы будете побеждены».— «Всегда?» — спросил Холливелл. «В любом случае,— заверил тот.— Потому что пораженчество свойственно всем, его способны преодолеть лишь единицы».

Однако весьма странно, отважился заметить Холливелл, когда человек полагает, что ему во всякой борьбе гарантирован успех.

Внешность у этого офицера была не слишком импозантная. Он носил очки с необычайно толстыми стеклами — непонятно, как он вообще попал в армию.

«А по-моему, странно,— изрек он,— когда человек вступает в борьбу, зная, что его ждет поражение» — и, довольный, посмотрел на Холливелла. В его понимающем, снисходительном взгляде светилось безумие, но своего он добился — победа ad hominem[1] осталась за ним.

Как они сумели? Как сумели убедить себя, что в этом жизненном водовороте провидение ниспосылает им откровение? Они грезят наяву, слышат голоса, но на их глазах пелена, они живут в мире собственных и чужих галлюцинаций, знамен, песен и поклоняются фантомам. Ряды штыков, маршевые ритмы, фимиам или факелы, напыщенные речи — все это гипнотизирует. Это они — вампиры. Мир расплачивается кровью за их наглый обман — ну и что же, лишь бы им было хорошо хоть какое-то время. А совесть можно переключить на автоматику. Всего пять шагов — и они по ту сторону добра и зла, и все в полном порядке, потому что ведь это они, а не кто-нибудь. Им неизбежно надоедает слушать чьи-то протесты. И тогда они неизбежно прибегают к главному средству «убеждения» — к убийству. Когда они осознают свое бессилие и ничтожество, убийство дает им ощущение уверенности и силы. Убивая, они делают что-то реальное и чувствуют себя людьми, близость смерти напоминает всем о том, что жизнь скоротечна и сопротивляться бессмысленно. Люди менее сильные не идут дальше примирения с убийством. Незадачливые профессора, экзальтированные клерикалы и «дети цветов» созерцают самодовольную улыбку гаулейтера. Примирение с убийством доказывает, что они реально смотрят на вещи, а значит, и сами реальны.

От рома в ноге запульсировала кровь. Нет причины негодовать. В его возрасте надо принимать вещи такими, каковы они есть. Гнев — не лучшее средство борьбы с армиями обмана.

Надо верить в себя. Хотя это очень, очень трудно. Человек — это череда спазмов, вспышек. Существо непостоянное, изменчивое, инфантильное, но ничего не поделаешь. Одиночество — тяжелая штука.

В зеленоватых сумерках ему вспомнилась мертвая тишина подводного рифа. Пережитый страх, немые краски кораллов. Закрывая глаза, он снова слышал собственное учащенное дыхание, снова холодел от ужаса.

Нечего ему делать под водой.

По дороге, ведущей в «Рай», брели с вязанками дров за плечами три человека. Не доходя до территории гостиницы, они свернули на берег, чтобы не волновать чувствительных постояльцев. Зрелище тяжкого труда и нищеты вызвало у Холливелла, сидевшего в удобном кресле на веранде своего коттеджа, угрызения совести. К ношению дров люди относятся по-разному, в зависимости от состояния здоровья, настроения и времени дня; к сидению на курорте и созерцанию труда пеонов их отношение всегда одинаково, коль скоро они приучены к этому соответствующим воспитанием. В таких случаях им обычно становится жаль самих себя.

А под водой ему делать нечего. Да и здесь, под этим благоухающим небом,— тоже.

---

[1] Ad hominen *(лат.)* — применительно к человеку; argumentum ad hominem — доказательство, основанное не на объективных данных, а рассчитанное на чувства убеждаемого.

Он напомнил себе, что у него, как у всякого другого, есть свое дело. Такое же реальное, как у любого другого, и сам он не менее реален. Оно, это дело, должно делаться в Юниверсити-парке, вполне реальном городке, хотя и недавно построенном. Его дело — быть мужем и отцом, учить людей, даже вдохновлять их, и держаться, и дело это — отнюдь не мелочь. Конечно, наша непомерная спесь низведет его до мелочи, хотя, если мы честны душой, мы признаем его важность. Но все-таки мы мним о себе слишком много. Только замечаем это далеко не всегда. Надо жить и делать свое дело. В одиночку. А уповать на других — наивно.

В небе стали появляться звезды, и сердце его сжалось от страха. Он выпил еще рому, но это не помогло. Вот до чего дошел, подумал он.

Церковь Годоя расположилась среди холмов над Пуэрто-Альварадо; это было белое квадратное сооружение с колокольней над входом — жалкой пародией на норманнский стиль. Едва открыв деревянную некрашеную дверь, Джастин услышала детский плач. В церкви находилось несколько индейских супружеских пар, пришедших крестить своих младенцев. Индейцы с серьезными лицами стояли на коленях перед купелью, освещенной свечами,— женщины в темных хлопчатобумажных шалях, которые не идут на экспорт и не продаются в местных лавках, а мужчины в рубашках и брюках цвета хаки; в руках они держали соломенные шляпы с лентами в красную и черную полоску (их носят женатые люди). Дети постарше, такие же серьезные и безмолвные, стояли на коленях сзади. Женщины поочередно вставали и протягивали Годою новорожденных, тот окроплял их святой водой, и церковь оглашалась писком младенцев и бормотанием молящихся крестных.

Джастин села на заднюю скамью, подальше от света. Осмотревшись, она заметила у противоположной стены двоих мужчин, белого и негра, в ярких рубашках из дешевого шелка. Они бесцеремонно разглядывали ее. Один из них лениво откинул руку на спинку скамьи.

Не обращая на них внимания, Джастин повернулась лицом к купели. Когда Годой взял кадило и благословил своих прихожан, те двое перекрестились. Джастин непроизвольно сделала то же.

Отец Годой с улыбкой проводил индейцев до двери. Проходя мимо Джастин, каждый не преминул посмотреть на нее; на двоих в цветных рубашках никто из них не взглянул, даже дети.

Когда индейцы вышли, Годой продолжал стоять возле открытой двери, заслонив глаза рукой от ослепительно яркого солнца. Джастин обратила внимание, что альба у него из настоящего кружева; странно было видеть эту дорогую вещь среди убогого убранства церкви. Подарок матери, решила она. Матери всегда дарят своим сыновьям-священникам что-нибудь из церковной одежды.

Двое в цветных рубашках тоже встали и на ходу пренебрежительно оглядели Джастин. Поравнявшись с Годоем, они и его окинули такими же взглядами. Наконец они удалились; Годой закрыл дверь и запер ее на ключ.

— Спасибо, что пришли.— Подойдя к Джастин, он протянул ей руку.

— Я ждала от вас вестей,— сказала она.

Они прошли в восточную часть церкви. Годой начал задувать свечи вокруг купели. Джастин села на переднюю скамью слева от алтаря. В церкви стало почти темно, свет проникал только через два небольших оконца над потолочными брусьями.

Он подсел к ней. Она с трудом различала его лицо. Они сидели совсем рядом, но не касались друг друга; два существа, порожденные жреческой тьмой.

— А я посылал передать вам, что уезжаю,— сообщил он.

Неожиданно для себя Джастин сильно опечалилась. Среди безмолвия церкви он, должно быть, услышал ее судорожный вздох. Она сосредоточенно смотрела на лампаду возле дарохранительницы.

— Настоящее дело в горах. Очень важно быть сейчас там.

— Конечно,— сказала Джастин.— Раз так нужно... там, где дело... вы должны быть.— Она с трудом выговаривала слова, хотя голос ее звучал ровно.

— В горах начали создавать кооперативы — ejidos. Там работают монахини, индейцы объединяются. Эти монахини делают замечательное дело. Наши compadresitas[1].

Не в пример здешним монахиням, подумала Джастин. Которые склонны много мнить о себе, сентиментальничать и ничего не делать. И которые не могут стать выше жгучей ненависти к этим замечательным compadresitas, что работают в горах.

— У нас там земля,— продолжал Годой.— Она наша и по праву владения, и по закону. Очень скоро помещики и медные компании пошлют туда Гвардию, чтобы вернуть ее себе. Но мы не собираемся ее отдавать. На этот раз мы будем сопротивляться. И по всей стране будем сопротивляться.

— А что же здесь? — спросила Джастин.— Будет здесь foco?

— Обязательно. Когда подадут сигнал. Оружие уже в пути. Скоро прибудет. Обязательно.

— А как я узнаю, что я должна делать?

— Вам скажут те, кто вас знает. Вы должны быть готовы.

— Здесь мы могли бы делать то же, что в горах,— с грустью сказала Джастин.— Тоже организовали бы земельные кооперативы.

— Совсем не та обстановка. Здесь у иностранных компаний позиции покрепче, и нам приходится действовать осторожнее. Да и побережье это на отшибе. Его можно освободить только вместе со всей страной.

— А я-то думала, что достаточно помогать больным.— Джастин потупилась.— А вокруг не смотрела. Не видела. Все это время...— Она умолкла.

Годой нетерпеливо барабанил пальцами по скамье.

— Не казните себя. У вас своя работа, у меня — своя.

— Жаль, что вы уезжаете,— произнесла она после короткой паузы.

Теперь и Годой заговорил не сразу.

— Нелегко прерывать дружбу,— сказал он наконец.

— Да.— Джастин говорила спокойно.— Но, наверное, ею часто приходится жертвовать ради дела.

— Увы, это так.

«Увы, это так». Он сделал любезность, лично известил ее о предстоящем отъезде и теперь хочет, чтобы она ушла.

— Как по-вашему, за сколько дней меня предупредят, если потребуются услуги амбулатории?

— Вам ведь говорили, что надо быть готовой в любую минуту. Думаю, предупредят вас за день, но никак не раньше. Все зависит от обстоятельств.

— Ясно.

— Я должен ехать в горы очень скоро. Но у меня еще много дел.

— Понимаю,— сказала Джастин.— Мне тоже пора.— Хотя спешить ей, в сущности, некуда. Нет никакого стоящего дела, если не считать забот об умирающем пьянице.

Они посидели еще немного. Ни он, ни она не шевелились.

Да прикоснись же ко мне, мысленно умоляла она. Прикоснись! Я сделаю все, что попросишь: не испугаюсь Гвардии, умру, буду убивать,

[1] Соотечественницы *(исп.)*.

если ты скажешь, только прикоснись ко мне. Сделай что-нибудь для меня. Дай хотя бы руку!

Годой поднялся со скамьи и стал в проходе, дожидаясь ее. Она тоже встала, и они вместе направились к выходу. Ключ от двери был у него в руке.

— Отец Годой!..— Он не обернулся, не остановился и, подойдя к двери, стал отпирать ее.— Отец Годой! — Джастин почти кричала.— Что меня волнует... возможно, все, что меня волнует... это — я сама. Не ваша страна. Лишь то, что я сама чувствую.

Он молча посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка, как ей показалось, вышла печальная, несмотря на всю его выдержку.

— По-моему, все мы в глубине души одинаковы. Но бывает и совпадение интересов, не правда ли? Когда чувство справедливости совпадает с нашими личными чувствами.

— Конечно. Но перед уходом я хочу сказать вам кое-что, ибо, кто знает, может, мы никогда больше не увидимся. У меня к вам особое чувство. Не такое, как к другим.

Годой успел уже приоткрыть дверь. Она отступила назад, подальше от света, чтобы он не заметил смущения на ее лице. Проще простого было смолчать. А она сделала глупость — призналась, да еще на таком нелепом монастырском языке. Однако теперь уже поздно.

Время словно остановилось. Годой явно подыскивал нужные слова, его брови сошлись в одну линию, глаза смотрели в землю. Избегая ее взгляда, он наконец сказал:

— У меня к вам такое же чувство.

Она тотчас поняла, что он лжет. Какое бы чувство он сейчас ни испытывал, слова эти были сказаны неискренне, лишь для ее успокоения.

Глядя, как на его белом горле, над верхней пуговицей сутаны движется адамово яблоко, Джастин подумала, что он, наверное, умеет удивительно правдоподобно врать. Но ей-то, во всяком случае, он не старался врать правдоподобно.

— Теперь вы знаете, какая я эгоистка,— сказала Джастин. Подстегнутая его враньем, она уже не могла остановиться.— Какая мелкая и глупая.

Годой смутился. Видимо, испугался за судьбу своего foco.

— Ну, зачем же так? — Он открыл дверь, и в лицо им ударило ослепительное, горячее солнце.— Я ваш друг, вы можете мне доверять. Мне нужна ваша помощь. И этим беднякам нужна.

— Это давно решено. Когда я вам понадоблюсь, я буду на месте.

И снова та же меланхоличная улыбка.

— До свидания, дорогой друг.

— Да, до свидания,— сказала Джастин и сошла по трем белым ступенькам на дорожку.

Те двое в цветных рубашках стояли на углу. Джастин собрала все силы и спокойно, непринужденно прошла мимо, приветствуя их величественно-вежливым кивком головы.

Лишь отъехав на некоторое расстояние, она дала волю слезам. Плакала от стыда и оттого, что противны были его ложь и его елейный тон. И все же он прав. Потому что ее переживания — чистое ребячество, их нельзя принимать всерьез. Так что, если рассудить здраво, ругать надо себя, а не его.

Когда солнце скрылось за горами и на дорогу упала длинная тень, Джастин была уже недалеко от дома. Она затормозила, вылезла из джипа и подошла к самому краю берега. Долго всматривалась в темно-синюю даль моря, еще освещенную солнцем.

Слабым звеном всякой цепи, думала Джастин, являешься ты сама. Это проявляется и в большом и в малом — можно, например, весь день прожить в свое удовольствие, не замечая бега времени, если ты сама

этому не помешаешь. Джастин не хуже других знала, что такое внутренняя борьба; во всяком случае, так ей казалось. Но если я одержу верх, если переломлю себя, что от меня останется? Вопрос этот больше занимал ее, чем пугал. Будет ли то, что останется, полезно? И если да, то в каком отношении? Стану я тогда счастливей? Ну, вот, опять я говорю о себе. Опять на первом плане я.

Что она, в сущности, из себя представляет? Всего лишь девушку, юное существо, получившее уродливое воспитание. Единая Истинная Церковь — это Единая Истинная Церковь, научный метод — это научный метод, Революция — не что иное, как Революция, но девчонка — это всего лишь девчонка. Банальная истина.

И я, и ты, и все мы ничтожны. Настолько ничтожны, что и вообразить нельзя. Дерьмо — вот мы что. Помоги нам, помоги переменить себя полностью. Чтоб не помышляли мы о грехе ни плотью нашей, ни душой, чтобы взгляд наш не исходил любострастием. А больше всего прошу: избавь нас от душевной незрелости. Ибо потому и ничтожны мы, что душа наша всю жизнь пребывает во младенчестве. Не убоимся мы ни плетей, ни пламени — только бы переродиться.

Покаяться и изменить образ жизни, аминь. Неустанно бороться во имя истории. Дайте мне флаг, бейте в барабан; в то утро я буду там, уж поверьте. И я буду уже не такая, какой я вам кажусь. Это буду я, но другая, заново рожденная — настоящая революционерка. Я, но неустанно борющаяся во имя истории. Я, но лучше, чем сейчас.

А если в то утро меня не будет там, то и нигде не будет, решила она.

Она шагнула в тихую прибойную волну, замочив до колен хлопчатобумажные брюки, зачерпнула пригоршней соленой воды и брызнула себе на лицо. Когда она шла обратно к джипу, на склон горы по другую сторону дороги уже начали спускаться сумерки. Первые обезьяны-ревуны, пробудившись, подавали сигналы тревоги, а дневные птицы, устраиваясь на ночлег среди густой листвы кустарника, выводили свои последние трели.

Вдруг Джастин остановилась. Впереди по обочине прибрежной дороги бежало животное — даже не бежало, а словно гарцевало. Нет, не животное, похоже, что человек. Было еще достаточно светло, поэтому она различила и его льняные волосы, и белую, в пятнах, одежду.

Сев за руль, Джастин думала про эти пятна. Ей показалось, что они красные, хотя она и не вполне была в этом уверена. Но несомненно яркие. Ни от каких известных ей фруктов таких ярких пятен на одежде не остается. Стало быть, следы крови.

Она догадалась, что человек этот — молодой меннонит, который несколько недель назад проходил мимо их миссии.

Тем временем склон холма уже опустел. Тьма быстро сгущалась. Машин на дороге не было. Джастин поежилась, точно от холода, включила фары и поехала домой.

Прихрамывая, Холливелл прошел по протоптанной дорожке между кустами красного жасмина в столовую. Звезды скрылись за облаками, подул ветерок.

В скромной, как монастырская трапезная, столовой выстроились в ряд полдюжины накрытых столиков. С потолочных балок и с проволоки, протянутой в пальмовой рощице между столовой и пляжем, свисали японские фонарики. На противоположной стороне обширного зала возле стойки бара сидели несколько офицеров Гвардии — они пили ром и слушали музыкальный автомат, игравший старые мелодии Лучо Гатики. За одним из столиков Холливелл увидел одиноко сидящего мистера Хита; перед ним стояла бутылка джина и блюдце с земляными орешками. Хит поднял глаза и окликнул его.

— Что, ногу повредили? — спросил он. Лицо его при свете фонариков казалось красным, на носу и под глазами набухли вены.

— На морского ежа наступил. У самой католической миссии. Спасибо, монахиня подоспела и вытащила колючки.

— Вам повезло. Это была сестра Джастин?

— Как зовут, не спросил. Наверное. Ведь других монахинь там нет?

— Нет,— сказал Хит.— Зачем вас туда понесло?

Холливелл пожал плечами:

— Да так. От нечего делать.

— Что вы о них думаете?

— Даже не знаю,— ответил Холливелл.— А вы что думаете?

— Довольно приятные люди. Вы не находите?

— Да,— сказал Холливелл.— Довольно приятные.

На ужин Хиту и Холливеллу подали свежую золотую макрель. За едой мистер Хит сообщил, что ему предложили место на новом курорте, принадлежащем фруктовой компании.

— С тех пор как на плантации напала болезнь, старые служаки вроде меня оказались лишними. Теперь доходным стал туризм. Так что остается либо принять предложение, либо уходить на покой.

— И что вы решили?

Хит загадочно усмехнулся. Только сейчас Холливелл понял, что этот человек очень пьян.

— Когда я впервые приехал сюда,— сказал мистер Хит,— единственную законную силу на двести миль вокруг представляли я и десяток бандитов. Славное было время.

Холливелл кивнул.

— Можно было оставить где-нибудь на пеньке одеяло компании, и никто не возьмет его, пролежи оно там хоть целый месяц. Нас уважали. И мы себя уважали. Каждое утро, встав с постели, я мог сказать: «Yo sé quien soy» [1]. Понимаете?

— Конечно,— ответил Холливелл.

— И мои люди могли сказать то же самое, потому что я сделал это возможным. Но я не боялся их и не раздавал шиллинги за то, что они мне улыбаются. Понятно? — Он не стал ждать ответа и продолжал: — Так уж я был обучен.

Холливелл хотел было спросить, где он проходил обучение, но Хит опередил его:

— В девятнадцать лет я служил в Légion Etrangére [2]. В Сиди Барасе. Славное было время!

— И оттуда — прямо сюда?

Хит метнул на Холливелла мрачный, подозрительный взгляд, явно рассчитывая, что собеседник оробеет.

— Нет, после этого я служил в полиции на Цейлоне. Там у меня небольшая неприятность случилась... эта проклятая религиозная процессия в Канди. Мне там, можно сказать, объяснили, что к чему. После вечеринки уехал в машине шефа полиции. Ну, а потом сюда.

— В Англии бываете?

— Не могу. Не та уже Англия, и бог с ней. Чужая страна. Разумеется, в войну я вернулся домой. Служил во Второй армии.

— У Монтгомери?

Хит засмеялся:

— Да. У Монти-трезвенника.

Когда официант убрал тарелки, Хит потребовал еще джина. Холливелла одолевала усталость, и он, чтобы как-то взбодриться, заказал вторую порцию рома.

— Мы намерены поставить дело так, чтобы туристы приезжали сюда по нескольку тысяч в месяц. А я должен буду подглядывать в замочную скважину, чтобы гостиничные служащие не приставали

---

[1] Я знаю, кто я *(исп.)*.

[2] Иностранный легион *(франц.)*.

к их спутницам. Хотим научить народ воровать и научить его презирать нас.

Холливелл заикнулся о том, что лучше было бы дать народу работу. Принять его в долю.

— Этот народ не любит бедности, Холливелл. Никто не любит. Но мы хотим научить его стыдиться своей бедности, а это уже нечто новое.

— Американский способ,— заметил Холливелл.

Хит недовольно хмыкнул.

— Не люблю, когда люди с пренебрежением говорят о собственной стране. За границей, во всяком случае.

— А я не говорю о ней с пренебрежением. Только, по-моему, лучшее, что есть в моей стране, экспортировать трудно.

Мистер Хит, будто не слыша, продолжал:

— А мы все каемся, ломаем руки. С самой войны. Извиняемся, делаем уступки, отступаем, а пользы никакой, мы не спасли этим ни одного черного, коричневого или желтого. Ждем, когда нас уничтожат, понимаете? И дождемся.

Между тем возле бара, где веселились офицеры Гвардии, становилось все шумнее. Однако некоторые офицеры, захмелевшие больше других, хранили мрачное спокойствие. Это были индейцы и метисы из горных районов; пьяные, они обычно ведут себя совсем не так, как жители побережья. Опершись на стойку, словно боясь упасть, они перебрасывались словами, пересвистывались, обменивались жестами, а иногда разражались громким неприятным смехом. Алкогольная телепатия.

Вошел зубной врач из Майами в сопровождении рослого моложавого человека в элегантной guayabera. За ним следовали его жена и сыновья, причесанные и надушенные. Их приветствовали все, кто был в зале, не исключая офицеров.

Холливелл сказал им «добрый вечер», а следом за ним Хит, который, видимо, был знаком с моложавым. Холливелл догадался, что это и есть брат миссис Пас.

Когда кубинцы уселись и им подали ужин, из темноты появилась американская пара, занявшая столик за спиной Холливелла. Пока вновь прибывшие проходили мимо, он успел их разглядеть.

Женщина была уже в возрасте — наверное, далеко за сорок, но можно дать и все шестьдесят, если не больше. Свободное, яркое, цветастое платье в гавайском стиле, на мясистой шее — коралловые бусы, крашеные угольно-черные волосы словно приклеены к вискам, как у Полы Негри. Мужчина — худощавый, бледный и губастый, волосы ежиком. Глазки маленькие, черные, лицо моложавое, но высохшее. Весь в белом, даже туфли белые.

С появлением этой пары подвыпившие офицеры насторожились, хотя ни мужчину, ни женщину никто как будто не знал.

Посасывая ломтик лимона, поданный к рыбе, мистер Хит задумчиво наблюдал, как американская пара усаживается за столик.

— Стю Нэббс был в Ки-Уэсте,— сказал мужчина.

Холливелл чувствовал себя измотанным до предела. Ром, конечно, сил ему не прибавил.

— Бр-р! Ну и дыра! — Голос у женщины был низкий и грубый.

Мужчина хихикнул — тоненько, рассыпчато.

— Ну, ладно,— сказал Холливелл своему соседу по столику.— Пойду спать. На сегодня хватит.

Мистер Хит нагнулся вперед и негромко, с легкой улыбкой произнес:

— Не вздумайте уходить. Сидите на месте.

— Не понял.— Холливелл нахмурился.

Хит показал глазами на американцев.

— Послушайте, что они говорят. Интереснейшие люди.

— Ну и парень,— сказал мужчина.— На него судебные дела везде завели, а он хоть бы что, прожигает жизнь в Ки-Уэсте. У него там свой дом. Куча денег. Везет же стервецу! До поры до времени.

Холливелл пожал плечами и бросил хмурый, вопросительный взгляд на Хита. Тот спокойно сидел с видом человека, приготовившегося слушать любимую музыку.

— Останьтесь,— прошептал Хит.— Послушайте.

— Ты ведь жил с ним,— сказала женщина.

— Захаживал курнуть травки. У него в гараже парнишка умер. Над баком с бензином. Лет четырнадцати. Или пятнадцати. Тут я сказал: «Будь здоров, Стюарт» — и дал деру.

— Он же был твоим лучшим другом.

— А помнишь Фелана? Ростовщика?

— Еще бы! Я с ума по нему сходила.— Холливелл попытался вспомнить ее лицо.— Да и вы со Стюартом тоже.

— Он всем нравился. Мы со Стю... как бы это сказать... работали на него.

— Костоло-о-мами работали,— ласково протянула женщина, точно подсказывая ребенку забытый урок.— Помнится, вы и впрямь кое-кому поломали кости.

Мужчина разразился площадной бранью.

— Как поныряли сегодня? — спросил Хит.

— А я об этом как раз и думал,— сказал Холливелл.— Так себе.

Мужчина с моложавым лицом заговорил опять:

— А этого коротышку с заячьей губой, что у Райкера служил, помнишь? Он и доллара в день чаевыми не наскребет, а туда же, к Фелану. Придурок! Фелан и говорит: «Проучите-ка, ребята, этого болвана!» Ну, пошли мы в ту большую гостиницу, в «Ансонию». У них там и конторы, и все. Позвонили к Райкеру, вызвали этого дерьмача. Через час является. Мы — на него. Он заорал, будто его режут, и ходу. Побежал по лестнице наверх, до самого двенадцатого этажа. Там мы его со Стю и прихватили. Взяли за ноги, свесили головой вниз над лестничной шахтой, у него из карманов мелочь посыпалась, бумажник и всякий хлам. Он уже и кричать не мог, только верещал. А булочку с котлетой так и держал в руке. И как ты думаешь, что сказал Фелан? Он сказал: «Что же вы его не сбросили?»

Холливелл встретился взглядом с мистером Хитом.

— Видели что-нибудь необыкновенное? — спросил Хит.

— Что-то видел, а что — не знаю.

— У Стю ботинки были дырявые,— продолжал Бадди.— Так он постоянно в галошах ходил.

— А Фелана убили?

— А то как же,— ответил Бадди.

— Страшновато вам там было? — спросил Хит.

— В общем, да,— ответил Холливелл.

— После того как Фелана ухлопали,— продолжал мужчина,— Стю вроде свихнулся.

— А-а,— воскликнула женщина,— слыхала. И знаю отчего.

— Нет, Ольга,— понизил голос мужчина.— Не знаешь.

У стойки бара стало гораздо тише. Офицеры так опьянели, что даже говорить не могли. Музыкальный автомат замолк. В конце зала официант за столом пересчитывал белые свечи.

— Стю за девчонками охотился. У него на этих цыпочек большое чутье. Торговал. Клиентуру имел.

— Бр-р, мерзость какая,— сказала Ольга.

— Одну он прикончил. И сбежал из города.

— Да ты что?

— Точно. Решил отделаться. И подался в Лос-Анджелес, прямо в Голливуд.

— На Бульвар Утраченных Грез.

— У него и на панели цыпочки были. Пара куколок. На него работали. Наркотиками приторговывал. С другом одним.

— Знаем мы этих друзей.

— У них клиенты были, фильмы делали. Так вот, Стю и его дружок им девиц поставляли. Прямо на улице хватали. Заткнут рот и тащат.

— Боже правый!

Японские фонарики в пальмовой роще то гасли, то загорались. Офицеры начали расходиться. Один из них прошел, шатаясь, мимо столиков к пальмам, громко рыгнул и стал мочиться на красный жасмин. Над кронами деревьев висели мириады звезд.

— Там, под водой, жизнь простая,— сказал мистер Хит.— Кругом чисто. И далеко видно.

— А я полагал, что и здесь — тоже.

— Обычное заблуждение,— сказал Хит.— Внешность обманчива. Есть разница в философском плане.

Холливелл не нашел ответа. Мистер Хит оказался философом, и Холливелл снова уловил знакомый шафранный запах Вьетнама. Зеленые края планеты кишат философами силы и вооруженными пророками. Ничего нового.

Хит глядел через плечо Холливелла, с лица его не сходило вежливо-равнодушное выражение. Бадди заговорил еще тише, голос его слегка дрожал.

— Девчонки исчезали. Стю делал фильмы и продавал. Говорил, что в них звезды снимаются.

— Ишь ты!

— Тут я и напустил в штаны. Я же знал, что происходит. И Стю знал, что я знаю. А его дружок — дубина дубиной.

— Бедняга.

— А полиция этих девочек находит. Распотрошенных. Газеты шум подняли.

— А родителям — плевать,— сказала Ольга.— Сами своими же детьми торгуют.

— Наркотики, фильмы, девчонки — это и есть Стю. Это в нем и противно. Говорил, что большое дело делает.

— А говорил он, что ему это нравится?

— Нет, ни разу не говорил. Но, по-моему, нравится. Испугался я, Ольга. И смылся.

— Бывает, что эти малолетки сами напрашиваются,— заметила Ольга.— Противные они в таком возрасте.

— Стю тоже так говорил. А я говорю: «С меня хватит. Будь здоров, Стю». Испугался я.

— Нет, уж теперь я в Лос-Анджелес не поеду,— сказала Ольга.

Когда Бадди и Ольга встали из-за стола, Хит приветствовал их дружеским кивком. Холливеллу хотелось оглянуться, но он удержался.

— Знаете, почему я обратил на них внимание? — спросил Хит. С его красного лица еще не сошла вежливая улыбка.— Меня поразило, как этот подонок смеется. Я сразу понял, что он за птица.

— На нормальных туристов не похожи,— сказал Холливелл.

— Верно. Впрочем, нынче нормальных туристов не бывает. Американцы, что мотаются теперь по свету,— шушера какая-то. Надеюсь, вы на меня не обидитесь.

— Мало ли у кого в Штатах есть деньги и свободное время. Вам это, я думаю, известно.

— По-моему, тридцать лет тому назад американец получше был. Может, не блистал манерами, но внушал больше доверия.

— Я знаком с такими людьми,— сказал Холливелл.— Знаю, откуда они берутся. И этого с меня довольно.

— Стало быть, разговор, который мы сейчас слышали, вас не шокирует?

— А вас шокирует?

— Меня-то нет. Когда мы вступали в Белсен, я всего насмотрелся, так что меня он тоже не шокировал.

— Какое же чувство он у вас вызвал?

— Он настроил меня на деловой лад,— ответил мистер Хит.— Такая же реакция у меня... и на них самих.

— На Ольгу и Бадди?

— Да. На Ольгу и Бадди. Глядя на них, я подумал: «Ну, парень, пора браться за работу».

— Как я говорил, та же картина,— заметил Холливелл.— Что здесь, что там, под водой. Процесс один и тот же.

— Может, еще скажете, что все живое свято?

— Нет,— ответил Холливелл.— Но даже Ольга и Бадди не насквозь порочны, верно? И этот их друг, о котором они вспоминали.

— Ах, Холливелл, Холливелл. Да простит бог и Ольгу, и Бадди, и всю их компанию — ведь ему-то с ними не жить. У вас есть дети?

Холливелл сказал, что есть.

— Здесь, в окрестных деревнях, кто-то убивает детей, слыхали? Уже пятерых убил.

— Нет, не слыхал. Но эти двое тут ни при чем.

— Разве вы не знаете своих сограждан? Знаете. Когда я слышу такой смех, мне кажется, что я чую зловоние, и тогда я представляю себя на месте наших добрых друзей-миссионеров и готов принять на себя роль искупителя грехов человеческих. Мне кажется, что люди типа Ольги, Бадди, Рудольфа Гесса определены богом под мой особый надзор. Но поскольку нынешняя цивилизация продажна и труслива, поскольку она непременно хочет, чтобы ее тиранили слабые, надломленные неврастеники, которые и понятия не имеют о самоуважении или милосердии, я не в состоянии выполнить эту миссию.

Его пальцы, сжимавшие стакан, побелели. Он прикрыл глаза, сделал глоток и снова улыбнулся.

— Поэтому я чувствую себя опустошенным, понимаете?

Офицеры Гвардии покидали бар. Один из них задержался, противно свистнул, подзывая застенчивую темнокожую официантку, которая робко их обслуживала; когда она подошла, он сунул в лиф ее яркого облегающего платья пачку денег. Потом обернулся и долго смотрел через зал на Хита и Холливелла.

— Ведь я, по сути дела, полицейский,— объявил Хит.

— Почему вы спросили, было ли мне страшно под водой?

— Ах, это. Я допустил бестактность. Виноват.

— Мне ваш вопрос не показался бестактным. Просто немного странным.

— У меня ужасные манеры,— признался мистер Хит.— Боюсь, что на курортном поприще меня ждут неприятности.

Возвращаясь из Альварадо с двумя десятифунтовыми мешками фасоли и несколькими килограммами фруктов, Джастин еще издали увидела Кампоса. Лейтенант стоял впереди своего джипа, поставленного посреди дороги, и лениво махал рукой, делая ей знак остановиться. Его «фостер-грантс» блестел в лучах предвечернего солнца.

Лейтенант поставил машину на самом пути, и, увидев ее, Джастин оробела. Кому-то из них надо съехать с дороги; случай заурядный, если бы не эта демонстрация силы, права повелевать, если бы не самоуверенность и не сознание безнаказанности. Подъехав почти вплотную, она остановилась тоже посреди дороги и продолжала сидеть за рулем.

Лейтенант Кампос шагнул вперед и холодно оглядел Джастин. Судя по всему, шутить или любезничать он не расположен.

— Добрый день, сестра Джастин,— только и сказал он.

Она старалась разглядеть его глаза за стеклами зеркальных очков.

— Добрый день, лейтенант.

Он прошел дальше и осмотрел лежавшие на заднем сиденье машины запасы провизии.

— Как мы понимаем, вы покидаете нашу бедную страну.

— Да,— сказала она. — В скором времени.

— У вас есть приказ уезжать?

— От нашего архиепископа. Когда нам будет удобно.

Лейтенант оперся на кузов джипа и вперил взгляд в море.

— Двадцать фунтов фасоли. Повезете с собой в страну янки?

— Нам еще людей приходится кормить.

— Хиппи кормить,— сказал Кампос.

Джастин не сразу нашла, что возразить. Какие-то длинноволосые бродячие иностранцы действительно заходят на территорию миссии и некоторые из них похоже, остаются на ночлег. Она заметила, что Эган вечерами часто пропадает где-то за домом, и догадывалась, что его отлучки имеют какую-то связь с их посещениями. Но она вела строгий учет имущества и знала, что эти парни, скрывающиеся среди развалин, еще ничего не украли. Провизию они приносят с собой. Однако более неудачное время для их визитов просто невозможно выбрать; надо как-то положить им конец. После отъезда Годоя новых инструкций она не получала.

— Мы этих людей не звали,— сказала она. — И не кормим. Развалины — это естественная приманка для туристов. Не наша вина, что они по соседству с нами.

— Хиппи не туристы,— возразил Кампос.— Они отпугивают туристов.

Джастин сознавала, что многое сейчас зависит от ее выдержки. Она должна выглядеть спокойной и постараться выяснить, что у лейтенанта Кампоса на уме. Задача не из легких. Джастин плохо знала мир полицейских, но общение с Кампосом привело ее к мысли, что безумие — это еще не помеха для полицейского, который хочет выслужиться перед начальством.

— Так что стране это не помогает. А миссия должна помогать. Она же, наоборот, мешает.

Что дальше? — спросила она себя. Назидательная речь? Она не имела никакого представления о том, много ли он знает или подозревает; ясно ей было одно: он чрезвычайно опасен. Может быть, он попросту раздражен тем, что во вверенном ему районе опять появились хиппи? Или, что гораздо хуже, играет в кошки-мышки, перед тем как сокрушить своим гвардейским кулаком — кулаком гориллы — это хрупкое сооружение под названием ГОСО, частью которого может быть, а может и не быть она вместе с Годоем? Господи, подумала она, если ему известны мои намерения, значит, он знает больше, чем я сама.

— Если хотите,— предложила она,— мы посоветуем им здесь не задерживаться. Сошлемся на вашу рекомендацию.

— Они детей убивают,— заявил он.— Шестеро детей погибло.

Джастин выпустила из рук рулевое колесо, которое до этого держала, точно штурвал корабля, в течение всего разговора, и в ужасе уставилась на лейтенанта.

— Нет! — только и смогла она выговорить. Весь ее воинственный дух испарился.

Кампос усмехнулся.

— Да. Убили. Шестерых.

— Эти убийства... они начались уже давным-давно. Если бы

у нас были хоть какие-нибудь улики или подозрения... хоть какие-нибудь... мы бы вам сообщили.

— Как я могу быть уверен? — спросил Кампос.

Джастин с трудом удержалась, чтобы не вспылить.

— Мы все ужаснулись, лейтенант, когда узнали об этих убийствах. Нам казалось странным, что Гвардия так и не смогла найти преступника. Можете не сомневаться, что мы поможем, если это в наших силах.

— Вам это показалось странным?

— Мы были огорчены,— поправилась она.

— А-а.— Голос Кампоса как будто смягчился.— Знаете, что странно? И вам и мне полагается форма. Я свою форму ношу. А вы свою — нет. Вы еще монахиня?

— Об этом вы можете справиться у церковных властей и в министерстве внутренних дел. Я монахиня. Поскольку мы находимся не в столице, нам разрешено ходить в рабочей одежде.

— Стало быть, всего лишь смешение традиций?

— Пожалуй.

— Тогда можете быть уверены, что в пределах моего участка с вами будут обращаться как с монахиней.

Она изобразила на лице улыбку, сама удивляясь, как это ей удалось. Ей было приятно сознавать, что она нашла в себе силы улыбнуться такому человеку.

— Мы благодарим вас, лейтенант.

Он постоял немного, посвистывая сквозь зубы.

— А теперь, сестра, будьте добры подать вашу машину назад, чтобы я мог проехать.

Она дала задний ход и съехала на мягкий песок. Колеса пробуксовали, потом выбрались на твердый грунт у кромки воды; Джастин неслышно выругалась.

— Извините, сестра, вы что-то сказали? — спросил Кампос. Он тоже дал задний ход, свернул немного в сторону и остановился.

— Ничего не сказала.

Он включил передачу и дал полный газ.

— Монахини не ругаются! — крикнул он.— В мой адрес, во всяком случае.

Весь остаток пути Джастин не сводила глаз с дороги. Она сильно перепугалась и мечтала только об одном: добраться поскорее до своего жилья, закрыть ставни и вытянуться на кровати, окутавшись прохладной темнотой. Там легче собраться с мыслями.

Вернувшись к себе, она постояла под душем, потом легла в постель и забылась сном под тяжестью страха и изнеможения. Но скоро пестрые сновидения разбудили ее, и она вдруг ясно осознала простую истину: взгляд на девоционистскую миссию во Французской гавани как на некий опорный пункт в предстоящих боевых действиях— всего лишь плод глупых фантазий. Этот взгляд сложился благодаря ее же эгоизму, а также наивной уверенности теканцев в том, что американский флаг послужит им надежной защитой.

Руководители Движения недооценивают этого головореза, им не объяснить, что Кампос от нее не отстанет. Видимо, для них он всего-навсего ловкий и жестокий приспособленец. Она же убеждена, что этому человеку свойственно нечто большее, что он наделен каким-то паучьим инстинктом, параноической проницательностью и его грязные помыслы — она это чувствовала — сосредоточены на ней. Он постоянно расспрашивал о ней и Чарли Эгана, и торговцев, и campesinos. И объяснялось это не только свойственной ему подозрительностью. Он производил впечатление человека более сообразительного, чем требовалось от офицера Гвардии; казалось, он сумел обрести все те качества, которыми его коллеги, самодовольные и глумливые ублюдки, не обладали, хотя делали вид, что обладают. Но если Кампос, как она и подозревала, действительно наделен таким сверхъестественным

чутьем, то из этого следует, что мысль о foco владеет им с не меньшей силой, чем самими повстанцами. Свою догадку он мог внушить столичному начальству, разумеется связав ее со своевольным поведением обитателей девоционистской миссии. В известном смысле это тоже часть его плана. Капитан Кампос. Генерал Кампос.

Все говорило о том, что тут не обошлось без предательства изнутри. В Текане полным-полно полицейских осведомителей, которые могли проникнуть в Движение, даже в его руководство. Провал собьет в республике революционную волну, и тогда правительство получит отсрочку еще на десяток лет. А то и больше.

Неужели я начинаю постигать эту страну? — спросила она себя и сама же ответила: немыслимо! Это всего лишь кратковременный приступ здравого смысла. Очередной припадок.

Она оделась и выпила холодной воды из колодца. Надо немедленно поставить их в известность. Эта слежка — нечто большее, чем обычная полицейская служба. Против них что-то затевается, и это «что-то» означает катастрофу. Нужен запасной вариант. Джастин не допускала и мысли, что у руководителей теканского Движения нет запасных вариантов на случай провала.

Разумно это или нет, но мысль о том, что ей, возможно, не придется участвовать в освобождении Текана, вызвала у Джастин горькое чувство. Им нужно так много, думала она, а они просят у нее такую малость. В том, чтобы не гасить огни на причале, нет ничего особенно подозрительного, многие рыбаки по ночам уходят в море с факелами и иногда просят ее или Эгана не выключать движок и не гасить береговые огни, чтобы им легче было ориентироваться при возвращении. Что касается раненых, то Джастин лечила бы их и без особой просьбы. Но двусмысленные намеки Кампоса, его придирки чреваты опасными для всего дела последствиями. Зажженные фонари на причале привлекут особое внимание Гвардии. Раненые, если их доставят в помещение миссии, окажутся в западне. Эган, которого она теперь должна опекать, не выдержит и умрет.

Итак, решение. Трудное, но необходимое. Будут и другие бои, в которых она сможет участвовать — у нее еще жизнь впереди. Она прошла в комнату рядом с кухней, где они держали небольшую рацию, и села. Надо связаться с сестрой Мэри Джозеф, чтобы та прислала кого-нибудь помочь ей подготовить все к закрытию миссии, радировать архиепископу, известить консульство и министерство внутренних дел.

Она уже принялась писать радиограммы, как вдруг отложила карандаш в сторону. Кампос. Однажды она видела его в эротическом сне. Образ этот и теперь будоражил ее воображение, и когда она о нем снова подумала, у нее мелькнула догадка и, мелькнув, не исчезла бесследно, а засела в голове. Ведь это он убивает детей! Предположение, совершенно ни на чем не основанное, но Джастин была в этом уверена. Как решились они заявить, что она может не бояться? Если они собрались убить его (она заподозрила это еще во время памятной беседы с Годоем в ресторане «Гран мура де Чина», но верила все-таки не до конца), то почему не убили до сих пор? Теперь же с тактической точки зрения время упущено. Или еще не упущено? А может быть, руководители Движения, зная о злодеяниях Кампоса, решили шантажировать и тем нейтрализовать его? Нет, это уж было бы слишком, заключила она. Они же не циники. Не в таком смысле. Но кто-то должен покончить с Кампосом, иначе он будет убивать и дальше. На этом побережье от его руки может погибнуть любой человек, любая мать и ребенок. Чего стоит революция, если она терпит истязания и убийства детей? Но разве они не части единого целого: Кампос на побережье, президент в своем столичном дворце, американские монополии, стремящиеся сохранить все как было?

Она сидела, подперев лоб руками и не отрывая глаз от листка бумаги.

Снаружи, со стороны зарослей кустарника, через которые пролегала тропинка, ведущая в глубь суши, до ее слуха донеслись голоса. Она подошла к окну и толкнула ставень: по тропинке в направлении стелы шли первые группы молодых иностранцев, большей частью парами; почти все — русые или крашеные, загорелые, в шортах или в парусиновых штанах. На девицах кофточки без рукавов и с открытыми спинами, на парнях — распахнутые на груди рубашки. Джастин они показались необычайно наивными и ко всему равнодушными. Старшая из девиц выглядела ненамного моложе Джастин. Они проплыли мимо, точно призраки. Никто из них ее не заметил.

Отец Эган все еще спал в гамаке на веранде. Живот у него болезненно раздулся, но лицо худое, глаза и щеки заметно ввалились. Когда Джастин приехала в Текан, он был крепкий, дородный мужчина; теперь она впервые обратила внимание на его заострившийся подбородок и тонкие черты лица. Смутное напоминание о лице, каким оно, возможно, было в молодости,— посмертная маска красивого стройного молодого священника, внешность которого могла заставить учащенно биться сердце набожной прихожанки.

Она надеялась, что ей не придется хоронить его здесь, под крестом из крученой проволоки. Его место — в Калифорнии, в каменном склепе под липами, где он будет покоиться среди останков тех, кто при свете свечей стаптывал башмаки в застланных коврами алтарях. Кто посвятил всего себя служению своему Всевышнему, отдал ему сердце, разум, душу, жизнь.

Эган проснулся и увидел, что она глядит на него.

— Что случилось, милая? — Он сел, его брюхо перевесилось через пояс, почти коснувшись края гамака.

— К вам новые гости,— сказала она.

Он тупо смотрел на нее.

— Ваша паства.

Эган кивнул.

— Опять вы меня осуждаете.

— Не в этом дело. Им придется уйти, вот и все. Либо вы, либо я должна сказать им, чтобы они убирались. Я хочу облегчить наш отъезд, свести к минимуму всякие неприятности, из-за этих бродяг и Кампос к нам придирается.

— Он сегодня был здесь,— сообщил Эган.— О них ничего не говорил. Он про вас спрашивал.

Джастин вздрогнула.

— Что его интересовало?

— Все какие-то туманные вопросы. Вы же его знаете. Хотел, чтобы я сказал ему как мужчина мужчине, девственница ли вы. Как мужчина мужчине. Потом спросил, бывали ли вы в Калифорнии или в Париже.— Эган встал и смахнул со лба волосы.— Это навело меня на размышления.

— На какие?

Священник ушел к себе и стал накачивать в душевой бачок воду. Дверь он оставил открытой.

— О человечности,— ответил он.— Слушая его странные вопросы, я спрашивал себя: а человек ли он? Потом я подумал: а я сам? А вы, дорогая? Да и что мы понимаем под словом «человечность»? Означает ли оно что-то человеческое, а не просто животное? Или грань, так сказать, стирается? Может, человечности-то нам и всем не хватает? И хорошо это или плохо?— Эган перестал качать воду и включил душ. — Потом я потерял способность что-либо понимать. Спутались понятия. Я подумал: слово — это, пожалуй, то же, что маленькое растение. Я решил, что достаточно одного молчания. Достаточно не думать. Но я не способен молчать и не могу не думать.

— Зато еще способны принять душ, Чарли,— сказала она.— Это надо ценить.

Из-за шума воды она уже не слышала, что он еще сказал. Постояла немного над чистым листом бумаги, лежавшим возле рации, и направилась на кухню. Едва переступив порог, она обнаружила, что у них побывали воры. Исчез початый мешок фасоли. Сломан замок на двери кладовки. Пропала половина мороженой рыбы. И коробка с печеньем.

— Негодяи, сукины дети! — выругалась она вслух. Вспомнила про амбулаторию и кинулась туда. Так и есть: исчезла банка с кодеином, исчезла половина запасов перкодана. Морфий был в целости — его, видимо, не нашли.

Вне себя от ярости, Джастин выбежала на веранду и, увидев группу «прихожан» Эгана, крикнула:

— Эй вы! У нас есть люди, которым действительно очень больно! Они ранены!

Трое парней в шляпах с пригнутыми книзу полями посмотрели на нее большими глазами, точно на сумасшедшую. Юноша и девушка, шедшие сзади, улыбнулись ей.

— Здесь медицинское учреждение,— продолжала она.— Не для того мы запасали лекарства, чтобы всякие богатые сопляки дурманили себе головы.

Когда ее ярость достигла предела, она вдруг встретилась взглядом с тем странным молодым меннонитом, которого здесь уже видела. Этот чудной парень с кукольным лицом сосредоточенно смотрел на нее ясными голубыми глазами. Она могла бы поклясться, что щеки у него нарумянены. Гневные слова застряли в горле. Она ухватилась за перила, потом отвернулась и попятилась назад. Подальше от этих глаз. Но взгляд их преследовал ее, даже когда она возвращалась к себе. И тут Джастин вспомнились строки, которые ей всегда нравились, но сейчас вызвали отвращение:

> Ты не пугайся: остров полон звуков —
> И шелеста, и шепота, и пенья,
> Они приятны, нет от них вреда [1].

Она чувствовала себя разбитой. Отчего так много страданий? Почему она до сих пор бездействовала? Текан. Злосчастная страна. Проклятая.

Эган, кончив мыться, одевался. Джастин зашла к нему и села за его письменный стол.

— Я схожу с ума, Чарли. Как и вы. По-моему, нам пора подавать сигнал бедствия.

Эган заправил чистую белую рубашку в брюки.

— Вы просто напуганы, милая. И я это испытал, поверьте. Помните, как я боялся?

— Я не из пугливых, Чарльз.

— Это верно.

— Чего же я, по-вашему, боюсь?

Священник подошел к зеркалу и стал причесываться.

— Мало ли чего можно бояться. Мне кажется, больше всего вы боитесь Кампоса. Он вас преследует.

Джастин посмотрела на его отражение в зеркале.

— Чарльз! Это он убивает детей?

Эган не ответил. Кончив причесываться, он достал из-под кровати хозяйственную сумку, в которой держал Библию, и сунул туда бутылку с ромом.

Она двинулась за ним в рабочую комнату.

— Это Кампос убивает детей, Чарльз? — повторила она.

— Мне казалось, что вы подозреваете меня,— ответил Эган.

— Не вас. Кампоса.

---

[1] У Шекспир. Буря, акт III, сцена 2 *(перев. Мих. Донского).*

— И хорошо, что не меня. Я не убиваю. Не могу представить себе ситуацию, которая заставила бы меня кого-то убить.

Проследив за его взглядом на косогор, она подумала, что старик забыл, где он находится.

— Я тоже думал, что Кампос,— проговорил он наконец.— Был почти уверен. Но оказалось, что не он.

Джастин вдруг ощутила слабость в ногах, ей стало трудно дышать.

— Тогда я знаю кто. Это...

— Меннонит,— перебил ее Эган.— Перешел границу Никарагуа. Его там полиция разыскивает. Детство свое он провел там в чьем-то поместье, потом спятил. Верующий. Чудятся ему какие-то голоса.

— И вы его укрываете?

— В общем, да.

Она подошла к нему и, взяв за руку, сказала сдержанно:

— Вы поступаете глупо, этого нельзя делать. Он же маленьких детей убивает.— Она плакала, не замечая слез, стекавших по ее щекам; на подбородке образовалась большая капля.

— С тех пор как он пришел ко мне, он больше не убивает. Когда я даю ему таблетки, которые Мэри мне оставила, он уже не слышит тех голосов. Я добиваюсь, чтобы мой голос заглушил его голоса.

— А я была убеждена, что это Кампос.

— Я тоже. Однако не он.

— И дураки же мы. В этом окаянном месте мы с ума сойдем.

— Везде одинаково,— возразил он.— В любом месте. Всегда.

— Ну вот что. — Джастин зашагала по комнате. — Вот что.

Эган присел у стола возле рации и уставился в пол, покрытый циновками.

— Мы спешно готовимся к отъезду. А этого парня пускай упрячут за решетку, а потом отправят назад в Никарагуа. Это, конечно, жестоко, но ничего не поделаешь. Может, меннониты возьмут его под свою опеку.

Нельзя вести себя по-детски, размышляла она. Сейчас перед ней три задачи: не допустить, чтобы Движение погибло, попытавшись прибегнуть к помощи миссии; изолировать безумного молодого убийцу; благополучно возвратиться вместе с Эганом в Штаты. Я не испугаюсь. Долг свой я выполню, и если оплошаю, то пенять должна буду только на себя. Я ведь не пешка какая-нибудь.

— Да, вам записка,— вспомнил Эган.— От Лауры, вашей приятельницы. Кажется, она знает латынь.

— Вот как? — спокойно спросила Джастин. — Где эта записка?

Эган достал из кармана брюк смятую бумажку и тщательно разгладил ее рукой на бедре. Спокойно! — приказала она себе и, странное дело, тут же успокоилась.

Записка и вправду была написана по-латыни. На почтовой бумаге, печатными буквами:«Noli respondere ni necesse sit. Appara, et lumines custodi. Noli time». — «Не отвечайте без необходимости. Приготовьтесь и помните об огнях. Не бойтесь».

Джастин несколько раз перечитала записку, изо всех сил сдерживая волнение. Слово «огни», разумеется, означает, что надо ждать прибытия судна или самолета. Не гасить огни — это проще всего, если только они не вздумают войти в саму Французскую гавань. Но если высадка планируется именно здесь, то все участники операции будут истреблены, и тогда президент объявит национальный праздник, а Кампос получит медаль. Все так и будет, если она своевременно не предупредит их. Им нельзя сюда приходить и нельзя будет воспользоваться амбулаторией. Вместе с тем события развиваются неожиданно быстро, да и Эган путается под ногами. Кампос, как выразился священник, преследует ее, а сдаваться ему без борьбы она не хотела. Она должна хоть чем-то помочь Движению; это все-таки лучше, чем

тихо-мирно ретироваться из Текана. Она страстно желала бороться— вопреки страху или, пожалуй, благодаря ему. Допускала она и другой путь: бороться, одновременно отступая. Но такой путь, наверное, еще безрассудней — очень уж невелики ее возможности. Не от нее одной это зависит. Если ее записка попадет в руки людей, которым она предназначается, то поможет отвратить беду, с ней кто-то свяжется, поручит ей другое дело, стоящее дело. Обстоятельства сейчас таковы, что ей, вероятно, предложат выйти из игры, и тогда она вызволит отсюда Эгана и сама уедет с чистой совестью. Уже одно то, что она предупредит их об опасности, будет ценной услугой. Надежда, светлая и радужная, мелькнула в ее сознании, точно луч света в окружавшем их мраке.

Она жестом попросила Эгана освободить стул и, взяв словарь, принялась писать по-латыни: «Uti hoc loco non posse est in consilio. Congredi debemus. Gravis est».— «Это место нельзя использовать по плану. Необходимо встретиться. Срочно».

Этот текст Джастин написала на том самом листке, на котором начала писать радиограмму сестре Мэри Джо. С радиограммами надо подождать денек, пока не состоится встреча. Только состоится ли она?

Стол, за которым сидела Джастин, был залит красным светом заката. Но огни на причале она все равно гасить не будет.

— Жаль, что я не умею молиться,— сказала она.— Ах, как жаль!

— В сущности, в этом нет нужды,— возразил Эган.— Все и так хорошо. Несмотря на наши страхи.

— Черт возьми,— выругалась Джастин.— Неудивительно, что у вас есть приверженцы.

Было уже за полдень, когда Холливелл подплыл на катере к Плайя-Тате и, сойдя на берег, захромал в сторону небольшого пирса, что тянулся футов на тридцать от песчаного пляжа до первой гряды коралловых рифов. Чтобы защитить себя от палящего солнца, он надел хлопчатобумажные брюки, куртку и соломенную панаму. Впереди, на изгибе берега, виднелся тот самый пляж, где он наступил на морского ежа, и здание миссии с причалом, высокой верандой и деревянным крестом. Некоторым образом Холливелл шпионил.

На другом конце Плайя-Тате, под навесом из сухих пальмовых ветвей, расположилась приехавшая из города компания — кубинец, брат миссис Пас, владелец магазинов хозяйственных товаров, с друзьями, по виду тоже местными торговцами. Запыленный «форд», в котором они все приехали, стоял у обочины грунтовой дороги. Кубинец и его друзья пили «пинья-коллада»; напиток этот они приготовили в миксере, включенном в розетку на щитке автомобиля.

Более часа он просидел, наблюдая, как на коралловых отмелях играет солнце и мечутся серебристые барракуды. Он то и дело поглядывал в сторону пляжа перед зданием миссии. Вот где ему хотелось сейчас быть. Но чем он объяснит свое появление? На ногу уже не сошлешься. Однако желание увидеть Джастин не давало ему покоя.

Трудно под солнцем Плайя-Тате размышлять о высоких материях. И в привычных условиях такие понятия, как насилие и возмездие, жертвенность и справедливость, виделись Холливеллу-антропологу лишь отдельными поведенческими установками. Но это и есть факторы, которыми другие люди, как им кажется, руководствуются в своих действиях. Те самые люди, которые являются объектом его исследования и которые тоже считают, что чувствуют себя в современном мире как дома. Что такое война, он знал; знал или ему казалось, что знает, зачем люди воюют и как объясняют войну себе и дру-

гим. Неожиданно для себя Холливелл снова подумал: что он скажет дома, когда его спросят? Теперь-то он уже не сомневался, что спросят — ведь его же видели, когда он сюда уезжал. Можно ничего не сказать. Или сказать что-нибудь для отвода глаз, лишь бы отговориться. Одно он знал твердо: он выяснит, чего ради она обретается там, под этим деревянным крестом. Выяснит, что она чувствует, о чем думает. Остальное его не интересовало.

Он прилег на потрескавшиеся доски, положив панаму рядом, скрестил на лице руки и вдруг почувствовал, что над ним проплыла не то птица, не то облачко. Он сел, надел панаму и увидел, что в его сторону движется по кромке берега какая-то фигура. Это была она. Холливелл замер от удивления, хотя в глубине души еще надеялся, что она все-таки придет к нему.

Выпрямив спину, опершись рукой на край пирса, он ждал ее приближения. Она была в белом, и он нашел, что ей это к лицу. Широкие белые брюки, рубашка с короткими рукавами, на голове красный шарф.

Когда она подошла совсем близко, он увидел, что лицо у нее осунувшееся, бледное, глаза беспокойные, тревожные, голова понуро опущена.

Он окликнул ее и тут же услышал свой внутренний голос: «Ну и дурак же ты. Куда ты суешься, старый пропойца? Ведь глупо же». Но поздно, он уже заговорил. Она обратила на него отсутствующий взгляд. Он снял с головы панаму.

— А, это вы,— сказала она.

Он покорно кивнул.

— Вам нельзя быть на солнце. Как нога?

— Заживает. Не сидится мне в «Рае».

— Не нравится вам там?

— Так себе. Вы эту гостиницу знаете?

— Только издали,— ответила она.

— К сожалению, не удается надеть ласты. Так что вынужден довольствоваться теми культурными развлечениями, которыми они располагают.

— Жаль,— сказала она.— Потому что никакими культурными развлечениями они не располагают.

Холливелл попросил, чтобы она не уходила и поболтала с ним; он боялся, как бы голос не выдал его волнения. Пригласил ее присесть, но она продолжала стоять в настороженной позе.

— Как дела?

— В общем неплохо,— ответила она.

— Укладываетесь?

— Да. Укладываемся.

— Сколько вы здесь пробыли?

— Лет шесть.— Казалось, она прикидывает в уме.— Да, около этого.

— Наверное, жаль будет уезжать. Или не очень?

Джастин поджала губы. Видимо, хотела улыбнуться, но не смогла.

— Да, жаль. Оставляю все как было, хотя могла бы принести больше пользы.

— А какие дела вы имеете в виду? Теканские дела? Теканскую жизнь? — Он следил за выражением ее лица, стараясь уловить намек на подозрительность; он чувствовал себя агентом тайной полиции, который пытается выведать у подозрительной иностранки, что она знает о положении в его стране. Таких людей всюду хватает.

— Текан — бедная страна.

— С развитием туризма положение может улучшиться,— предположил Холливелл.

— Положение некоторых — да, улучшится.

— Но не campesinos?

— И некоторых campesinos. Если они будут хорошо вести себя и часто улыбаться.

— Не так-то много вычитаешь в газетах о местной политической жизни. В газетах США, во всяком случае.

— Это верно, — согласилась она.

— Кое-что все же пишут. Например, о партизанах в горах. Читаешь эти сообщения и спрашиваешь себя: а ты на чьей стороне?

— Это неплохо,— сказала она.

Он засмеялся:

— Людям нравится называть это банановой политикой.

— Еще бы.— Она попробовала улыбнуться, но вместо улыбки получилась горестная гримаса. — Это же банановая республика. Так ее и называют в газетах.

— Если оставить в стороне стратегические соображения,— сказал Холливелл,— то бананы стоят того, чтобы за них бороться. Любой диетолог вам это скажет.

— Неужели?

Холливелл встал, посмотрел ей в глаза. За пеленой страха он разглядел в них ясный свет.

— Кто не ест бананов, тот не получает нужного количества калия. Кто не потребляет достаточно калия, тот испытывает экзистенциальный страх.

— Я медицинская сестра, но слышу об этом впервые.

— Загляните в справочник. Один из симптомов калийной недостаточности — экзистенциальный страх.

— Вы ученый. Мне полагается верить вам на слово.

— Конечно. Теперь вы знаете, почему Текан — сфера жизненных интересов Соединенных Штатов.

— Не исключено, что Соединенным Штатам все же придется испытать экзистенциальный страх,— сказала она.

— Что, по-вашему, произойдет, когда вы уедете?

— Будут перемены. Я абсолютно в этом уверена.

— Как говорится, чем больше здесь перемен, тем...

Она отрицательно покачала головой:

— Не тех перемен.

— Вы имеете в виду... нечто вроде социалистического правительства? — Вопрос был поставлен грубо, и ему стало неловко.

— Хозяевами страны станут те, кто в ней живет. И тогда, пожалуй, нам придется платить немного больше за этот калий и за это чувство космической уверенности.

— Итак,— сказал Холливелл,— злодеи — опять же мы.

— Послушайте, здесь замечательный народ. Он страдает. У этих людей мрут дети, ими командуют, их убивают. Вот вам и вся политика. Они такие же люди, им тоже нужен шанс.

— И он у них будет?

— Если есть правда на земле — будет.

— А она есть?

— Да. Даже здесь. Правду можно найти и в Текане.

— Но ведь правда — это всего лишь слово. Нечто, существующее только в сознании людей.

— И этого достаточно,— сказала она.

Его не слишком интересовало то, что она говорит. Он и не собирался вызывать ее на откровенность, выяснять ее политические взгляды. Все его внимание сосредоточилось на ней самой и за то время, которое ему понадобилось, чтобы раскинуть паутину из каверзных вопросов, он понял, какие в ней бушуют страсти. Сколько сердечного огня, сколько чувства. Можно встретить немало engagés, и многие из них — честные и благородные люди. Но эта девушка — иная, душа у нее трепетная и чуткая, неустанно внимающая всем и всяко-

му. Сам Холливелл — человек другого склада, однако он сумел разгадать Джастин; недаром же он антрополог.

Нельзя всю жизнь прожить так высоко. Сердце не выдержит. Разум откажет. Ее глаза уже заволакивает печаль и потерянность. Она скорбит о себе и все надежды связывает с собой; да, это настоящий человек. В нем зарождалась любовь.

— Может быть, и достаточно,— согласился он.

— Даже здесь мы имеем дело с историей. Времена меняются. Народ заявляет свои права.

— Разве история работает на народ?

— Этого я, увы, не знаю. В конечном счете, возможно, да. А пока что он сам о себе заботится.

— Понимаю,— сказал Холливелл и подумал: скорбящая дева, порождение чуда. С нее достаточно, что народ сам о себе заботится. Пока что. Я еще расскажу тебе, дева, что такое война, несущая смерть. И тогда помрачнеют твои добрые, как у ребенка, страдальческие глаза. Груда отрезанных ушей за груду оружия. Заживо погребенные у берегов медленно текущих рек. Почерневшие тела северовьетнамских шоферов в кабинах обгорелых грузовиков.

Он вдруг представил ее в образе пронзенного копьем единорога [1]. А себя — старым пропойцей, глупым, сентиментальным слюнтяем.

Его влекло к ее белой добродетели, к ее милому облику, он жаждал окунуться в нее, как в целебный источник, и пить, пить, пить из него, пока не избавится от горького осадка своей жизни, своей войны.

Почему она глядит на меня с улыбкой? — спросил он себя и в тот же миг подумал, что знает почему, хотя сама она — он был убежден — не отдает себе в этом отчета. Не надо быть антропологом, чтоб догадаться.

Нет, на это он не пойдет. Он еще не пал так низко, он же порядочный человек. Но вожделение было, и он не стыдился себе в этом признаться. Его восхищали и трогали ее чистота, ее благоразумие.

— Итак, до завтра,— сказал он.

Улыбка сошла с ее лица; она взглянула на него немного растерянно и подняла усталую руку к голове.

— А про ужин-то вы и забыли? — усмехнулся он. — Да и развалины хочется посмотреть.

— Господи! Совсем вылетело из головы.

— Ну так как же?

— Не со... мной,— проговорила она запинаясь. — То есть я, наверное, не смогу. С вами пойдет отец Эган.

— Прекрасно. Но все равно мы увидимся.

— Да. — Она повернулась в ту сторону, откуда пришла, и, не глядя на него, добавила: — Берегите себя. Берегите ногу.

Холливелл с грустью посмотрел ей вслед, потом пошел вдоль берега, почти забыв о больной ноге. Примерно через полчаса он поравнялся с навесом, где отдыхали кубинец и его приятели. Его внимание привлек миксер. Удивительно, сколько в этой стране миксеров. Кажется, они есть даже у тех, кому едва хватает на пропитание. Было бы электричество. Кубинец помахал ему рукой, подзывая к себе.

Кубинец назвался Мигелем Сойером. Высокого роста, моложавый. Квадратное добродушное лицо, веселые глаза, выглядывающие из-под густых кельтских бровей. На сестру мало похож.

— Вы ныряли вместе с моим зятем? — спросил Сойер. Остальные трое вежливо молчали, посматривая на Холливелла из-за своих темных стаканов.

— Да,— ответил Холливелл.

Сойер представил ему своих друзей. Вид у них был довольно

[1] Сказочное животное с белым лошадиным туловищем и головой, оленьими задними ногами, львиным хвостом и длинным прямым рогом; символ девственности.

мрачный, но у респектабельных дельцов Юга такое выражение лица не редкость. Холливелла оно не беспокоило; у англосаксов одно представление о мужественных лицах, а у людей романского происхождения — другое.

— Там, под водой, красиво,— сказал Сойер.

— Прекрасно поныряли.

Сойер бросил взгляд в сторону миссии.

— Вы дружите с сестрой Джастин?

— Вряд ли это можно назвать дружбой. На днях как раз напротив миссии у меня случилась маленькая неприятность — наступил на морского ежа, а она извлекла из моей ноги иглы. Так мы и познакомились.

— Она медицинская сестра, а вы ее пациент? — усмехнулся Сойер.

— Да. — Холливелл взял предложенный ему стакан с «пиньяколлада».

— Весьма увлеченная женщина,— сказал Сойер. — Мы все тут ею восхищаемся.

— Она очень славная, правда?

— Да, очень славная. Una tipica [1] американка.

— Возможно.

— Я хорошо знаю Северную Америку. Когда-то говорил по-английски, но не имею практики.

Холливелл заверил его, что говорит он без затруднений. Остальные трое по-прежнему молчали.

— Я учился в Вашингтоне,— сообщил Сойер. — В Джорджтаунском университете. Готовился стать кубинским дипломатом, но тут к власти пришли коммунисты.

Холливелл промычал что-то неопределенное.

— Америка такая свободная. Этим она мне и понравилась. Так много возможностей.

— А предпочитаете жить здесь.

— Здесь мне больше подходит. Наверно, потому, что люблю тихую жизнь.

— Как у вас идет торговля?

— Неплохо. — Сойер продолжал смотреть в сторону миссии. — Говорят, сестра Джастин уезжает.

— Так она мне сказала.

— Стало быть, это правда?

— Наверно, да,— ответил Холливелл.

— По-вашему, она настоящая идеалистка?

— Полагаю, да. — Холливелл помолчал. — Вас интересует, не фальшивая ли она идеалистка?

Сойер шлепнул ладонью по колену и деланно засмеялся.

— Я неправильно употребляю слова,— сказал он. — Извините.

— Я заинтригован,— сказал Холливелл.— Хотелось бы знать, каковы взаимоотношения между миссионерами и местным населением. Хорошие? Сердечные?

— А почему бы и нет? Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Просто хотелось знать, какого вы мнения на этот счет.

— По-моему, эти миссионеры более чем славные,— сказал мистер Сойер. — Впрочем, американцы — моя слабость.

Холливелл счел уместным улыбнуться.

— Эта миссия... — Сойер запнулся. — Где сестра Джастин. Не представляю, что они там делают.

— Мне она сказала, что они чувствуют себя здесь лишними. Поэтому, наверно, и уезжают.

— У нас с вами... Я говорю как бы от имени Текана, потому что здесь мой дом. У нас с вами много общего. У нас общие враги.

[1] Типичная *(исп.)*.

— Справедливо,— согласился Холливелл.

— Величайший враг есть тот, кто внутри Америки. Вы не находите?

— То есть мы сами себе худшие враги?

— Я не это хотел сказать,— возразил Сойер. — Не совсем это.

— Политическая жизнь в Америке довольно противоречивая. — Холливелл помолчал. — Запутанная.

— От слишком большого комфорта, наверно. Все хорошо обеспечены.

— Не все.

— Ясно,— сказал Сойер. — Понимаю, что вы имеете в виду.

— Я не слишком силен в политике.

— А сестра Джастин? Вы считаете, что она сильна в политике?

— Нет, не считаю. Отнюдь.

Сойер насупился, пробормотал что-то и кивнул головой, как бы показывая, что получил важные сведения. Холливелл повернулся на стуле лицом к морю и с некоторым облегчением увидел, что катер Сэнди уже огибает внешнюю гряду рифов.

— Что-то я не вижу больше мистера и миссис Пас,— сказал он.

— Домой уехали,— сообщил Сойер. — Сегодня утром.

— Спасибо за угощение, мистер Сойер. — Он встал и кивком головы попрощался с его друзьями. Те кивнули в ответ.

— Надолго сюда?

— Нет, ненадолго. Просто немного отдохнуть захотелось.

— Слушайте, Холливелл. Отошлите катер обратно. Посидите, выпейте с нами, а мы вас потом отвезем.

Холливелл объяснил, что нога у него побаливает, да и писать надо.

— Да-да,— неожиданно подал голос один из друзей Сойера.— Писать.

Холливелл и в самом деле чувствовал себя неважно. Кружилась голова. Он вдруг вспомнил — впервые за все эти дни — о телефонных звонках в Сантьяго-де-Компостелу.

Когда они взяли обратный курс, Сэнди, стараясь перекричать шум мотора, спросил:

— Как нога?

— Лучше! Только ласты надеть не могу!

Сэнди ухмыльнулся:

— Вот и хорошо. Не буди лихо, пока спит тихо.

— Боюсь, что лихо уже проснулось,— пробормотал Холливелл.

Все утро у Джастин ушло на составление списка вещей и на поездку в город, в транспортную контору. Служащий конторы объяснил ей, что удобнее и дешевле отправить имущество миссии из Пуэрто-Альварадо, а не через столицу. В ближайшее время прибудет судно, на котором найдется достаточно свободного места.

Вскоре после полудня она возвратилась домой и прошла на кухню. Случайно обернувшись, вдруг увидела на веранде молодую теканку, с которой неделю назад разговаривала на берегу. Женщина поднялась по лестнице совершенно бесшумно. Имени ее Джастин так и не спросила.

— Наверное, я больше не смогу приходить сюда,— сказала молодая женщина. — Разве что в экстренных случаях.

Джастин пригласила ее на кухню.

— Вы правы. Не надо рисковать. Записку я послала вам через церковного сторожа.

— Я пришла сообщить вам ответ наших руководителей. Они согласны — вас уже нельзя вовлекать. Только огни не гасите — это все, о чем они просят.

— Не так уж много они просят.

— Они говорят, вы правильно делаете, что готовитесь к отъезду. Нам всем угрожает большая опасность. Если не начнем безотлагательно действовать, придется уходить в горы.

— Скоро?

— Наверное, да, но я мало знаю. Знают только руководители.

— Ну что ж,— вздохнула Джастин. — Стало быть, я устраняюсь.

— Устраняетесь. Но послушайте. Когда мы начнем, никто из нас не будет чувствовать себя в безопасности. У вас здесь медикаменты, и они нам понадобятся.

— Все лекарства я оставлю в амбулатории под замком. Они в вашем распоряжении.

— Если мы начнем, а вы задержитесь, то с нами вам будет безопаснее. Решайте сами. Я попробую известить вас заранее, но боюсь, что на это не будет времени.

— Спасибо. Обо мне не беспокойтесь.

— Они тоже вас благодарят. Руководители.

— Да.

Женщина повернулась и пошла. Джастин шагнула за ней и спросила:

— Как там отец Годой?

— Его нет. Уехал в Монтану.

После ухода женщины Джастин совсем пала духом. Уехать бы сейчас, исчезнуть. Стыдно сидеть здесь сложа руки, сознавая свою ненужность. Теперь главная забота — уговорить Чарли Эгана уехать вместе с ней.

При мысли об Эгане она вспомнила человека, которого встретила в Плайя-Тате,— с ним священник собирался ужинать. Очень самоуверенный и высокомерный до наглости. Ей казалось, что она испытывает к нему почти неприязнь. И в то же время что-то подсказывало ей, что это совсем не так. Видимо, он кого-то мне напоминает, подумала она.

И тут на нее навалилась вся тяжесть пережитого. Шесть лет жизни, все случившееся после того праздничного гуляния, Годой, убийства детей. Ее охватило чувство жалости к человечеству — чувство, которое она испытывала в детстве, стыдясь собственной заурядности, ничтожества, а еще больше — собственного тела и его пошлых потребностей, его цветущего вида, греховности, похотливости. Она почти перестала есть, морила себя голодом. Чувствовала, что не может остаться спокойной, не может собраться с мыслями, не может плакать. Стоя лицом к открытой двери, она не отрываясь смотрела на прямоугольник чистого неба и чего-то ждала.

Он оставил свой прокатный джип у обочины, поднялся по лестнице в миссию и у порога кухни столкнулся с ней лицом к лицу. Она встретила его недобрым, отчужденным взглядом.

— Известно ли вам, что я еще не знаю, как вас зовут? — спросил Холливелл.

— Джастин Фини.

Она показалась ему озабоченной, усталой.

— Отец Эган здесь?

Она покачала головой:

— На развалинах. Не сомневаюсь, что про ужин с вами он забыл. Мне следовало предупредить вас, что так может случиться.

— Я, пожалуй, схожу к нему, поболтаем.

— Это далеко,— сказала она. — Скоро стемнеет, вы заблудитесь. Да и не поедет он с вами. Ему уже не до ужинов. Плохи его дела.

Холливелл обернулся на открытую дверь, взглянул на небо.

— Ну, нет так нет. Руины хотя бы погляжу.

— Как ваша нога?

— Прекрасно. — Холливелл внимательно посмотрел на Джастин: она стояла в той же позе, в какой остановилась при его появлении.

— Я вижу, вы и автомобиль взяли,— сказала она.— Мне жаль, право.

— Ничего не поделаешь.

— Хотите коньяка?

— Конечно.

Она сходила в амбулаторию и принесла маленькую бутылочку лекарственного коньяка и бутылку минеральной воды.

— Выпейте и вы,— предложил Холливелл.

Она словно не слышала.

— Я бы сама проводила вас до этих руин, если б не так поздно. Но сейчас поздно. В темноте вы там ничего не разглядите.

— В другой раз. — Он отпил из стакана, чувствуя на себе ее взгляд. — Послушайте, а что, если вам поехать со мной? Не хочется возвращаться в отель.

— Нет. — Она нервно засмеялась. — Это невозможно.

— Ясно. — Холливелл продолжал сидеть. — А нельзя ли еще коньяка?

— Я бы не советовала. У вас же организм отравлен.

— Нога прошла. А организму не мешает немного подкрепиться.

— Нельзя вам,— повторила она.

— К черту. Проверил уже. Можно.

— Ну хорошо.

Она принесла еще две бутылочки коньяка и бутылку воды. На этот раз налила не только ему, но и себе.

— Что-нибудь не так? — спросил Холливелл, вглядываясь в ее лицо.

— Я передумала. Хочу поехать с вами в город. Поужинаем.

— Правда?

— Да. Пожалуйста.

Холливелл неуверенно улыбнулся.

— Очень рад,— проговорил он наконец.

— Мы могли бы пойти в китайский ресторан. Там вполне пристойно.

— Согласен.

Что ее так беспокоит? — думал он. Вряд ли мое теперешнее плохое настроение, моя неприкаянность... И вряд ли она тревожится о моей больной ноге. Она явно чем-то расстроена, глаза широко раскрыты, взгляд неподвижен, ей не хватает воздуха, словно ее ударили. А глаза у нее, между прочим, прекрасные.

— Давайте лучше я сяду за руль,— сказала Джастин. — Если хотите, свою машину можете оставить пока здесь.

— Боитесь, как бы я не потерял сознание?

— Все может быть. Я подумала, что так вам будет удобнее.

— Вы очень добры. Я согласен.

Как она старается держать себя в руках! Даже улыбается, будто ей и впрямь хочется с ним поехать. Но полностью скрыть тревогу не может. Наверное, я зря приехал, думал он, потягивая коньяк. Чего-то она боится. И хотя он, конечно, не шпион и не доносчик, хотя его визит носит безобидный характер, он ей не компания.

Они ехали среди безмолвия вечерних сумерек, быстро сменявшихся ночью. Справа от них призрачным блеском светилось море; слева возвышалась темнеющая громада сьерры. Машина мчалась по краю берега. Холливелл чувствовал, что в нем растут возбуждение и тревога. Он бросал мимолетные взгляды на огни в очагах за решетчатыми дверями домов, на костры, горевшие на тростниковых полях. И на сидевшую за рулем незнакомку с застывшим лицом, стоическую

твердость которой он, как ему казалось, подвергает испытанию. И все же здесь было хорошо; с моря дул свежий ветер — все тот же ниспосланный богом, неподвластный времени ветер. А навстречу ему веяли другие ветерки, несущие с собой запах йода, джакаранды, запахи разогретого растительного масла, навоза, благовоний, смерти. Запах переворачивающегося мира. Запах войны.

Его место не здесь. Он предпочитает жить там, где переворачивающийся мир окутан иллюзией покоя, где дремлет душа и где сны — всего лишь сны. Эта ночь, напоенная роковыми запахами, заставила его насторожиться, напрячься. Здесь идет война; его нервные окончания подрагивали, словно от орудийных выстрелов, которые он слышал почти как наяву.

— А здесь красиво,— сказал он, когда машина свернула и с натугой пошла на подъем к невысоким скалам, возвышавшимся над устьем реки.

— Наверно,— проговорила молодая незнакомка. Монахиня.

Подняв глаза выше тусклых уличных фонарей и кольца огней вокруг Альварадо, он увидел далеко в море крошечный огонек сигнального маяка. Должно быть, Камарильо, решил он. Ближайший из островов Корасон. Прекрасный остров. Когда-то у него там были друзья. Он знал, что на этот раз не увидит его.

Пока они спускались к городу, Холливелл украдкой поглядывал на Джастин. Казалось, все ее внимание сосредоточено на дороге; она сидела прямо и неподвижно, на ее лице застыла легкая болезненная гримаса. Застыла как изваяние, прекрасное, изумительное изваяние. Разве бывают такие монахини? А сейчас, когда весь ее вид выдавал непоколебимую решимость, в этой красоте ему чудился блеск клинка — обнаженного, готового к бою.

— В общем, неплохой городок,— сказал он, стараясь перекрыть шум двигателя.

Она кивнула, не глядя на него, приоткрылись нежные губы и обнажили верхний ряд белых зубов. С этого момента он уже не в силах был оторвать от нее взгляд. Во всем мире для него теперь существовала только она. Волею судеб он должен был найти ее и полюбить. На свою беду. На беду их обоих.

Она провезла его по немощеным улицам вдоль квадратных домов к «Гран мура де Чина». Светло-зеленое деревянное здание, расположенное около реки, внутри было отделано с некоторой претензией на китайский стиль. Столы покрыты пластиком, с потолка свисали фонарики с бахромой, за стойкой щелкала на счетах бледная пожилая китаянка, а на стене, у нее над головой, висел дешевенький гобелен с изображением дракона. В глубине зала в конце длинного стола сидели четверо офицеров с греческого судна и ели бифштексы с яйцом.

Джастин обменялась с китаянкой обычными приветствиями и провела Холливелла наверх, на балкон, обращенный к реке, от которой попахивало гнилью. Но дул довольно прохладный ветерок, так что сидеть здесь было приятнее, чем внизу. Драконы драконами, а из еды в этом ресторане могли предложить только неудобоваримые бифштексы с яйцом и jalapeños [1]. Для начала они попросили пива. Обслужила их девочка-китаянка лет двенадцати.

— Вы, наверное, были очень молоды, когда сюда приехали,— сказал Холливелл.

— Двадцать два года. Тогда я только что закончила у них — у девоционистов — школу медицинских сестер.

Его подмывало спросить, не привлекло ли ее сюда желание увидеть страну, где «никогда не кончается весна», но он удержался.

— Что вас привело к девоционистам?

— Наверное, объявление в газете,— ответила она.— Глупо, правда?

[1] Мексиканский перец *(исп.)*.

Он удивился, но ничего не сказал.

— Школу медицинских сестер я закончила в Лос-Анджелесе. А вообще-то я из провинции Фэрфилд, штат Айдахо. Лос-Анджелес мне не понравился. Я была набожна и все такое.

Набожна. И все такое. Ну разумеется, подумал он. Хотелось зажить более полноценной жизнью. Более полнокровной.

— Мне всегда казалось, что они отстали от века. Я хочу сказать — больше, чем другие ордена.

— Нет,— возразила она. — Не больше, чем другие. В их рядах немало женщин, хороших врачей.

Он одобрительно закивал головой.

— Многие верующие считали их ирландцами низшего сословия. Возможно, и до сих пор считают.

— Кому как не мне это знать,— сказал Холливелл. — Я ведь отчасти иезуит. В том, что вы говорите, есть доля правды.

— Вот я и есть та самая доля правды. — Ее голос напоминал прозрачный ручей, катящий свои воды через гладкие камни. Золотистые искры на галечных отмелях в южном рукаве реки Салмон. Настоящее золото в куче пирита.

— Почему вы учились на медицинскую сестру, а не на врача? Только не подумайте, что я не ценю профессию сестры.

— Престижная сторона этого дела меня не волнует. Наверное, тогда мне просто в голову не пришло, что я могла бы стать врачом. Девчонка я еще была, понимаете?

Она отхлебнула пива, прижала к губам бумажную салфетку и внимательно посмотрела на него.

— Знаете что? По-моему, вы не совсем в своей тарелке. Как вы себя чувствуете?

— Я-то чувствую себя превосходно,— сказал он, растягивая слова. — А вот вы... Не обижайтесь, но мне кажется, что вы сами не в своей тарелке.

— Да ну? — Она принужденно засмеялась.— Да, вы правы. Потому что мы уезжаем. И забот у нас много.

— Забудьте о них хотя бы на время. Вы же развлечься сюда приехали. — Холливелл подозвал девочку-официантку и попросил еще пива.

— Ужасное пойло это пиво,— сказала Джастин.

— Верно. — Хочешь не хочешь, а придется рассказать ей и про Марти Нолана, и про Оскара Окампо. И объяснить свое поведение, что труднее всего. Ведомый слепым случаем, стечением обстоятельств, порывом, влечением, он действовал настолько необдуманно, что его поступки не имели никакого логического объяснения. Как объяснить ей, в каком он здесь качестве? В качестве агента Нолана?

Если не говорить, зачем он сюда приехал, то опасность, которая ей, видимо, угрожает, лишь усугубится. А если сказать, то под угрозой, по всей вероятности, окажется он сам.

— Я много слышал о вас,— сказал он. — Вы пользуетесь здесь широкой известностью.

— А что вы слышали?

— Говорят, что вы левых убеждений.

— Кто говорит?

— Местные. После нашего последнего разговора я познакомился в Плайя-Тате с одним человеком. Судя по всему, он вас недолюбливает.

Это сообщение как будто не удивило и не встревожило ее.

— Есть люди, которые меня просто ненавидят. Я у них как бельмо на глазу. У Гвардии, например.

— Это любопытно. Отчего же?

Она махнула рукой.

— Когда открылась миссия, я увлеклась делом, которое им не понравилось. Например, обучала женщин уходу за больными, а это, оказывается, тоже политика. Были и другие дела в таком же роде. Что бы я ни делала, все выводит их из себя. К тому же я дружила с некоторыми служителями церкви, которых подозревают в оппозиции к правительству. И дружу до сих пор.

— Не вижу тут ничего плохого.

— Вы, может, и не видите, а для Гвардии и этого достаточно.

— По-моему, с Гвардией конфликтовать опасно.

— Я уезжаю, так что моя война кончилась. Они победили. Я покидаю поле боя.

— Тот человек в Плайя-Тате довольно неприятный.

— Как его фамилия?

— Не разобрал.

— Кубинец?

— Похоже.

— Я знаю, кто это. У него тут большое дело, он хозяйственными товарами торгует. При встречах он держится достаточно вежливо. Но, насколько я понимаю, имеет зуб на Фиделя.

— Страшновато все это,— сказал Холливелл.

— Они шпионят за мной. Гвардейцы. Это, пожалуй, все, что они сейчас могут.

Холливелл вдруг понял, что она боится. Потому и нервничает. Будь рядом друг, ей было бы спокойнее, подумал он. А рядом только я.

— Надеюсь, вы ведете себя осмотрительно?

— Вам тоже надо держать ухо востро. — Она окинула взглядом зал — Уехать бы вам отсюда, пока не началось.

— Это неминуемо?

— Я знаю лишь то, что люди говорят. А говорят они... многое.

Принесли пиво, и Джастин поспешила переменить тему.

— Две кружки вам нельзя,— сказала она.— Заболеете. Придется одну выпить мне.

— Сочувствую. Вы молодчина.

— Еще бы, черт побери. Это не пиво, а конская моча.

— Не по-монашески выражаетесь, а?

— Слова эти есть у Шекспира. В «Буре». — Лицо Джастин вдруг опечалилось.

Холливелл счел, что в шутливом тоне с ней разговаривать легче, хотя его и покоробило слово «моча», пусть даже взятое из «Бури». Он еще никогда не был влюблен так, как сейчас. А пиво действительно ужасная дрянь.

— Доставило ли вам удовлетворение шестилетнее пребывание здесь? Я хочу сказать...

— Вас интересует, принесли ли мы нашей пастве душевное просветление и телесное здоровье?

Он поборол в себе желание извиниться перед ней за бестактность и просто ответил:

— Да.

— Не пастве. Себе. Все, что мы делали, мы делали для себя.

— Каждый человек в конечном счете все делает для себя.

— Вот как вы просто.

— А вы ждали большего?

— Я сама не знаю, чего ждала.

Зато я знаю, подумал Холливелл. Но он понимал, что знает не все. Он избегал встречаться с ней взглядом; смотреть ей в глаза мучительно, потому что она ничего не умеет скрывать. Ни страха, ни гордыни. Слово «больше» преследовало ее. Чего бы человечество ни достигло во имя добродетели, чем бы ни жертвовало, какие бы добрые дела ни совершило, она хотела большего, хотела всего, слов-

но этого заслуживала. И умна, и умеет владеть собой, а гордыню свою унять не способна.

— Что вы будете делать, когда вернетесь в Штаты? — спросил он.

— Прежде всего откажусь от монашества. Церковь — не моя стезя. Я не верую. И монахиня я фальшивая.

— Что бы вы о себе ни говорили, сударыня, а слово «фальшивая» вам не подходит.

— Мы все испортили,— сказала она.— Пользы не принесли, только навредили.

Вот женщина, одержимая страстью к абсолюту, думал Холливелл. Она не способна на компромисс, для нее компромисс — все равно что власяница на голом теле; не прощая ни себе, ни другим, она в конце концов бунтует. Не представляет, какое чувство вызывает такое отношение к жизни у мелких, слабых людишек, стремящихся любой ценой удержать власть. В их глазах она Враг, Немезида, Кассандра. Над ней нависла серьезная опасность.

Он посмотрел в окно и увидел рыболовное судно, плывшее к месту стоянки. Два палубных матроса подавали сигналы красным и зеленым фонариками. Он перевел взгляд на Джастин, неторопливо принявшуюся за еду (хотя видно было, что она сильно проголодалась), и сказал:

— Возможно, вы ставили перед собой непосильную задачу. Мне кажется, в этой стране трудно сделать что-нибудь стоящее.

— Мы пытались. Не с того конца начали.

— Уж не знаю, какой конец правильный.

Джастин задумалась.

— Но он должен быть.— Она помолчала.— Я рада, что вы перестали задавать мне вопросы. Мне было трудно отвечать.

— Извините,— сказал Холливелл.— А почему, вы думаете, я задавал вам вопросы?

Она натянуто улыбнулась.

— Видимо, любопытствуете, чем живут и дышат люди нашего круга. Вы — мыслящий турист, который желает получить за свои деньги все, на что он рассчитывал. Для вас мы — часть местного колорита.

— Очень уж нелестно вы толкуете мои добрые намерения,— заметил Холливелл.

— В этих краях добрые намерения чреваты неприятностями. Ну, угадала я хотя бы отчасти?

— Нет, не угадали. Расспрашиваю я вас потому, что вы мне нравитесь. И еще потому, что я антрополог. Таков мой способ общения с людьми. Другого не знаю.

— Но сперва вы должны заручиться их доверием. Это даже тупоголовым миссионерам понятно.

— Мне очень хотелось бы заручиться вашим доверием,— сказал он.

— А зачем? Вы же здесь всего лишь проездом. На что вам мое доверие? Извините, пожалуйста, я делаюсь несносной. Не очень-то я приятная собеседница.

— Поверьте, сударыня, что лучшей собеседницы, чем вы, я не желаю.

— Чем я? — Она недоверчиво посмотрела на него.

— Как я уже сказал, вы мне нравитесь. Если бы не нравились, я не стал бы вам этого говорить.

— Вы одиноки? — спросила она. Нелепый вопрос.

Он усмехнулся:

— Всегда. И следовательно, достоин вашего внимания.

Она посмотрела на него, но теперь спокойнее.

— Вот не думала, что такой человек, как вы, может быть одино-

ким. Мне, наоборот, казалось, что уж вы-то живете насыщенной, интересной жизнью.

— Вы меня разыгрываете. — Холливелл почти не сомневался в ее искренности, и все же ему хотелось увериться. Никто из тех, кого он знал, не сказал бы этого без иронии.

— Ну что вы. И не думаю разыгрывать. Я бы рада была, если б не... обстоятельства.

— Давайте... — Он помолчал, подыскивая нужные слова. Он ужасно боялся потерять ее. — Давайте отложим обстоятельства в сторону.

Она бросила на него такой печальный и красноречивый взгляд, что ему тяжело стало смотреть ей в лицо.

— Не так это просто — отложить.

— Выйдем отсюда,— предложил он,— иначе я закажу еще пива. Там, у реки, можно пройтись? Достаточно прохладно?

Ее лицо осветилось едва уловимой улыбкой, в глазах заблестели озорные огоньки. Он затаил дыхание.

— Вас интересует, насколько безопасно для туриста гулять в этих местах? Довольно безопасно.

Когда они спустились вниз и Холливелл стал перебирать грязные теканские деньги, чтобы расплатиться за ужин, ему показалось, что Джастин положила свою аккуратно сложенную бумажную салфетку на край стойки. Тогда Холливелл не придал этому факту значения, однако он запечатлелся в его памяти.

К ресторану примыкал маленький неухоженный парк; от берега реки его отгораживал порядком поломанный заборчик, возле которого стоял киоск для продажи мороженого. По некошеной лужайке бегало несколько малышей, огибая трех пьяниц, видимо напившихся водки из сахарного тростника. На единственной скамье расположился темнокожий старик в панаме. У него был такой вид, словно он просидел на этой скамье весь день.

Холливелл и Джастин побрели вдоль заборчика по узкой paseo [1].

— Единственная опасность — кокосовые орехи, — пошутила Джастин. — Люди никогда их с деревьев не снимают.

— Подадим на них в суд.

— Желаю удачи.

Река впереди становилась шире, готовясь слиться с морем, раствориться во мраке. Огни бакенов метались на приливной волне, бежавшей навстречу медленному течению.

— Вы хромаете,— заметила Джастин. — Надо же, поранили ногу.

— Это я нарочно. Чтобы выманить вас на берег.

— Вы же не знали, что там живу именно я.

— Верно.

— А я вот не умею притворяться. И очень доверчива. — К его облегчению, она засмеялась. Он чувствовал себя лжецом, и ему было совестно. Впрочем, какой же он лжец — он ведь действительно не знал. — Но не могла же я не прийти к вам на помощь.

Конечно, он должен будет все ей рассказать. Только не сейчас, когда она рассеялась и хочет приятно провести время.

— Когда вы думаете вернуться в Штаты? — спросил он.

— Трудно сказать. Как только закончим дела.

— А чем вы там займетесь, когда станете мирянкой?

— Подыщу себе работу. У меня диплом медицинской сестры. Могу и в медицинский колледж пойти, если мне одолжат денег. — Она взглянула на него с легким укором. — Ну вот, опять вы задаете вопросы.

— Вынужден задавать. Сами-то вы ни о чем меня не спрашиваете. Иначе как мы узнáем друг друга?

---

[1] Дорожка, проход *(исп.)*.

— Мы никогда не узнáем друг друга. — Они дошли до конца заборчика и остановились. Дальше была только грязь, пни мангровых деревьев, мрак. — Как ни жаль, а я должна возвращаться. Едем обратно? Господи, забыла, как вас зовут.

— Фрэнк. Да, конечно. Едем обратно.

Окутанные ночной мглой, они двинулись в обратный путь; всю дорогу оба молчали — каждый думал о своем. Джастин сидела за рулем прямая, как тростинка. Холливеллу чудилось, что он снова едет по автостраде номер три, где его застигла ночь, и вот-вот нарвется на мину или на засаду, так что придется спасаться где-нибудь в канаве, если таковая найдется.

Когда джип остановился перед зданием миссии, они некоторое время сидели, прислушиваясь к ночным звукам.

— Господи, до чего же я ненавижу это логовище,— сказала Джастин. — И все, что с ним связано.

Холливелл вылез из машины. Джастин сидела на месте.

— Да не терзайтесь вы так,— посоветовал он. — Все останется позади, а вам будет урок. На многое вы и не могли рассчитывать.

— Шесть лет, черт побери. — Она вынула ключ из замка зажигания, вылезла из машины и стала ходить возле нее взад и вперед. — Мы многое могли бы сделать. Могли бы помочь людям защитить себя... от этих американских подонков, от банды головорезов, которые здесь всем заправляют. А не раздавать подачки Корпуса мира и святую воду. Только теперь уже поздно.

Он обошел машину и стал рядом с Джастин.

— Извините,— сказала она. — Разболталась я.

Она повернулась к нему измученным, осунувшимся лицом. Он видел, что она едва сдерживает слезы.

— Для вас ничего не поздно, Джастин. Вы молоды.

Она прикусила губу и опустила голову, в ее глазах вновь появилось паническое выражение, как у загнанного животного. Его рука будто сама собою протянулась к ней и взялась за кисть ее дрожащей руки. Но ладонь у нее была сухая; тонкая, изящная, она утонула в его большой потной ладони.

— Меня зовут Мэй,— вдруг проговорила она. — Я в мае родилась.

— Я подержу вас немного за руку, Мэй. Вы дрожите.

Она подняла голову и уставилась невидящими глазами куда-то мимо него, сквозь него.

— Нет,— сказала она. — Здесь не место. Вы не знаете, что со мной делаете. Не можете знать.

— Вы попали в беду,— сказал он. — Мне так кажется. Завтра я к вам приеду.

— Нельзя вам приезжать.

— До завтра. Если не захотите меня видеть — прогоните.

Она молча покачала головой.

Он заставил себя отпустить ее руку, отошел к своей машине и открыл дверцу.

Отъезжая, он взглянул на нее и попытался улыбнуться.

— Будьте осторожны,— услышал он ее голос. Голос Мэй.

В столовой «Рая» было полным-полно народа. Такое шумное многолюдье удивило Холливелла: он не брал с собой часов, и ему казалось, что уже поздняя ночь. Он остановился под пальмами, приглядываясь к сидевшим в столовой. В этот момент кто-то окликнул его по имени. Холливелл обернулся и увидел улыбающегося мистера Сойера. Он сидел рядом с мистером Хитом, а напротив них, за тем же столиком,— Ольга и Бадди. При виде Холливелла все почему-то оживились.

— Что вы там делаете в темноте, Холливелл? — добродушно спросил кубинец. — Зайдите выпить.

Какая странная, разношерстная компания, подумал Холливелл. Стоя под пальмами, он вообразил, что может незаметно наблюдать за публикой.

— Идите сюда,— позвал его Хит. — Расскажите, что и как. Расскажите про монахиню.

Он не стал задерживаться у их столика и прошел прямо к бару, где в два ряда стояли люди.

— Дать бы этому подонку по шапке,— пробормотал сосед Холливелла, но обращался он не к Холливеллу и имел в виду кого-то другого.

Холливелл спросил, где телефон, но никто ему не ответил. Бармен тоже молчал.

Он повторил свой вопрос. Тогда бармен провел его в комнату рядом с кухней, где сидел какой-то молодой испанец, обложенный конторскими книгами. Холливелл напрягся и сделал все возможное, чтобы его приняли за психопата. Он кричал, бранился, угрожал, умолял допустить его к телефону. В конце концов испанец признался, что в гостинице есть радиотелефон, но связь эта ненадежная, к тому же весьма дорогостоящая; однако он попробует соединиться со столицей и разыскать капитана Зекку.

Наконец заветная трубка оказалась в руке Холливелла. Сквозь гул голосов, доносившихся из бара, он стал прислушиваться к хаосу звуков в эфире. К своему удивлению и облегчению, он все-таки дозвонился до посольства. Ему ответил охранник — морской пехотинец; связь оказалась надежной. Отличная связь.

Холливелл попросил охранника дать ему номер домашнего телефона капитана Зекки. Тот вежливо попросил подождать. Через минуту к телефону подошла дежурная по посольству. Когда он повторил свою просьбу, последовала долгая пауза. Потом женщина сказала, что сейчас выяснит. И вдруг раздался голос:

— Капитан Зекка слушает.

— Том, это вы? Говорит Фрэнк Холливелл.

— Да, сэр,— ответил Зекка. — Узнал.

— Я на побережье, недалеко от Альварадо.

— Я знаю, где вы находитесь, сэр.

— Мне необходима ваша помощь,— сказал Холливелл. — Тут есть люди, которые нуждаются в защите. Потому что здесь ожидаются беспорядки.

— Нельзя ли выражаться осторожнее, мистер Холливелл? Если вы не будете выражаться осторожнее, я не смогу вас услышать.

— Что?

— Говорите осторожно, Холливелл.

— Должен же я сообщить вам, какая здесь обстановка. Как я могу это сделать?

— Обстановка нам известна. Но она не в компетенции нашего учреждения.

— Что вы хотите этим сказать, Зекка?

— Я хочу сказать, что она вне нашей компетенции. Вы с ними поговорите. Там.

— С ними? Там? С кем и где?

— Холливелл, нам придется прекратить этот разговор, если вы не будете говорить осторожно. Я имею в виду тех, кто этим занимается. Вы же знаете, о ком я говорю.

— Едва ли... Едва ли я их знаю.

— Знаете, Холливелл. Они-то вас знают.

— Ах, эти. Да. Понимаю.

— Ну разумеется. Я в этом не сомневаюсь.

— Но они ошибаются,— сказал Холливелл. — Поэтому я вам и звоню.

— Несуразный у нас разговор. Если вы считаете, что они ошибаются, так им и скажите.

— Не думаю, что их заинтересует моя точка зрения.

— Слушайте, дружище, это их дело. Не мое. Вы уж сами с ними разбирайтесь.

— А вы-то можете что-нибудь сделать?

— После. Возможно.

— После чего?

— Бросьте, Холливелл. Не тяните душу, дружище.

— Я не знаю, что предпринять.

Зекка вздохнул.

— Положитесь на свой здравый смысл. Чему быть, того не миновать. Поговорите с ними.

— Понимаю,— сказал Холливелл.

— Понимаете? А я — нет. Ну, я кладу трубку.

— Хорошо.

— Пока, комбинатор. Сидите спокойно, не вибрируйте.— Зекка положил трубку.

Когда Холливелл вернулся к бару, кубинца за столиком рядом с Хитом не было. Он заказал себе виски, и почти тут же появился Сойер; он шел в столовую со стороны коттеджей. Вид у него был озабоченный. Он бросил взгляд на столик, где сидели его собутыльники, потом стал внимательно разглядывать публику возле бара. Глаза их встретились. Кубинец узнал Холливелла, и озабоченное выражение лица сменилось у него фальшиво-приветливой и в то же время презрительной улыбкой. По спине Холливелла пробежал холодок; чтобы отогнать страх, он выпил виски несколькими большими глотками и, пройдя мимо Сойера, вышел во тьму.

Всю ночь Холливелл не сомкнул глаз, хотя и пролежал до рассвета в постели. А когда взошло солнце, он был уже возле миссии; выйдя из машины, он стал прохаживаться по узкой полоске пляжа.

Вид океана действовал угнетающе. Холливелла не обманывали ни игривые волны, рассыпавшиеся кружевной пеной, ни нежные цвета радуги, возникавшей в водяной пыли. Он знал, что скрывается за этими дешевыми красотами. Океан вызывал в его памяти знакомые видения: разукрашенная цветами повозка с трупами, яркий тюрбан на голове прокаженного. Однажды в Дананге он встретил больного проказой в тенниске с надписью «Поцелуй меня»; возмущаться не стоило — разве виноват этот прокаженный, что на купленной им тенниске какому-то остряку пришло в голову написать такие слова.

Долго стоял Холливелл у воды. Всего в нескольких шагах от него под синевато-серыми водяными валами таилась бездонная стихия. Она будоражила бренную плоть, сулила обратить в явь все, о чем думалось: и радость малых воспоминаний, и страх перед холодной, безмолвной смертью.

А явь между тем представала тоскливой и тревожной. Он хотел ясности, но ее не было. Ему казалось, что полная ясность недоступна человеку даже на очень короткое время. Бродишь в тумане среди призраков; не успеешь выбраться на свет, как снова попадаешь во мглу — и так все время. Одна иллюзия превращается в другую, возникает сплошная цепь галлюцинаций без конца и начала: желания, страхи, ужасные видения и манящие огни, собственный бред, чужой бред... Этим ты и живешь, пока бьется сердце.

Он влюблен — этого он не забыл. В Мэй. А ее преследуют.

Он закурил, обернулся и увидел ее на дороге. Затенив от солнца ладонью глаза, она ждала, когда пройдет маршрутный автобус. Он бросил недокуренную сигарету в прозрачную воду. Она подошла

к нему по сухим пальмовым листьям и мертвым водорослям, усеявшим берег; сердце у него бешено заколотилось. Что это? Любовь? Жажда новых ощущений, рожденная фантазией? Еще одна доза наркотика в остывшей крови? Новая волна страсти в мрачном подземелье сознания?

Она стояла перед ним — светловолосая, дрожащая на утреннем солнце. Ты хочешь быть рядом с ней, говорил он себе. Конечно, хочешь. Тебе надо избавиться от чувства одиночества. Преодолеть каким-то способом могильную разобщенность двух существ. Любой человек на твоем месте хотел бы того же.

Холливелл начал говорить, но, взглянув на ее лицо, замолчал. Он понял: ей чужд тот гибельный хаос, в котором обитает он. Она живет в некоем тайном согласии с миром вещей; ее красота есть выражение внутренней убежденности. Такая женщина может жить, умереть, сделать выбор со спокойной совестью. Может творить молитву, лечить больных, отправиться в поход с апокалипсическими легионами. До такой степени она была похожа на видение.

Она, конечно, сбита с толку. Нет у нее ни опыта, ни хитрости. По наивности ищет опоры в нем, а он сам бредет по жизни как слепец. Видела ли она всю его ненадежность? Или просто положилась на здравый смысл, который ее и подвел?

Такие люди, как она, опасны для Холливелла и ему подобных: они побуждают к действию. И вот сейчас ему предстоит полюбить ее или погубить. А может быть, полюбив — погубить.

Но ведь он человек честный, по крайней мере таким его считают. Не лишен благородства, способен на жертвы. Вот и расплата: Джастин не просто побуждает его к действию, а толкает в пропасть — ставит перед выбором.

Он закрыл глаза, потом открыл их; его снова мутило от страха, бессонницы и алкоголя.

— Все-таки приехали.

— Как же иначе.

Они пошли рядом по песку, потом поднялись по лестнице в амбулаторию. На плите варился кофе; она налила в чашки ему и себе.

Помедлив, он спросил:

— А что, если я попрошу каплю коньяку к кофе?

Она быстро встала и принесла маленькую бутылочку с коньяком. Дрожь у нее еще не прошла, лицо почти ничего не выражало.

— Я человек пьющий,— сказал он.

— Знаю. По лицу вижу. По некоторым размягченным чертам.

Удивленный, задетый, Холливелл вскинул голову.

— Оно у вас где-то жесткое, а где-то вялое,— объяснила Джастин. — Некоторые черты резкие и вроде бы злые, а некоторые мягкие.

Он устало кивнул.

— Лицо ваше я уже достаточно хорошо изучила. Я думала о вас.

Ему хотелось узнать, что она о нем думает. За кого его принимает.

— Вчера вечером я почувствовала, что очень сблизилась с вами.

— Так оно и было.

— Я знаю. Такое редко со мной случается. А как с этим быть — ума не приложу.

Он потянул за края тонкой сети, на которую она ступила. Он сказал:

— Я в вас влюбился. Другого слова не подберу.

Он коснулся ее рукой. Благодарность, радость, раскаяние — все эти чувства слились в одно. Двое голодных и видимость достигнутой цели. Ее цель казалась ему яснее, чем собственная.

...Он не сразу почувствовал, что она уже чужая. Он не мог понять, как это произошло. Повернулся на кровати, взглянул на ее ли-

цо и увидел, что потерял ее. Она молча кусала губы, ее глаза блестели от слез. Слишком многого он ждал от их близости; странная наивность с его стороны. Да и она, конечно, ждала гораздо большего. Он имел глупость докучать ей вопросами: все ли в порядке, не больно ли, было ли ей приятно. Этим он лишь отталкивал ее от себя. Каждый его нудный вопрос, каждая вежливая фраза отчуждали ее еще больше.

Он встал, помылся у раковины, подошел к окну. Откинул ставень и снова посмотрел на океан.

Там море, здесь — женщина. И между ними — он сам. Все опять врозь — одинокие, неподвижные. Иллюзия единства исчезла.

Когда он повернулся лицом к ней, она сидела на кровати, завернувшись в простыню. Он заметил на простыне пятна крови и отвел глаза в сторону. Странно улыбаясь, она заговорила тихим, каким-то неживым голосом:

— «Коль стану твоей на рассвете женой, поднимешь ли флаг вместе с алой зарей?» — Она посмотрела ему в глаза, напряженная, печальная улыбка искривила ее губы. — И все-то у меня выходит не так, как мечталось.

Он снова отвернулся к окну:

— Жаль.

— Да нет же.— Она встала и, кутаясь в простыню, подошла к нему.— Я не о том. Поймите меня правильно. Ощущение-то приятное. Очень. — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку.— Отличное ощущение, сэр. И новое для меня.

— Но ведь больно было. Вы ждали другого.

— Я имею в виду не то, что случилось, а то, как случилось. Я думала, будет по-другому.

— Я тоже. — Он обвил руками ее шею и глянул в заплаканные глаза. — Это не случилось. Это мы сами сделали.

— Да.

Она легонько, точно ласкала котенка, тремя пальцами погладила его по плечу. Странное проявление чувств.

— Подождите меня,— сказала она. — Я приведу себя в порядок.

— Я никуда не ухожу.

Он закурил и стал смотреть на дорогу. Из душевой доносились тихие всхлипы.

Вышла она в простом голубом платье и голубой же, под цвет платья, косынке. Почти обычная форма, какую носят медицинские сестры.

— А вы ведь действительно в беде,— сказал Холливелл.— Над вами нависла серьезная опасность. Шпионят за вами разные мерзавцы.

Джастин разглядывала свое искривленное отражение на поверхности передвижного металлического столика.

— Мне это известно.

— А знаете, кто эти люди?

— Конечно. Национальная гвардия и те, кто ей помогает.

Он немного помолчал.

— Есть и другие. Иностранцы. Возможно, они сотрудники местного отделения ЦРУ. Ковбои.

— Что за ковбои?

— Люди, которым предоставили полную свободу действий. А они на вас нацелились.

Она через силу улыбнулась:

— Именно на меня?

— Они считают вас подрывным элементом.

— Они правы. Только плохая из меня подрывница получилась.

— И все же вы попали в их поле зрения. Они на вас нацелились.

— Да бросьте вы,— сказала она. — В сущности, не я им нужна.

Она медленно поднесла пальцы к губам.

— В том-то и дело, что вы,— настаивал он. — Вы.

Он не знал, как ей это объяснить. Она возбудила в них страсть. Так же как в нем. Собственное чувство он именовал любовью, а как они называли свое, ему было неведомо. Тут главное — злоба, ненависть головореза к непорочному и изящному, отвращение негодяя к понятиям любви, жизни, доброты. Названия, слова в расчет не берутся; это — древняя игра, она появилась прежде, чем люди научились говорить.

Он вспомнил, как совсем рядом билось ее сердце, и подумал: оно посылает в безмолвие свои импульсы, его бесстрашное, трепетное биение отдается в ушах этих людей... Ее сердце подобно сказочному животному, навлекшему на себя охотников. Подобно единорогу.

— Ну и пускай нацелились,— сказала она, не переставая глядеть на крышку столика. — А пока я их отвлекаю на себя, люди, занятые настоящим делом, вырвут страну из их рук.

— Значит, они заблуждаются на ваш счет? Лично вы к настоящему делу непричастны?

— Не заблуждаются. Я была причастна. Была. В прошлом. Потом обнаружила, что за мной следят, и выключилась. Сообщила об этом тем, кого это касается.

Он покачал головой:

— Опоздали. Теперь придется вызволять вас. — Он посмотрел на дорогу. — Если поедете со мной, мы можем успеть.

— О, Фрэнк! Да не могу я бежать. — Она пожала плечами и болезненно, зло усмехнулась. — На моем попечении отец Эган. Я тут за все отвечаю.

— Другого выхода нет, Мэй. Они вас не пощадят.

Она бросила на него негодующий взгляд. Ей было страшно, и это ее бесило.

— Что вы все обо мне да обо мне?

— Потому что я боюсь за вас.

— Я тут совсем ни при чем,— неуверенно сказала она.

— Вы могли бы поехать со мной в Майами. А там... не знаю.

Он и своего-то будущего не представлял. Даже самого ближайшего. Он поймал на себе ее взгляд.

— Все-таки перспектива, правда? — сказала она.

— Давайте попробуем, Мэй.

— Да, все-таки перспектива. Но это невозможно. Не могу же я оставить больного старика одного. Не могу предать людей, которые на меня рассчитывают. — Она медленно покачала головой. — Нет, Фрэнк. Я должна сообщить своим друзьям обо всем, что вы мне рассказали. А потом, может, придумаю что-нибудь. — Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами, как накануне вечером. — Откуда вы все это знаете? Про ковбоев, например?

— Я их насквозь вижу. Недаром же я был во Вьетнаме.

— Там вы и ухо повредили.

Он потрогал рукой мочку уха.

— Да. В горах.

— В прошлый раз вы сказали... где-то еще.

— Я соврал тогда.

— Наверное, тяжело там было. Тяжело?

Тебе понравилось бы, подумал он.

— Да нет, ничего.

— Я не знаю, кто вы.

— Ради бога, Мэй! Собирайтесь, и уедем отсюда!

— Вы думаете, я настолько глупа, что ничего не боюсь? Очень даже боюсь. Да, мне хочется бежать. Мне страшно, и я хотела бы бежать. Но неужели вы не понимаете, что это невозможно? — Она задрожала и воздела руки к небу. — Невозможно. Я не в силах на это пойти.

Она сделала движение в его сторону, он шагнул к ней и обнял. Она повернулась лицом к окну, упершись плечом в его грудь, и вдруг напряглась от испуга.

— Господи, ко мне пришли! — воскликнула она.

Он отпустил ее и отступил назад.

— Кто? — Осторожно приблизившись к окну, он увидел молодую женщину с косами и в национальном платье. Карибка, решил он.

— Кто? — снова спросил он. — Вон та индианка?

— Она не индианка. Она из города. Моя связная. — Джастин проглотила слезы и расправила плечи. — Вчера вечером я послала им записку и сообщила, что выключаюсь. Они не прислали бы ее сюда средь бела дня, если б не особые обстоятельства.

— Можете вы поговорить с ней возле дома?

— Не думаю. — Она смущенно посмотрела на него. — Вам придется спрятаться. Бегите.

Подобно герою любовного фарса, Холливелл вылез через окно душевой и съехал на заросший косогор по крепкому деревянному брусу, подпиравшему амбулаторное крыло миссии. Выбравшись из зарослей кустарника на тропу, что тянулась вдоль речки, он пошел по ней в глубь суши. Минут через пять остановился, сел на берегу речки под кокоболо и стал наблюдать за насекомыми, скользившими по коричневой воде.

Ему было ясно, что она отсюда не уедет. Уговаривать ее он не имел ни сил, ни морального права. Ему и самому теперь угрожала опасность; он слишком далеко зашел. Непонятным образом он оказался в положении человека, вообразившего, что можно быть заодно и с зайцем, и с гончими собаками, которые за ним охотятся. Разумеется, неофициально. Во имя общения. Он придумал для себя место в сложившейся обстановке, а потом решил, что такое место существует.

Скоро наступит раскаяние — глубокое и горькое. Он смутно предчувствовал перемены в своей жизни. Но какие бы перемены ни произошли, думал он, мудрости они ему не прибавят. Вряд ли он станет благоразумнее.

Лес обступил Холливелла со всех сторон, теперь уже не было видно ни миссии, ни моря. Окруженный благоухающим безмолвием и духотой, он задумчиво брел под тенистыми деревьями. Благодаря тропе и речке он не боялся сбиться с пути.

Пройдя еще с четверть мили, он увидел открытую поляну; за ней высились холмы, а еще дальше — отвесная стена гор. На поляне стояли три покосившиеся стелы — очищенные от земли и не заросшие, словно их специально готовили для всеобщего обозрения. Та, что стояла ближе к Холливеллу, от частых прикосновений утратила первоначальную окраску. Если ее не защитить, она скоро разрушится.

Он прошел вперед и осмотрелся вокруг. Один из холмов, судя по очертаниям, когда-то был пирамидой, ныне заросшей лесом. Очень возможно, что такая пирамида здесь не одна. Впечатляющая картина. Но все эти культурные ценности, расчищенные лишь наполовину и брошенные на произвол судьбы, свидетельствовали в известной мере о невежестве правительства. Любой грабитель может без труда выкопать из земли целую стелу и увезти отсюда. Странно, что до них еще не добрался Оскар Окампо; он заработал бы огромное состояние.

Растительность на поляне была удивительно скудная, поэтому каменные плиты и казались выставленными напоказ. Песчаную почву усеяли ракушки; значит, вода под ней содержит много солей и находится на глубине всего нескольких футов. Верхний почвенный слой — известняковый, поэтому бесплодный. Можно подумать, что какой-нибудь жрец заколдовал это место.

Холливелл шагнул было вперед, но в этот момент заметил на поляне спящего парня. Он замер и, постояв немного, вернулся под сень деревьев.

Он выбрал укромное место в тени здания миссии, около речки, откуда была видна прибрежная дорога. Сверху доносился голос сестры Джастин — она что-то говорила своей гостье. Тон беседы был деловой и вежливый.

Наконец послышались легкие шаги, девушка с косами прошла мимо него и, сойдя на дорогу, направилась в сторону города. Он подождал, пока она удалится на достаточное расстояние, потом обогнул здание и подошел с фасада к амбулаторному крылу. Поднимаясь наверх, заметил отца Эгана — тот стоял у окна кухни и щурился от яркого солнца. Увидев Холливелла, вяло помахал ему рукой.

Джастин стояла у окна, на том же месте, где Холливелл ее оставил. Завидев его, она грустно улыбнулась.

— А на ваших развалинах есть люди,— сказал он. — С виду не очень нормальные.

— Там у нас кого только не встретишь. Но сейчас это уже не имеет значения.

В ее тоне было что-то пугающее.

— Что-нибудь изменилось?

Она глубоко вздохнула.

— Я, видимо... снова включаюсь.

— Что вы говорите, Мэй?

— Сегодня вечером начнется. — Глаза ее расширились. — Понимаете? Мы все этого ждали. Восстание, Фрэнк. Они выступают сегодня.

— Боже милостивый!

— Я им нужна. — Джастин взглянула в его испуганные глаза. — Я спросила их, и они ответили «да». Они ждут меня в клинике компании сегодня в восемь часов. У них есть оружие, есть люди, и они хотят захватить побережье.

— Это безумие, Мэй! Вам нельзя! Неужели вы не понимаете?

— Не говорите так, Фрэнк. Я счастлива как никогда!

Он отвернулся и зашагал взад и вперед по амбулатории. Постельное белье она успела убрать.

— Видимо, ваши друзья не понимают, какая вам грозит опасность.

— Этим шпикам не повезло,— сказала Джастин. — Завтра у меня уже не будет от них никаких тайн.

— Тут же кругом агенты и полицейские,— сказал Холливелл. — Они только и ждут вашего первого шага, чтобы воспользоваться им как предлогом.

Она не ответила.

— Ради бога, Мэй. Далась вам эта революция! Они и без вас обойдутся. А если победят, вас все равно отсюда выгонят.

— Я ехала сюда не из любопытства, не в погоне за богатством и не на учебу. Ехала по простоте душевной, желая помочь людям. И от этого не отступлюсь.

— О господи,— пробормотал Холливелл.

— Не мне решать, чем я могу быть здесь полезна. Решают они, а я попытаюсь исполнить свою долг. Так положено. И я всегда подчинялась.

— Вас просто используют.

— И хорошо, что используют. Слава богу, наконец-то!

Он нашел еще бутылочку коньяка и откупорил ее.

— Сейчас я кое-что вам скажу, Мэй, хоть мне это и неприятно. То, что я скажу, поможет вам уяснить свое положение.— Он заставил себя взглянуть на ее лицо, с которого еще не сошла легкая вызывающая усмешка. — Когда я сюда собирался, один человек, связанный,

как мне известно, с разведывательной службой, попросил меня разузнать, что здесь происходит. Его интересовали ваши намерения. Понимаете, что это значит?

— Продолжайте.

— Это значит, что на вас кто-то доносит и информация идет в Вашингтон. Не так давно в Нью-Йорке я с этим человеком обедал в ресторане, и мы говорили о вас. А теперь подумайте и взвесьте свои шансы.

Она прислонилась к окну и прикрыла рукой глаза. Помолчав немного, сказала:

— Ну что ж, теперь у вас есть что ему сообщить. И пикантная история в придачу.

— Я отказался, Мэй. Сказал, что не стану этого делать. А в Сантьяго ко мне обратился другой агент. С той же просьбой. Вы стали предметом внимания правительства. Вы и ваши друзья. — Он осушил бутылочку и бросил ее в металлический бак. От ее ударов по ребристой поверхности бак издал долгий противный звон. — Я и тут отказался. Вы, конечно, мне не поверите, но ехал я сюда исключительно ради собственного интереса. То ли чтобы взглянуть на людей, верных своим убеждениям. То ли просто из любопытства. А обратились они ко мне потому, что я помогал им во Вьетнаме. С тех пор я с ними не сотрудничаю. И не занимаюсь доносами.

Она беззвучно заплакала и подошла к нему.

— Очень убедительно, мистер,— сказала она и, размахнувшись, ударила его кулаком в переносицу. Не успел он опомниться, как она дала ему два хука справа. Из носа потекла кровь, пришлось приложить носовой платок.

— Я говорю правду. Можете убить меня, если хотите, время у вас есть.

— А я ведь едва не решила уехать с вами. Почти решила.

— И правильно сделали бы, Мэй.

— А вы такой же негодяй. Ясно как божий день. Что бы вы ни говорили.

— Вы ошибаетесь. Я сказал, что влюбился в вас, и это правда. Я не очень понимаю, что значит влюбиться. Вероятно, нечто банальное и глупое. Но как бы там ни было, я вас люблю. Клянусь.

— Я себя считала глупой. А вы, оказывается, еще глупее.

— Я не хотел вам рассказывать. Не собирался. Полагаю, в этом не было необходимости.

— Но я рада, что вы рассказали. По крайней мере теперь мы знаем друг друга немножко лучше.

Они стояли не говоря ни слова, уставившись на скобленый деревянный пол.

— Я живу в отеле и мало что могу для вас сделать. Разве что предупредить. Этим людям кажется, что они знают, зачем я здесь, но они ни во что меня не посвящают. — Он усмехнулся. — Не доверяют, наверно.

— Незавидное у вас положение. Если вы говорите правду. — Она смущенно посмотрела на него. — Ваши слова о том, что вы с ними не сотрудничаете, приходится принимать на веру. Иного выхода у меня нет. Я в этих делах еще мало смыслю.

— Да, ситуация у меня сложноватая.

— Мы будем действовать, Фрэнк. Я поеду туда, где мне велено быть. Здесь скоро все взлетит на воздух, так что теперь уже не мне, а вам надо бежать.

Она сходила в чулан, достала из холодильника кубик льда, завернутый в марлю, и дала ему. Он приложил лед к носу и стал тереть то место, где у него запеклась кровь.

— Бог действует без оглядки на историю, Мэй. Заблуждение западного образа мысли.

— Для меня это слишком отвлеченно, — сказала она. — Я не знаю, как действует бог.

— В поступках людей мало поучительного. Трудно извлечь мораль из той неразберихи, в которой мы живем. Конечно, вы можете верить любым басням на сей счет. Только ерунда все это.

— Как и любовь, — сказала она.

— Да, как и любовь.

Не отрывая взгляда от океана, Джастин усмехнулась.

— Однажды в детстве я каталась на пони и вдруг увидела, что по дороге движется какая-то громадина. Я остановилась, слезла с лошадки и пригляделась. Это был огромный дом, Фрэнк, его тащил грузовик. Старый фермерский дом. Его поставили на полозья, он занял всю дорогу и ехал куда-то в другое место. Парни, сопровождавшие его, явно гордились тем, что они делают. Им было весело оттого, что я на них гляжу. — Джастин повернулась лицом к Холливеллу и засмеялась; у него потеплело на сердце. — Будто они везли не дом даже, а гору. И это вселило в меня чувство гордости за людей. Я подумала: им любое дело по плечу, если они приложат к нему ум и руки.— Она взглянула на него с удивлением: — Вы, я вижу, меня не поняли?

— Нет, — засмеялся Холливелл. — Потерял путеводную нить.

— Это потому, что мы с вами мыслим по-разному, — сказала она и, покачав головой, добавила: — Какую же глупость мы сотворили. Незнакомые люди. Точно кролики. Сама виновата. Забылась, не сознавала, что делаю.

— Я бы этого не сказал.

— Видите ли, мне не свойственно ваше чувство безысходности,— сказала Джастин. — Я не нахожу в нем того успокоения, какое находите вы.

Кубик льда в марле подтаял; Холливелл смочил носовой платок и бросил ледяной кубик вместе с марлей в ведро.

— Вы поступили со мной нечестно, мистер Холливелл. Право, вам должно быть стыдно.

Он чувствовал, что она отдаляется от него, становится недосягаемой, уходит из его жизни.

— Извините, — сказал он. — Только я об этом не жалею.

— Я верю всему, что вы говорите. Но не скрою, я не понимаю вас. Вы и впредь будете таким, как сегодня?

Он пожал плечами. Она протянула руку и потрогала его лицо. Он удивился нежности ее прикосновения.

— По-моему, отчаяние и апатия значат для вас то же, что алкоголь. Вы от них пьянеете. Но это не по мне. Не тот у меня темперамент. Не настолько я благоразумна, чтобы этим довольствоваться.

Он двинулся к выходу, и она пошла с ним рядом. Взяла его руку в свою и сразу же выпустила.

— Если вас кто-нибудь видел, то нам обоим придется объяснять, каким образом вы здесь очутились. Подумаем, что соврать.

— Значит, вы не объявите меня врагом революции?

— Нет. Не объявлю. Когда мы закончим, возвращайтесь сюда. Не сомневаюсь, что вы этих мест не узнаете.

Она остановилась в дверях. Он тоже.

— Я доверяю вам. Скажите, что я поступаю правильно.

— Вы правильно поступаете, доверяя мне. Я люблю вас. Я же говорил.

— Что за странное слово, — вздохнула она.

Холливеллу сказали, что перевозка пассажиров по Рио-де-ла-Фе на сегодня отменена. Из приозерного города не прибыло ни одного парохода, и никто из служащих пароходной компании — ее контора

находилась в доме под металлической кровлей — не знал толком почему. Один из них, с виду житель прибрежного острова, сказал, что всему причиной бумажная волокита, другой же, индеец из горного селения, объяснил задержку плохим состоянием реки. Все во власти бога, сказал он.

В конторе авиакомпании Холливеллу сообщили, что самолета тоже не будет. Возможно, в четверг авиасообщение возобновится. Он возвратился на своем джипе в гостиницу. Никакого оживления на ее территории он не обнаружил: все шпионы разошлись по укрытиям. Холливелл купил в баре бутылку светлого рома, отправился в свой коттедж и напился до беспамятства.

Когда было уже темно, в его комнату вошла группа людей. Их было трое; включив лампу, стоявшую возле кровати, они стали трясти Холливелла за плечо. В мягком свете лампы он узнал мистера Хита и Сойера. Третьим был офицер Гвардии — невысокий широкоплечий человек с ласковым взглядом.

— Привет, Холливелл, — сказал мистер Хит. — Извините, но у нас к вам дело.

Холливелл спустил ноги на пол и сел на край влажного от пота матраца. Его мутило.

— Одевайтесь,— приказал Хит.— Едем.

Холливелл отпил воды из кувшина, стоявшего у него на ночном столике, и встал. Кубинец достал из кармана коробочку с анасином и предложил всем желающим. Холливелл взял две таблетки и проглотил.

— Что случилось? — спросил он, надевая рубашку.

— Служба ваша кончилась, вот что, — сказал Хит.

— Какая служба?

— Советую вам собрать свои вещи. Сюда вы уже не вернетесь.

Холливелл чувствовал, что хмель у него еще не прошел.

— Меня выдворяют из страны? — спросил он.

Кубинец ответил:

— Вам угрожает опасность. Мы охраняем своих друзей. Вы наш друг, сэр.

Холливелл упаковал чемодан и вышел следом за ними наружу; крики зверей и птиц зловеще звучали в ночи. У двери стоял гвардейский джип.

— А как же мой счет?

— Живей, живей, Холливелл,— поторопил его Хит. — Вот молодчина.

Холливелл расположился на заднем сиденье; Хит — рядом с ним. Кубинец и офицер заняли места впереди, офицер сел за руль. Когда они проезжали мимо главного здания, Холливелл обратил внимание, что помещение ресторана притемнено, столы сложены друг на друга, бар закрыт. На дороге их поджидал второй джип Гвардии с пулеметом и тремя солдатами в касках и маскировочных костюмах.

— Что происходит? — спросил Холливелл Хита.

— Измена,— насмешливо ответил Хит.

— А при чем тут я?

— Прежде чем вы отсюда уедете, вас допросят. Тогда и разберемся.

По пути в город они проехали шлагбаум, положенный на деревянные козлы. По обеим сторонам дороги вытянулись цепочкой гвардейцы; присев по-индейски на корточки, они бросали косые взгляды на фары приближавшихся джипов. Над морем между пляжем и линией рифов выписывал восьмерки вертолет, шаря по воде щупальцем своего прожектора.

У портовых причалов Пуэрто-Альварадо стояло с полдюжины десантных катеров. Было только начало восьмого, но город уже приобретал ночной облик: сирийцы плотно закрывали ставни, выключали

неоновые вывески, запирали магазины. Площадь кишела солдатами в полном боевом снаряжении. Одни стояли в строю вольно, другие сидели на траве. Над ними возвышался собор — темный, недоступный, отгородившийся от мира огромной дубовой дверью.

На западной стороне площади стояло рядами более двадцати грузовиков, и машины с гвардейцами продолжали прибывать. Ехали они, как полагал Холливелл, либо с аэродрома, либо с места высадки где-нибудь в верховьях реки. Людей в гражданской одежде на улицах было мало.

Перед зданием муниципалитета машина, в которой ехал Холливелл, остановилась; остановился и сопровождавший их джип. У входа в полицейское управление собралась толпа женщин, сержант Гвардии что-то тихо им объяснял. После Холливелла из автомобиля вышел сначала Хит, а потом офицер Гвардии и мистер Сойер. Подбежавший солдат сел за руль их машины и проворно убрал ее с проезжей части. То же сделал водитель второго джипа. Непривычная деловитость.

Толпа заграждала вход в полицейское управление, и часовые довольно вежливо потребовали расступиться, чтобы освободить дорогу для Холливелла и для тех, кто его сопровождал. Сержант объяснял женщинам, что он не знает, где найти людей, о которых они спрашивают. С виду это были городские жительницы, по большей части смешанной крови. В сумерках трудно было определить, какого они возраста, но в основном, как показалось Холливеллу, старше тридцати. Вглядевшись в толпу, Холливелл обратил внимание на знакомое лицо: это была та самая девушка, которая приходила к Джастин и которую он тогда принял за карибку. Она пристально смотрела на него. Он был убежден, что прежде она никогда его не видела, и все же выражение ее глаз показывало, что она его знает. Взгляд был беспокойный, напряженный, он предвещал беду. Слишком уж не в пользу Холливелла говорило то, что он оказался здесь в такой компании, и друзья Джастин не могли об этом не подумать.

Внутри тоже находились гвардейцы; передняя свободная комната выглядела так, словно ее подготовили к осаде. У зарешеченных и закрытых ставнями окон лежали штабеля мешков с песком, солдаты были одеты в тропическую форму, на поясах у них висели гранаты. При появлении Холливелла и его спутников сержант, старший дежурный, отдал честь. Холливеллу подумалось: Гвардия оказала ему так много знаков внимания, что он уже не может чувствовать себя совершенно непричастным к истории Текана. Наружная дверь, через которую они вошли, оставалась открытой: сопровождавший их лейтенант Гвардии заметил кого-то на улице, и это его взволновало. Холливелл предположил, что предметом его внимания явилась та девушка с косами.

Хит подошел к лейтенанту выяснить, в чем дело, и лейтенант потащил его на улицу.

— Вы тут случайно никого не знаете? — обернувшись, крикнул англичанин Холливеллу.

Холливелл подошел ближе и посмотрел на редеющую толпу женщин. Той девушки среди них уже не было видно.

— Нет. Здесь я вообще мало кого знаю.

— Нет?

Гвардейский офицер торопливо пересек улицу, вышел на площадь и исчез из виду. Когда он вернулся, часовые закрыли дверь и заперли ее на засов. Холливелл последовал за ними через забаррикадированную комнату во внутреннюю часть здания и оказался в странном на вид помещении без окон. Холливеллу стало еще тревожнее в этой необычной обстановке. Каменный пол, кирпичные стены, не просохшие после побелки, крыша из гофрированного металла, а вместо потолка — сетка из колючей проволоки, придававшая

комнате вид клетки. В центре проволочного «потолка» под зелеными колпаками висели две очень яркие лампы, какие можно увидеть вдоль заводских заборов или на тюремных дворах. В одном из темных углов на грязном склизком полу валялись удлинители, ручные генераторы электрического тока, старые батарейки. Приглядевшись к стенам, он обнаружил, что в двух из них, больших по длине, раньше были окна: на месте оконных проемов виднелась штукатурка. Пол по краям запачкан темными пятнами. Посреди комнаты стояли два письменных стола, на одном из них был телефон.

Пахло в этой странной комнате плесенью, дезинфекцией и еще чем-то знакомым и неприятным. Судя по всему, это помещение — закопченное, душное — было когда-то внутренним двориком здания; едва Холливелл об этом подумал, как сразу же догадался, что темные пятна на полу — следы крови.

Сойер поставил чемодан Холливелла на письменный стол, протянул руку и повертел пальцами.

— Он просит у вас ключ,— подсказал Хит.

— Жаль, что я порчу ему спектакль,— сказал Холливелл,— но чемодан он может открыть и без ключа. Это совсем не трудно. — Холливелл был пьян и зол, однако чувствовал, что страх охватывает его все сильнее.

Кубинец посмотрел сначала на Холливелла, потом на Хита. Хит ободряюще усмехнулся.

Чемодан действительно оказался незапертым, и мистер Сойер принялся тщательно перебирать его содержимое, достаточно безобидное: предметы туалета, сигареты и белье. Чистое белье было аккуратно сложено, а грязное засунуто в пакет гостиничной прачечной. Но мистер Сойер продолжал не спеша в нем копаться.

— Вы на нас сердитесь,— сказал он. — Вам не терпится уехать. Мы понимаем.

— Он немного просчитался,— сказал Хит.

— Да,— согласился Сойер. Он постучал по дну чемодана, стараясь по звуку определить, нет ли второго дна, ощупал внутреннюю обивку, порылся в грязном белье.

— Видно, в нашей части света есть нечто такое, что вынуждает североамериканцев тянуться к бутылке. А, Холливелл?

— Нельзя ли покороче, Сойер? Без острот и недомолвок?

Сойер захлопнул чемодан.

— Покороче? Вы хотите покороче? — Теперь он смотрел уже не на Холливелла, а мимо него. Холливелл вспомнил, что сзади стоит лейтенант Гвардии.

— Что-то расхотелось мне с этим человеком разговаривать,— сказал Сойер, обращаясь к Хиту. — По-моему, он груб и дерзок.

Хит усмехнулся.

— В технологии они гиганты,— заметил по-испански офицер Гвардии. — А в культуре — пигмеи.

Теперь заговорил мистер Хит:

— Знаете, Холливелл, что случилось с Окампо?

— Что?

— Он мертв.

— Он был моим другом,— сказал, помолчав, Холливелл. — Я очень уважал его.

— И этот Коул, с которым вы сюда ехали, тоже.

— Коул был всего лишь корреспондент. Не за что было его убивать.

— Вы так думаете?

— Я не советовал ему одному ехать туда,— сказал Холливелл. — Он был какой-то бесноватый.

— Бесноватый? Зато теперь успокоился. На том свете. Только нам кажется, что убили его по ошибке. Убить-то вас хотели.

— Меня тоже не за что убивать.

— Пожалуй, вы правы. А, Мигель?

— Несомненно,— подтвердил Сойер.

— Но вот вопрос: Окампо убили, Коула тоже, а вы на побережье путаетесь с госпожой Фини. Что, черт побери, происходит?

— Тут нет никакой тайны,— сказал Холливелл. — Марти Нолан просил меня, когда я буду в этих краях, заглянуть в миссию.

— И вы отказались. Помните?

— Отказался. Но меня разобрало любопытство. Я же антрополог все-таки.

— С научной целью, значит, ехали сюда, профессор. Сочетали приятное с полезным.

— Судите сами.

Сойер вяло усмехнулся.

— Будьте осторожны, профессор. А то мы так рассудим, что вы не обрадуетесь.

— И Окампо просил вас сюда приехать,— сказал Хит. — Станете утверждать, что он не объяснил вам зачем?

— Окампо говорил, достаточно будет и того, что меня увидят при отъезде. Его собственные слова. Мне стало любопытно, и я решил, что уж такую-то малость могу для него сделать.

Хит недовольно хмыкнул.

— Черт побери,— выругался Холливелл.— Да я и сам толком не знаю, зачем сюда ехал. — Он посмотрел на испитое лицо Хита. — Бросьте, Хит. Так ведь тоже бывает. Это вы, может, досконально продумываете каждый свой шаг, а я — нет. Откуда мне было знать, что я подоспею к этой треклятой... — Холливелл осекся, но поздно. И он испугался, впервые по-настоящему испугался. Кажется, совсем уж было выкрутился и вот пожалуйста — в самый последний момент сплоховал. Он пьян и напрасно воображает, что правда на его стороне. Правды и в помине нет, а есть только факты.

— К этой треклятой революции,— договорил за него Хит. — А вот — подоспели. Сочувствую. И то, чем вы тут занимались, Холливелл,— давайте уж называть вещи своими именами,— похоже на двойную игру.

Лейтенант Гвардии шагнул вперед и стал перед Холливеллом; выражение лица у него было как у человека, который испытывает острую физическую боль, но мужественно пересиливает ее. Он закурил сигарету и бросил спичку так, что она вроде бы случайно попала на рубашку Холливелла и, погаснув, застряла в складке. Холливелл не потрудился ее смахнуть.

— Мы не благотворительная организация,— сказал Сойер. — Мы оцениваем поступки строго. Стараемся смотреть на вещи серьезно.

— Вот что, Холливелл,— терпеливо начал Хит. — Пока вы тут занимаетесь своими научными наблюдениями и погружены в глубокие мысли, другие ведут отчаянную борьбу за принципы, в которые верят. Надеюсь, вы не сочтете меня сентиментальным. Но после этих ваших приключений, о которых вы, конечно, много сможете порассказать в Штатах... право, нам уже трудно относиться к вам доброжелательно.

— И все-таки мы относимся к вам доброжелательно,— сказал мистер Сойер. — Потому что вы североамериканец и вас любит весь мир. Мы стремимся понять.

— И нам это удается? — спросил Хит.

— Claro que si, — ответил Сойер.— Конечно. Мы знаем североамериканский народ, нашего доброго соседа, нашего союзника в борьбе за прогресс. Нам известна его серьезная озабоченность нравственным климатом в мире. Его братские чувства. Все, что он делает в защиту прав человека. Правда, иногда нам трудно его понять, мы ведь люди простые. Но понять мы должны.

Кончив говорить, мистер Сойер уже не мог заставить себя усмехнуться.

— Если вы рассчитывали на мое сотрудничество,— сказал Холливелл, — то должны были прямо мне сказать.

— Нельзя было этого делать, понимаете? — возразил Хит. Вынув из бокового кармана легкого темного пиджака металлическую фляжку в потертом кожаном футляре, он отпил глоток. — Мы уже обжигались на этом деле. Присылают к нам таких, как вы... замучаешься с вами, ей-богу. И выражаетесь вы двусмысленно. Трудно найти с вами общий язык. Я хочу сказать... да на чьей вы стороне, в конце концов?

— Так что прямо сказать мы вам не могли,— заявил Сойер. — А вот другие могли. Сестра Джастин, например. Сдается нам, вы знаете, что́ она и ее друзья собираются делать сегодня ночью.

— Об их планах я ничего не знаю,— сказал Холливелл.

Сойер стиснул зубы так, что на скулах у него заиграли желваки, и посмотрел на Хита. Тот хмыкнул и забарабанил пальцами по столу.

— Право, Холливелл, этому трудно поверить.

Сойер подошел к Холливеллу ближе.

— Потому мы вам и не верим, профессор, что хотим понять. Но в любом случае все, что вы знаете, сэр, вы нам расскажете, это уж я вам обещаю.

Лейтенант Гвардии тоже включился в разговор.

— Мы должны знать, где будет монахиня,— сказал он по-испански. Вид у него был решительный и довольно устрашающий.

— Я не могу ответить на ваши вопросы,— сказал Холливелл. — Я не знаю.

Хит закатил глаза и отвернулся. Сойер постучал костяшками пальцев по лбу.

— Холливелл! К завтрашнему утру не все останутся в живых. В стране янки, конечно, никто не умирает, а здесь жизнь мало чего стоит.

— Весьма сожалею,— сказал Холливелл.

— Сожалеешь? — прошипел Сойер. — Сожалеешь? — Он вытащил пистолет и легонько дотронулся дулом до губ Холливелла. — Либо ты, зажравшийся сукин сын, сам скажешь правду, либо я вырву ее у тебя из горла.

Когда Сойер отнял пистолет, Холливелл достал из кармана сигарету и сунул в рот, но тут же по вкусу догадался, что вставил ее не тем концом.

— Не валяйте дурака, Холливелл, бросьте эту чертову сигарету! — зарычал Хит.

Холливелл охотно подчинился. Будто все дело в сигарете.

— Героем себя воображает,— продолжал Хит. — Думает, он в театре. — Он с досадой покачал головой. — Оставьте нас вдвоем, Мигель, будьте добры.

— Пусть сначала расскажет мне про свои шашни с этой девкой,— возразил Сойер.

— Чтобы сберечь время,— сказал Хит,— сделайте одолжение.

Сойер вытер лоб, шумно сглотнул и вышел. Лейтенант последовал за ним.

Оставшись наедине с Холливеллом, Хит опять достал фляжку, встряхнул ее и поставил на стол рядом с телефоном.

— Не упрямьтесь, дружище,— сказал он. — Никто ведь не отмалчивается.

— Вы действительно думаете, что мне известны все тайны другой стороны? — спросил Холливелл. — Думаете, она раскрыла мне план их военных действий?

— Вы не представляете себе обстановку,— сказал Хит. — Тогда слушайте, я вам ее объясню. Объясню как можно подробнее — в пер-

вый и последний раз. Сойер намерен убить вас, если вы откажетесь ему помочь. Пока что он этого не сделал единственно потому, что опасается неприятностей сверху, а именно со стороны вашего правительства. Плюс к этому он и мне не доверяет, боится, как бы я на него не донес. Только зря боится. Я его ни за что не выдам. Ясно пока?

— Да,— ответил Холливелл.

— Вот и хорошо. Лично вас, Холливелл, мы рассматриваем как источник информации. Сойер в данном деле по практическим соображениям выступает в роли вашего посредника. Он имеет поручение от властей страны пребывания, а именно от лейтенанта Кампоса, разузнать о деятельности сестры такой-то и хочет это поручение выполнить. Пожалуйста, учтите: ни у кого нет ни малейшего сомнения относительно ее намерений и намерений людей, с которыми она связана. Не строим мы никаких догадок и насчет того, где ее найти. Конечно, в миссии, где она будет перевязывать раненых, блистая своей красотой. Но поскольку и она и священник — граждане США, а миссия подлежит юрисдикции американской стороны, то Сойеру, как и вам, придется непосредственно участвовать в деле. С вами, янки, иметь дело не очень просто, вот почему мы вынуждены соблюдать все довольно неуклюжие бюрократические формальности. Вы меня слушаете, Холливелл?

— Да, я вас слушаю.

— Война — штука жестокая, как вы, конечно, знаете. Все движется силой инерции. Ситуация запутанная, поэтому мы должны иметь связную версию событий, которая впоследствии попадет в чьи-то руки. Спросит там какой-нибудь деятель, что произошло в Текане тогда-то и тогда-то, а мы им наплетем: дескать, Сойер связался с Холливеллом. Холливелл проник в миссию. Сойер передал информацию дружественным службам страны пребывания. Понимаете? Сойеру нужна такая цепь фактов. Он хочет представить свое участие именно таким образом. Для видимости. Это же его работа.

— Значит, именно я должен сообщить ему то, что он и без меня знает?

— Точно. Он считает, что для того вы здесь и находитесь. А вообще-то, как нам известно, он смертельно вас ненавидит. Ему хочется, чтоб вы сами же и выдали ее.

— Это же неумно — толкать людей на низкие поступки.

— Возможно, но не говорите этого мне. И ради бога, не говорите ему. — Хит опять встряхнул фляжку и на этот раз отпил из нее.

— И что с ней будет потом?

— Ее выдворят из страны. Если, конечно, мы доберемся до нее прежде Кампоса. С нами ей будет безопаснее.

— Вы хотите сказать, что защитите ее от Кампоса?

— А почему бы нет? Сойер сотрудничает с вашим правительством. По-моему, они предпочли бы не иметь на руках в итоге мертвую монахиню. С нашей точки зрения, разговор с ней был бы полезен. Мы пытаемся составить себе полное представление о событиях, а задачу эту, сидя здесь, выполнить сложно. Мы не обязаны выкладывать теканцам все, что от нее узнаем.

— А если она не пожелает с вами разговаривать? Так оно, вероятно, и будет.

— Думаете, я, рискуя бессмертием души, подвергну сестру милосердия пыткам? Нет, Холливелл, на это я не способен.

— Я думаю, способны. Как и ваш приятель.

— Не тронем мы ее, Холливелл. Поймите, дружище, что для нее это лучший выход. А для вас — единственный, потому что живым вы отсюда не выйдете, если не заговорите. Вы теперь в нашей власти.

— Как я могу быть уверен, что вы не отдадите ее на растерзание лейтенанту?

— А какой нам от этого прок? Да и не все ли вам равно, если вы отдадите концы? Слушайте, Холливелл. Мы просим вас сделать лишь немногим более того, что вы всегда делаете. Вы ведь, как антрополог, сохраняете свои находки?

— А даете вы мне слово, что ее не тронут?

— Слово? — Хит издал короткий смешок, но лицо у него было грустное. — Я еще не встречал человека, которому вздумалось бы брать слово с меня. Но если вы так уж хотите... конечно, Холливелл. Мы о ней позаботимся.

— Тогда согласен,— сказал Холливелл.

— Ну, молодчина. — Хит протянул Холливеллу фляжку, и тот с жадностью выпил.

Затем Хит позвал Сойера и лейтенанта Кампоса. Холливелл показал Сойеру, что в беседах с Джастин Фини, сестрой милосердия в девоционистской миссии в Лас-Руинас, он обсуждал местную политическую обстановку и что она призналась ему в участии в заговоре против республики.

Сойер слушал с довольным видом, глаза его повлажнели. Вопросы он задавал вежливым, ласковым тоном, а ответы переводил лейтенанту Кампосу на испанский. Кампос нетерпеливо кивал головой.

— Можете ли что-нибудь добавить, профессор? — спросил Сойер, когда Холливелл закончил дачу показаний. — Разумеется, она делилась с вами своими надеждами и мечтами? Как она представляет себе будущее этой страны в целом?

— Никак не представляет,— ответил Холливелл. — Она всего лишь медицинская сестра. Хочет быть там, где в ней нуждаются. — И Холливелл с тревогой посмотрел на Кампоса. Лейтенант ощерился, сверкнув белыми зубами.

— Праведница,— съязвил Сойер. — А, Холливелл?

— Да.

Сойер расплылся в улыбке.

— Отлично, профессор. И хорошо, что вы теперь с нами. Единственный ваш недостаток — то, что вы не умеете распознавать друзей. Вот мы, например, ваши друзья, а вы нас предаете.

Холливелл вынул из пачки сигарету и сунул в рот, на этот раз тем концом, каким надо. Сойер дал ему огня.

— Мы здесь делаем за вас всю грязную работу, гринго. Вы терзаетесь от приступов малодушия и угрызений совести, а расплачиваемся-то мы. Если и дальше так пойдет, то настанет день, когда враги окончательно погубят вашу глупую страну. И поверьте, не слишком уж много будет пролито слез.

Холливелл вынул изо рта сигарету и стал ее разглядывать.

— Будьте уверены,— продолжал Сойер,— не ради вас я стараюсь. Не настолько я глуп. Я за свою страну борюсь. Жаль, что мы зависим от вас. — Он повернулся к Хиту. — Нация изменников. Люди, у которых нет гордости. Ненавижу их всех.

Хит допил то, что еще оставалось во фляжке, и поморщился, будто от боли в желудке.

— Об этом судить не могу,— сказал он. — Разные бывают люди, какую страну ни возьми. Правда, помнится, один мой однополчанин говаривал: «Что бы янки ни сказал в первые пять минут, то же он будет говорить и всю последующую жизнь».

Сойер слушал его вполуха и презрительно улыбался.

— И к тому же болтливы. Как вот этот профессор. — Он встал; ростом он был почти с Холливелла. — Ну как, профессор, хотите заключить меня в abrazo? — Он обернулся и взглянул на Хита.— Больше всего американцы любят abrazos. Они...

Холливелл швырнул в лицо Сойеру сигарету и сильно ударил его выше рта правым кулаком. В ту же секунду Хит и лейтенант с двух

сторон бросились на него. Лейтенант обладал силой гиревика. От его хватки рука Холливелла заныла, а плечевой сустав обожгло болью.

Ему было приятно видеть, что мистер Сойер перестал улыбаться. Стоял мистер Сойер в нескольких шагах от него, бледный, с окровавленной губой, и целился в Холливелла из пистолета.

— Спокойно, Мигель,— сказал Хит.

Жаль, что не сдержался, подумал Холливелл, не сводя глаз с пистолета. Если он меня не застрелит, то уж непременно ударит сейчас рукоятью по лицу. А это будет похуже моего собственного удара. Но Сойер не ударил его.

— Хочет показать себя настоящим мужчиной,— объяснил кубинец, убирая пистолет. — Опоздал, Холливелл. — Он потрогал пальцем верхнюю губу. — Какой уж ты теперь мужчина.

— Черт побери! — с отвращением произнес Хит. — Дурак вы, профессор. Вам же хуже будет.

Они с лейтенантом выпустили Холливелла.

— Меня не обижает его несдержанность,— сказал Сойер. — Мы с ним сейчас прокатимся. Да-да, Холливелл. Поедем в миссию, вместе поедем, и заберем оттуда сестру Джастин. А потом ты повторишь при ней все, что сказал мне.

Сойер и Кампос снова вышли: одному надо было смыть кровь, а другому — связаться с отрядом в районе расположения миссии. Мистер Хит насупился.

— Очень глупо с вашей стороны, Холливелл. Конечно, он вас провоцировал. Но все равно глупо.

— Это верно,— согласился Холливелл.

— Вам здорово повезло. Может, мы еще вызволим вашу приятельницу из беды. А что было бы, если б вы не натолкнулись на нас?

— Кто знает,— ответил Холливелл.

— Сегодняшний вечер не доставит удовольствия ни вам, ни ей. Но это лучший вариант.

— Наверно, я должен быть благодарен.

— Конечно. Когда-нибудь вы это оцените. — Заметив на рукаве своего пиджака пятнышко, Хит стал соскабливать его ногтем. — Жаль, что Мигель так настроен, но его можно понять. У него трудная биография, и он озлоблен. А в общем, он неплохой парень. Среди этой публики встречаются и похуже.

— А вы?

Хит усмехнулся.

— О, я. Моя роль лишь в том, чтобы бдеть в одиночестве. Стража на Рейне.

— Не много ли для агента?

— Для агента? Я не агент, Холливелл. Во всяком случае, не в обычном смысле слова. Не то чтобы я был против оказания услуг британскому налогоплательщику. Или американскому. Но я работаю в Международной службе безопасности вкладчиков. Мы охраняем интересы корпораций, владеющих землями этой страны. Речь идет об очень крупных капиталовложениях с целью превратить это побережье в рай для туристов. Затрачены огромные средства. И люди хотят знать, что происходит, понимаете? Вот мы и стараемся помочь им обеспечить здесь благоприятную деловую обстановку. Ничего плохого в этом нет, правда?

— Наверно, нет,— сказал Холливелл. — Я вижу, вы получаете от своей работы большое удовольствие.

— В том-то и дело. Работа мне действительно нравится. Иногда ухитряешься исправить какую-нибудь несправедливость Хоть и маленький, а все же просвет в нашем старом, далеко не совершенном мире.

— Расскажите мне о ваших друзьях — Бадди и Ольге. Помогают они вам исправлять несправедливости?

Хит беззвучно засмеялся с видом человека, уличенного в неблаговидном занятии.

— Да, эта парочка — тоже мой объект. Мой следующий объект, после вас и сестры. С ними я соприкасаюсь на деловой основе: они приобрели в северной части побережья тысячу гектаров земли. Люди этого круга всегда при деньгах, а, Холливелл? — Хит покачал головой, его глаза цвета поблекшей голубой фланели слегка оживились. — Придет время, я ими займусь, и уж тогда им не поздоровится, можете быть уверены. Таких людей я не потерплю, в моей сфере влияния им не место. Здесь они не разгуляются.

— Интересная у вас жизнь.

Хит слез с письменного стола и направился к двери, ведущей в первую комнату.

— Спокойной жизни у меня никогда не было,— сказал он на ходу. — Жизнь биржевого маклера меня не привлекала. Но не в этом дело. — У открытой двери он остановился; из соседней комнаты доносилось щелканье патронов, вставляемых в обоймы, и бормотанье коротковолнового приемника. — Сейчас они вас позовут.

Холливелл стал разглядывать невзрачный телефонный аппарат на письменном столе.

— Видите ли,— продолжал Хит,— я в некотором роде — божий гнев. Не я ищу заблудших и порочных, отнюдь нет. Они сами меня находят. Я — акула на дне лагуны. Чтобы добраться до меня, надо очень глубоко погрузиться. И там я жду.

— Прекрасно,— сказал Холливелл. — А вы не думаете, что вашим клиентам может изменить счастье и они потеряют свои вклады?

— Очень может быть. Но сказать, что мы не старались, они не смогут, верно?

— Верно, не смогут.

— Это же война, Холливелл. Во всем мире идет война. И думается мне, что в конечном счете победит другая сторона. А когда победит, то, подобно всем победителям, обнаружит, что жизнь идет не по плану, что вышло не по ее. Лет через тысячу обо всем этом будут читать как о древней истории, если к тому времени еще будет кому читать. — Мистер Хит нахмурился. — Но не думайте, что я пал духом. О нет! Неправые бегут, страшась своей же тени, а праведники дерзают. Вот так-то, Холливелл.

Холливелл стоял рядом с Сойером на тротуаре перед зданием муниципалитета в ожидании джипа. Между штабом Гвардии и войсковыми частями на неосвещенной площади непрестанно сновали вестовые. Огни в городе погасли, улица освещалась только автомобильными фарами и электрическими фонариками военных полицейских, регулирующих движение транспорта.

Над площадью, где войска ждали приказов, стояла жуткая тишина — лишь изредка слышалась команда офицера или невеселые гортанные выкрики солдат: «Первый-второй-третий». Время от времени раздавался дружный топот пехотинцев, бежавших к грузовику, чтобы занять места в кузове. Прибывали и конные отряды; лошадей Холливелл не видел, но слышал цоканье их подков по булыжнику единственной в Альварадо мощеной улицы. Появились офицеры в фуражках с высокими околышами, украшенными мишурной тесьмой,— они заключали друг другу в abrazos — и несколько гражданских лиц в guayaberas — эти смахивали на торговцев героином из Бронкса[1]. И офицеры и их друзья были явно в приподнятом настроении. Никто из них не обращал на Сойера и Холливелла внимания.

При виде такого скопления солдат на небольшом пространстве Холливеллу стало не по себе; оснований для беспокойства было достаточно, особенно после обработки, которой его подвергли. В эту

[1] Район Нью-Йорка.

минуту судьба Национальной гвардии стала и его судьбой — наконец-то он сделал выбор. Холливелл не мог отделаться от ощущения, что из темноты кто-то за ним наблюдает. Он представил себе девушку с косами, вспомнил ее пристальный, испытующий взгляд. С таким же выражением поглядывали на него и некоторые рядовые гвардейцы; но как только он встречался с ними взглядом, глаза их тускнели, становились пустыми. Иногда же по их губам скользила виноватая улыбка.

К тому месту, где стояли Холливелл и Сойер, подкатили два джипа. В первом рядом с водителем сидел Кампос; во втором, сопровождающем,— четверо солдат с пулеметом. Когда Холливелл сел на заднее сиденье, Сойер обошел вокруг машины и о чем-то тихо переговорил с лейтенантом; потом уселся рядом с Холливеллом.

— Ваша монахиня там, в своей обители,— сообщил он. — Кампос приказал гвардейцам окружить миссию, но никаких действий пока не предпринимать из уважения к вашей национальной принадлежности. — Он вынул из стойки за передним сиденьем автоматическую винтовку и положил себе на колени.

— Вы за нее отвечаете,— сказал Холливелл.

— Не я, а вы,— возразил Сойер.

Машины тронулись и, миновав несколько пустынных перекрестков, запетляли вверх по склону холма, возвышающегося над рекой. Потом дорога сузилась и пошла вниз, к топи, к мангровым зарослям. Сквозь рокот двигателей слышался шум морского прибоя. Скоро болотистые места остались позади, и они выехали на чистую прибрежную полосу.

Минут двадцать спустя до слуха Холливелла донеслось тарахтенье едущего впереди мотоцикла. Мотоциклист, стараясь, видимо, сохранить дистанцию между собою и джипами, ехал на той же скорости, что и они. Перед глазами Холливелла начали всплывать видения: автострада номер три, типичная военная дорога среди ночных джунглей. Сопровождающий джип ехал за ними не отставая. Слишком близко, подумал Холливелл. Когда ты в джунглях, да еще ночью, невольно жмешься к кому-нибудь.

Минометный огонь в этой ситуации был до такой степени неизбежен, что, когда грохнул первый выстрел, Холливелл не сразу обратил на него внимание. Снаряд лег с большим перелетом, и его разрыв эхом отозвался в складках отвесных гор. Затем раздался второй выстрел, за ним третий и потом — три длинных пулеметных очереди. А с противоположной стороны слышались винтовочные выстрелы: вак-вак-вак. Видимо, стрелок вел прицельный огонь. Звуки выстрелов набегали волнами, с неодинаковой частотой, но, раз начавшись, уже не умолкали. Стреляли по довольно далеким целям. И сквозь этот шум Холливелл по-прежнему различал стрекот идущего впереди мотоцикла.

Он посмотрел на Сойера, но в темноте не разглядел выражения его лица, заметил только, что тот придвинул винтовку ближе к себе, а правую руку положил на спусковой крючок. Лейтенант повернулся было на переднем сиденье, вероятно, хотел о чем-то посоветоваться с Сойером, но ничего не сказал и опять стал смотреть на дорогу. Ощущение опасности наконец отрезвило Холливелла. Ужасающая мысль о цели их поездки в миссию отодвинулась в его сознании на задний план; он вперил взгляд во тьму, начинавшуюся от края дороги, будто в ней была скрыта какая-то тайна.

Когда он заметил впереди, поперек дороги, бревно, едва различимое в дальнем свете фар, ему стало совершенно ясно, что́ их ждет. Позже, вспоминая об этой ночи, Холливелл содрогался: сколько драгоценных секунд он потерял, прежде чем выпрыгнул из машины во мрак. На самом же деле он выпрыгнул сразу, как только увидел впереди преграду, покатился по уплотненному песчаному грунту,

а затем пополз в поисках укрытия; это было задолго до того, как джипы резко остановились и их обстреляли из пулеметов со стороны извилины дороги и близлежащих холмов.

Засада расположилась в виде латинской буквы «L» — именно так, как и предполагал почему-то Холливелл. Горизонтальная, короткая линия этой буквы шла параллельно бревну, вертикальная же тянулась на десять футов или больше, то есть на расстояние, равное тормозному пути джипа. Так что стрелкам остается лишь выждать момент, думал Холливелл, торопливо уползая по-пластунски подальше от дороги. Еще не перестанут крутиться колеса машин, как стрелки откроют огонь; иначе и быть не может — эти великолепные детройтские джипы, хорошо видимые благодаря свету фар, остановятся прямо у них перед носом.

Спрятаться на открытом пляже было практически негде. Распластавшись на песке, Холливелл в ужасе глядел в ту сторону, откуда доносилась оглушительная пальба, звяканье гильз, крики людей. Ночь была безлунная, над головой мерцали бледные холодные звезды. Он не мог разобрать, где кончается берег и где начинается море, даже не различал силуэтов пальм. Перебирая в уме события последних минут, он вспомнил, что следом за ним с джипа спрыгнул (так ему тогда показалось) еще один человек. Если он не ошибся, то человек этот теперь где-то рядом.

Стрельба на дороге прекратилась, и он, подняв голову, посмотрел через плечо. Один из джипов горел; на фоне пламени мелькнула какая-то фигура. Люди смеялись, возбужденно переговаривались. Раздались два коротких выстрела — пленных сегодня не брали. Потом голоса стали удаляться: отряд, устроивший засаду, уходил в глубь материка, вверх по склону холма.

Холливелл отполз подальше от дороги и осторожно поднялся на ноги. До воды оставалось футов пятнадцать. Он постоял немного, чутко прислушался: ни шороха вокруг, только мелкая волна тихо накатывалась на берег да где-то раздавались редкие пулеметные выстрелы. Одинокий, потерянный, он стоял во мраке. Ему стало страшно. Вот она, цель, к которой он шел с того самого дня, как приехал сюда. Естественный поворот судьбы. Обстоятельства складывались сами собой.

Он потоптался около воды, раздумывая, в какую сторону податься. В город идти нельзя, там за ним будут охотиться обе враждующие стороны. Теперь, когда пролилась кровь, никто не станет ни выслушивать его объяснения, ни брать под защиту. Поискать убежище в какой-нибудь глухой деревушке, где живут рабочие с плантаций? Но и это неразумно. Его могут принять за одного из тех, кто вырвался из засады, и тогда он погибнет, как Коул.

В конце концов он решил идти в миссию, надеясь, что там-то его, по крайней мере, не убьют. Он расскажет Джастин о том, что с ним произошло. Если она не сможет или не захочет ему помочь, но его не арестуют, он попытается затеряться среди тех иностранцев, что копошатся в руинах. И он зашагал по берегу.

Холливелл не помнил, сколько он брел до миссии. На ступеньках лестницы перед верандой горели расставленные крестом фонари-«молнии» — первые огни, увиденные Холливеллом после Альварадо. Он шел в мокрых ботинках по пенистой, слабо поблескивающей кромке тихой прибойной волны, увязая по щиколотку в мягком песке. Слева простирался океан — спокойный, бесконечный, несуетный; справа на суше, суетные, темные люди стреляли, убивали друг друга. Там, где находился он, была ничья земля. Временами он успокаивался, временами же его охватывал страх, который усиливался или ослабевал по мере того, как менялась интенсивность стрельбы. Он лишь однажды остановился, заметив два вертолета, пролетавших рядом

над склоном горы; они на миг стали видны в лучах своих прожекторов.

Дойдя до эллинга, он снова остановился и попробовал освоиться с обстановкой. Сквозь узкие щели в ставнях амбулатории проникал свет, остальная же часть здания была совсем темной. С веранды доносились голоса и тяжелые шаги. Описал дугу окурок, брошенный из окна жилища священника. Перед миссией, у подножия лестницы, стояли два грузовика.

Он отошел от эллинга и через несколько шагов увидел у самой воды двух мертвецов. Один из них с развороченной грудью и раскинутыми руками лежал на спине; видимо, он свалился с причала. Второй стоял на коленях, уткнувшись окровавленным лицом в песок. Оба были в касках и маскировочных костюмах Гвардии. Холливелл постоял немного, потом пошел дальше. Теперь те, кто находился в миссии, могли его видеть. Он решил рискнуть.

Неожиданно среди деревьев зашевелились тени. Раздался чей-то крик. С веранды послали короткую пулеметную очередь, и Холливелл бросился на песок. Стреляли в его сторону, но пули ложились с перелетом. Из леса появились вооруженные люди. Судя по гражданской одежде, это были не гвардейцы.

— Мэй! — крикнул Холливелл. Он чувствовал на себе нацеленные дула винтовок.

К нему приблизился человек в широких темных штанах.

— Вы, Холливелл? — спросил человек. Это был отец Эган.

— Да, я.

— Напрасно вы сюда пришли,— сказал священник.

Холливелл встал и стряхнул с рубашки песок.

— Хотите поговорить с их начальником? Пойдемте.

Под прицелом винтовок Холливелл вместе с Эганом подошел к лестнице миссии. Навстречу им спускались люди в гвардейской форме с картонными коробками в руках. Они были без оружия и без касок и казались уже не солдатами Гвардии, а всего лишь перепуганными молодыми индейцами. Двигались они молча и ступали осторожно, стараясь не задеть фонари на лестнице. Спустившись вниз, складывали коробки в кузовы грузовиков.

Холливелл поднял голову и на верхней ступеньке лестницы в сиянии фонарей заметил Джастин. Она стояла, держа руки в карманах своего белого платья; лица ее он не мог достаточно хорошо разглядеть. Впервые за время их знакомства она была такой спокойной. Она спустилась к нему и спросила:

— Что случилось?

— Они увезли меня часов в семь из отеля. В полицию. У них в Альварадо тысячи солдат. — Он бессильно махнул рукой в сторону невидимых гор. — И вертолеты.

— Я знаю. — Не вынимая рук из карманов, Джастин повернулась вполоборота к нему. Он догадался, что она не хочет смотреть ему в глаза — ведь одного взгляда, одной доверительной интонации достаточно, чтобы напомнить ей о сегодняшнем утре, и тогда от ее воинственности не останется и следа. — Как вам удалось убежать?

— Мы ехали сюда... они ехали арестовать вас. Мы попали в засаду.

— Кампос?

— И он тоже. По-моему, его убили.

Она чуть слышно вздохнула.

— Я попытался уехать, — сказал Холливелл. — Но к полудню выезд из Альварадо закрыли. Им не стоило труда меня взять.

— И вы им все рассказали.

— Меня принуждали. Я попробовал договориться с ними. Они сказали, что не причинят вам вреда.

— Вы им все рассказали. — Джастин снова вздохнула и поставила ногу на нижнюю ступеньку лестницы. Вооруженные люди, стоявшие перед домом, по-прежнему не сводили с них глаз. — Вы предали меня, Фрэнк!

— Не знаю. Мне так не казалось.

— Ну, конечно, предали, — сказала она спокойно. — Не представляю, как вы могли не знать.

— Если бы вы там были, то остались бы лучшего мнения обо мне. Только вряд ли это имеет теперь значение.

— Для вас это не имеет значения?

— Меня-то можно и не принимать в расчет,— сказал он.

Как она спокойно и самоуверенно держится, досадовал Холливелл. И одновременно благоговел перед ее отвагой и самоотверженностью. Зависть, восхищение, любовь овладели им. От его внимания не ускользнула нотка беспокойства, прозвучавшая в ее голосе, когда она взывала к его совести — предмету в данном случае несущественному.

— Когда я осмыслю происшедшее, — сказал он, — я решу, как с ним быть.

— Вам нельзя здесь оставаться, — сказала она. — Мы уйдем отсюда, как только закончим погрузку.

— Мне и в город возвращаться нельзя. Ваши друзья видели, что я был в полиции.

— Мои друзья? Мои друзья будут там же, куда едем мы.

— Хорошо бы так, Мэй. Но беда в том, что правительство собрало крупные силы и вы можете не выстоять. Они говорят, что вы окружены.

Она начала подниматься по лестнице. Холливелл пошел следом. Наклоняясь, чтобы взять со ступеньки фонарь, она посмотрела на него через плечо; по ее лицу, озаренному неровным светом фонаря, скользнула усмешка.

— Не окружены. Отряд гвардейцев, который пришел сюда, мы обезоружили. — Она показала подбородком на солдат, грузивших в машины коробки. — Несколько человек убили.

В амбулатории, окна которой были прикрыты ставнями, горел свет. Часть комнаты занимали койки; вдоль двух стен сидело десятка полтора гвардейцев в маскировочных костюмах. У дальней стены расположились двое чернокожих карибов в спортивных рубашках и гвардейских касках, с автоматами на коленях. Кровать, на которой Холливелл и Джастин предавались любви, занимал теперь смуглый молодой человек с грубыми чертами лица. Он сидел и курил. Нога у него была перевязана чистым бинтом, на левой руке выше локтя синел вытатуированный якорь. Холливелл огляделся вокруг. Под кроватью за грязными, обутыми в сандалии ногами Эгана он увидел две бутылочки лечебного коньяка и радостно схватил их. Отец Эган вздохнул.

Одну бутылочку он сунул в карман, а другую откупорил и выпил, чувствуя, что Джастин смотрит на него. Он оглянулся, ожидая, что она отвернется, не захочет встретиться с ним взглядом. Он знал теперь, что глаза ее ничего не умеют скрывать, что за ними обнаженная душа.

Она не отвернулась, выдержала его взгляд, потом хладнокровное, стоическое выражение ее лица растворилось в светлой, веселой улыбке — неожиданной и без тени стыдливости.

— Что же мне с вами делать? Влипли вы.

— Наверное, это уж моя забота. К вашим делам я не причастен.

— А вы все говорите и говорите. Оправдываетесь перед самим собой.

— Если бы я и стал в чем-то оправдываться, то не перед собой, а перед вами, — возразил Холливелл. — Если это так уж важно.

— И я поверила бы вам, Фрэнк. Меня-то вы смогли бы заставить поверить всем вашим оправданиям, если это так уж важно. Но лишь меня одну.

— Стало быть, мне суждено еще одну войну проиграть в одиночку. Эта — вторая.

Джастин, опустив глаза, подождала, пока он осушит вторую бутылочку, потом сказала:

— Вы умеете проигрывать. Счастливый человек. Долго проживете, дольше, чем заслуживаете, если и мне поможете стать такой же.

— Вот какие мы крепкие.

— Верно, крепкие. — Она слабо улыбнулась. Ее улыбка выражала сострадание. — Теперь нашему брату иначе нельзя. Я отдам вам вельбот миссии. Вот этого парня зовут Пабло. — Она кивнула на раненого молодого человека. — Он американец.

Пабло пробормотал что-то невнятное и попробовал улыбнуться.

— Возьмите его с собой и уходите в море. Постарайтесь до рассвета отплыть подальше от берега.

Холливелл посмотрел на Пабло, потом на Джастин.

— Думаете, есть надежда?

— Думаю, да. У вас все шансы, — ответила она.

Пабло встрепенулся.

— Дело верное, — сказал он. — Погода — лучше не надо. На доброй крепкой лодке я мог бы до самой Флориды дойти.

— В течение дня, — продолжала Джастин, — вам должен повстречаться один из тех пароходов, которые идут через канал. Мы их с берега каждый день видим. Начнет штормить — сверните на юг. Если хватит горючего, доберетесь до Лимона в Коста-Рике.

— Другого выбора у меня, очевидно, нет?

— Нет, думаю, нет, Фрэнк. Вы везучий. Справитесь.

— Я тоже, — сказал Пабло. — Мне всегда везло.

— Ну и дела. — Холливелл посмотрел на священника. — А как же вы, святой отец?

— Я не такой везучий, как вы двое. Решил здесь остаться.

— Это лучший выход, Фрэнк. Я собиралась оставить Пабло с Чарли, но для них обоих будет лучше, если вы возьмете его с собой.

— Ладно, — согласился Холливелл. — Пусть будет так.

Пока карибы стерегли своих пленных, Джастин и Холливелл принялись собирать припасы для морского путешествия. Пройдя на кухню, переложили в корзину фрукты: ананасы, дыни, лимоны. Взяли половину оставшихся в кладовке консервов — в основном солонину и фасоль, — которыми питался Эган. Потом, сменяя друг друга, накачали ручным насосом воды в пятидесятилитровую канистру. Потом позвали пленных солдат и попросили их помочь снести все это вниз. В сопровождении бойца повстанческого отряда, дежурившего на дороге, эта маленькая процессия проследовала по пляжу мимо трупов гвардейцев к причалу. Холливелл перешел в лодку и стал принимать грузы. Было так темно, что приходилось действовать на ощупь. В эллинге они взяли неполную канистру бензина, сколько-то керосина и пластмассовую воронку.

Когда они возвратились на дорогу, оба грузовика были уже нагружены и командир отряда приказал бойцам выходить из леса. Прежде он служил бухгалтером в одном из ночных притонов Альварадо и еще не оправился от потрясения, вызванного недавним сражением, из которого он вышел победителем. Глаза его от нервного переутомления словно остекленели, он то и дело проводил рукой по лицу — казалось, он никак не может прийти в себя. Ошеломленный сражением, он утратил ощущение реальности; по характеру он был слишком мягок для Текана, весь его предшествующий боевой опыт ограничивался тем, что он видел в кино. Бухгалтер не знал, как ему отнестись к Холливеллу, поэтому счел за лучшее игнорировать его.

Это был невысокий, крепкого сложения молодой человек с массивным подбородком и лицом избалованного мальчика. Холливеллу он понравился.

Командир в присутствии Холливелла объяснил Джастин, что две машины не могут вместить и его людей, и медикаменты, и пленных. Джастин сказала, что пленные могут пойти пешком. Это огорчило бухгалтера; он показал себя хорошим агитатором, они выслушали его и признали своим командиром, так что терять их ему не хотелось. Холливелл и ему позавидовал. У этого человека есть дело.

Джастин и бухгалтер решили, что пора уходить. Со стороны города стреляли реже, зато в предгорье, за миссией, пальба участилась. А к югу от них, где совсем недавно почти не стреляли, начался ураганный огонь. Идти же им как раз и предстояло в том направлении.

Они поднялись в амбулаторию, и командир обратился к столпившимся вокруг него пленным с речью. Он рассказал им, кем был до вчерашнего дня, в каком униженном положении находился; сказал, что революция раскрепостила его так же, как раскрепостит и их. Выразил надежду, что они доверятся ему и тоже найдут себе место в революции, даже если им придется пройтись пешком и потом повторить процедуру капитуляции. Будь он подлецом, как их офицеры, он просто-напросто расстрелял бы их. Попади он к ним в плен, эти офицеры, конечно, приказали бы им убить его, и они не посмели бы ослушаться. Видимо, бухгалтер и сам не верил, что сможет произнести столь длинную речь, однако же произнес. Оказался искусным оратором. Должность бухгалтера ночного притона была явно ниже его возможностей, но в этой части света подобные факты — не редкость.

Джастин отправилась за чистыми бинтами и лекарствами для Пабло, а Холливелл тем временем решил познакомиться с человеком, с которым ему предстояло плыть в одной лодке. Отец Эган по-прежнему сидел у него в ногах.

— Вы, кажется, еще не знакомы? Это Холливелл. Он антрополог. А это — Пабло.

— Как самочувствие, Пабло? — спросил Холливелл.

— Бывает и лучше, — ответил Пабло.

Холливелл с беспокойством перехватил его критический взгляд. Ему подумалось, что парень, пожалуй, и сам не сознает, что делает,— просто у него такая манера.

— Чем вы, друг, занимались в этой дыре?

— Научной работой.

— Да ну? — Пабло засмеялся недобрым смехом.

Холливелл отошел от кровати и на полдороге встретил Джастин с лекарствами. Холливелл спросил ее:

— Кто этот парень?

— Никто не знает. Чарли Эган говорит что его преследуют власти, и для меня этих сведений достаточно. Вероятно, с какого-то судна.

Холливелл промолчал. Он и Джастин помогли Пабло подняться с постели. Пабло спросил священника:

— Думаете, обойдется?

— Да, Пабло. Можешь не беспокоиться.

Пабло ухмыльнулся, посмотрел на Джастин и Холливелла, и в этом взгляде — Холливелл готов был поклясться — читалось злорадное торжество. Потом лицо его помрачнело.

— Где мой нож? — резко спросил он.

Эган нагнулся и вытащил из-под матраца огромный водолазный нож в пластмассовых ножнах. Пабло взял его.

— Нож-то нужен, верно? Резать что-нибудь.

— Хотите, я его понесу? — предложил Холливелл.

— Ничего, я сам.

Втроем они вышли и спустились к вельботу. Пабло время от времени опирался на плечо Холливелла. Заработали двигатели грузовиков. Из амбулатории вышли бухгалтер и его пленники и стали спускаться по лестнице, подбирая на ходу фонари-«молнии».

Холливелл и Джастин помогли Пабло сесть в вельбот. Пабло пробрался ползком в носовую часть, расчистил для себя место между шпангоутами и лег на влажную парусину.

— А вы умеете... управлять?

— Конечно.

— Там есть компас, только не знаю, исправен ли. Держитесь правее, выходя из бухты. Не наткнитесь на рифы.

— Вы все-таки считаете, что я предал вас? — спросил Холливелл. — Я этого не хотел.

— Конечно, не хотели. Я знаю. Да и не имеет это, как вы сказали, значения. — Она легонько коснулась его руки. — Кто знает, что нас обоих ждет?

— Скверно получилось, — сказал он.

— Я не жалею. Теперь не жалею.

— Прощай. Люблю.

— О Фрэнк! — Она смущенно отвернулась и еле слышно добавила: — Да. Прощай, Фрэнк.

Он завел мотор и посмотрел ей вслед, но темнота успела поглотить ее. Кто-то окликнул ее, зажглись фары грузовиков.

Направляя лодку в сторону моря, он вспомнил о рифах и проглотил подступивший к горлу комок. Он чувствовал на себе взгляд Пабло; ему казалось, что тот отлично видит и в темноте.

Когда Мэй Фини привезли в justicia, полуденный зной набирал силу. В машине она сидела рядом с лейтенантом Гвардии — белолицым, веснушчатым, со светло-голубыми глазами и густыми рыжими усами. Лейтенант не сказал ей ни слова, но в течение всего этого ужасного путешествия держал руку у нее под юбкой. Она могла только отодвинуться от него подальше и, сгорая со стыда, вперить глаза в пол.

На площадь, где когда-то собирался народ поглядеть на восковую фигуру Христа, слетелись грифы и важно расхаживали по тротуарам и лужайкам. Много стервятников собралось и на крыше муниципалитета. Точно заводные, они мотали из стороны в сторону головами, следя своими блестящими, похожими на бусины глазками за всем, что происходило внизу. Но людей ни на площади, ни на прилегающих улицах не было.

Голубоглазый лейтенант провел ее между крашенных охрой колонн под приплюснутую арку, увенчанную гербом Республики. Вид у него был официальный; рука, которой он держал ее теперь за локоть, казалась уже не той рукой, ее прикосновение не было ни почтительным, ни грубым, а скорее холодно-вежливым. Как будто даже брезгливым — не таким, как только что в машине.

Внутри несколько капралов в маскировочных костюмах слушали радио. Диктор патетически призывал народ продолжать борьбу за свободу. Коммунистический агрессор разгромлен, уверял он, и спасается бегством перед лицом доблестной Гвардии, поднявшей оружие во имя цивилизации и христианства. Когда вошла Мэй, капралы посмотрели в ее сторону. Все они носили усы; в горных селениях такие усы служат признаком белой крови. Некоторые из них поглядывали с ухмылкой, некоторые — равнодушно.

Миновав переднюю комнату, они вошли в другую, побольше. Окна в ней были заложены кирпичами, пахло скверно.

В комнате сидел Кампос. Это не удивило ее, она еще при аресте догадывалась, что он где-то ее поджидает.

— Вы дрожите, — сказал он.

Это была правда. У нее дрожали колени. Кровь отхлынула от лица. Сердце затрепетало.

— А я уж прежде тебя обыскал ее, — сказал голубоглазый и захохотал.

Мэй удивилась: слышит человеческий смех и в то же время не осознает его, словно то, что казалось этому человеку смешным, ее совсем не касается, как не касается вон тех ящериц, что сидят на стене.

Кампос взял ее за локоть на манер голубоглазого офицера и вывел через некрашеную дверь в крытый внутренний дворик. Ее взору предстали ряды гробов с телами солдат в гвардейской форме, а за ними, в глубине двора, — штабеля вздувшихся под солнцем, смердящих, облепленных мухами трупов крестьян. Там же лежал труп бухгалтера, командовавшего отрядом повстанцев. Она отвернулась.

— Мертвые, — сказал он. — По вашей милости.

Она хотела заставить себя говорить, кричать, возражать, лгать. Но вид трупов подействовал на нее так убийственно, а страх перед Кампосом был настолько велик, что сперва она не смогла произнести ни звука. И вдруг из груди ее вырвался вопль, гулко отдавшийся в каменной комнате. Отвратительный вопль. Он унижал ее. И в то же время ей надо было его услышать, все-таки это — ее голос, пусть даже такой безобразный. В нем — ее жизнь. Все остальное — Враг.

Голубоглазый лейтенант, передразнивая ее, откинул голову назад и тихо, по-волчьи завыл. Потом вышел, оставив ее наедине с Кампосом.

Из передней комнаты едва-едва доносились звуки радио. Видимо, они привлекли внимание Кампоса, потому что он подошел к двери и, открыв ее, стал прислушиваться: дикторша возбужденным голосом дочитывала какое-то сообщение. Потом закрыл дверь и возвратился туда, где стояла Мэй. Теперь он стал виден ей как на ладони, и она поняла, почему всегда боялась его. Она знала, что пощады от него ей не ждать и что к этому надо быть готовой.

Когда он нанес первый удар, она подумала: я должна это сделать, должна это кончить. Я, а не он. Мысли ее метались и ввысь, и вширь, ища опоры и милосердия. Она заплакала, потому что сначала ничего не было. Только удары.

Уже страшно избитая, она все еще надеялась выстоять. Она забыла своего истязателя, перестала ощущать боль, но мысль о слезах, о крови, о слизи и о шатающихся во рту зубах еще не покидала ее: не так все плохо, я еще помню себя, я живая.

От электричества тело ее сотрясалось, готовое отделиться от костей. Уже не было смысла сдерживать вопли. Удары тока действуют ослепляюще, скоро они убьют ее.

— Мой папа разделается с тобой, мерзавец, — проговорила она.

Он повредил ей голову, в глазах у нее потемнело. Она знала, что лучше ей не станет, что к жизни она не вернется. Она протянула руку, как в те томительные дни, когда вглядывалась в безучастное море, но и теперь ничего не увидела. И ей стало горько. Она сознавала себя живой только между ударами тока, но время так дорого! Никакая она не героиня.

Иногда я способна лишь на то, чтобы быть немножко честной, сказала она ему. Попыталась сказать.

Один раз она увидела, как дергаются у нее пальцы, и догадалась, что это от электричества. Кольца уже не было. Потом появилось знакомое чувство, но вспомнить, что это, она не могла. Вновь и вновь, когда наступала передышка, она спрашивала себя, что это может быть. И откуда это чувство пришло: извне или изнутри? И почему оно завладело ею целиком? Чувство это было сильнее электрических раз-

рядов. Сила его непомерна. Сильнее любви, впрочем, пожалуй, сродни ей. Но вынести это чувство нет сил. Больше не могу. Устала.

Остается уповать лишь на создателя. Он всюду — внутри, снаружи, вокруг. И все же сейчас его рядом нет. Покинул меня. Избавитель, подумала она, как ты далеко. Почему ты так далеко? Этого уже не понять.

— Por que? [1] — спросила она. Раздался чей-то крик.

Всегда так далеко. И всегда так суров к нашим незрелым душам. Дорогой же ценой дается прозрение. Ты, вразумивший Иакова, Исаака, Исава, вразуми и меня, грешную. Ибо чья я, как не твоя. За тебя и принимаю муки.

И она сказала Кампосу:

— Се, Раба Господня.

На рассвете Текан предстал их глазам всего лишь стеной темно-зеленых гор. Такой вид на страну открылся Холливеллу впервые, и у него вдруг часто забилось сердце.

Ночью они встречали освещенные суда, но те ни разу не приближались настолько, чтобы представить для них опасность или чтобы на борту могли услышать их крики о помощи. Холливелл отыскал в ящике около топливного бака электрический фонарь и пробовал подавать световые сигналы, но это не помогло. Он решил, что либо луч фонарика слишком слаб, либо его принимают за береговой огонек. Теперь, когда загорелась заря, пароходы стали попадаться часто. Три небольших торговых судна, выделяясь на фоне розовых облаков, держали курс на север, но до них было несколько миль. Холливеллу казалось маловероятным, чтобы при свете дня какое-то судно остановилось, даже если впередсмотрящий и заметил бы вельбот.

Пабло, его спутника, их положение как будто не беспокоило. Он думал о чем-то своем. Пока Холливелл правил, он, растянувшись на носу, глядел в небо. Холливелл понаблюдал за ним какое-то время, потом отвернулся.

Поверхность моря приобрела нежно-зеленую окраску, через несколько минут она превратится в отражение пылающего неба. Холливелл вспомнил, что у него где-то были солнечные очки, и нащупал их в кармане рубашки. Чудом они уцелели.

— Какой только чертовщины не бывает, — сказал Пабло. В руке у него была небольшая склянка с таблетками. Ночью эти таблетки развязали ему язык. Холливелл притворялся спящим, но слушал и наслушался такого, что сначала встревожился, а потом перепугался. Парень, похоже, был не в своем уме, он постоянно находился под действием наркотиков и кипел безрассудной ненавистью. — Трудно даже себе представить.

— Это верно, — согласился Холливелл.

По лицу Пабло растеклась безумная недобрая ухмылка.

Утреннее солнце залило их палящими лучами. Море было спокойно; легким бризом со стороны материка вельбот потихоньку несло к северо-востоку. Двигатель они еще не включали. Холливелл отвернулся от ядовитой физиономии Пабло и пробежал глазами по горизонту, ища признаков перемены погоды. По всем известным ему приметам, ничего плохого небо не предвещало.

— Как полагаете, Пабло? Продержится погодка?

Холливелл не оставлял попыток вызвать парня на осмысленный разговор, нащупать безопасную зону в его больной психике. Но это ему не удавалось.

— Погодка хоть куда, — небрежно бросил Пабло и снова лег на спину, устремив глаза в небо. — Я говорю, чертовщины-то всякой, друг... никто и не знает сколько.

[1] Почему? *(исп.).*

Холливелл, несмотря на жару, поежился, точно от холода. Взял из собственной склянки таблетку драмамина и проглотил ее. Немного помолчав, сказал:

— Заведу-ка я двигатель. Может, удастся выйти на морской фарватер. Авось остановятся, если увидят нас с близкого расстояния.

Пабло кивнул, продолжая двусмысленно ухмыляться. Неужели он настолько псих? — подумал Холливелл. Или ему на все наплевать?

Двигатель не заводился. Почти четверть часа Холливелл промучился с ним, но безрезультатно. Наконец, обливаясь потом, откинулся на борт. Тогда Пабло приполз на корму, протер мотор концом тряпки, проверил соединения топливных шлангов, бензонасос и возвратился на свое место.

— Попробуй теперь, док.

Холливелл потянул за шнур, и мотор взревел.

— Контакты отсырели, — объяснил Пабло. — Только и всего.

— Благодарю, — сказал Холливелл. Он боялся, что, не сумев справиться с двигателем, показал свою слабость и тем ускорил помешательство Пабло. Они встретились взглядами. Пабло не переставал ухмыляться. Холливелл почувствовал, как в нем закипает ненависть к этому человеку.

— Ты ведь разбираешься в индейской резьбе, а?

— В ней до конца никто не разбирается. Она еще мало изучена.

— Расскажи.

Холливелл едва заметно улыбнулся.

— Многие резные изображения посвящены богу дождя, которого мы называем Бог-семь.

— Бог-семь? И это все?

— Имени его мы не знаем.

— Даже ты?

— Даже я.

Пабло задумался.

— А вот старик знает, — сказал он. — Держу пари.

— На некоторых камнях изображен царь. Возможно, он и бог тоже, но мы думаем, что царь. Кто-то имел на него зуб, потому что, где он ни изображен, у него сбито лицо. Мы зовем его Грозовое Небо.

— Грозовое Небо? — тихо повторил Пабло. — Ну-ка, расскажи мне про человеческие жертвоприношения. Что они означают?

— Что означают? Всегда одно и то же. Их не индейцы выдумали.

— Я понимаю, почему они приносили в жертву людей, — сказал Пабло. — Нутром понимаю. По-моему, это у меня в крови.

Холливелл смотрел на него и молчал.

— Знаешь про их колдовство? — спросил Пабло.

Холливелл выпил воды из кувшина.

— Какое колдовство?

— Я не о том, что когда-то там было. Я о том, что сейчас. О жертвоприношениях.

— Что-то я тебя не понимаю, — сказал Холливелл.

Пабло пожал плечами.

— Не хочешь говорить, мистер, не надо. Только учти, что старик мне кое-что рассказал. Я знаю, что там творится. Демиург и прочее.

— Должно быть, ты меня с кем-то путаешь, — сказал Холливелл. Видимо, Пабло вообразил его членом какой-нибудь франкмасонской ложи, существующей только в его воображении. Он не знал, что лучше: позволить ему и дальше так думать или вывести из заблуждения.

— Ладно. Потом расскажешь, когда готов будешь. Когда настанет пора. В этой лодке нам еще долго болтаться.

Холливелл истолковал эти слова как угрозу. Он прикинул: весит Пабло фунтов сто пятьдесят, не больше, но жилист и злобен, в нем накопилось столько ненависти и нервной энергии, что совладать с

ним далеко не просто. Он молод и безумен, а Холливелл, утомленный зноем и бессонницей, теряет силы. Он избегал смотреть на Пабло, держался настороже и не терял надежды, что какой-нибудь пароход в конце концов подберет их.

Конечно, размышлял он, в миссии не могли не знать, что Пабло не в своем уме и опасен. Может, я ошибаюсь, и не такой он тронутый, как кажется? Вряд ли. Эти благотворители-миссионеры могут приголубить кого угодно. Столь ужасное проявление милосердия было ему совсем не по душе.

На горизонте, к югу от них, появилось грузовое суденышко, плывшее как будто по направлению к берегу. Холливелл прибавил скорость, облизал губы и стал смотреть на него не спуская глаз.

— Говорят, от того, чего не знаешь, вреда не бывает, — сказал Пабло. — Но это не так. Если ничего не знать, тобой помыкать начинают.

— Верно, — согласился Холливелл.

— Тут я, брат, столько всего узнал, что даже не верится. Жизнь-то совсем не такая, как я думал.

Холливелл с любопытством посмотрел на него.

— Лучше или хуже?

Лицо Пабло расплылось в полудетской улыбке.

— Как тебе сказать... Наверное, и лучше и хуже. Для кого как. Для меня лучше.

— Отлично, — сказал Холливелл.

— Я ведь тебя насквозь вижу, — хитро подмигнул Пабло. — Дурака валяешь. А я поучиться у тебя хочу.

Холливелл вгляделся в его смуглое худое лицо, в воспаленные глаза. Будто заглянул во что-то омерзительное, похожее на внутренности животного. И вроде бы знакомое.

— А знаешь ты чертовски много, мистер, только говорить не хочешь. Но меня не проведешь.

Когда солнце поднялось над самым морем, Пабло разделся до трусов, окунул рубашку в воду и обернул ею, как тюрбаном, голову. Потом вытянулся на дне лодки с таким видом, словно лежание на солнцепеке доставляло ему удовольствие. К его ноге был привязан водолазный нож.

Суденышко, замеченное Холливеллом, продолжало двигаться. Он неотрывно смотрел на его черный корпус, стараясь усилием воли привлечь к себе внимание. Над трубой вился легкий дымок. Рука Холливелла, державшая привод дроссельной заслонки, болела от напряжения; он стремился сократить расстояние между лодкой и кораблем.

Пабло наблюдал.

— Все обойдется, — заверил он Холливелла.

— Приятно слышать.

— Честно, друг, нам не о чем беспокоиться. Мы плывем домой. Я, во всяком случае.

Более часа Холливелл следил за движением грузовоза, пытаясь определить его курс и скорость. Лишь когда глаза застлало пóтом, он отвернулся, протер солнечные очки и ополоснул пресной водой лицо. Но облегчения это не принесло. Холливелл скоро почувствовал, как лицо набухает, а кожа дубеет от жары и соли. Он бережно, боясь расплескать драгоценную влагу, поднес кувшин ко рту и отпил из него. Ему было скверно и страшно.

Пабло впал в какое-то забытье. Его желтые глаза, прикрытые подрагивающими веками и затененные краем сдвинутой на брови рубашки, казались безжизненными. Как Холливелл ни старался не думать о своем спутнике, вид ножа, привязанного к его ноге, не давал ему покоя. Пластмассовая рукоятка, широкое массивное лезвие. Нож этот чем-то напоминал Холливеллу самого Пабло. Его разгоряченному

солнцем и страхом воображению начал рисоваться чудовищный образ, составленный из Пабло и его ножа фирмы «Дэй-Гло». Он часами слушал медлительную речь своего спутника, следя за выражением его мрачных полузакрытых глаз, за каждым мускулом худого коричневого лица. Он как бы стоял лицом к лицу с дьяволом, избравшим его своей жертвой. Всю жизнь этот дьявол гонялся за ним и вот загнал-таки в угол. С самого детства его преследуют люди, подобные Пабло, но еще ни разу не попадал он в такую вот западню. Средь бела дня и в безлюдном месте. Но он решил про себя: море, солнце, жажда, голод могут одолеть его, но Пабло — ни за что. Лучше они оба погибнут. Мысль горькая, но она, если надежды на спасение уже не будет, останется его единственным утешением; он знал, что от своего решения не отступится.

Между тем расстояние, отделявшее лодку от грузовоза, совсем не сокращалось. Холливеллу хотелось кричать.

— Ничего у тебя не выйдет, — сказал Пабло.

Холливелл похолодел, услышав эти слова, но не повернул головы.

— Что ты хочешь этим сказать, Пабло?

— А то хочу сказать, что он изменил курс. Тебе его уже не перехватить.

Холливелл почти различал желтые буквы на голубом фоне — название компании. Красивая посудина, подумал он.

— Надеюсь, он нас все же заметит.

— Если и заметит, то не остановится.

— Должен остановиться.

— Здесь все по-чудному, — сказал Пабло. — Да в море нынче и везде так. Если тебя заметят, то не обязательно подойдут. А если и подойдут, то не всегда это к добру.

Холливелл все еще смотрел на судно; оно отклонилось от прежнего курса настолько, что и на корме стали видны буквы — название и порт приписки. Он в бешенстве отвернулся и стал высматривать другие корабли. Заметил еще два, но очень далеко. Взглянул на часы: половина первого. Глупая вещь эти часы, подумал он. Меряют безмерное время. Уж день от ночи он как-нибудь отличит. А сколько у у них воды и горючего, и так ясно.

Пабло взял апельсин и стал его очищать. Холливелл наблюдал, сдерживая злость и отвращение.

— Положение наше аховое, Пабло. Ты не находишь?

Пабло протянул ему половину очищенного апельсина и кивнул головой на восток.

— Туда гляди.

— А там что? — Голос у Холливелла слегка дрожал. — Неужели погода меняется?

Пабло спокойно улыбнулся.

— Острова. Если мы не увидим их сегодня, то завтра наверняка. Красивые островки.

Холливелл предпринял последнюю попытку убедить себя в том, что его спутник в здравом уме; но попытка не удалась. Ничего, кроме неприязни и угрозы, он в его звериных глазах не увидел.

Спокойная уверенность Пабло казалась Холливеллу нелепой. Помолчав, он сказал:

— Ну что ж, плывем дальше. Через час остановимся и подумаем. Если до четырех часов никто не придет к нам на помощь, поверну на север. Авось доберемся до берегов Компостелы.

— Это же против ветра, — возразил Пабло. — Никак мы туда не доберемся. А сейчас мы держим курс на острова.

Холливелл положил дольку апельсина в рот, пожевал и выплюнул за борт.

— Не пойму, откуда у тебя такая уверенность.

— Потому что так должно быть. Вот откуда.

Холливелл ничего не ответил, и Пабло его реакция не понравилась.

— Спокойно, док. Не к лицу это тебе, ты же умный мужик.

— Я-то спокоен. Это тебе надо успокоиться.

Глаза Пабло похолодели. По ним пробежала, точно блеск лезвия ножа, мелкая рябь гнева.

— Ты, видно, не тот человек, за кого я тебя принимал, — сказал он.

— Сосед твой по лодке, вот и все. Этого достаточно.

— Отдохни, — предложил Пабло. — Я подменю тебя.

Холливелл молчал. Он никак не мог заставить себя снять руку с привода дросселя.

— В чем дело, черт побери? Ты что, боишься, как бы я не сбился с курса?

Наконец он уступил, и Пабло пополз на корму. Когда они поменялись местами, Холливелл прикрыл лицо рубашкой и лег, положив голову на парусину. Он изнемогал от усталости, но заснуть боялся.

— А я думал, ты из этих.

— Из каких «этих»?

— Из того заведения. Думал, ты с ними заодно.

— Да я и был-то там только проездом, — сказал Холливелл.

— Пойми, Холливелл: идет процесс, и я в нем участвую. Многое из того, что я делаю, предопределено судьбой.

Холливелла это признание не удивило: чего-то в этом роде он ожидал и готовился. Отвращение, которое он испытывал, действовало на его кровь как антитоксин. Нет, врасплох его не застанут. Сознания он не потеряет, несмотря на солнце и зной. Он приподнял с лица край рубашки и посмотрел на горизонт. Вдалеке виднелся еще один корабль, державший курс на север.

— Ты понимаешь, о чем я говорю, — сказал Пабло. — Уверен, что понимаешь. — Он заглушил мотор и погрузился в молчание.

Мало-помалу Холливелл поддался усталости, его одолела дремота. Сны его были такими же просоленными и пропитанными солнцем, как то, что окружало его наяву. Он видел корабли там, где их не было. Один из кораблей красовался перед ними на расстоянии вытянутой руки; Холливелл видел его совершенно четко, во всех подробностях, видел поручни, покрытые свинцовым суриком, ржавчину на корпусе ниже ватерлинии, красную полированную медь на мостике.

Когда он очнулся, жара немного спала, дневной свет был уже не такой яркий. Впереди сгущались тяжелые облака; дул, не переставая, ветер, он гнал лодку, обдавая их брызгами на каждой пятой волне, все больше отдаляя от земли. На горизонте уже не виднелось ни одного судна.

Пабло сделал из ведра нечто вроде плавучего якоря, чтобы удерживать лодку кормой к ветру, и решил, пока не наступила ночь, посушить одежду. Молча взял у Холливелла рубашку и расстелил ее рядом со своей.

— Провел ты меня, мистер, — сказал он. — Раз ты в этом не участвуешь, то нечего и дурака валять. Перехитрить меня хочешь, а я этого не позволю.

— Ты должен мне верить, — сказал Холливелл. — Мы нужны друг другу.

— Мне-то никто не нужен. Уже не нужен. Знал бы ты, друг, сколько дерьма я нахлебался из-за того, что доверял людям. Даже вспоминать не хочется.

— Но я-то на твоей стороне, — сказал Холливелл. — На чьей же еще?

Солнце склонилось к горизонту, и небо вновь порозовело. Над морем повисла зеленоватая дымка.

— Худо мне, — вдруг сказал Пабло. — Нога... Наверное, у меня лихорадка.

Холливелл с озабоченным видом смочил пресной водой носовой платок и предложил Пабло вместо тампона. Они поменялись местами, и Холливелл сел у румпеля. Ветер заметно посвежел. Пабло надел рубашку и лег, подстелив под голову парусину и брюки.

— У тебя там есть пенициллин,— сказал Холливелл. — Что же ты его не принимаешь?

Пабло отыскал пузырек с таблетками и дрожащими пальцами снял пластмассовый колпачок. После пенициллина он принял другую таблетку — из тех, что развязывали ему язык.

— Адская боль, — сказал он.

Взглянув на компас, Холливелл обнаружил, что они движутся прямо на восток. Стало быть, Пабло прав. До Компостелы им не добраться. Какая бы участь ни была им уготована, она ожидает их в безбрежном океане.

Пабло с усилием приподнялся на локте.

— Надеюсь, док, ты не вздумаешь меня одурачить?

— Конечно нет, — ответил Холливелл.

— Потому что если вздумаешь, то считай, что твоя песенка спета. Можешь не сомневаться.

— Успокойся, Пабло.

Грудь Холливелла сдавило страхом. От холодного ветра его пробрала мелкая дрожь. Пабло снова лег на спину и вроде бы заснул. Холливелл обратил внимание, что нож у него прижат к ножнам резиновым жгутом, обмотанным вокруг рукоятки. Вытащить его незаметно из ножен — дело тонкое и крайне рискованное. Тем более что этот выродок по-настоящему не спит, подумал Холливелл. Лежит с открытыми глазами.

Ничем не лучше зверя. Да он и есть зверь.

Когда солнечный диск почти коснулся горизонта, Пабло снова заговорил:

— Ты сказал, что предал ее.

Холливелл не сразу понял, о чем он.

— Ты сказал ей: «Я вас предал». Что это означало?

— Ничего особенного. Мы с ней держали пари.

Взгляд у Пабло был отсутствующий, задумчивый.

— Вот ведь какое дело. Я в процессе, а ты — нет.

— Да, тут я сплоховал, — сказал Холливелл.

— А я-то думал, что ничего из себя не представляю. Считал себя обыкновенным неудачником.

— А оказался в гуще процесса.

— Все, что ни делается, друг, делается с целью. Научить меня. Чтобы я знал. Все, что ни делается. Кого бы я ни встретил.

— Кроме меня, — сказал Холливелл.

— Я этого не сказал, Холливелл. Не уверен. Может, и тебя тоже. Он сказал мне... старик сказал мне: «Твой глаз и тот, что смотрит на тебя, — одно и то же». Вот что он мне сказал.

Эти слова напомнили Холливеллу об одном опыте с шимпанзе. Прочитав о нем в газете, он вырезал статью, чтобы использовать ее потом на занятиях со студентами. Экспериментатор, изучавший поведение шимпанзе, просверлил в двери обезьяньей камеры отверстие, чтобы через него незаметно наблюдать за животным. Но когда он приблизил свой глаз к отверстию, то единственное, что он увидел, был глаз шимпанзе, смотревший с другой стороны. Обезьяньи проделки.

У него по коже снова пробежал мороз, зубы застучали.

— Думаю, я тоже — участник процесса, — сказал он, сдерживая дрожь. — Кое-что и я здесь узнал. — Он накинул рубашку на обож-

женную, покрытую волдырями спину и оглянулся на теканское побережье — зеленую полоску, еле различимую в туманной дали. Узнал, например, про пустые закоулки своей души. Став свидетелем мужественной борьбы других, обнаружил, что сам-то лишен и мужества, и воли к борьбе. Вместо того чтобы убраться восвояси, когда представлялся удобный случай, полез не в свое дело, запутался и испил горькую чашу.

Холливелл отвернулся от Текана и устремил взгляд на своего спутника.

В перспективе — гибель, моментальная или медленная, гибель, которую нельзя считать ни заслуженной, ни незаслуженной. Он должен смотреть ей в лицо и слушать бессвязные речи этого психа, наглотавшегося таблеток, этого обормота с водолазным ножом и мерзкими глазками.

— Меня, брат, много подурачили, — продолжал Пабло. — Хлебнул я горя. Хоть я и больной, а все равно сейчас мне лучше, чем тогда.— Он оглянулся через плечо на Холливелла.— Рад, что возвращаюсь домой. Другими глазами на жизнь смотреть буду.

Холливелл, вздрогнув от брызг, молча кивнул.

— Не знаю, как ты, Холливелл, а я как пить дать еду домой. Приеду домой, и все пойдет по-другому. Потому что повезло мне, понимаешь? — Он широко улыбнулся, показав белые ровные зубы — единственное, подумал Холливелл, что в нем осталось здорового. — Есть у меня кое-что материальное, Холливелл. В избытке, если хочешь знать. Есть и духовное. — Слово «духовное» он повторил, но уже шепотом. — А дома ждет меня женушка, сэр. И сынишка, отличный парень.

Вдруг на лице его появилось выражение тревоги, и он потрогал рукой нагрудный карман рубашки. То, о чем он вспомнил, оказалось на месте.

— Поглядывай, Холливелл. Будет остров.

Холливелл еще раз вгляделся в скуластое лицо своего спутника, и его охватило сомнение. Наверное, тут сыграли какую-то роль сентиментальность, совестливость, малодушие, только он вдруг заколебался. Надо ли ему осуществлять задуманное? В нем зародилась надежда, что вместе они смогут выжить. Возможно, он и не опасен, его сосед по лодке — это ведь всего лишь полоумный мальчишка, только старше, грубее, жестче, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на устрашающие речи Пабло, убийства он, по-видимому, всерьез не замышляет. Не исключено, что он действует из самых лучших побуждений, но действует по-дурацки, как и положено параноику. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Джастин доверяла этому человеку, предоставила ему приют, а потом передала на попечение Холливелла. Может быть, ради нее он обязан... У него возникло желание снова оглянуться на далекий зеленый берег, но он удержался. Туда возврата нет. Да и с самой мыслью о практическом осуществлении плана он не мог примириться. Может, все-таки подвернется какое-нибудь суденышко или даже остров, как ни абсурдна эта надежда. Он решил не терять присутствия духа, не спускать глаз с Пабло, перетерпеть предстоящую ночь.

Небо покрылось сумеречными красками. Солнце опустилось на самую линию горизонта и уже не ослепляло. Держись, сказал себе Холливелл. Живи надеждой.

— Ты их слышишь? — спросил Пабло.

— Кого? — Холливелл напряг слух; ничего, кроме волн и ударов воды о стеклопластик.

— Слышишь, слышишь. Не притворяйся.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Это для меня, — объявил Пабло. — Теперь они мои. — Он снова с трудом поднялся.— Я их слышу так же, как ты слышишь меня.

— Что ты слышишь, Пабло? — Холливелл опять прислушался, надеясь уловить хоть какой-нибудь посторонний звук. — Слышишь... голоса?

— Ну и тип же ты, — сказал Пабло. — Хитрец, сукин сын. — Он усмехнулся.

У Холливелла упало сердце.

— Они просто замечательные. Лучше некуда.

Холливелл безнадежно кивнул.

— Мы с тобой кореши, — объявил Пабло. — Братья.

— Точно, — согласился Холливелл. Он внушал себе, что Пабло, ослабленный раной и нагноением, не представляет опасности. Но достаточно ему было взглянуть на лихорадочно возбужденное лицо этого человека, как он почувствовал себя — из-за озноба, солнечных ожогов, собственной сентиментальности — еще слабее.

— А ведь я, Холливелл, собирался убить тебя. Кроме шуток.

— Ну и ну. И не раскаиваешься теперь?

— Не раскаиваюсь. Знаешь почему?

— Нет, — сказал Холливелл.

Пабло засмеялся.

— Потому что не в чем мне раскаиваться.

— Понятно.

Худое коричневое лицо Пабло было сама молодость и сила — и деланная доброжелательность. Придет время — Холливелл был в этом уверен,— доброжелательность обернется враждебностью, эта тварь обрушится на него и потребует ритуальной жертвы. Такие твари всегда их требуют. И тогда ему, Холливеллу, придется разыгрывать роль смиренной овечки и вымучивать улыбочки в расчете на пощаду, которой не будет. Но как бы Холливелл ни был доброжелателен, для этой роли он не годится.

— Я убивал людей, — объявил Пабло. — Так что мне это нипочем. Они дурачили меня. И получили свое.

— Но я-то тебя не дурачу.

— Нет, — сказал Пабло. — Однако я этого ждал.

Вечером поднялся ветер. Он дул не переставая. Подавленный Холливелл пал духом. Чтобы как-то унять дрожь в обожженном теле, он плотно прижался к борту. Но и это не помогало.

Теперь-то я знаю, что ты за птица, подумал Холливелл, глядя на Пабло. Как это я сразу тебя не раскусил. Мне ведь такие типы совсем не внове.

Холливеллу стало так же страшно, как и тогда, у подводного рифа. Страх этот являлся ему не только стайкой быстрых рыбок, вспугнутых акулой, но и солнечным бликом на запруженных рисовых полях. Страх крепко держал его. Особенно когда рассеивались иллюзии. Он находил Холливелла повсюду. Можно считать его аномалией, гримасой природы. Но он существует. И от этого не отмахнуться.

— Что с тобой? — спросил Пабло.

— Знобит меня. Наверное, перегрелся.

Пабло вытащил из-под головы парусину и протянул Холливеллу. Потом начал расстегивать верхнюю пуговицу рубашки.

— Хочешь, надень еще мою рубашку сверху? Я обойдусь. Мне не холодно.

— Нет, спасибо. Пусть она на тебе остается.

Заходящее солнце краснело, точно металлический слиток, погруженный в прозрачную жидкость, освещая их своими перламутровыми лучами. Пабло сидел лицом к солнцу.

— Твои обыкновенные люди,— сказал Пабло. — Плевал я на них. Все они — дрянь. — Он закрыл глаза и через секунду открыл их.

— Теперь меня уже ничего не остановит. Я, брат, все понял. Лучше, чем десять миллионов людишек. Потому что так и было задумано.

— Отлично, — одобрил Холливелл. — Отлично.

— Будем держаться вместе. Мы с тобой. Ты расскажешь мне все, что знаешь, — я заставлю. А потом и я тебе расскажу. Когда добираешься до сути, мир становится фантастическим. — Он торжествующе оглядел пустынное море, небо, сиреневые облака. — Мягким, сладким, пьянящим. Чудесным.

— Отлично, — повторил Холливелл.

Он смотрел на Пабло, но уже не видел его; ему было все равно, кто это — Пабло или кто-то другой. Его сердце забилось быстрее от накопившейся злости. Если бы мы могли собрать их вместе, думал он, всех одержимых, с блестящими глазами, может, при них нам было бы не так скучно жить.

Когда Пабло снова повалился на спину, Холливелл вперил напряженный взгляд в его нож. Так же он смотрел недавно на проплывавшие вдали корабли. Потом, не сводя глаз с подрагивающих век Пабло, нагнулся, осторожно снял с рукоятки резинку, извлек нож и сунул его себе за спину, за пояс. Лезвие сверкнуло отраженным светом последних лучей солнца. Через минуту Пабло проснулся. Вопреки опасениям Холливелла, исчезновения оружия он не заметил.

— Ты что-нибудь знаешь о прошлых жизнях людей? — спросил Пабло.

— Я — нет.

Пабло показалось, что Холливелл изменился в лице, и он насторожился.

— Тебе нехорошо, друг?

— Мне снится сон, — ответил Холливелл. Он передернул плечами, но не от холода, а от страха и отвращения, и засмеялся. — Все время один и тот же сон. Снова и снова.

— Какой сон? — Пабло привстал и сел прямо.

— Во сне я вижу себя непохожим на других. Будто еду я в метро, а все пассажиры кроме меня — черные. И будто со мной вот-вот случится беда. Только никому до этого нет дела. Все смеются, потому что они не похожи на меня. — Холливелл дрожал, во рту у него пересохло, сердце билось так сильно, что готово было вырваться из груди. — Или будто я плыву на судне. Матросы — то ли китайцы, то ли малайцы, то ли индийцы; во всяком случае, не такие, как я. И в любую минуту со мной может случиться беда. Но всем наплевать. Им только смешно. Я не такой, как они.

Пабло кивнул. Его глаза были широко раскрыты.

— Точно. Ты в самую точку попал.

— Да?

— Потому что это я и есть,— возбужденно проговорил Пабло.— Всю жизнь я таким себя вижу.

— Такие вот дела, — сказал Холливелл.

— Я испанец, понимаешь? Вернее, моя мать. Она была... не знаю. Индейская, испанская кровь. Поэтому я никогда не был похож на всех остальных. И душа у меня другая. Поэтому меня всю жизнь ни во что не ставили.

— Скверно,— сказал Холливелл.

— Нет ничего хуже, когда тебя ни во что не ставят из-за того, что ты не такой, как все. Это обижает. Чувствуешь себя каким-то выродком. Тобой помыкают и помыкают.

— Есть такой анекдот,— сказал Холливелл. — Его во Вьетнаме рассказывали. Да и в Техане его, наверное, знают.

— Я, брат, свободный человек,— перебил его Пабло, глядя на гряду сиреневых облаков. — Свободный.

— Про буйвола и скорпиона,— продолжал Холливелл. — Ты, я думаю, слышал.

Пабло посмотрел на Холливелла и рассеянно покачал головой.

— Что за анекдот?

Холливелл отвел руку за спину, ощупал там нож. Руки его напряглись. Он глубоко вздохнул.

— Приходит скорпион на берег реки, а там буйвол. «Извините, сударь,— говорит скорпион,— не перевезете ли вы меня на ту сторону?» — «Не могу,— отвечает буйвол. — Ты ужалишь меня, и я утону». Скорпион стал клясться, что не ужалит. «Зачем я буду вас жалить? — спрашивает он буйвола. — Я ведь тогда утону вместе с вами!» Буйвол поверил, и они отправились на другой берег. А когда доплыли до середины реки, скорпион взял да ужалил буйвола. Бедняга буйвол говорит: «Мерзавец, ты погубил нас обоих». А скорпион, перед тем как пойти ко дну, отвечает: «Такова уж моя природа».

Пабло кивнул, но лицо его ничего не выражало.

— Понял, Пабло, о чем речь? Вот как обстоит дело, верно?

— Не всегда,— возразил Пабло.

Холливелл облизнул пересохшие губы.

— Вот что я тебе скажу, Пабло. По-моему, ты все же прав. По-моему, мы с тобой можем кое-что предложить друг другу.

— Верно.

— Но то, что ты предлагаешь, мне не нужно. Потому что за свою жизнь я всего нагляделся. Так что, пока у тебя есть настроение учиться, давай-ка я предложу тебе кое-что.

Пабло недоуменно уставился на него.

— Например?

— Например, разбитые надежды. — Холливелл крепко уперся ногами в кормовую распорку.

Губы Пабло зашевелились. Он беззвучно повторял слова «разбитые надежды».

В тот же миг Холливелл прыгнул вперед; левой рукой он схватил Пабло за горло, а правой, согнутой в локте, выхватил из-за спины нож. Затем сделал выпад и сразу почувствовал под острием ножа кость. Тогда он нажал сильнее; лезвие, обойдя ребро, вонзилось в тело. Но он продолжал нажимать, пока рукоятка ножа не коснулась рубашки Пабло. Он кричал; изнемогая, навалился на Пабло и придавил его к борту. Пальцы Пабло так сжали руку Холливелла, что она онемела. Потом пальцы ослабли, Холливелл отпрянул назад и встретился с Пабло взглядом. В глазах парня застыло удивление и обида; но в глубине теплилась вера, что все исправится. Холливелл вытащил нож, и Пабло захрипел. Ничего уже не исправится, и Холливеллу стало стыдно.

— Иначе я не мог,— сказал он и ударил Пабло по лицу, чтобы отвести от себя его тяжелый, осуждающий взгляд. После долгой и утомительной возни ему удалось перевалить Пабло через борт и сбросить в темнеющую воду. Рука Пабло потянулась к борту; Холливелл хотел ударить по ней, но не смог заставить себя это сделать. С трудом переводя дыхание, он смотрел, как удаляются голова и плечи Пабло, старающегося удержаться на плаву. Если из него и лилась кровь, то на фоне багряного моря ее не было видно.

На Пабло упали последние лучи солнца. Он еще раз — всего один раз — поднял руки, слабо взмахнул ими и откинул голову назад, держа открытый рот над поверхностью воды. Взгляд Холливелла помимо его воли сосредоточился на лице Пабло. Он тщетно искал на нем прежнее зловещее выражение. Теперь оно казалось детским, искаженным болью и испугом и вместе с тем озаренным необъяснимым светом надежды. Это было лицо брата, сына, собственное лицо Холливелла. Лицо человека вообще, еще одной жертвы неведения и страха. Всего лишь одного из нас, подумал Холливелл.

Теперь я понимаю смысл анекдота, сказал он себе. Мы все — одна большая шутка. Один шутит над другим. Такова уж наша при-

рода. И тут же он вспомнил Мэй. Какое несчастье, подумал он, что нас только двое.

Лодку относило все дальше. Пабло исчез. Легкая зыбь, нагнанная ветром со стороны материка, покрыла то место, где морская пучина поглотила его тело.

Когда солнце совсем зашло, на север низко над морем поплыла легкая пелена облаков, окрашенных в невообразимые золотисто-красные цвета. Холливелл завел мотор и взял курс на восток. Увидев освещенные облака, он продекламировал: «Кровью господней небесная твердь обагрилась. Капли мне хватит одной, чтоб душа обновилась». Ему случалось произносить эти слова во Вьетнаме, чтобы развлечь собеседника; они были тогда чем-то вроде заклинания, а отнюдь не молитвой. И вот сейчас он вспомнил их и повторял до тех пор, пока они не потеряли для него всякий смысл. Его рубашка была в крови. Он снял ее и, дрожа всем телом, выстирал в морской воде. Потом заметил, что и вельбот забрызган кровью; он начерпал воды, намочил брюки Пабло и тщательно смыл каждое пятнышко. Было уже темно, а он при свете электрического фонаря все еще искал на палубе следы крови. В носовой части лодки ему попался блестящий камушек, похожий на фальшивый бриллиант. Он выбросил его вместе с окровавленными брюками Пабло за борт.

Через полчаса Холливелл увидел огни проходящего корабля. Он стал подавать фонарем сигналы «SOS», но их так и не заметили. Он продрог и чувствовал, что заболевает; даже теплая вода из кувшина нисколько его не согрела. Он лег на спину и попробовал заснуть.

Ночью его одолевали кошмары. Слышалась музыка, будто исходившая от звезд, проплывавших над головой; кто-то рассказывал анекдоты. В одном анекдоте говорилось об акуле, которая следовала за лодкой, надеясь на роскошное пиршество. «Что там?» — спросила акула у своей подруги. «Всего лишь мы»,— ответила та. Холливелл сквозь чуткий сон засмеялся.

— Мертвая она, ваша монахиня,— сказал отцу Эгану лейтенант Кампос.

— Я это знал,— ответил Эган.

Кампос вышел нетвердой походкой на поляну, где стояли стелы, опустился на колени и потребовал отпущения грехов. Свой револьвер он навел на священника: насилие во имя святого духа. Он не бежал, как президент, в Майами, поэтому прокладывал себе дорогу к лестнице Иакова.

— Господь непредсказуем,— резко проговорил Кампос. — Вот я и пострадал.

На голове у него было некогда щегольское кепи лимонного цвета с перекрещенными якорями на околыше. Такие головные уборы в большой моде у парней, что околачиваются на уличных перекрестках Альварадо. Свою белую рубашку и брюки он вымазал где-то красной глиной. От прежнего Кампоса остались только зеркальные очки. Когда он снял их, чтобы вытереть лицо, Эган увидел, что зрачки его сильно расширены. Наверное, отнял у Джастин сумку с лекарствами, а там у нее были и наркотики, подумал священник.

— Таким, как ты, этого не понять,— продолжал лейтенант, закатив под лоб свои выпуклые глянцевитые глаза. — Трус все равно что дегенерат. Я знаю себе цену, а ты ставишь меня в глупое положение. Я — лицо сугубо официальное, отвечаю за порядок. Ты и ногтя моего не стоишь, а я перед тобой на коленях.

Эган смутился.

— Вы убили ее?

— Я убил ее. Она взялась не за свое дело.— Он презрительно

фыркнул и сплюнул.— Сколько жизней из-за нее погибло? Сотни? Тысячи? Она и сама не сознавала, сколько от нее зла.

— Кампос!

— Исповедуй меня! — рявкнул Кампос, размахивая револьвером. — Это мое право.

Эган поднял глаза к небу. Ты, столь непредсказуемый, ты, всеблагой и чудотворный, зачем покидаешь нас в годину испытаний? — молился он.

Как всегда, Он не внемлет, размышлял священник. Среди сирых и убогих Его не сыскать, куда ни кинь — всюду ужасающая бездуховность, все суетно и безобразно.Ты вопрошаешь, а в ответ лишь обманчивые и уклончивые посулы да обрывки бредовых снов.

— Ее, конечно, пытали?

— У нас в Гвардии не шутят. Не на день рождения же мы ее звали.

— Зачем вам исповедоваться, Кампос? Я вам не судья.

— Для моего спокойствия,— хрипло проговорил Кампос. — Понимаешь, священник, что произошло? Если раньше я что-то представлял из себя, то теперь я беднее самого бедного негра. Моя жизнь в опасности. И душа — тоже. Для таких, как я, и существует церковь.

— Ах, церковь,— вздохнул Эган и усмехнулся. — Ну, разумеется.

— Умирая, она сказала: «Се, Раба Господня».

Эган поднял голову.

— Джастин это сказала? О боже! Каково, а?

Кампос покрутил ус и потупился.

— Так она и сказала? Вы били ее смертным боем, кололи иглами, а она сказала эти слова? Молодец девочка! — Эган вытер глаза. — Она была действительно необыкновенная, эта Джастин. Наверное, это заставило вас призадуматься?

— Да, заставило,— признался Кампос. — Выбило меня из колеи. И тут я понял, что бог сыграл со мной шутку.

— Может, вы попросту суеверны?

— Я? — Кампос пришел в ярость. — Это было веление Господа! Не смей спорить! Мне это велено.

— Что велено?

— Да какой ты священник, maricón? Велено просить отпущения.

— А, понимаю. — Эган рассеянно глядел на фиолетовые цветы и лозы, обвившие одну из пирамид. — Я думаю, Джастин простила бы вас, если б могла. Ей теперь хорошо. Но вы должны исполнить ее волю.

— Я поклянусь,— сказал Кампос.

— Если вы хотите, чтобы Джастин простила вас, перестаньте убивать молодых женщин. Им-то, может, все равно, а их родным горько приходится. Этой девчонке, что вы в морозильник засунули, не было, наверное, и двадцати, а умирать в таком возрасте слишком рано.

— Они везде умирают, не только здесь.

— Все равно, лейтенант.

Кампос перекрестился и обратил исступленный взгляд на безоблачное небо. Прочтя молитву, сказал:

— Я должен обрести покой.

— Чтобы обрести покой и заслужить прощение Джастин, вы должны вообразить себе мир, в котором вы не существуете. Мир, в котором нет и следа вашего присутствия.

Кампос снова перекрестился и закрыл глаза.

— Минутку,— сказал он. — Я что-то не понимаю.

Эган, продолжая разглядывать цветы, издал нетерпеливое восклицание. Ему казалось, что свою мысль он выразил ясно.

— Я должен знать, что бог прощает меня,— настаивал Кампос. — Я за этим и пришел. Унизил себя. Теперь от Него все зависит.

— Кампос! Всевышний безразличен к тому, что вы делаете.

— Безразличен?

— Ну да. Ему все равно.

— Бросьте,— возмутился Кампос. — Ему не должно быть все равно, иначе... не может быть милосердия.

Эган с улыбкой посмотрел на лейтенанта.

— Милосердия нет. Во всяком случае, того, на которое вы рассчитываете. Здесь его нет. Мы не можем ни даровать его, ни получать. На этом уровне его просто не существует.

— Но я верю в него,— возразил Кампос. — Верю в милосердие.

— При вашем опыте это странно.

— Что же тогда существует?

Эган пожал плечами.

— Неужели не знаете, Кампос? Суета, грошовые страсти. В глазах пестрит от такой жизни.

Пестрит, думал он, глядя на сплетение лоз и цветов. Красиво.

Кампос долго смотрел на него, потом с трудом поднялся с колен.

— Валяюсь в ногах у дьявола,— сказал он. Его передернуло. Тяжело дыша, он отступил от камня, на котором сидел Эган, направил на священника револьвер и с гортанным смехом нажал на спуск. Раздался сухой щелчок. Нажал снова — тот же результат.

— Матерь божья! — пробормотал он. — Патроны кончились. — Кампос опустил револьвер, ощупал карманы рубашки и, будто извиняясь, сказал: — Я безоружен. У меня нет патронов.

— У меня — тоже,— усмехнулся Эган.

Кампос сунул револьвер за пояс и растерянно огляделся вокруг.

— Слушай, там кто-то есть! — испуганно прошептал он.

Эган оглянулся. В нескольких сотнях ярдов от них у основания раскопанной пирамиды два человека рыли киркой и лопатой землю. Они пришли сюда сразу же после сражения, когда пальба еще продолжалась, и начали копать траншею. Они работали с чрезвычайным усердием; время от времени один из них вылезал из траншеи и совал в лежавший поблизости мешок из-под муки какой-нибудь горшок или украшение из копаловой камеди. Сперва они отнеслись к Эгану враждебно и обрушились на него с угрозами, но сейчас уже не обращали на него внимания. Кампоса они еще не заметили. На поясе у обоих были пистолеты.

— Это huaqueros,— сказал Эган лейтенанту. — Грабители.

— А,— сказал Кампос и начал бесшумно удаляться в ту сторону, откуда пришел. Его глаза, устремленные на huaqueros, были влажны от ярости и желания.

Эган молча смотрел вслед Кампосу. Когда грабители заметили его, он уже почти скрылся в зарослях. С минуту они неподвижно стояли, положив руки на рукоятки пистолетов, потом один из них поднял с земли неполный мешок, и они поспешили прочь.

Когда все ушли, внимание священника вновь поглотила паутина из цветов на древних камнях. На протяжении нескольких дней после боев бутоны распускались почти у него на глазах. От них исходил густой пряный запах; он, как Тайна, висел над поляной и лесом.

В ночь, когда Гвардия штурмовала завод компании, он издали наблюдал за полетом трассирующих пуль. Там находилась Джастин, и они ее схватили. Пальба продолжалась и на следующий день, и когда кончилась, в ушах у Эгана вдруг зазвучала — и с тех пор звучала непрерывно — тема из трио Шуберта. Он не мог вспомнить, где впервые ее услышал; давным-давно, в другом месте. Простенькая, незатейливая мелодия, но ее звуки так удивительно сочетались, что радовали слух, доставляли невыразимое удовольствие. Эган спрашивал себя, отчего он временами так счастлив.

Никогда мне не скучно, подумал он.

Это была правда. С тех пор как он привык заполнять свой день, ему некогда стало скучать и он подолгу обходился без выпивки.

Но каким бы счастливым он ни чувствовал себя в часы трезвости, грустное настроение не покидало его. Правда, оно уже не отягощало душу, как прежде, но оно было, и с ним приходилось мириться. И он научился его исследовать.

Удрученный, он размышлял о том, что организм его все больше разлаживается и все хуже справляется со своими обязанностями. Он едва узнавал себя в зеркале. У него постоянно тряслись руки, немели пальцы, с перебоями работало сердце. Он совсем расклеился. Но это неумолимое угасание жизни действовало по-своему успокаивающе. Оно напоминало ему, что, каким бы отчаявшимся и одиноким ни ощущал себя человек, мироздание, жизнь идут своим чередом, совершая круговорот.

На его долю выпала роль созерцателя, и хотя созерцание доставляло ему некоторое удовлетворение, нелегко наблюдать все блуждания людей по полям давно проигранных сражений. Гони прочь жалость, если ты на это способен. Истина — прекрасная вещь, но она требует жертв.

Много часов спустя края земли посветлели, и Холливелл оживился, но вскоре понял, что радоваться нечему. Он со страхом поглядел на восток, где должно было взойти солнце. Заря пугала его.

К тому времени, когда из-за моря выглянул первый обжигающий луч, он уже знал, что увидит глаз вселенной, и от этого знания задрожал еще сильнее, чем дрожал всю долгую, томительную ночь. И он повернулся к востоку спиной.

В сердцевине взошедшего солнца он, этот глаз, встретится с ним взглядом. Синий. Дочиста вываренный. Простодушно глядящий. Перед ним он застынет на месте, и каждая его клеточка встрепенется, узнав самое себя. Он, Холливелл, есть нечто. Не более того. Величайший ужас вызывает отсутствие зла.

И вдруг на небосводе появился, с трудом махая тяжелыми крыльями, синий, как глаз вселенной, пеликан с кровавым пятном на груди. Холливелл, следя за его полетом, повернул голову, но так, чтобы не видеть глаз в солнце. А немного погодя припорхнула крохотная желтая птичка и села на борт лодки. Она сделала несколько скачков, приблизилась почти вплотную к его лицу и кольнула его своим маленьким, величиной с цветочное семя, глазком. В быстром, точно у ящерицы, взгляде птички мелькнуло отражение глаза вселенной. Но на этот глаз я не боюсь смотреть, подумал он. Это ведь всего лишь желтая птичка.

Продолжая сидеть спиной к востоку, он с изумлением увидел совсем рядом остров. За крутым песчаным берегом высились небольшие холмы, покрытые ярко-зелеными и желтыми стелющимися растениями. Там росли также кактусы и морские пальмы. Кокосы. Тихая волна, катившаяся в подветренную сторону острова, несла лодку к берегу. Холливелл посмотрел вниз, за борт, и в глубине, всего в нескольких футах под килем, увидел кораллы. Это был остров, который обещал ему Пабло.

Все еще боясь оглянуться на солнце, он ощупью нашел кувшин с водой, напился и поставил кувшин на место. И в это время его взору представилась еще одна удивительная картина.

В сотне футов от него покачивалась лодка размером едва ли больше его собственного вельбота, но с надпалубной каютой в носовой части и с двумя креслами для рыболовов, привинченными к корме. Между креслами и бачком с водой стояли в безмолвии трое людей и наблюдали за Холливеллом.

За штурвалом стоял черный человек в синей капитанской фуражке. Рядом с ним — белый американец средних лет, лысоватый, очень

высокий, в очках в металлической оправе и в белой рубашке с длинными рукавами. Турист, приезжий рыболов.

Третьим в лодке был мальчик лет одиннадцати-двенадцати. В одной руке он держал банку с кока-колой, а в другой — удилище. Он смотрел на Холливелла в упор, и лицо его выражало не просто удивление — это было лицо человека, который никогда ничего подобного не видел и даже не предполагал увидеть. Его лицо отражало солнце; солнечный глаз смотрел из глаза мальчика.

Фокус, подумал Холливелл. В отчаянии он оглянулся наконец на солнечный диск: яркий свет, слепая звезда — только и всего.

Холливелл захохотал и хохотал до тех пор, пока не свело челюсти; потом заскрежетал зубами.

— Эй! — позвал он.

Рулевой держал лодку на почтительном расстоянии, словно боялся, что Холливелл попытается взять его на абордаж.

— Это всего лишь мы, малыш,— сказал Холливелл. Он заглянул в испуганные глаза мальчика; в них было все. Все. Мы глядим на самих себя, а нечто глядит на себя. Проще не бывает.

Он подыскивал подходящее слово, чтобы сказать им.

— Американец,— проговорил он. Для данного случая слово это вполне подходит. — Эй, братец,— пробормотал он, уже обращаясь к отцу мальчика,— знаешь анекдот про трех обезьян?

А про Демиурга и про Разбитые Надежды?

Те трое продолжали смотреть на него во все глаза. Твой глаз и тот, что смотрит на тебя,— одно и то же, сказал он им.

И про убийство я тоже не стану им рассказывать, решил он. В другой раз.

— Рад, что вы в добром здравии,— сказал Холливелл. — Я ищу здесь спасения.

Рулевой прибавил газу и подался назад. Лодки заплясали на волне. Холливелл старался не упасть, но солнце сбило его с ног.

— Почему он на меня так смотрит? — спросил Холливелл.

Будто хочет увидеть кого-то другого. Но ведь я и старался быть другим.

У нее своя заря, подумал он, а у меня своя.

Холливелл знал, что он дома; солнце ничем ему не угрожает. Человеку, который понимает историю, бояться нечего.

◆

ЧУГУНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1916 г.)

Советский переводчик с английского, литературовед, заслуженный работник культуры РСФСР. В его переводе издавались романы американских писателей Дж. О'Хары «Дело Локвудов», Ирвина Шоу «Вечер в Византии», Ш. Э. Грау «Кондор улетает», Д. Халберстэма «Один очень жаркий день», английских — Дж. Фаулза «Башня из черного дерева», Урсулы Холден «Узы денег» и др.

ВСМАТРИВАЯСЬ В ОБЛИК НОВОГО ВРЕМЕНИ

Беседа в редакции о тенденциях развития литератур европейских социалистических стран последнего десятилетия

ЮРИЙ БОГДАНОВ:

Мы собрались сегодня, чтобы обменяться мнениями по поводу ряда художественных произведений, созданных писателями европейских социалистических стран в 70-х — начале 80-х годов, многие из этих произведений были опубликованы на страницах журнала «Иностранная литература». Со скидкой на естественное отставание переводов от первоизданий можно сказать, что речь идет о романах, повестях и рассказах, дающих представление о насущных процессах жизни, о художественных поисках и достижениях, характерных для «текущего момента» в литературном развитии этих стран. Каждый из авторов исходит, естественно, из своих наболевших проблем, опирается на конкретный национальный материал, ориентируется в первую очередь на отечественного читателя, и все же большинству произведений присуще нечто общее: деятельная озабоченность состоянием общественного самосознания, негативными чертами и черточками, проступившими или проступающими в облике современного человека и общества в целом. Чувство нравственной тревоги в высшей степени характерно для иронических или яростных до гротесковости рассказов и притч Йордана Радичкова, Дончо Цончева, Анны Йокаи, Юлиана Кавальца; им — пусть по-разному — окрашены философско-аналитические размышления Стефана Хермлина и Юрия Брезана; оно выливается в форму горьких предостережений у Клары Фехер, Ивана Давидкова или — в описании катастрофического для Польши 1939 года — у Вацлава Билинского.

Чем же объясняется подобное сходство в тональности, в направленности творчества очень разных и идущих от разного национального опыта художников? Может быть, дело в случайном стечении обстоятельств, в характере конкретной подборки произведений на страницах журнала, которая, конечно же, не может претендовать на полноту освещения картины современной прозы европейских социалистических стран? Такого рода соображение нам следует иметь в виду в ходе дальнейшей беседы.

И все-таки, как представляется, в этой нравственной обеспокоенности писателей проявляется сегодня главная отличительная особенность социалистической литературы — живое чувство причастности делу строительства и совершенствования социалистического общества, делу сохранения мира на всей Земле. Социализм из утопии превращается в реальность целенаправленными усилиями миллионов людей. Это закономерный результат исторической деятельности масс. Он и рассматривается нынче литературой не как нечто внешнее по отношению к человеку, а как родной дом, постоянно нуждающийся в обновлении, заботе и внимании со стороны хозяев, дом, в котором не место бездумным иждивенцам и агрессивным потребителям, дом, комфорт и уют которого зависят не только и не столько от всемогущего коменданта, но от разумной организованности и творческой активности всего человеческого общежития.

Этот требовательный пафос близок и понятен нашим читателям хотя бы потому,

---

БОГДАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1932 г.)

Советский литературовед, кандидат филологических наук, специалист по истории литературы Чехословакии. Автор многих статей по чешской и словацкой литературам XIX—XX вв. и проблемам социалистического реализма.

что он в высшей степени характерен и для современной советской литературы, смело вторгающейся в жизнь, резко обличающей потребительство, зазнайство, самоуспокоенность. Он в сущности характерен для всей атмосферы 80-х годов, когда после апрельского и октябрьского (1985 года) Пленумов ЦК КПСС, и особенно в ходе обсуждения проекта новой редакции Программы КПСС и перспектив развития нашего общества до 2000 года была глубже осознана непреложная, поистине историческая необходимость выработки качественно новых ориентиров и принятия радикальных мер по ускорению социально-экономического и духовного прогресса нашего общества. Задача всемерной активизации субъективного, человеческого фактора как главного стратегического резерва общественного развития была выдвинута в качестве важнейшего условия успешного продвижения вперед. То, что исподволь нащупывалось и осваивалось — в том числе в формах художественных, эстетических,— сегодня четко формулируется в категориях философских, идеологических, политических, в партийных документах, опубликованных в преддверии XXVII съезда КПСС.

Обостренное внимание литературы к личностной, морально-нравственной проблематике, к анализу подвижного и бесконечно многообразного соотношения человека и общества всецело отвечает, таким образом, насущным потребностям времени. Важно вместе с тем подчеркнуть, что подобная — типологически сходная — ориентация литератур социалистических стран есть результат естественного и закономерного развития каждой из них. Принципиальное единство цели, признание монистической сущности основополагающих черт социализма обусловило вполне определенную историческую последовательность в решении общих задач социалистического строительства. Революция, классовая борьба, закладка основ нового строя — таково было главное содержание первого этапа развития стран, вступивших вслед за СССР на путь социализма в 1944—1945 годах. Начало второго этапа, хотя и датируется по-разному, повсеместно связывается с выдвижением и реализацией программы построения и совершенствования развитого социалистического общества. Этим общим историческим параметрам соответствует в целом и движение литератур. Причем, если на первом этапе, в пору острейших классовых катаклизмов, приоритетное значение имела идея социально-исторического самоопределения человека, именно она служила мощным источником, «мотором» художественного прогресса, то на втором этапе, в условиях сформировавшегося социалистического строя, на передний план в литературе закономерно выдвигаются социально-нравственные идеи, служащие показателем возрастающего внимания к «линии жизни» каждого конкретного человека, к анализу потенциальных возможностей и реального вклада каждой личности в новое социалистическое общежитие.

При всей абстрактности этой схемы, не дающей, естественно, представления о неисчерпаемом богатстве конкретных художественных решений, она, думается, помогает осознать наличие основополагающей связи между «социальным заказом» времени и динамикой развития социалистических литератур. Общество реального социализма, расширяя возможности для всестороннего развития, «самореализации» своих членов, и от них ожидает все большей творческой отдачи. С преодолением утопической и вполне антимарксистской иллюзии об «автоматическом» прогрессе, с восстановлением в законных правах объективной роли противоречий, сохраняющих значение энергетического, так сказать, носителя движения и при социализме, стала особенно очевидной необходимость систематического изучения как достижений, так и трудностей и просчетов, допущенных в ходе социалистического строительства. Не подменяя и не дублируя другие институции, литература ищет специфическое место в этом важном аналитическом процессе.

Сосредоточивая внимание на самочувствии личности, она в первую очередь стремится проанализировать различные модификации связей человека и общества. Отстаивая важнейший принцип социалистического гуманизма, право личности на самореализацию, литература в лице талантливых современных представителей решительно противостоит всяческим рецидивам авторитарности, казенщины, проявлениям бюрократического начала, препятствующим росту социальной инициативы и самодеятельности масс. Острая критика подобных тенденций не приводит, однако, большинство писателей к принципиальному противопоставлению государства и индивидуума (говоря так, мы, разумеется, не принимаем в расчет продукцию литературных перерожденцев и ренегатов социализма). Защита личности сочетается с глубоким анализом степени развитости общественных идеалов у самой личности. От каждого — по способности, каждому — по труду. Последовательное воплощение в жизнь этого принципа социальной справедливости, записанного на скрижалях социализма, подразумевает трудовую активность каждого члена общества, честную самоотдачу, эквивалентную усилиям окружающих. Болезненная фиксация благ, «недодаваемых» обществом индивидууму, самоутверждение личности за счет других, захребетничество, эгоизм и потребительство — все эти чуждые социалистической морали явления также становятся объектом пристального, взыскующего внимания современной литературы.

Думается, что без такой, пусть самой общей обрисовки социологических констант, в которых живет сегодня и литература, было бы труднее объяснить истоки нравственного максимализма и критического пафоса, характерных, в частности, для многих произведений, о которых, вероятно, пойдет конкретный разговор за нашим «круглым столом». Каждое из них можно, разумеется, рассматривать и как относительно самостоятельное идейно-эстетическое целое, можно взглянуть на него в контексте творчества того или иного писателя, сквозь призму преломления национальных традиций или с учетом отражения в данном произведении существенных сторон социалистического бытия. Любой подход, очевидно,

будет по-своему оправдан, поскольку мы имеем дело с незаурядными произведениями зрелых авторов, представляющих развитые в художественном отношении литературы.

ВИКТОР ХОРЕВ:

Я остановлюсь на некоторых идейно-художественных тенденциях в современной польской прозе, прозе 80-х годов.

Напряженная идейная борьба, которая развернулась на культурном фронте Польской Народной Республики в 1980—1981 годах, годах общественно-политического кризиса в стране и выхода из него, сказалась, конечно, и на литературе. В начале 80-х годов многие сторонники чисто «профессионального», «внеидеологического» искусства сомкнулись с контрреволюционерами в идеологии и политике. Тем самым выявилась парадоксальным образом несостоятельность аполитичной программы развития современной литературы, которой придерживалась часть литераторов в 70-е годы. Абстрактные поначалу лозунги «свободы творчества», «освобождения от канонов» (хотя и в 70-е годы было более чем достаточно свободы для так называемого художественного эксперимента) получили в определенных случаях вполне очевидную антисоциалистическую направленность.

Сегодня последствия кризисной ситуации в литературной жизни Польши во многом изжиты. Преобладающая часть писателей вступила во вновь созданный осенью 1983 года Союз польских писателей, отбросила ревизионистские призывы к внешней и внутренней эмиграции, приняла лозунг руководства ПОРП: «Кто не против нас, тот с нами». Культурная политика ПОРП на первое место выдвигает вопросы развития лучших традиций реалистического искусства, вопросы моральной и гражданской ответственности художника, его роли в борьбе за социалистическое развитие страны. Эти вопросы всесторонне обсуждались на писательской конференции «Литература народной Польши. Оценки и прогнозы», организованной Отделом культуры ЦК ПОРП и партийной организацией Союза писателей в феврале 1985 года.

Конференция, наметившая дальнейшие перспективы развития польской литературы, явилась значительным событием в культурной жизни страны. Выступавшие на ней критики и писатели доказали художественную беспомощность безыдейного и антиисторического подхода к действительности, а также попыток ее осмысления с точки зрения абстрагированных философских и этических понятий.

Облик польской прозы в 80-е годы, как и в предшествующем десятилетии, определяют прежде всего многочисленные реалистические произведения, посвященные второй мировой войне и гитлеровской оккупации Польши, польской истории вообще, а также произведения, рассказывающие об изменениях в жизни деревни, ломке традиционного крестьянского сознания. Все более властно врываются в литературу и новые проблемы, связанные с осмыслением причин и хода общественно-политического кризиса начала 80-х годов.

На конференции партийных писателей в докладе известного критика и литературоведа Витольда Навроцкого отмечалось, что характерной чертой современной польской прозы является ее стилевое многообразие и что в лучших своих проявлениях эта проза стремится «дать глубокий морально-философский и общественно-бытовой комментарий к окружающей нас действительности», не обязательно при этом на материале самом современном.

В разных сферах современной польской прозы можно выделить тенденцию (наметившуюся, впрочем, еще в 70-е годы), объединяющую проблемно-тематические и жанрово-стилевые поиски писателей. Эту тенденцию можно определить как художественный анализ формирования социалистических идейных убеждений и морали в польском обществе (процесса сложного, часто сопряженного с отступлениями и потерями), как анализ польских путей к социализму, как поиски истоков и корней современной общественной жизни. Эти поиски связаны и с осмыслением корней собственного творчества, с подведением некоторых итогов в прозе писателей старшего и среднего поколений.

Особо следует сказать о замечательном мастере слова Ярославе Ивашкевиче. Ивашкевич, скончавшийся в марте 1980 года, в конце жизни опубликовал несколько прекрасных книг, как бы подводящих итог его творчества. Прошло более пяти лет со дня его смерти, но значение его творчества для развития польской литературы становится все более очевидным.

Об актуальности творчества Ивашкевича говорят попытки ревизионистской критики в начале 80-х годов затушевать социалистическую направленность гуманизма писателя. Вначале Ивашкевича обвинили в «коллаборационизме» с коммунистами, а его творчество в схематизме. Охаивание писателя успеха не принесло, поэтому та же критика избрала другой путь — подчеркивание якобы вневременного характера творчества Ярослава Ивашкевича. Между тем не иссякает читательский спрос на его произведения, который не могут удовлетворить многочисленные издания его книг, в том числе собрание сочинений в нескольких десятках томов.

Творческое наследие писателя пополняется с каждым годом — публикуются новые, неизвестные ранее произведения, и завершенные, но не успевшие увидеть свет при жизни писателя, и юношеские, и незаконченные. Книги Ивашкевича как бы задают тональность современной польской прозе, в которой наибольших творческих результатов по-прежнему добиваются писатели старшего и среднего поколений. Из числа недавно опубликованных произведений Ивашкевича следует отметить книгу его эссе-воспоминаний «Аллея друзей», вышедшую в конце 1984 года. В ней даны ли-

---

ХОРЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1932 г.)

Литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Владислав Броневский» (1967), «Становление социалистической литературы в Польше» (1979) и др. Переводит с польского.

тературные портреты нескольких людей, близких писателю в жизни и искусстве. Ивашкевич пишет, например, о Юлиане Тувиме: «Самое главное, что бросалось в глаза, — это человечность Тувима... В его глазах горел огонь воодушевления, искрился юмор, в них часто светилось тщательно скрываемое поэтом чувство... Он скрывал в себе любовь. Любовь к человеку и к его созданию — поэзии. Тот, кто общался с Тувимом, знал, что его сжигают чувства и слова».

Любовь к людям, радостное и удивленное отношение к каждому мгновению жизни, стремление и умение запечатлеть это мгновение в слове в полной мере присущи и самому Ивашкевичу. «Аллея друзей» продолжает художественно-документальный цикл его произведений 70-х годов («Петербург», 1976; «Путешествия в Италию», 1977; «Путешествия в Польшу», 1977, и другие). Путешествия Ивашкевича по страницам истории Польши и России, по дорогам Италии и Польши, по дорогам памяти полны глубоких обобщений и ассоциаций, мудрых раздумий над коренными проблемами человеческого бытия, такими, как жизнь, любовь, смерть, над европейской культурой и искусством, над жизнью Польши и ее частицей — жизнью самого писателя.

Обращение к жанрам художественно-документальной прозы либо использование ее приемов в беллетристическом произведении характерно и для других писателей и в 70-е и в 80-е годы. Внедренное в структуру романа, повести, рассказа документальное начало способствует сближению факта и художественного воображения, стиранию граней между ними, способствует завоеванию читательского доверия. И главное, оно помогает выявлению роли и места личности в истории, ее связи с судьбой народа и нации, исследованию человека, его психологических реакций, нравственных решений.

Отвечая на запросы времени, современная польская проза (разумеется, в ее лучших проявлениях) наполняется актуальной философской, политической, моральной проблематикой. Многим современным произведениям о годах войны, например, присуще углубление историзма, расширение масштабов художественного мышления, часто достигаемое с помощью широкого использования документов, исторических фактов. Такой характер имеет новый роман Збигнева Сафьяна (писателя, известного у нас по роману «Ничейное поле») «До последней капли крови» (1982). Хронологические рамки романа Сафьяна — 30 ноября 1941 года, дата прилета главы польского эмигрантского правительства в Лондоне генерала Владислава Сикорского в Куйбышев, и 12 октября 1943 года, день битвы под Ленино, в которой приняла боевое крещение дивизия имени Тадеуша Костюшко, созданная в Советском Союзе польскими патриотами. Это было уже не первое польское воинское соединение, сформированное на территории СССР. Польская армия, созданная в результате переговоров Сикорского с советским правительством (так называемая армия Андерса, по фамилии командующего), была выведена польскими властями в Иран. А в результате антисоветской политики лондонского правительства были разорваны отношения между правительством Сикорского и Москвой.

Политические события времени войны Сафьян рассматривает как предысторию народной Польши и ее сегодняшнего облика, как исторический опыт польского народа, связанный со становлением у значительной части поляков новых, демократических и социалистических взглядов и убеждений. Эти процессы в книге показаны через судьбы нескольких главных героев — поручика Стефана Радвана, коммуниста Зыгмунта Павлика и его сестры, журналиста Анджея Рашенского (в котором легко узнается известный писатель Ксаверий Прушинский). Наряду с вымышленными героями в романе действуют подлинные исторические лица. Это генерал Сикорский, встречающийся со Сталиным и Рузвельтом, это Ванда Василевская, организатор Союза польских патриотов в СССР и дивизии имени Тадеуша Костюшко, которая вместе со своими единомышленниками в жарких спорах вырабатывает программу действий польских демократических сил, и другие.

Роман Сафьяна — это тип романа о «польской судьбе», который известен нам по 70-м годам: по дилогии Ежи Брошкевича «Долго и счастливо» (роман печатался в «Иностранной литературе») и «Не прелюбодействуй, не укради», дилогии Галины Аудерской «Птичий шлях» и «Бабье лето» и другим. Рассказывая о судьбе поляков, в годы войны оказавшихся на территории СССР, Сафьян художественно документирует ту истину, что советско-польская дружба и единство политических действий являются залогом независимости демократической Польши.

Романом о «польской судьбе» можно назвать и книгу Ежи Есеновского «Река времени» (1984) — обширный, «панорамный» роман, попытку создания современного эпоса. (При этом надо признать, что писателю не удалось избежать некоторого схематизма в обрисовке героев.) Действие романа происходит в 1939—1983 годах, крутые повороты польской истории последних десятилетий прослежены в восприятии представителей трех поколений нескольких варшавских семей.

Возвращаясь к теме войны, следует вспомнить хорошо принятый и польским и советским читателем роман Вацлава Билинского «Конец каникулам» (1979), опубликованный в «Иностранной литературе». История героя книги Адама Коссовича, одной из первых жертв второй мировой войны, заключает в себе мысль о жестокости и неестественности войны для людей. Зная последующий ход событий, читатель понимает, что в индивидуальной трагедии Коссовича отразилась участь миллионов жителей Польши. Это, можно сказать, символическое измерение романа, а также подкупающий образ героя, талантливого и честного юноши, выполнившего свой воинский и человеческий долг, придают произведению яркую антифашистскую и антимилитаристскую направленность.

Среди произведений последних лет, в которых делается попытка осмыслить «польский кризис», — и новый роман Вацлава Билинского «Объяснение» (1984). Герой книги, занимавший довольно высокий пост, пи-

щет «объяснение», стремясь дать анализ случившегося, и приходит к выводу о своей ответственности за то, что произошло.

Но бестселлером «горячей», или «сейсмографической» прозы, как любят называть польские критики книги, написанные по свежим следам событий последних лет, явилась повесть Романа Братного «Год в гробу» (1983), в течение двух лет выдержавшая уже два массовых издания. Братный всегда берется за самые острые проблемы современности и, хотя его произведения часто носят отпечаток поспешности, занимательная интрига, полемическая заостренность, сочные бытовые детали, реальность изображаемых событий неизменно привлекают к ним внимание читателя. Все сказанное относится и к повести «Год в гробу». Это и рассказ об экстремистских настроениях и поступках деятелей «Солидарности» в 1980—1981 годах, и памфлет против тех представителей польской культуры и литературы, которые с безумной одержимостью боролись в эти годы против социалистического польского государства. К сожалению, репортажный способ повествования и повышенное внимание к эротической стороне жизни персонажей не позволили писателю проникнуть дальше в психологию людей, показать глубинные мотивы их решений и действий.

Надо сказать, что писателям, погнавшимся за сенсационной фабулой и ограничившимся изображением сцен суетной жизни зачастую малозначительных героев, не обремененных интеллектуальными рефлексиями (хотя они представляют, как правило, интеллигентскую, по большей части литературную среду), идейно-художественный анализ событий начала 80-х годов в Польше удается в значительно меньшей степени (Мариан Ковальский «Перед занавесом», Яцек Краковский «Собственными глазами, или Дневник кризиса», Чеслав Волчинский «Разрыв» и другие).

В целом появившиеся до сих пор произведения о польском кризисе можно рассматривать как первые подступы к созданию полнокровного социально-психологического и политического романа о современности. То, что создать такой роман можно лишь с помощью реалистического письма, становится все очевиднее для большинства польских писателей и критиков. Однако некоторые из критиков по-прежнему призывают к «креационизму», к революции в области формы и техники повествования. Например, известный критик Хенрик Береза объявил, что молодые писатели вступившие в литературу в середине 70-х годов, совершили «художественную революцию» в польской прозе. Эта революция, по его словам, заключается «главным образом в том, что мертвая красота нормы заменяется живой красотой творения в языке», в том, что, порывая с предшествующими традициями повествовательной прозы, молодые писатели «стремятся к полному освобождению вымысла от условных правил наивного миметизма к полной его фантастичности» (в книге «Бег вещей», 1982).

Разумеется, литературе, в том числе реалистической, не противопоказаны ни символика, ни фантастика, ни гротеск в том случае, если они призваны выразить реалистическое жизненное содержание. Но литература, если она остается литературой для читателя, а не «текстом» для упражнений формалистов, не может впадать в пустое фантазирование ради фантазирования, забавляться со словом, упражняться в символике ради символики. Береза с энтузиазмом пишет о том, что многих дебютантов «не интересует переоценка старых художественных условностей», что они начинают как бы с нуля превращая литературу в «языковую стихию». «Переход от состояния паралича к состоянию свободы движения,— считает Береза, — вынуждает учиться ходить заново. Я думаю, что с этой учебой нельзя медлить, что нужно учиться читать новую прозу, а это требует огромного духовного усилия».

Абсолютизация противопоставленных традиции формальных поисков, возведение молодых писателей в ранг революционеров в прозе ничего кроме ущерба творчеству самих молодых, да и всей польской литературе принести не может. Куда более прав Береза, когда он — с оправданным энтузиазмом — приветствовал яркий реалистический роман Веслава Мысливского «Камень на камень» (журнальная публикация — 1983 год, книжная — 1984-й). В этом романе, пожалуй наиболее значительном произведении польской прозы 80-х годов, известный представитель польской «деревенской» прозы пришел к глубоким философским обобщениям исторического процесса, показал социальные и этические конфликты в жизни польской деревни и пути становления самосознания и нравственных принципов современного человека. Впрочем, подробнее о книге я уже имел возможность высказаться на страницах «Иностранной литературы» в № 9 за прошлый год.

Скажу в заключение, что наряду с Мысливским в 80-е годы продолжал успешно работать и «родоначальник» польской «деревенской» прозы Юлиан Кавалец, издавший в 1982 году роман «Украсть брата». По его рассказу «Большой праздник на стройке», опубликованному в «Иностранной литературе» в 1983 году, в котором заострена актуальная проблема взаимоотношений человека с природой, можно видеть, как в последние годы расширяется тематический диапазон прозы Кавальца, усиливается ее философское звучание.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ:

Мне безусловно любопытны приводимые участниками нашей беседы факты, а если о сути дела, то есть и некоторые сомнения. Они, правда, относятся не к самому нынешнему обсуждению, а к нашей методологии вообще. По-моему, мы несколько засоциологизировали художественную литературу. Она всегда социальна, но в трактовке этого вопроса, как известно, не долж-

---

ГУСЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. в 1937 г.)

Прозаик, критик, литературовед. Автор книг «В предчувствии нового» (1974), «Память и стиль» (1981), «Огненный ветер юга» (1982), «Рождение стиля» (1984) и статей о традициях русской и зарубежной классики в современной советской литературе.

но быть прямолинейности. А мне кажется, это снова отчасти налицо. Наши разговоры порою создают ощущение, что призвание литературы — заниматься делами, «проваленными» другими ведомствами. За русской литературой это всегда водилось. В принципе это плодотворно и неизбежно. Но все же требуется кое-что оставить и самим социологам, философам, моралистам, экономистам. К тому же у них есть и достижения, а мы всё делаем вид, что сейчас решим за них все их проблемы. Так мы вечно будем в положении дилетантов, которых ловят на чем-то. Однажды в диалоге с финнами один критик хорошо говорил о «деревенской» прозе и о том, как она помогает поднимать сельское хозяйство. На что финны сказали, что у них нет никакой «деревенской» прозы, но продукцию сельского хозяйства они экспортируют, а мы импортируем. Как отнестись к самому этому заявлению — другой вопрос, но не следует ставить себя в положения, при которых такие заявления вообще возможны. Нужно все-таки говорить конкретно о своем деле. Это уж отчасти по поводу того, как сам я буду говорить далее. Я затрону и вопросы конкретной поэтики, хотя понимаю, каковы тут трудности, учитывая проблемы многоязычия.

Думая о вопросах, которые подняты, и о произведениях, которые названы, снова приходишь к выводу, что в плане художественного процесса наш контакт с литературами социалистических стран недостаточен. Причем порою он, этот контакт, был бы полезнее нам, чем этим литературам. И по проблемам, например, охраны природы, и по другим многие литераторы этих стран решительнее наших. И в социологическом, и в чисто художественном смысле.

Например, интересны судьбы среднего поколения литераторов. Насколько я знаю, в Румынии оно шествует под гром фанфар критики. У нас все наоборот. Текущая критика в основном так и не признала этих писателей, хотя поезд во многом уже ушел и «подпирают» новые поколения.

Или та же проблема природы. Не как экологическая среда, а в социально-духовном, нравственно-эстетическом аспекте.

Вот, например, рассказ Йордана Радичкова «о лягушках», опубликованный в «Иностранной литературе». Он не о лягушках, а о судьбе человечества к 2000 году. Этим занимается и наша «деревенская» проза, ставя крестьянина как природного человека в пику городскому. Занимаются этим и Георгий Семенов, Виктор Лихоносов, Михаил Рощин, другие писатели, близкие пейзажному началу и традиции Бунина. Но все это порою несколько описательно и риторически. А в том, что я здесь услышал, что читал в последние годы из литератур социалистических стран, в том числе и на страницах «Иностранной литературы», чувствуется мощное развитие интенсивных малых форм прозы. Например, «романный» рассказ, который у нас сейчас развит мало. У нас в рассказе господствует зарисовка и нет того синтетизма, что есть, скажем, у Радичкова. На предельно малой площади здесь выражена современная мысль о природе, о месте и воле человечества в вихре мироздания.

Некоторые наши критики говорят, что литература не должна заниматься семейными проблемами, что такие проблемы — личное дело каждого. Не будем вспоминать о Ромео, Джульетте, Анне Карениной и других, а вот перед нами рассказ Анны Йокаи. Несколько страниц о семейной жизни. Никаких событий. Ситуация самая обычная. Прием простейший: как фон, долбит телевизор... Но мурашки идут по спине от подобной семейной жизни. И не по личным, а по социальным, духовным импульсам возникает это чувство. Дети, муж, жена — символы общества. Таково мастерство автора... Такая художественная решительность мне приятна.

Я не собираюсь тут самоуничижаться. Мне кажется, наша литература одновременно более оригинальна и более традиционна в хорошем смысле слова (ориентируясь на большую классику XIX века), некоторые из литераторов, которых сегодня уже упоминали, вторичнее, если говорить о самом широком контексте. Но более тесные, реальные контакты нам, повторяю, были бы ныне особенно полезны.

Много полезного могло бы возникнуть сейчас и в ходе диалога о том, что мы называем творческим методом. Это понятие подчас несколько расплывается. Тем не менее каждый из нас по-своему несет это понятие.

Я глубоко убежден, что чисто эмпирическим творческим методом нынче не справиться с состоянием «мирового духа» и самого мира. Мира, который находится на пороге третьего тысячелетия в символическом, а не только в хронологическом смысле слова. Добропорядочные описательные формы, на мой взгляд, уже художественно не срабатывают. В лучшем случае они годны для голой публицистики — и на наших глазах становятся безраздельно ее достоянием. В этом, кстати, слабость и иных произведений нашей «деревенской» прозы. Она мощно поставила вопросы. В частности, чем прочен человек в нашем динамическом мире? Но во-первых: ответы? Но во-вторых: уровень? Вступает в действие фактор неадекватности форм выражения. Ныне, как никогда, актуально, что в искусстве очевидность не всегда правда. Казалось бы, ясно назвал и описал — чего же еще? Но что очевидно сегодня, возможно, будет забыто завтра. И наоборот. В искусстве никто не ведает, что окажется правдой, а что неправдой. Мы помним, как мощно «Барьер» Павла Вежинова поставил вопрос о подспудном, неочевидном бытии мира. И все всё поняли. Вообще в литературах европейских социалистических стран сильны интенсивные, напряженные формы прозы. У нас в том же направлении работают Леонид Леонов, отчасти Владимир Крупин, более целеустремленно Владимир Орлов. Анатолий Ким и другие. Не все тут убедительно. Но интересно само стремление постичь мир в его пронзительных тайнах, а не только с поверхности. Разве мы сами не чувствуем силы этих проблем? Разве дело в том, что у Орлова герой является одновременно бытовым человеком и «демоном»? Это только символика, суть глубже. Персонификация тут, как говорится,— лишь момент образности. Лучшие из произведений нашей же

«деревенской» прозы живут по тем же глубоким и высоким законам, тем и известны ныне на весь мир.

Мы вот сидим здесь, идет дискуссия; а между тем под нами сотрясается то неведомое, что есть внутренняя жизнь Земли. Мы ведь даже не знаем, что это такое. Космос более или менее знаем, а этого — нет. То ли вода, то ли раскаленный камень — и человечество, его ученые все спорят об этом.

Само это «сотрясение неведомых сил», которое мы чувствуем и в социальном бытии наших дней, пытается ныне постичь художественным разумом и выразить, в частности, и наша литература. Творческие стили и их многообразие, напряжение — вопрос не пустой. Я привел, конечно, лишь один из примеров; их много. Литературные контакты, «ауканье» могут помочь нам в уяснении этой, как и многих других, проблем.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ:

Одним из самых прекрасных, но и горестных заблуждений было в свое время то, что после свершения революции человек сразу же изменится. Максималист Маяковский, который был обуреваем такими мыслями, когда писал поэму «Про это» (а он был гений!), верил, что и сам выйдет после ее написания другим человеком. А сколько гениев обожглось на этом до Маяковского! Мы все более убеждаемся, что в сложнейшем процессе становления нового сознания много до сих пор непроясненных противоречий.

Литературу 70—80-х годов начинает интересовать эта «задолженность» искусства перед эпохой.

Здесь, как и всюду, надо учитывать неравномерность развития. Надо смелее сблизить в анализе наши 20-е годы и годы послевоенного освоения революционных процессов (в сфере психологии личности) в социалистических странах Европы. Почитайте, что пишет о вреде вульгарных концепций в первые послереволюционные годы кубинец Лисандро Отеро: они «способствовали распространению в среде интеллигенции приспособленчества», а у некоторых деятелей культуры вызывали даже тревогу о том, «что революция угрожает свободе творческого самовыражения». А ведь повсюду среди честных людей «приспособленчество» это нередко было порождено искренним желанием выдать должное за сущее, опередить события, избежать упрека в «буржуазности». И поэт то сравнивал себя с «заводом», то просил «взять в переделку» и «двинуть», «грохоча, вперед...»

Но вернемся к литературе наших дней. Лично для меня бесспорно, что «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова и «Знак беды» Василия Быкова — зрелые, вершинные произведения советской прозы. Они прочертили абрис будущего социалистического искусства и в нашей теме, показали реальное положение человека, подлинный мир его духовности, соотнесенность судьбы и эпохи.

В книгах писателей социалистических стран обращает на себя внимание нынешняя тенденция приближения к реалистическому портрету личности нового общества, отказ от волюнтаристских схем и умозрительного оптимизма. Такие книги есть. «Буриданов осел» Гюнтера де Бройна, например. Мне бы хотелось акцентировать интересный подход писателя к проблеме, так сказать, исторической готовности человека преобразовать себя в ходе общей революции сознания. Роман де Бройна фактически не имеет положительного героя. Автор констатирует, что все его персонажи в той или иной степени балансируют на грани нового и старого сознания. У них одна нога — в новом периоде, «скользит и падает» (Есенин), другая... они еще не готовы к социализму. Другое дело, что одни туда стремятся, другие не хотят, но есть и третьи, которые пока не могут разобраться в самих себе. Однако воля народа — ее можно уподобить императору Адриану из стихотворения Фолькера Брауна:

...Все, что он отсекал, золотым
становилось сечением,
В плен он брал камнерезов, плотников и
кузнецов.
Выбирая людей осторожно, преданных
не войне,
А искусству, обращая солдат
В созидателей нового облика времени[1].

Созидание нового облика времени — задача не простая.

В первой встрече с поэтом Хайнцем Калау я уже столкнулся с пониманием самими писателями ГДР такой сложности. Это было на второй день моего пребывания в Берлине. Калау пришел дружелюбный и открытый. Мы говорили около двух часов. Высокий, небрежно одетый, рыжий и лысоватый Хайнц Калау был уже знаком мне по русским переводам. Стихи оказались похожими на автора или, если хотите, наоборот: автор был очень похож на свои стихи. Это, кстати, бывает далеко не всегда. И в общем-то не всегда говорит об органичности творчества. Просто, как я замечал, бывает по-разному. В данном случае Калау обнаружил ту же открытость и простоту, что и его стихи. Глаза веселоироничные, немного смущенные, но внутренне активен. Говорит сам, не ожидая вопросов наводящих. Раскрывается полностью. Рассказывает о бедной семье, полуголодном детстве, отчиме, рано сменившем отца. Среда рабочих, считает он, определила эстетику, судьба народа на переломе истории — пафос его поэзии. Главное, утверждает он, люди должны вернуть себе утраченную веру. Обманывали их долго и

ОГНЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (род. в 1923 г.)

Литературный критик. Автор более двадцати книг по проблемам поэзии — отечественной и зарубежной, в том числе «Пять тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран Европы» (1975), «Горизонты поэзии» (1975), «Югославский дневник» (1975, 1985), «Избранное» в двух томах (1982). Заслуженный деятель культуры ПНР. Руководитель постоянного «круглого стола» по проблемам литератур социалистических стран при Правлении Союза писателей СССР.

[1] Перевод Е. Колесова.

много. «Я верил в Гитлера, знаете?» — вот уж неожиданность. Я уточнил: «Вам было лет 14—15?» «Конечно»,— усмехается Хайнц.

Я представил себя в его возрасте, подумалось, кому я верил, и сказал, что никогда не считал себя никем обманутым, даже если были на то поводы. Сказал, что мы, мое поколение, ни за что бы не хотели поменяться временем ни с каким другим, наше прошлое нам представляется исполненным высокой веры в высокие идеалы. Они живы и сегодня. Видно, дело все-таки в идеале, а не в вере, как таковой. «Конечно»,— отозвался он. «Разговор с людьми должен быть открытым, без прикрас, как у Брехта. Я застал Брехта,— продолжает Хайнц,— учился у него. Это была радостная встреча с чем-то близким, с тем самым, чем жил я».

Я спросил о форме его стиха, в ней есть брехтовское начало. Тут Калау оказался «терпимым», как он выразился. Писал баллады, знает свободный стих, не отвергает рифму. На вопрос об учителях, любимых поэтах отвечал так: французы от Вийона до Гильвика, Ханс Магнус Энценсбергер, конечно, Брехт, Аллен Гинзберг, швед Калвейберг, Шандор Вереш... Кстати, венгерская поэзия в последнее время вообще вызывает интерес. Занятен Сас — современен, «открыт жизни».

После ухода Калау я снова открыл его книгу. Первая нота: трезвость. Заботы о настоящем. Отказ от сказок, как мы сказали бы, «маниловского» толка:

Так вот что: хоть задача нелегка,
хоть этот труд воистину громаден,
устраивайтесь в мире на века
и стройте прочно— не на час,
не на день!

Но нынешним не помыкайте днем!
И, создавая, миру знайте цену:
пусть нам самим легко живется в нем —
не только тем, кто нам придет на смену[1].

Второе качество, которое можно назвать уважением к простому человеку, неотделимо у Калау от подчеркнутой боязни красивости:

Старый каменщик Иоганн
умер.

Его лицо, его руки
стали серыми, как цемент,
недавно замешенный им.

Мальчишка,
вчера обруганный им
за невнимательность,
получил его мастерок.

Из трубы, которую клал Иоганн,
поднялся нынешним утром
первый дым.

Хороните его без вранья[2].

Завидная лаконичность, мысль значительно шире сюжета. Как много сказано — при том, что сказано мало. «Первый дым» из трубы, которую клал рабочий человек,— его живая душа ей «надо знать цену», говоря словами стихотворения «Речь». К чему же украшать враньем то, что уже само по себе значительно! Не из чувства ли неблагодарности, неуважения растет наша потребность в красивом вранье? Не унижаем ли мы труд тем, что хотим к нему добавить что-то «возвышенное», как будто он сам не возвышен! Не о том ли качестве поэтической манеры Калау говорил как-то Герман Кант: «Калау отвечает, спрашивая; допытываясь до сути, он анализирует предмет до самых его глубин; он учит нас, задавая вопросы... Героям своей поэзии, трудовым людям Калау не раздает венков, чтобы их приукрасить; он говорит правду об этих людях, в этой правде их подлинная красота».

Третьим отличительным признаком поэзии Калау я назвал бы уверенность, убежденность в своей правоте. Хотя он и строит порой стихи в форме вопросов, но отвечает на них определенно. Это поэзия выношенных убеждений. И она не скромничает в этом смысле, не колеблется, хотя ей свойственны естественные сомнения. В стихотворении «Отче наш № 2» молитва с покорными просьбами к богу не лишить человека хлеба, не послать снова войну, изгнать глупость, даровать врагам нашим разум заканчивается неожиданным выводом, опровергающим «просьбы»: «Отче наш — но теперь мы уже не те, мы поможем себе сами».

Эта уверенность, укорененность в разуме, как хотелось бы сказать, читая Калау, она-то и граничит с трезвостью, с которой я начал перечисление особых «примет» его музы. Он знает, что:

Под каждой
обнадеживающей идеей
собираются
мученики и святые,
всезнайки и приспособленцы,
мелкие жулики и крупные негодяи,
одержимые долгом и презревшие долг,
ясновидцы, упрямцы, попутчики
и кликуши
и очень много людей,
просто живущих в то время[1].

А значит, поэзия наших дней не может не быть аналитической. Во всяком случае, не должна она скользить по поверхности «обнадеживающих идей», обязана трудиться, быть зоркой, пристрастной, уметь отличать «попутчиков» идеи от ее творцов.

Обратим внимание на последнюю фразу: «...и очень много людей, просто живущих в то время». Эти как бы не подходят ни к одной из категорий, упомянутых выше, тех, кто так или иначе «действует».

Литература ГДР на фоне других литератур европейских социалистических стран показательна, мне представляется, именно вниманием, с одной стороны, к сложному конгломерату «интересов» (аналитическая страсть к определению типов и характеров) и с другой — к попытке найти связи с категорией «завербованных» у разных «просто живущих» с ними рядом. Конечно, все это более показательно для прозы, о которой здесь сегодня и идет речь в основном. Но в некоторой степени — и для поэзии.

Карл Микель на четыре года моложе Хайнца Калау. Художник этот укоренен в толще национальной культуры. Парафразы, внутренние цитаты, любовь к аллюзиям на произведения прошлых лет, эпох — с их

[1] «Речь». Перевод Л. Гинзбурга.
[2] «Просьба». Перевод Г. Ратгауза.

[1] «Под каждой...». Перевод В. Куприянова.

помощью метафорически освещает он диалектику покоя и движения человеческой судьбы, общественных судеб.

Пока течет река жизни, только мнимой неподвижностью отмечены людские потоки — массы лишь кажутся «просто живущими», они творят историю, творя малые дела, незаметно, подспудно, поддерживая или не поддерживая волевые усилия тех, кто наиболее активен в этой вечной — как путешествие Одиссея — борьбе с роком!

...Стоя среди развалин Дрездена, слушая зимний посвист метели, вдруг налетевшей на город, я и через тридцать лет после того, как рухнуло над Дрезденом ночное небо, чувствовал подземный гул эпохи. И там, тогда, я до конца, мне кажется, понял стихотворение Карла Микеля. Одиссей — это немец, ушедший на бесславную войну и нашедший по возвращении родину бесславной, поверженной, ускользающей тенью...

Почему за фашизмом пошли миллионы людей? Почему так заразительна оказалась для обывателя идея нацизма? Без уяснения этих вопросов современный писатель, если он честный человек, не может понять ничего ни в национальной истории, ни в современности.

Тот же Карл Микель сознательно глубоко, подчас эпатируя читателя, определяет состояние обывателя в истории в таких стихотворениях, как «Геракловы столпы», «Житие Соломона», «Подражание оде Горация II/13». Собственно, это не только об обывателе. О нас с вами, об ожидании, что кто-то из нас, какой-нибудь идол, вроде царя Соломона из стихотворения Микеля, решит наши проблемы. Но решать их должны мы с вами.

В современной поэзии ГДР это остро почувствовал Фолькер Браун. Он родился в 1939 году. Некогда подобранный в обмороке машиной Красного Креста в голодающем Дрездене, один из пяти детей одинокой матери, Фолькер Браун патетичен, серьезен, порой горяч и неудержим в своих стихах.

Диалектика своего и общего внятна ему в ее интернациональной сути. Ради счастья всех готов он «биться о новые берега прибоем ритмов». В «музыке будущего» ценит то, что в ней — «каждый творец. И ты вправе быть лишь собой, и я — это я». Фолькер Браун склонен видеть себя в неразрывной связи с миром великого строительства жизни:

На мой стол с хлебом, сыром и молоком
падает тень крана.
Я говорю — и цемент на губах, и рука
над бумагой дрожит в такт компрессору,
я после каждой
строчки гляжу в окно: как они там,
стальные,
не обогнали меня?[1]

А мне хочется здесь выделить тему переделки человека.

«Тренировка прямой походки» назвал Фолькер Браун одну из своих книг. Поэт верит:

Но срок придет, и наш огонь
Нас очистит.

Заметьте, поэт говорит в будущем времени... Он знает, как это нелегко — перестройка сознания.

Но подлинная литература и не занимается легкими делами.

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ:

В нашем разговоре, интересном и поучительном не только для специалистов по литературам социалистических стран, но и для тех, кто занимается советской литературой, не затронута пока тема развития критики, литературной критики.

Можно сказать, что в любой национальной литературе критика — своего рода нервная система, не в том смысле, что она, подобно нервной системе, «управляет» всем организмом литературной жизни, но в том, что она-то, критика, наиболее чувствительна к общественно-идеологическим изменениям, происходящим в реальной жизни. Критика стоит как бы на границе тех видов общественно-идеологического сознания, которые не воплощаются в образно-художественной форме, и тех его видов, которые именно в образно-художественной форме воплощаются. До сих пор не прекращаются споры о том, что такое критика, какова ее сущность — то ли преимущественно наука, то ли публицистическая деятельность на почве литературы и искусства, то ли особый вид собственно литературного творчества: разноречивые суждения по сему поводу лишний раз свидетельствуют, что критика занимает то самое приграничное, пограничное пространство, где она впитывает в себя импульсы, которые идут из различных областей духовной жизни общества, конечно включая, непременно включая импульсы собственно художественного творчества.

Ну, и естественно — и непременно требует учета — многообразие ступеней общественного, социально-культурного развития различных социалистических стран, о чем так интересно пошел наш разговор уже с самого начала, со вступительного слова Юрия Васильевича Богданова. Это многообразие проявляет себя и в традициях критической, аналитической работы, да и в самих условиях существования, в способах функционирования, в степени действенности литературной критики в каждой из братских социалистических стран.

Пожалуй, неоспоримо, что «многоукладность» культурной жизни, за которой мы видим особость типов исторического генезиса той или иной социалистической национальной литературы, наиболее отчетливо, осознанно выявляется как раз в работе литературно-художественной критики. «Многоукладность» социально-культурного, литературного процесса, то есть тот реаль-

---

[1] Перевод В. Куприянова.

СУРОВЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1931 г.)

Литературовед и критик. Автор книг «О поэтах и поэзии» (1962), «Юхан Смуул. Очерк творчества» (1964), «Поэзия Миколы Бажана» (1970), «В лабиринтах ревизионизма» (1972), «Необходимость диалектики» (1982), «В 70-е и сегодня» (1985) и многих статей по проблемам советской многонациональной литературы, теории литературы и эстетике.

ный факт, что наряду с социалистической литературой существуют в нем и другие направления, иные идеологические духовные ориентиры и методы творчества,— для критики факт не только собственной структуры, но и «предмет», который она должна осмыслить. Она должна понять направление движения этой сегодняшней «многоукладности» на завтра, поддержав те ориентиры, которые освещают путь вперед, а не назад или в сторону от прогресса. Но как непросто бывает такие ориентиры определить! Ведь когда мы говорим о «многоукладном» состоянии критики и литературоведения в различных социалистических странах, это означает еще и то, что критика состоит из сторонников различных методологий, а поэтому эти сторонники поразному видят движение культуры, литературы из сегодня в завтра. Если мы считаем, что у нас, в Советском Союзе, критики получают марксистскую методологическую подготовку, то обо всех социалистических странах мы этого априори сказать не можем хотя бы в силу неодинакового «социалистического стажа» национальной культуры разных стран, о чем шла здесь речь в очень, повторяю, интересном выступлении Богданова. До единой методологии, «монометодологии», критике и в социалистической стране следует «доработаться» исторически. Не случайно, скажем, то, что в Польше действуют не только критики-марксисты, но и критики, которые придерживаются католической ориентации в мире искусства, культуры, духовной жизни вообще. Очень важным представляется «сосуществование», а в ином ракурсе глядя, борьба различных тенденций, к примеру, в венгерской критике, где марксистской методологии случается иметь дело не только с немарксистскими, но и с антимарксистскими суждениями.

К тому же критик еще более отчетливо, чем, скажем, прозаик, чем поэт, живет в ареале мировых духовных интенций. Хотя поэт, по идее, чувствует острее, чем критик, критик должен куда осознанней понимать «влияния» и «воздействия» всей мировой культурной ситуации на ситуацию в его стране. Критик непосредственно идеологичен в своей работе, хочет он это признавать или нет. И вот здесь-то разность критических методологий, которая сложилась (исторически, естественно, однако не навсегда, без права на консервацию) в современной культуре иных социалистических стран, сильно дает о себе знать в критической работе, и уже м е ш а е т развитию ее в направлении к марксистско-ленинской «монометодологии».

Мешает, если говорить, например, снова о Польше.

Абстрактный «гуманизм» и «национальное сознание», выразителем коих хочет предстать (или за что хочет спрятаться) католическое миросозерцание, или структуралистские, доведенные до nec plus ultra тенденции, «превосходящие» даже французские школы структурализма (лишенные некоторого их скептицизма) — эти тенденции в польской критике не просто существуют, но хотят существовать и дальше и потому активно воздействуют на литературный процесс, стремясь захватить авансцену. Как отмечал здесь Виктор Александрович Хорев, в польской критике и литературе идет открытая, вполне осознающая свой смысл борьба и противоположных идеологических тенденций.

Хотел бы сказать, что исторически достигнутая «монометодологичность» тоже не дается навечно. Я не сказал бы, что нынешняя советская критика в методологическом отношении стопроцентно едина. Есть осознанные, есть и менее осознанные (последние встречаются чаще) тенденции, которые противоречат марксистско-ленинской методологии, и с ними тоже приходится вести полемику. Причины, характер этого явления, условия его существования у нас, конечно же, другие, нежели, скажем, в Польше. Думаю, в нашем случае дело в формальном усвоении марксистской науки — особенно иными представителями новых поколений писателей и критиков. Тем не менее опасность методологического плюрализма мы и у себя порой ощущаем сходно с коллегами из других социалистических стран. Значит, забота о характере подготовки критических кадров и о том, чтоб марксистско-ленинская методология не была мертвым грузом знаний, но становилась все более действенно и тонко работающим инструментом анализа — это общая забота во всех социалистических странах.

Мысленно представим теперь себе, так сказать, «уровни» работы критики. Откроются по меньшей мере три уровня.

Критик имеет дело с книгой, с о т д е л ь н ы м п р о и з в е д е н и е м, с конкретным явлением литературы и искусства. Критик имеет дело с м и р о м х у д о ж н и к а, его стремлениями, с совокупностью его произведений, с его желанием мысли и ощущения свои сложить в нечто законченное, в ту внутренне систематизированную особую форму, о которой мы можем говорить уже как о стиле художника. И, наконец, критик (и это наиболее трудная из его задач) имеет перед собой как предмет исследования весь л и т е р а т у р н ы й п р о ц е с с — а он очень тесно связан, вновь отметим это, с другими областями духовной жизни общества. Если рассматривать три эти «этажа» (из коих первый является и первичным — анализом конкретного произведения совершенно необходимо овладеть любому критику; не все пишут о процессе, не все дают свое прочтение того или иного художника, но все должны уметь понимать и писать о книге как об атоме гигантского мира литературы) — так вот, если взять эти три «этажа» критики, три ее уровня, то наиболее, с моей точки зрения, удачные работы в нашей советской критике появляются сегодня на втором из них, там, где критик пытается читателю растолковать творчество того или иного писателя. Здесь критик проявляет и свою творческую личность уверенней, умелей, чем, скажем, в анализе литературного процесса.

Меньший оптимизм вызывает нынешнее состояние дел в нашей критике на первом, первичном уровне. Это — вопрос о рецензировании. У нас слишком много печатается слабых, пересказочных рецензий. Это беда нашей литературной жизни, но это беда, как я понимаю, и воспитания литературных критиков. Надо активнее учить и

давать больше возможностей критикам, чтобы поток нашей литературы, очень многообразный и по качеству, и по стилистике, и по тематике, и по именам, чтобы этот поток более внимательно учитывался и с бóльшим многообразием отражался в нашем рецензировании. Надо и количественно и качественно интенсифицировать рецензирование. Некоторые журналы делают это хорошо, но обо всех наших литературных журналах мы этого сказать не можем. «Правда» дает нам пример взвешенных и достаточно требовательных суждений об искусстве и о конкретных произведениях, но далеко не обо всех наших газетах справедливо будет сказать, что они своими рецензиями стимулируют развитие духа требовательности.

И опять-таки этот вопрос о б щ и й. За последние три-четыре года я был в разных социалистических странах, особенно часто в Польше, но не только — в Чехословакии, в Румынии, в ГДР. В беседах с коллегами — добавлю еще: с кубинскими и монгольскими коллегами — мы все время приходили к вопросу о качестве и широте возможностей рецензирования, к тому, что критика оказывается пока не в силах выявить в литературном потоке все ценное и осудить все слабое, плохое, неверное, портящее вкусы. Условия, правда, для рецензионной работы критиков в разных странах разные. Если для нас основная задача, как я считаю, состоит в том, чтобы мобилизовать, интенсифицировать огромные возможности, которые есть в руках нашей печати, то в некоторых других странах, думается, не вполне сложились еще сами условия. В частности, мне кажется чрезвычайно важной и серьезной проблема развития базы для такого рода работы в Польше, где структура печати соответствует особой культурной структуре.

Но в любых условиях (это важно нам всем понять!) рецензионная политика, рецензионная широта, рецензионная многоадресность — очень важная сторона социалистической культурной политики. Потому что это выход к массовому читателю. Это не разговор специалиста со специалистом, который может произойти в каком-нибудь журнале для специалистов, но это разговор о воздействии литературы и способствующем этому воздействию влиянии критики на умы широкой читающей аудитории.

И наконец, третий, может быть самый сложный, «этаж» — критика и литературный процесс в целом.

Конечно, здесь «многоукладность» проявляется впрямую. И я бы не сказал, что наша советская критика по-настоящему справляется с задачей анализа процесса. Что кажется мне в этой связи очень важным и какие требования должны быть выдвинуты? Прежде всего от критиков требуется умная, учитывающая специфику творчества социологичность мышления. Как бы критик ни был чувствителен, талантлив, эссеистически одарен, стилистически ярок, он, для того чтобы «овладеть» литературным процессом, должен обладать серьезным пониманием с о ц и о л о г и ч е с к и х о с н о в и русел литературного, шире — культурно-художественного, процесса. И за нашим «круглым столом» прозвучала некая нота боязни социологичности. Я думаю, бояться надо дурной социологичности, вульгарной социологичности — вон недавно в одном нашем журнале творческий путь Сергея Есенина был прямо связан... с продразверсткой! Но никоим образом нам нельзя отказываться от базы социологического мышления и подвергать сомнению тот факт, что без нее нельзя дать глубокого анализа культуры и литературы. Общая задача — повышать социологическую, а стало быть, и идеологическую вооруженность литературной критики!

Отсюда, или, лучше сказать, обязательно и отсюда,— требование совершенствовать эстетическую вооруженность критики. Систему собственных — литературоведческих, эстетических — категорий нам нужно развивать более смело. Ну, скажем, сейчас распространяется — и слава богу! — стремление рассматривать наши социалистические литературы в мировом контексте. Но я думаю, что понимание о б щ н о с т и литератур социалистических и понимание с х о д с т в а, существующего в проблематике и человековедческих нравственных поисках писателей всего «иного» мира, должно быть пониманием двух разных реальностей. Между тем в целом ряде статей... Скажем, прошли две огромные дискуссии в журналах «Литературное обозрение» и «Вопросы литературы» о современной мировой литературе, с чем она идет к концу века и каково наше место в ней. Высказано много обоснованных, а немало, по-моему, субъективистски произвольных сопоставлений с опытом латиноамериканских литератур, с романом американским, западногерманским и так далее. И как бы наравне с этим (в лучшем случае наравне) идет сравнение советского романа с болгарским, чешским и «гэдээровским». Но ведь неправильно — проводить сопоставления такого рода в одной и той же плоскости! Сходство проблем и форм, например, в советской «притчевой» прозе и у Павла Вежинова — одна плоскость, а сходство некоторых приемов метафоризации текста у Гарсиа Маркеса и Айтматова — иная плоскость.

Здесь нет, конечно, никакой железной схемы, не надо ничего вульгаризировать, но надо понимать: то, чем вызваны поиски в области притчевых форм у наших писателей и у писателей других социалистических стран, с одной стороны, отличается от причин «совпадения приемов» и даже человековедческих исканий у писателей иных социальных миров — с другой. Между тем стало уже своего рода дурным тоном в разговоре о советском романе концентрированного притчевого смысла не упомянуть имени Габриэля Гарсиа Маркеса. И упоминают. Часто всуе.

Так вот, совместный творческий опыт нам надо и обсуждать совместно, в том числе и для развития наших теоретических представлений. О том, например, что такое творческий метод.

Владимир Гусев справедливо встревожен: эта категория у нас начинает исчезать. Исчезать из сознания. Не обязательно везде и всюду словесно заявлять о творческом методе, но в сознании критика эта категория должна быть среди действую-

щих, работающих. Мне кажется, назрела необходимость более целеустремленного совместного обсуждения этой категории на основе сходства (и различий, разумеется) в опыте социалистических культур. Усилия в этом направлении предпринимаются. «Вопросы литературы» собирали для такого рода обсуждения наших коллег из братских стран. Интересный опыт был проделан журналом «Литературное обозрение» и словацким журналом «Ромбоид» — «круглый стол» о социалистическом реализме сегодня. Но все это пока спорадически, не системно.

Кстати, и о самом понятии «социалистический реализм». Мы много и долго говорим о нем как об открытой системе форм — открытой навстречу исторической правде. Это наше завоевание. Но не слишком ли долго, много и часто мы повторяем одно и то же, когда говорим о современном состоянии теории социалистического реализма? Я думаю, есть смысл и есть возможности — и у нас, и в других социалистических странах — устроить широкое по своей проблематике обсуждение современной теории социалистического реализма.

Мы держимся не за слова: это надо внедрить в сознание наших коллег, и тех в том числе, кто игнорирует проверенный термин или толкует его неверно, а то и извращенно (как, скажем, в большом, вышедшем в Польше незадолго до кризисных событий сборнике «Словарь литературных терминов», где социалистический реализм рассматривается в духе расхожих пропагандистских клише западных советологов как метод, требующий заданных схематических «героев труда»). Надо сказать, что стремления посеять неприязнь к термину «социалистический реализм» сыграли свою роль. Давайте признáем, что бывает и так: иные писатели создают произведения, социалистический реализм развивающие и обогащающие, но употреблять этот термин избегают.

Повторяю: мы держимся не за слова. Если кто-то придумает лучший термин — хотя это не такое простое дело, потому что нынешний в 30-е годы возник очень и очень обдуманно, — если кто-то придумает термин, более точно выражающий сущность дела, то, как говорится, милости просим — спасибо скажем. Мы держимся за существо дела, его отстаиваем: социалистический реализм — это искусство говорить человеку и народу правду о развитии человека и народа в ходе их борьбы за социализм и за совершенствование социализма. Вот позиция, на которой, думаю, можно собрать и теоретиков, и практиков литературы, и литературных критиков, чтобы обсудить современное состояние теории и практики социалистического реализма.

Мне кажется, что время для такого обсуждения пришло и силы для этого тоже есть. Об этом я сужу и из личного опыта; скажем. в Алма-Ате, на конгрессе МАЛК, я чувствовал по выступлениям критиков из социалистических стран, а также некоторых из стран капиталистических: такого рода обсуждение, спокойное, объективное и взвешенное, вполне было бы возможно.

И — полезно!..

ВЯЧЕСЛАВ СЕРЕДА

Прежде чем говорить о венгерской литературе последних лет, я хотел бы отметить, как много сделано было журналом «Иностранная литература» для популяризации ее достижений в предшествующее десятилетие. Достаточно назвать имена таких крупных мастеров слова, как Дюла Ийеш, Лайош Мештерхази, Тибор Дери, произведения которых, опубликованные в 70-е годы, завоевали признание читателей журнала. В советской критике о них довольно много писали, поэтому ограничусь лишь самой общей характеристикой. Романы «В ладье Харона, или Симптомы старости» Ийеша, «Загадка Прометея» Мештерхази, повесть «Милый бо-пэр!..» Дери ярко представили нам сложившийся в венгерской прозе к началу 70-х годов тип повествования — иронико-философскую, в лучшем смысле слова интеллектуальную прозу. Сюжетная основа этих произведений могла быть различной. У Дери, например, это будни престарелого писателя, а у Мештерхази — уходящие в даль времен перипетии античной истории и мифологии. Но вместе с тем их многое объединяло: и постановка общих проблем человеческого бытия, и целостное, выстраданное, трезвое миропонимание, и четкая нравственная оценка явлений действительности с позиций социалистического гуманизма. Это были книги, итоговые для их авторов, вобравшие в себя и личный, и богатый общественный опыт развития по пути социализма.

Другое характерное качество, отчетливо проявившееся в венгерской литературе 70-х и связанное с творчеством более молодых писателей, — это открытая проблемность, стремление непосредственно воздействовать на ход вещей, особая, я бы сказал критическая, чувствительность по отношению к сложным явлениям, трудностям и конфликтам — экономическим, социальным, нравственным, возникающим в жизни общества. В лице таких прозаиков, как Эржебет Галгоци, Дюла Чак, Дёрдь Молдова, Дюла Фекете и других, литература пыталась взять на себя важные функции общественного самопознания. Источником ее критического, аналитического пафоса явилось более глубокое и диалектическое, чем прежде, понимание социализма как сложной общественной системы, развитие которой требует своевременного осознания и преодоления внутренних противоречий. В этой связи можно выделить жанр объемной, всесторонне охватывающей ту или иную сферу общественной жизни социографии — своеобразной разновидности литературы факта. Образцы ее были представлены в свое время на страницах «Иностранной литературы».

Говоря о журнальных публикациях 80-х годов, нужно отметить тот нравственно-критический пафос, что отличает, например, рассказы Анны Йокаи и повесть Клары

СЕРЕДА ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1951 г.)

Литературовед, переводчик. Автор статей о современной венгерской литературе, предисловий к изданиям произведений венгерских писателей на русском языке.

Фехер «Желтая лихорадка». Обе писательницы, каждая по-своему, вскрывают пороки потребительства и духовной опустошенности, их беспокоит разрыв, наблюдающийся между материальным уровнем и нравственным прогрессом общества. Тема эта не новая для венгерской литературы, но и в ней художники могут открывать неожиданные ракурсы изображения. Скажем, в рассказе «Застройщики», написанном в интонации баллады, Анна Йокаи, раздвигая рамки тривиально-бытовой прозы, достигает художественной глубины за счет символических деталей. В охваченном страстью накопительства богатеющем селе «великий перестук молотков» заглушает в людях доброту и отзывчивость. Тревожное это явление автор не просто фиксирует, но стремится активизировать нравственное сознание читателя. Роскошные хоромы, построенные одним из героев единственно из желания приумножить нажитое богатство, видятся другому герою как больной дом, перевязанный кровавым бинтом. Символична в своей бессмысленности и семейная усыпальница, венчающая строительные амбиции приобретателя. Желание строиться «вверх» незаметно обернулось тем, что человек стал строиться «вниз», обернулось духовными, нравственными потерями.

Взыскующе-критическое изображение несовместимых с социализмом антиобщественных и антидемократических проявлений, «зондирование» общественной нравственности, проблематика образа жизни — все это так или иначе характеризует произведения венгерских прозаиков, пишущих о современности. В этой связи можно упомянуть книги, вышедшие за последние два-три года в издательстве «Радуга»: повесть «Глемба» Дюлы Чака, сборники рассказов и повестей Булчу Берты, Акоша Кертеса, Шандора Шомоди-Тота или книжку рассказов Эржебет Галгоци, выпущенную в «Библиотеке «Иностранной литературы».

Отмечу еще одно примечательное явление, характерное для новейшей венгерской и, как оказывается, не только для венгерской литературы. Я имею в виду обильный поток книг об истории, живой интерес к прошлому, воплощающийся в разных жанровых вариациях: в историческом романе, мемуарах, документально-исторических и историко-публицистических книгах. Думаю, это явление имеет отношение и к нашему разговору на тему «литература и современность». Ибо сегодня, как никогда раньше, осознается, что знание прошлого своего народа — органическая, активно «работающая» на современность часть общественного сознания, важный источник нравственного и социального опыта.

Из множества книг венгерских авторов на исторические темы остановлюсь на одной, фрагменты которой сравнительно недавно были опубликованы в «Иностранной литературе». Это исторический роман-коллаж Иштвана Шимонфи «Солдаты страны-Парома». Писатель, принадлежащий к «поколению сорокалетних», опираясь на подлинные свидетельства старших, дневники, письма, официальные документы эпохи, осмысляет драматический опыт второй мировой войны во многом иначе, чем это прежде делалось в венгерской литературе. Если вспомнить известные нам воплощения этой темы в венгерской прозе 60-х годов, то у Тибора Череша в «Холодных днях» в центре внимания — жестокие преступления хортизма и проблема ответственности за них, у Иштвана Эркеня в гротесковой повести «Семья Тотов» — природа фашистского деспотизма и раболепной покорности тех, против кого он направлен. Для Шимонфи важно разобраться в мотивах и исторических обстоятельствах той части поколения «отцов», которая не только сознавала преступность и бессмысленность войны против Советского Союза, но предпринимала реальные шаги для того, чтобы повернуть Венгрию против фашистской Германии. Собрав красноречивые факты об антифашистской борьбе в Венгрии, Шимонфи этой нужной для своих сверстников и всего общества книгой способствовал укреплению прогрессивной линии преемственности поколений.

Разумеется, отмеченные явления и тенденции не дают исчерпывающего представления о ситуации в современной венгерской литературе, ситуации во многом иной, нежели в 70-е годы. Ушли из жизни крупнейшие писатели старшего поколения: Дюла Ийеш, Иштван Эркень, Тибор Дери, Лайош Мештерхази, творчество которых в течение долгого времени определяло тонус и уровень литературы. Венгерская литература уже довольно долго испытывает своего рода аритмию, отчасти связанную с приливом молодых писателей, стремящихся — подчас радикально — преодолеть традиции отечественной литературы. Говоря о венгерской критике, этой темы касался Юрий Иванович Суровцев. Да, в 80-е годы происходит оживление модернистских концепций творчества, представители которых значительно активнее, чем прежде, оспаривают значение реалистического, открыто социального искусства. Не случайно известный марксистский критик академик Иштван Шётер столь остро сформулировал стоящую сегодня перед венгерскими писателями проблему творческого самоопределения. «Перед современной венгерской литературой,— писал он в 1984 году,— стоит болезненно открытая дилемма, жизненно важный вопрос о выборе дальнейшего пути, о том, быть ли новой литературе ангажированной, обращенной к человеку или же двигаться по пути осознания и приятия мысли о невозможности изображения действительности». В венгерской литературной прессе сегодня идут оживленные дискуссии о роли литературы в современном обществе и путях ее обновления, которые, хочется думать, помогут ей избежать ложных крайностей неоавангардистского экспериментирования и бесплодного повторения старого.

(Окончание следует)

◆

ВЛ. ГАКОВ

ФРОНТИР

Собор остался таким с войны: коробка из голого красного кирпича, пустые глазницы окон. Ни крыши с непременными башенками, никаких внутренних перегородок, ничего. Словно дети неведомых гигантов повозились с игрушечным строительным набором, возвели четыре стены, а потом бросили все недостроенным...

Парк, разбитый на острове в самом центре города, окружил собор со всех сторон. Ровно подстриженная трава на газонах, дорожки присыпаны гравием, под кронами деревьев уютно примостились скамейки; все нынче дышит покоем и умиротворенностью. Ничто не напоминает о времени, когда бомбы и снаряды смешивали здесь в невообразимую кашу землю и камни — и камни горели! Ничто не напоминает о войне — только собор. Вернее, то, что осталось от знаменитого Кёнигсбергского собора: громада цвета запекшейся крови, какая-то уродливая декорация, особенно неуместная на фоне радостной зелени парка. Жуткая декорация: обезглавленное здание, с которого будто заживо содрали кожу.

Чья-то невидимая рука точно очертила периметр здания, установив границу в пространстве и времени. Внутри стен все еще грохочет взрывами война, снаружи — тишина, «взрываемая» только детским смехом.

Почему на память пришла эта осень 1982 года, первая моя встреча с Калининградом?

Было самое начало октября, последнее «прости» уходящему лету. Вопреки представлению о хмурой Балтике город неожиданно встретил нас солнцем и буйной, словно не помышлявшей о близкой осени, зеленью. Нас — это участников регионального совещания писателей-фантастов и «приключенцев» Российской Федерации, собравшихся в Калининграде обсудить свои профессиональные проблемы.

Совещание как совещание: доклады, прения, кулуарные споры за полночь. Свободное время было отдано знакомству с городом. Прикосновению к истории... Нынешний Калининград, залечивший военные раны, остался в памяти городом мирным, радостным, солнечно-зеленым. Если бы не скелет собора на острове, неожиданно напомнивший о вечности.

В одной из наружных ниш западной соборной стены скромно притулилась усыпальница самого знаменитого из граждан Кёнигсберга — Иммануила Канта. По прихотливой случайности это место — единственное — пожалела война. Словно добрый рок охранял от бомб и снарядов покой автора трактата «О вечном мире». Нетронутой осталась и бронзовая табличка, на которой лишь имя и фамилия, а вместо эпитафии — бессмертные слова философа: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них,— звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Звездное небо и мораль. Великий философ полагал эти две материи не зависящими друг от друга. Вечными, загадочными, бездонно-глубокими — но никак не связанными. В наши дни, когда впору усомниться, переживут ли кантовские строки свое двухсотлетие (книга «Критика практического разума», откуда они взяты, увиде-

ВЛ. ГАКОВ (род. в 1951 г.)

Советский критик, литературовед, специалист по научно-фантастической литературе. Автор книг «Виток спирали» (1980), «Четыре путешествия на машине времени» (1983) и обзорных статей в периодике.

ла свет в 1788 г.), родилось новое понимание и «звездного неба», и «морального закона». И отношений между ними. Ибо очевидно, что отсутствие второго может поставить крест и на первом. Какой смысл в звездном небе, ежели им некому будет любоваться и размышлять над его вечными загадками?

Разрушенный войной собор и слова Канта, переосмысленные за два века,— что́ их объединило, кроме грустной иронии? Образ-символ: Рубеж.

Ранними сентябрьскими днями 1983 г. огромный «Конвеншн-холл» одного из крупнейших отелей в американском городе Балтиморе был забит до отказа. Шел очередной, 42-й по счету, ежегодный съезд американских любителей фантастики (из чисто национального снобизма они упорно именуют свои съезды «всемирными конвенциями») [1]. Что было необычно на сей раз, так это состав участников одной из дискуссий. Известные авторы, авторитетные, хотя и менее знакомые широкой публике специалисты в области космических исследований и... отставной генерал, бывший шеф разведуправления Пентагона Дэниел Грэм! Сменивший мундир на «партикулярное» платье генерал говорил о выстраданном и даже нежно любимом. По-военному чеканя слова, убеждал, настаивал, сыпал цифрами, постоянно обращаясь к таблицам и графикам.

О чем, казалось бы, писателям-фантастам спорить с пентагоновским ястребом? Спорили о проекте «Высокий рубеж» (по-английски: High Frontier). Фронтир... Слово, знакомое каждому американцу; оно навевает вполне понятные исторические ассоциации. Но при чем здесь фантастика? А космос?

В английском языке слово frontier, как уже сказано, означает просто «рубеж», «граница». Однако для граждан США оно лелеемо как национальный символ. Фронтиром называли авангард поселенцев, которые продвигались на запад североамериканского материка, завоевывая девственные земли для шедшей по пятам (буквально и в историческом смысле) капиталистической индустрии. То была тропа завоевателей, а не просто мужественных борцов с природой, как пытались представить позднее.

Однако есть еще легенда об истинно американском духе, духе Фронтира. О людях Фронтира — мужественных, открытых, честных и работящих. С ружьями не расставались по суровой необходимости: нужно было охотиться да и защищать свои форты своих жен и детей от набегов индейцев! Но все-таки превыше прочих достоинств ценились мирный труд и свобода предпринимательства. И пожалуй, еще одно: тот особый, ни с чем не сравнимый мятежный, первопроходческий дух, что не давал долго засиживаться на обжитых местах и гнал, гнал неуемные души вперед, на поиски новых фронтиров.

В последние годы знакомое словосочетание снова замелькало на страницах газет и журналов, в речах правительственных чиновников. Вспомнили о «духе Фронтира», остро понадобился он в делах сугубо насущных, практических! Но теперь пишут уже о фронтире космическом.

Космос использовали в пропагандистских целях не раз. Еще в начале 60-х, открывая работы по программам «Джемини» и «Аполлон», президент Кеннеди призвал ученых вернуть американскому народу утраченное чувство национальной гордости, возродить высокий моральный дух первопоселенцев, наперекор растущему отчаянию и неверию в будущее.

«Высокий рубеж»... В космических планах нынешней вашингтонской администрации это понятие обычно связывают с реакционной политической организацией «Херитидж фаундейшн» («Фонд наследия»). В самом начале 80-х годов члены «Фонда» подготовили документ, содержавший долгосрочную программу создания космической противоракетной обороны. Документ назывался «Высокий рубеж» и в Белом доме пришелся по душе: и года не прошло, а словечко «фронтир» прочно закрепилось в политической шпаргалке сильных мира сего. Настолько прочно, что забыли первоисточник.

Ведь авторы документа «Высокий рубеж» название тоже, как выяснилось, не сами придумали — попросту украли, цинично позаимствовали у автора, который по своим политическим воззрениям был бы немедленно объявлен персоной нон грата в «Фонде наследия».

Итак, было д в а плана, одинаково названных: «Высокий рубеж».

Трудно сказать, что в большей степени двигало участниками кражи: откровенное бесстыдство или едва скрытый вызов. Ведь совсем иной, полярный смысл вкладывал в понятие «Высокий рубеж» автор книги, вышедшей в 1977 г. и так и озаглавленной (причем книги-бестселлера, о ней не могли не знать «экспроприаторы» из «Фонда наследия»), Джерард О'Нил, читавший студентам физику в Принстоне.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖЕРАРД К. О'НИЛ

Род. в 1927 г. Окончил Корнеллский университет. Физик-экспериментатор, специалист в области физики высоких энергий. В 50-е гг. участвовал в создании одного из первых линейных ускорителей электронов. Авиатор-любитель, с ранних лет увлекался космическими исследованиями. В 60-е гг. был включен в список потенциальных астронавтов, тренировавшихся по программе «Аполлон».

Звезда О'Нила взошла в августе 1974 г., когда солидный английский научный журнал «Нейчур» поместил его коротенькую заметку, интригующе названную — «Сообщество лагранжийцев?». Уже в сентябре ее перепечатал американский журнал «Физикс тудэй», на этот раз под «спокойным» названием — «Колонизация космоса». В то время, публикуя подобную «ересь», оба печатных органа изрядно рисковали своей

[1] См. статью Е. Парнова «Звездное помрачение» в «ИЛ», 1984, № 5. *(Здесь и далее прим. автора.)*

репутацией; до этого заметку уже отвергли в двух других научных изданиях, не помог и авторитет Принстона (хотя потом, вероятно, локти кусали с досады!).

Последствия публикации можно сравнить со сходом снежной лавины. Мгновенно возник, организационно окреп и «уважать себя заставил» настоящий культ последователей принстонского профессора. Казалось бы, ну что он там особенное открыл? Научно обосновал идею строительства в недалеком будущем гигантских орбитальных космических поселений на сотни тысяч человек. Но автор, кажется, сам не подозревал, что сразу же — не в будущем, в настоящем! — объявятся сотни тысяч желающих немедленно включиться в работу. А в будущем — готовых отправиться жить туда, в орбитальные города, надолго, быть может насовсем.

Предшественников у О'Нила хватало. Если по справедливости, то приоритет принадлежит нашему великому соотечественнику Константину Эдуардовичу Циолковскому, чья фантазия еще в начале века рисовала «эфирные города» — медленно вращающиеся вокруг своей оси гигантские космические «бублики»-торы, где найдут пристанище многие тысячи человек. Правда, во времена Циолковского это представлялось утопией, поэтому развивал свою идею ученый чисто умозрительно.

Значительно позже идеей внеземных поселений всерьез «заболел» английский ученый Джон Бернал, личность, замечательная во многих отношениях.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖОН ДЕСМОНД БЕРНАЛ

Род. в 1901-м — ум. в 1971 г. Окончил Кембриджский университет. Крупнейший специалист в области кристаллографии, впервые применил метод рентгеноструктурного анализа биохимических кристаллов и вирусов, положив начало молекулярной биологии. Почетный член многих иностранных академий. Спектр научных интересов: архитектура, гляциология, дрейф континентов, происхождение жизни, освоение космоса. Пионер научного прогнозирования, в книге «Мир, плоть и дьявол» (1929) дал один из первых крупномасштабных сценариев будущего человеческого общества, предвидел многие частные открытия и изобретения. Под конец жизни вступил в Коммунистическую партию Великобритании. Выдающийся борец за мир и дружбу между народами (международная Ленинская премия, 1953), автор книги «Мир без войн» (1958).

Как все сплелось воедино в этой уникальной личности: наука, будущее, борьба за мир, коммунизм! И космос...

Именно Берналу принадлежит первый строго научный проект космической колонии, в котором учтено почти все: жилые массивы, агрокомплексы, проблема топлива — даже система внешних зеркал и заслонок, имитирующих для «небожителей» смену дня и ночи. Не случайно свое первое большое космическое поселение, рассчитанное на 50 тысяч человек, Джерард О'Нил назвал «сферой Бернала». (Вообще следует отдать должное профессиональной научной этике О'Нила, честно признавшего приоритет всех своих предшественников, включая Циолковского; с их идеями О'Нил впервые познакомился уже после того, как собственноручно проделал все расчеты.)

Ничего нового О'Нил действительно не открывал, его заслуга в другом. Впервые речь шла не об утопической мечте, общефилософской идее — на рассмотрение коллег были предложены точные инженерные расчеты; при этом не забыты материалы, способ технологии, стоимость, а главное — указаны разумные сроки!

Книга Джерарда О'Нила «Высокий рубеж» немедленно возглавила список бестселлеров, сам же скромный ученый-физик превратился в популярнейшую фигуру — из тех, «о которых говорят» и чьи портреты украшают обложки престижных журналов «Таймс» и «Ньюсуик». А на волне успеха возникло чуть ли не религиозное движение. Сперва потянулись робкие ручейки, затем пошли мощные валы последователей — специалистов-ученых, студентов, бизнесменов, просто энтузиастов без определенных занятий. О'Нилу удалось заинтересовать своей идеей и безгрешный научный Олимп, и преисподнюю большого бизнеса. И тогда, имея на руках отличную вычислительную технику и целый штат экспертов, он наконец смог пересчитать и перепроверить свои первоначальные прикидки.

Многие технические идеи проекта поражают не только дерзостью, но и изяществом.

Например, решение вопроса о строительном материале: О'Нил предложил использовать природные кладовые Луны, оттуда, а не с Земли доставлять на околоземную орбиту все необходимое для строительства. Этой цели хорошо послужит особая «электромагнитная пушка» (обнажим голову перед интуицией великого Жюля Верна!), которую в окружении О'Нила быстро окрестили mass-driver (буквально: «масс-шофер»). Из доставленных с Луны материалов прямо в космосе соберут огромные конструкции самой разнообразной формы: тут и сферы, и цилиндры, и торы, и целые комбинации из сфер и соединительных стержней-коридоров (медленное вращение конструкции устранит дискомфорт, связанный с невесомостью). И когда строительство будет завершено, внутри поселенцы встретят самую настоящую «маленькую Землю». Взойдут леса, заколосятся нивы, а на берегах рек вырастут города, заводы, поселки...

Разумеется, с точки зрения сегодняшней технологии проекты О'Нила пока неосуществимы. Но это и не беспочвенная фантазия, если принимать во внимание не столько нынешний уровень науки и техники, сколько их темпы роста, «первую производную», увеличивающуюся день ото дня. И хотя консервативное наше подсознание упрямо сопротивляется смелому выводу, факты подсказывают: уже через десять — пятнадцать лет на околоземной орбите м о ж е т появиться первый цилиндрический «город» более ста километров в длину и с населением в 40—50 тысяч человек.

Но отвлечемся от техники; изолированные от остального человечества десятки тысяч «лагранжийцев» [1] — это уже общество в миниатюре. И, освободившись от строительных лесов, каждая такая колония неизбежно обрастет целым ворохом социальных, нравственных проблем, тем более что авторы проекта мыслили себе всю затею прежде всего в категориях социальных же! Осознанно или нет, но Джерарда О'Нила с его проектами ждали как мессию, указующего ни много ни мало — новый путь человечеству. Заявка куда серьезней, чем техническая дерзость проекта.

По представлениям О'Нила и его группы, околоземные города появятся прежде всего как выражение жестко назревшей социальной необходимости. Как казалось О'Нилу, осуществление его замысла решит проблемы, стоящие перед человечеством уже сегодня: перенаселение, истощение энергетической и сырьевой базы, голод, загрязнение окружающей среды (и как следствие — катастрофическая «раскачка» климата Земли), пределы экономического роста, наконец.

Трудно сомневаться в искренности благородных побуждений О'Нила, когда он пытается подарить толику надежды отчаявшимся. Но очевидно и другое: очень кстати пришлась утопия многим его согражданам, разный народец и не всегда «чистые ладони» поспешил подставить под эту манну небесную! Неудивительно, что среди ревностных последователей О'Нила можно встретить и крайне правых технократов, и обывателя-середнячка, и ультралевых (например, недавних вожаков молодежной контркультуры вроде Стюарта Брэнда или пророка «наркотического рая» Тимоти Лири). Каждый, кто был воодушевлен О'Нилом, видел завораживающую, сверкающую вдали утопию как бы через призму собственных интересов.

Однако было нечто цементирующее разнородную компанию одиночек в подлинное движение: зов Фронтира, проснувшаяся охота к перемене мест. И образа жизни.

«Я знаю,— пишет один из авторов проекта лунной «пушки» инженер Генри Колм,— многие, в особенности мои коллеги-физики, считают, что это совсем не тот путь ко всеобщему счастью, о котором грезит человечество. «Подумать только, они проведут остаток дней своих во вращающейся алюминиевой консервной банке»... С другой стороны, мне не приходилось встречать больших энтузиастов, чем постоянно окружающая меня студенческая молодежь. Без сомнения, они прямо сейчас пошли бы добровольцами строить космическую колонию, будь это возможно уже в наши дни. Все эти идеи их буквально перевернули. Я пытался проанализировать природу энтузиазма. Конечно, прежде всего дает себя знать чувство элитарности: молодые люди хотели бы разделить будущее с представителями такой же «элиты избранных». У других иные стимулы: в мире все так запуталось, говорят они, он полон дерьма, и сама возможность удрать стоит тех трудностей, которые могут встретиться на пути. Но задумаемся: разве не те же стремления владели эскимосами, когда они заселяли Арктику? Или фермерами, обосновавшимися на севере штата Мэн в 1630 году?» (Я привожу цитату по книге английского популяризатора Н. Колдера «Звездные корабли разума», 1978).

Впрочем, утопический идеализм — это только одна сторона всей затеи. Была и другая, в чем-то противоположная: частное предпринимательство. Еще одна святыня, почти фетиш для американцев, которым в конце XX века остается только вздыхать о добром старом времени, когда капитализм был уделом предприимчивых одиночек.

Бизнесмены увидели в идеях О'Нила золотую жилу, и именно от частных фирм и отдельных меценатов он получил максимум финансовой поддержки. Иначе быть не могло: его проекты сулили надежду и, кроме того, приятно щекотали нервы. Напоминали о героическом прошлом Америки, когда дальние предки «лагранжийцев» прибыли в Новый Свет открывать свои первые дальние рубежи. О времени, не знавшем ни спрутов-монополий, ни финансового капитала, ни военно-промышленного комплекса и правительственной бюрократии.

...Я знакомился с проектом О'Нила и внимательно всматривался в фотографии его последователей. Лица молодые и не очень, восторженные и мрачноватые на вид — казалось, в них и вправду что-то есть от «отцов-основателей» американской нации. От тех пилигримов, что в XVIII веке отправились на паруснике «Мейфлауэр» к берегам Нового Света — подальше от опостылевшего Старого с его политическими и религиозными притеснениями, разрушенными надеждами и прогнившими социальными и нравственными устоями.

Итак, избавленные от земной скверны, космические города должны были превратиться в мекку для предпринимателей, возмечтавших о долгожданном освобождении от монополистического «хомута». Чем не бегство от капитализма наших дней, заметно эволюционировавшего с тех времен, когда буржуазия была молодым революционным классом, в идеализированное прошлое романтиков-одиночек. Но куда бежать — к началу нового круга? И завертится колесо истории, и покатится все по отлаженным экономическим рельсам («святые» капиталистические принципы никто из окружения О'Нила отменять, кажется, не собирался) к легко прочитываемому концу... Но, похоже, эти вопросы «лагранжийцев» мало интересовали.

Впрочем, показателен факт потрясающе быстрого и безоговорочного принятия американцами откровенной утопии. Время само вызывает к жизни те или иные идеи, а

[1] Первоначально местонахождение космической колонии обозначалось как «точка Л-5» или «Лагранж-5» (по имени великого французского математика и механика Жозефа Лагранжа, в XVIII веке решившего задачу отыскания точек равновесия в системе двух тел). Это точка вблизи Земли, где тело, запущенное с поверхности нашей планеты соответствующим образом, находится в устойчивом равновесии, поддерживаемое одновременно гравитационными полями Земли и Луны. До сих пор энтузиасты величают себя не иначе как «лагранжийцами», а свое братство — «Обществом Л-5»,— красиво, романтично.

утопические проекты О'Нила пришлись Америке 70-х как раз ко времени.

И довольно скоро привели к рождению другой концепции «Высокий рубеж», о которой заговорили, как только в начале 80-х была обнародована «стратегическая оборонная инициатива».

По мнению экспертов Центра оборонной информации США, выражение «война в космосе» не производит столь тягостного впечатления на население, как стоящее особняком короткое слово «война» (тут ассоциации, естественно, могут быть только с Землей). И даже внушает оптимизм: космос не Земля, там пусть воюют, может, пронесет... А когда в Вашингтоне еще более сместили акцент и космос теперь рассматривается как лучшее, оптимальное, наивыгодное поле для демонстрации силы, потребовалось словесное прикрытие, маскировка.

Оказывается, давным-давно прочерчен в небе над планетой символический Рубеж, разделивший космическое пространство на «мирное» и «военное»: еще в 1946 (!) году Пентагон проявил некоторый интерес к исследованиям, связанным с планами размещения баз в космосе и вывода на орбиту спутников-шпионов. Конечно, тогда военным оставалось лишь платонически вздыхать о несбыточном, однако о мечте не забыли.

Спустя десятилетие в первом американском правительственном заявлении о целях и задачах космических исследований снова говорится о принципиально важных военных перспективах. В 60-е годы программы «Джемини» и «Аполлон» — детища курса Кеннеди — военных интересовали в меньшей степени; Пентагон был занят собственными космическими разработками. Правда, вскоре пришлось свернуть начатые работы по проекту MOL (от military orbital laboratory — военная орбитальная лаборатория). К немалой досаде генералов, верх взяли «штатские» и все средства были брошены на дело национального престижа — осуществление высадки человека на Луну. Более того, перед самой трагической кончиной у президента Кеннеди хватило политической мудрости выступить с предложениями о совместной советско-американской экспедиции на Луну, широком международном сотрудничестве в деле освоения космоса.

Но над Америкой уже задули совсем иные политические ветры.

В Белый дом пришел Линдон Джонсон. Еще в бытность свою вице-президентом он заявлял, что в космической перспективе видит прежде всего новые системы оружия и новые методы ведения войны. Тогда голос Джонсона, председателя Совета по аэронавтике и космическим исследованиям, имел немалый вес; в президентском кресле руки у него и вовсе оказались развязаны. Вот когда военно-космические стратеги взяли реванш.

В годы президентства Джеймса Картера была разработана целая концепция — «кто владеет космосом, тот владеет миром». Причем цель сформулирована совершенно в духе ханжеской картеровской политической терминологии: обеспечить США постоянную лидирующую роль в космосе. Речь, конечно, шла не о научных приоритетах.

И наконец, самое начало 80-х... Не будем повторять всего, что написано о военно-космической программе нынешней вашингтонской администрации. Достаточно бегло просмотреть пункты этой программы.

Тотальное использование спутников-шпионов и орбитальных баз для управления как космическими, так и наземными войсками. Новейшее противоспутниковое оружие, в том числе запускаемое с высоколетящих сверхзвуковых истребителей. Выведение на орбиту мощного лазера, еще более современного оружия — «пучкового» (ускорители, разгоняющие элементарные частицы до околосветовых скоростей). Новое, третье поколение сверхоружия: «рентгеновский лазер», питаемый энергией ядерных взрывов и целенаправленно, словно по запальному шнуру, передающий ее со скоростью света на расстояния в десятки тысяч километров. Широкое использование грузового транспорта будущей космической войны — кораблей многоразового использования системы «Спейс Шаттл», разработка на их базе более тяжелой транспортной системы и, наоборот, облегченных пилотируемых аппаратов, способных взлетать и садиться на обычные аэродромы. Космические мины, дистанционно управляемые с Земли, орбитальные склады горючего и материалов, испытательные полигоны, мастерские по ремонту вышедшей из строя космической техники...

Все перечисленное уже деловито разрабатывается и испытывается.

Плюс серия мероприятий по перестройке всей системы высшего армейского командования, подчинения его целям военно-космическим. Уже построен центр управления полетом спутников военного назначения в Саннивейле; рядом с Хьюстоном — центр управления полетами «шаттлов»; в скальных породах горы Шайенн пробурены километровые тоннели — там разместился пункт управления всей противоракетной системы космического базирования. Лихорадочно создается объединенный центр космического командования неподалеку от курортного местечка Колорадо-Спрингс... Но Пентагону мало, и на 1986 год намечено строительство собственного военного стартового комплекса на базе ВВС США Ванденберг.

Это серьезно и это совсем не фантастика. Не вызывающие восторг детворы мушкетерские поединки на лазерных мечах из фильма «Звездные войны» — а солидная сумма около 6 миллиардов долларов, выделенная в 1984—1985 годах на разработку лазерного космического оружия. Оружия настоящей войны.

Новые директивы легализовали курс на подготовку к космической войне. Что сегодня даже на слух неофита звучит как война из космоса. Собственно, об этом весьма недвусмысленно высказался не политик, а командир одного из экипажей корабля многоразового использования, «Колумбия», полковник Джек Лусма: «Космос — это то место, откуда можно держать в страхе весь мир».

Итак, покровы сброшены. На «шаттлах» летают военные и с военными же заданиями, запускаются военные спутники, испытываются «противоспутники» (тоже, надо полагать, не метеорологические и не коммуникационные), и за всем этим обширным хозяйством наблюдает вновь созданное объединенное космическое командование во главе с генералом Джеймсом Хартинджером. А то, что задачи перед экипажами «шаттлов» ставятся весьма далекие от научных, подтвердили и просочившиеся в печать обстоятельства трагического инцидента с южнокорейским «Боингом-747» в сентябре 1983 г.

Все это преподносится как средство необходимой защиты и официально окрещено «новой инициативой в области стратегической обороны». Конечно, ведь Фронтир, граница!

Разумеется, пропагандистская машина была вовремя и обильно смазана и начала исправно снабжать Белый дом тщательно подобранной миролюбивой фразеологией. 23 марта 1983 г. в президентском обращении к нации было сообщено о решении создать в околоземном пространстве гигантскую систему противоракетной обороны. «Будущим, которое сулит надежду» были названы эти планы. А подсластить пилюлю (ведь это, ко всему прочему, и чудовищно дорого — по самым скромным оценкам, полтриллиона долларов) должна была так и лившаяся сладкая патока Фронтира.

Вот тут и выступил со своим документом «Фонд наследия», прежде державшийся в относительной тени.

А теперь вернемся к съезду фантастов в Балтиморе. Дебаты по проекту «Высокий рубеж» были бурными, и генерал Грэм действительно говорил о сюжете, лично ему хорошо знакомом. Ведь не кто иной, как Грэм возглавлял авторский коллектив «Фонда наследия», разработавший проект «Высокий рубеж»!

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЭНИЕЛ О. ГРЭМ

Род. в 1926 г. Кадровый военный, генерал-лейтенант в отставке. Заместитель директора ЦРУ (1973—1974), начальник разведуправления министерства обороны (1974—1976). После выхода в отставку был сопредседателем одной из лоббистских организаций ВПК (военно-промышленного комплекса) — «Коалиции за мир с позиции силы». Автор проекта (неосуществленного) немедленного использования имеющихся в наличии кораблей типа «Спейс Шаттл»; с их помощью предполагалось перебросить в космос «строительный материал» для орбитального командного поста, а также космического порта, который должен принимать космические истребители, способные уничтожать советские ракеты после их старта. Автор книг «Новая стратегия Запада» (1976), «Нужно ли защищать Америку: ОСВ-2 и что за ним» (1980), «Высокий рубеж: новая национальная стратегия» (1982). Советник Рейгана во время избирательных кампаний 1976 и 1980 гг.

Отметим последнее обстоятельство и бегло перелистаем страницы документа, который, право же, лет десять назад серьезно мог конкурировать с иными выдумками фантастов-профессионалов.

Итак, фантазия рисует Грэму земной шар, опутанный сетью из 430 с лишним больших орбитальных станций-фортов (дух Фронтира!); станции буквально нашпигованы сверхсовременным лазерным и пучковым оружием, не говоря уже о 21600 ракетах-перехватчиках, оборудованных инфракрасной системой наведения на цель. Другие пункты проекта предусматривают: разработку планов превентивных ударов по ракетам противника в пусковых шахтах и на начальных участках траектории, создание космических торпед и дистанционно управляемых мин против спутников, использование целой армады усовершенствованных «шаттлов», которые выведут на орбиту спутники-шпионы, спутники системы слежения и раннего оповещения, спутники-наводчики американских ракет... И в перспективе — е с л и б у д е т н у ж н о — вывод на орбиту ядерного оружия.

Последняя оговорка — это верх цинизма. Пока еще действует Договор 1963 г., подписанный и Соединенными Штатами, запрещающий выводить в космос ядерное оружие. Но уже поговаривают о «желательности» отмены договора по ПРО, всячески затягивают ратификацию ОСВ-2. «Стратегическая оборонная инициатива», удайся она, открывает возможность прежде всего безнаказанного н а п а д е н и я на противника, лишенного космической защиты — неужели не ясно? К тому же планы «звездных войн» не пребывают в каком-то вакууме. Полным ходом идут программы строительства и развертывания ракет «МХ», размещаются в Европе «Першинги» и крылатые ракеты, закладываются новые атомные подлодки, оснащенные ракетами «Трайдент», совсем на подходе новые стратегические бомбардировщики «В-1» и «Стелс». Это что — тоже «оборона»?

И потом... когда «было нужно» Соединенным Штатам, договоры, как известно, благополучно нарушались — начиная с самых первых соглашений тогда еще антигитлеровской коалиции. Понятное дело, могут нарушиться и сейчас. Что стоит взять да и записать в «сферу жизненных интересов Америки» все заатмосферное пространство разом!

Патриоты из «Фонда наследия» время выступления подгадали четко. Призыв их был услышан и по достоинству оценен на Капитолийском холме, а авторы проекта «Высокий рубеж» удостоились самых сердечных похвал. Так что осенью 1983 г. в Балтиморе силы спорщиков были неравными. За спиной Грэма маячила такая поддержка, о какой его оппонентам впору было только мечтать.

А сейчас пора — и представляется прекрасная возможность для этого — замкнуть «стратегическую триаду»: Белый дом — Пентагон — научная фантастика.

Книга Грэма «Высокий рубеж» переиздана в сентябре 1984 г. массовым тиражом в

издательстве «Тор букс», выпускавшем исключительно научную фантастику. Выпустили книгу экс-генерала, что называется, «по-свойски». Возглавлявший издательство Джим Баэн (сам писатель-фантаст), например, тоже присутствовал в Балтиморе и выступил там едва ли не самым активным адвокатом Грэма в лагере литераторов. Немалую помощь оказывал ему и автор предисловия к книге Джерри Пурнелл (с ним мы еще познакомимся ближе). А похвалили книгу не где-нибудь — в Белом доме...

Добавим к этому целые серии сборников о войне в космосе,— такие сборники независимо составляют писатели-фантасты Реджиналд Бретнор и Джерри Пурнелл,— в предисловиях к которым составители настаивают на неизбежности и даже желательности подобных войн,— и общая ситуация вырисовывается вполне отчетливо.

Между прочим, среди авторов предисловий к сборникам промелькнуло знакомое имя: Эдвард Теллер. «Отец» американской водородной бомбы, архиреакционер и закоренелый антикоммунист ныне руководит работами под кодовым названием «Эскалибур» в Ливерморской лаборатории, где ранее родилось другое печально известное «детище» — нейтронная бомба. Название волшебного меча короля Артура выбрано, конечно, не для того, чтобы прикрыть организацию поисков чаши Святого Грааля: Теллер возглавляет работы по созданию рентгеновского лазера, на который так уповают стратеги будущих «звездных войн». Почтенному мужу под восемьдесят, а он все сражается — с неистовостью, достойной лучшего применения,— со своими извечными врагами: коммунизмом, миром, разрядкой.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ЭДВАРД ТЕЛЛЕР

Род. в 1908 г. в Венгрии. Окончил Технологический институт в Карлсруэ и университеты Мюнхена и Лейпцига. Работал в Германии, Дании, Великобритании; с 1935 г.— гражданин США. Главные труды — по ядерной физике, термоядерным реакциям, астрофизике. Участвовал в работах по созданию американской атомной бомбы (проект «Манхэттен», 1942—1946), затем директор Ливерморской лаборатории в Лоуренсе, профессор Калифорнийского университета (с 1953 г.). После отстранения Р. Оппенгеймера от исследований по атомной тематике возглавил работы по созданию водородной бомбы и на всех этапах ратовал за практическое применение нового оружия. Член нескольких иностранных академий, член американского «Ядерного общества», член Бюро научных советников ВВС США. Последовательный и энергичный противник разрядки международной напряженности, разоружения и демилитаризации космоса. Среди научно-популярных книг — «Наше ядерное будущее» (с Э. Лэттером, 1958), «Наследие Хиросимы» (с А. Брауном, 1962), «Революционер поневоле» (1964).

Исторические фантазии о легендарном короле Артуре и рыцарях Круглого Стола — и проект новейшего космического оружия завтрашнего дня. Создатель водородной бомбы — и сборники писателей-фантастов...

Перелистаем страницы недавних подшивок ведущего американского журнала научной фантастики «Аналог», на чьих страницах было сломано немало полемических копий — не без активного участия вышеупомянутого Джерри Пурнелла.

Но прежде — еще об одной книге. В 1984 г. издательство «Баэн букс» выпустило роман дебютанта Льюиса Шайнера «Фронтира» (именно так, женского рода). Роман как роман, ничем не выделявшийся на фоне других, вышедших в том же году — но усиленная рекламная кампания, поднятая вокруг неприметного во всех отношениях сочинения, настораживала.

Фронтира — название американской исследовательской базы на Марсе. Когда правительство США (под напором чисто земных проблем) почти полностью свертывает космическую программу, персонал базы объединяется с персоналом соответствующей советской базы и образует своего рода сепаратистское государство, наотрез отказавшись вернуться домой... Прошли годы, на Земле все нации, государства, военно-политические союзы растворились в гигантских транснациональных корпорациях, подлинных хозяевах планеты. И вот две экспедиции направлены к Марсу, чтобы проверить, как там колонисты: одна — американско-японского концерна «Пулсистем», а другая... «Аэрофлота»! Пусть хоть в такой, до предела американизированной «версии», но все же международное сотрудничество, взаимопомощь — так? Вовсе нет. Ибо русские, конечно же, остаются русскими даже в этом космополитическом будущем. «Аэрофлотовцы» все время пытаются подставить ножку конкурентам и извлечь одностороннюю выгоду из марсианской одиссеи; «нечистые методы» борьбы, по мнению автора, однозначно характеризуют русских (у американских и японских бизнесменов благородство и джентльменское уважение к сопернику, надо полагать, заложены в крови).

Название романа — прямое отражение дискуссии в Балтиморе: вот за что поневоле цепляется взор. Автор-дебютант понадеялся одним заголовком привлечь читателя, и рекламная шумиха подтвердила точность расчета — вспомним, ведь именно «фронтир» был в центре полемики на балтиморском съезде писателей-фантастов.

«Фронтир» разделил надвое американских фантастов и на страницах журнала «Аналог».

Традицию не только знакомить читателей с новинками фантастической литературы, но и постоянно держать их в курсе новейших достижений науки, техники и политической жизни заложил еще легендарный редактор «Аналога» Джон Кэмпбелл-младший. Все время, пока его твердая рука направляла редакционную политику, читатели и авторы неизменно чувствовали эту смысловую связку, вошедшую позже в подзаголовок журнала: научная фантастика — научный факт.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖОН КЭМПБЕЛЛ-МЛАДШИЙ

Род. в 1910-м — ум. в 1971 г. Окончил Массачусетский технологический институт и университет Дюка (физика). Как писатель-фантаст начал публиковаться с 1930 г. С сентября 1937 г. и до самой смерти возглавлял журнал «Эстаундинг сториз» (впоследствии — «Аналог»). Д. Кэмпбелла критика заслуженно называет «соавтором всех авторов», он дал путевку в литературу признанным ныне писателям-фантастам — А. Азимову, Р. Хайнлайну, Т. Старджону. Л. Дель Рею, А. Ван-Вогту, С. де Кэмпу, Д. Уильямсону, К. Саймаку, Г. Каттнеру и К. Мур.

«Крестный отец» американских фантастов старшего поколения был фигурой противоречивой. Еще до войны Кэмпбелл раньше других разглядел атомную опасность и настойчиво обращал внимание своих авторов на ее возможные социальные последствия. Но он же — не менее рьяно — популяризировал в журнале и так называемую «машину Дина» (этот очередной вариант «вечного двигателя» подвергся уничтожающей критике специалистов-ученых). Несмотря на то что в резко полемичных редакционных статьях Кэмпбелл мог порой покритиковать многие социальные институты Америки, все-таки за свои политические взгляды он почти единодушно заслужил эпитет «правый». В общем, справедливо: в тех же редакционных статьях проскальзывали нотки расизма и специфического американского высокомерия к «неамериканскому».

Во всем, в словах и поступках, как вспоминают сегодня «птенцы» Кэмпбелла, он был человеком увлекающимся. И расчетливым. Во взглядах на космическое будущее человечества Джон Кэмпбелл до конца дней оставался живым олицетворением американского прагматизма. Он истово верил во всесилие технологии и дух свободного предпринимательства, сочетая веру с жесткой практической хваткой руководителя и организатора (славой своей американская фантастика 40—60-х годов во многом обязана кэмпбелловскому «Эстаундинг-Аналогу»). И все даже отдаленно угрожавшее этому «духу», бросавшее тень сомнения на незыблемые в глазах Кэмпбелла догматы немедленно вызывало резкие отповеди со страниц возглавляемого им журнала.

Но пришли иные времена, и в редакторском кресле воцарился новый человек — Стэнли Шмидт. В том, что касается редакторской политики, Шмидт круто взял в сторону.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: СТЭНЛИ ШМИДТ

Род. в 1944 г. Окончил университет в Цинциннати (физика), в 1969 г. получил ученую степень доктора наук. Печататься в научно-фантастических журналах начал еще студентом. До последнего времени не прекращал преподавательской деятельности (в университете Гейдельберга преподавал одновременно физику и научную фантастику). Возглавил журнал «Аналог» в 1978 г.

Досье по сравнению с другими выглядит скромно: Стэнли Шмидт молод. Однако за неполное десятилетие руководства журналом молодой редактор снискал авторитет не только в лагере друзей, но и у соперников. Его политические воззрения, общественная позиция — заметно «левее», чем у предшественника. Шмидт не скрывает, что он либерал, «умеренный прогрессист», и та, например, откровенная симпатия, с какой он рассказывал в редакционной статье об одной из крупнейших антивоенных демонстраций в Нью-Йорке, говорит о многом. Как минимум, о гражданской смелости пишущего.

В «либерализм» Стэнли Шмидта органично входит и его технократизм. Он типичный американский интеллигент и убежден, что науке и технологии по силам справиться с любой социальной напастью. Поэтому, открывая новую журнальную рубрику «Альтернативный взгляд», предназначенную для высказывания суждений, не совпадающих с мнением редактора, Шмидт, очевидно, полагал, что корректная научная полемика не только оживит журнал, но и будет способствовать решению социальных проблем.

Пока авторы рубрики дискутировали на темы, не выпадавшие из сферы естественных наук, дискуссия напоминала мирные баталии у доски где-нибудь в университетской аудитории. Но вот, как мы уже знаем, за короткий отрезок времени произошли три взаимосвязанных события: опубликованы проекты О'Нила, резко сокращены расходы на «мирный космос» (и одновременно ракетой вверх взвились расходы на «военный»), наконец, обнародован документ под названием «Высокий рубеж». И от сдержанности в спорах не осталось и следа!

Потому что вопрос, быть ли космосу «мирным» или «военным»,— это, в сущности, проблема совсем не естественных наук. Как не исчерпывается только «естественнонаучным» аспектом перспектива будущего расселения человечества в космосе.

...Одно из первых программных выступлений в рубрике «Альтернативный взгляд», названное без затей: «Война в космосе», писатель-фантаст Джерри Пурнелл начинает на высокой патетической ноте: «ВЫЖИВЕМ ЛИ МЫ? **(Заглавными буквами!** — Вл. Г.) Выживет ли свобода в нашем тысячелетии? И какое отношение ко всему этому имеет космос?»

То была июньская книжка журнала за 1982 год, а спустя год и месяц в статье «Обеспечить общую защиту» автор конкретизирует свои опасения. Оказывается, отцы-основатели США, записавшие в конституции, что государство обеспечивает гражданам «общую защиту», просто в гробу перевернулись бы, узнав о нынешней ситуации. Ведь заговор же, самый настоящий заговор угрожает Америке! — восклицает Пурнелл, добавляя при этом: «угрожает и самой идее свободы».

А угроза нешуточная, к нападению из космоса нация, утверждает автор-патриот,

совершенно не подготовлена. Кто нападет? В статье прямых указаний нет, но ясно и так.

Гневная филиппика Пурнелла начинается с подкопа под тезис «о невозможности ведения военных действий в космосе». Невозможности — в смысле недопустимости. Пурнелл обрушивается на оба взаимоисключающих довода в пользу этого тезиса: на идею всеобщего разоружения, с одной стороны, и с другой — на так называемый проект MAD.

На последнем стоит задержать внимание. MAD — сокращение от mutual assured destruction, что можно перевести как «взаимоуничтожение по договоренности» (в современном политическом лексиконе принято иное значение: «взаимное гарантированное уничтожение»). По странному стечению обстоятельств эта аббревиатура в точности совпадает со словом mad — «безумный», «сумасшедший». Так оно, в сущности, и есть, хотя авторы проекта и отмахиваются от режущей глаз аналогии как от ничего не значащей игры слов.

Суть проекта в следующем. Не стоит надеяться на слова о каких-то там гуманности и разуме, заявляют его авторы. Неразумен человек и негуманен, а посему сработать должна педагогика розги: раз посулами ничего не добьешься, надобно гарантировать мир на планете, апеллируя к чувству страха. Именно: всем державам сообща вывести на орбиту искусственный спутник с «оружием судного дня» — кобальтовой бомбой, которая разнесет весь земной шар на куски, как только кто-то первый нажмет роковую атомную кнопку.

Автор этой мудрой затеи — личность достаточно известная, правда, в области, менее всего связанной с разработкой вариантов конца человеческой цивилизации. Проект MAD — детище недавно почившего мессии современной западной футурологии Германа Кана.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»:
ГЕРМАН КАН

Род. в 1922-м — ум. в 1983 г. Окончил Калифорнийский университет и Калифорнийский технологический институт (прикладная математика). Работал в исследовательских отделах компании «Дуглас» (1945), «Нортроп» (1947), исследователем-аналитиком в корпорации «Рэнд» (1947—1961). Профессор Принстонского университета. С 1961 г. и до конца жизни возглавлял (созданный при его активном участии) Гудзоновский институт — один из ведущих мозговых центров современной футурологии. Был консультантом в фирме «Боинг», при Управлении мобилизации министерства обороны, в корпорации «Систем девелопмент», в Национальном исследовательском комитете по планированию, в Стэнфордском университете; был членом Бюро научных советников ВВС США. Автор книг «О термоядерной войне» (1960), «Мысли о немыслимом» (1962), «Об эскалации» (1965), «2000 год» (с Э. Виннером, 1967), «Можем ли мы победить во Вьетнаме» (в соавторстве, 1968).

Красноречивый послужной список, в старину непременно добавили бы: и прочая, и прочая... Одно перечисление фирм и организаций, где служил и консультировал профессор, говорит о его отношении к концепциям войны или мира в космосе яснее, чем любые заявления и печатные выступления. Чему же в большей степени послужил за свою жизнь Герман Кан — науке или непосредственно военно-промышленному комплексу?

Одна характерная деталь, не вошедшая в досье. Когда в отзыве на книгу «О термоядерной войне» даже рецензент журнала «Сайентифик американ» (мартовский номер за 1961 год) не удержался от непривычных в научном издании эпитетов — «дьявольская, святотатственная книга», Кан ответил редактору сердитым письмом, где заявил: «Ваш журнал — и не научный и не американский...»[1]

Но вернемся к Джерри Пурнеллу. С его легкой руки на страницах «Аналога» развертывается логическая игра, заставляющая вспомнить «логику» кэрролловского Безумного Чаепития!

Начинает Пурнелл с того, что воспроизводит доводы оппонентов — противников милитаризации космоса. Да так убедительно, что читатель поневоле проникается ими!

Но Пурнелл еще не ставит точку. Ибо, по его мнению, все это «только теория. А должны ли мы полагаться на теоретические разглагольствования в таком деле, как оборона нации?» И, вывертывая наизнанку логику, завязывая свои рассуждения в какой-то невообразимый узел, Пурнелл заключает: надо вооружаться.

Занятный метод «научной полемики», ничего не скажешь. Сначала изложить веские, обоснованные доводы оппонентов, а потом одним махом объявить их непатриотичными и безответственными — и на этом считать свое выступление законченным, не сомневаясь в «выводах», которые должны воспоследовать по отношению к оппонентам.

Свою статью Джерри Пурнелл подкрепляет некими теоретическими рассуждениями («патриотам», однако, дозволено и потеоретизировать): «Не следует игнорировать ни один из возможных будущих театров военных действий. И я уже не раз доказывал **(интересно, метод аргументации был тем же самым!** — Вл. Г.), например, в книге «Стратегия технологии», написанной в соавторстве со Стефаном Поссони, что технологические методы ведения войны (в данном случае использование космической техники) могут сделать войну и бескровной, и в достаточной мере эффективной. Более того, это выгодно и с экономической точки зрения, так как стимулирует поток новых изобретений».

Вот оно, слово! Выгодно.

Запомним этот «экономический эффект» планируемого апокалипсиса на Земле и в небесах. Подобное мог, не дрогнув, произнести только «стопроцентный американец». Достойный наследник своего президента, который, помнится, сначала распорядился сбросить атомные бомбы на Хиросиму и

[1] Название буквально переводится как «Научный американец».

Нагасаки, а затем оценил это «предприятие» оставшейся в памяти человечества фразой: «Мы сыграли в самую азартную игру в истории, вложив два миллиарда долларов, и выиграли!»

Не уступит Джерри Пурнелл прошлым хозяевам Белого дома и по лицемерию. Следующий поворот его мысли предсказать не составит труда: Дух Фронтира, Великая Американская — Космическая — Мечта, Романтика и Новые горизонты духа. Этими словами (и непременно с заглавных букв) заканчивается изложение «альтернативного взгляда» Джерри Пурнелла. А все, о чем говорилось выше, надо полагать, осталось малосущественной преамбулой.

Между прочим, обе статьи Пурнелла полны угроз... Активистам — борцам за мир, тем широким общественным силам, что ратуют за космос без оружия и за будущее без страха? Ничуть не бывало: администрации США! Которая-де утратила бдительность, по всем статьям спасовала перед либералами и совсем запустила такое важное оборонное дело, как космос. Отбросив словесную демагогию, в претензиях воинственного автора «Аналога» нетрудно разглядеть самый что ни на есть меркантильный подход. Денег, проще говоря, не дают.

И Пурнелл грозит: пусть там, на Капитолийском холме, не игнорируют глас народа — голосуем-то мы, энтузиасты и патриоты, хранители Духа Фронтира. Если же не внемлют предупреждению, то как бы кое-кому не расстаться с заветными креслами на будущих выборах.

Напомним, это был год 1983-й, канун грядущих президентских выборов. В те времена вокруг проекта «Высокий рубеж» шли еще самые настоящие споры, и многие сенаторы и конгрессмены отказывались голосовать за чудовищно дорогую и, кроме того, действительно внушавшую опасения программу. Но сердитые по форме угрозы — vox populi — адвокатам «звездных войн» были даже на руку. Глас народа — глас божий, гласит библейское изречение. Отношения с небесами нынешняя администрация считает, по-видимому, улаженными — по крайней мере заминок с благословениями свыше не случалось; а тут как раз прозвучал и глас американского народа...

Кто же олицетворял «волю народа»?

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖЕРРИ ПУРНЕЛЛ

Род. в 1933 г. Дипломированный инженер, ученую степень доктора наук (психология и политические науки) получил в университете штата Вашингтон. Более 15 лет проработал в американских космических программах, участник различных правительственных проектов, организатор политических кампаний. Печатать фантастику начал в 1971 г. Автор нескольких научно-популярных книг.

И, добавляет солидная «Энциклопедия научной фантастики» (1979, под редакцией П. Никколса), «в настоящее время это один из наиболее ярких представителей «правого крыла» в научной фантастике, проповедующего идеи консервативной технологии».

Еще в начале 60-х годов Пурнелл был главным редактором итогового отчета по «Проекту-75»; под этим кодовым обозначением скрывалась программа ВВС США, имеющая целью оценить стратегические возможности американских вооруженных сил, исходя из имеющихся разведданных о советском военном потенциале. Всего лишь случайный эпизод в биографии писателя-фантаста? Но в 1968 году, когда те же ВВС проводили специальное исследование «Стабильность в мире и стратегическая доктрина», в качестве главного исследователя-аналитика программы вновь был привлечен Джерри Пурнелл... Полезно иногда заглянуть в биографию писателя!

До того, чтобы олицетворять американский народ, Джерри Пурнеллу, конечно, далековато, но беда в том, что он не одинок.

Еще радикальнее высказался в новой рубрике журнала «Аналог» другой «писатель-патриот» — Джордж Гарри Стайн.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖОРДЖ ГАРРИ СТАЙН

Род. в 1928 г. Дипломированный инженер, активный энтузиаст космонавтики (автор ряда работ о ее экономическом и технологическом аспектах). Начал публиковать научную фантастику с 1951 г. (под псевдонимом Ли Корри). Автор многих научно-популярных книг, из них наиболее известны: «Спутники Земли и борьба за космическое превосходство» (1957), «Третья промышленная революция» (1975).

Как и Пурнелл, Стайн начинает одну из своих статей («Не будет никаких нападений?», июльская книжка журнала за 1982 год) подробным изложением точки зрения оппонентов, а затем резюмирует: «...Космос — не место для войн. В двух словах, это и есть основной тезис партии адвокатов демилитаризации космоса. Позволю себе сформулировать иную точку зрения: космос — это единственное место, где должны вестись войны».

Тезис не нов. Чем не трогательная забота о Земле! Рассматривались же всерьез проекты вынесения за пределы атмосферы всей той гадости, что отравляет природу, и самого́ вредного производства — почему бы не вынести туда же и «вредное» оружие?

Стайн подводит под свои рассуждения и некую философскую базу: «Войны были, есть и будут продолжаться, пока две группы людей в состоянии отыскать какой-либо камень преткновения. Война — это результат дипломатии и политики, по разным причинам потерпевших крах. Война ведется просто потому, что кому́-то представилась возможность сорвать на ней куш. Ergo: человечество не откажется от войн и впредь».

Философия, прямо скажем, не глубокая, но доступная. Когда подобное внушается не единожды, а планомерно, с предварительным пропагандистским подогревом аудитории, и предстает уже не «альтерна-

тивным взглядом», а как нечто само собой разумеющееся, — кто-нибудь да поверит (это исчерпывающе сформулировал еще Геббельс).

А Стайн, развивая атаку, обрушивает на читателей новый тезис: в разжигании космической гонки вооружений виноваты русские!

Теперь не вызовет изумления и вскользь брошенная в статье Стайна реплика, что, мол, «строительство космических фортов не будет прекращено до тех пор, пока не отпадет необходимость в защите от атилл, которые все еще угрожают миру на Земле и в околоземном пространстве». И высокомерная имперская брезгливость, когда он сквозь зубы цедит «о разных там космических андоррах, лихтенштейнах и швейцариях будущего», которым, естественно, защищать нечего. Иное дело — н а с т о я щ и е великие державы, для которых, заявляет Стайн, ничего нет зазорного в том, чтобы «всегда иметь под рукой кавалерию, готовую выступить по первому сигналу тревоги». (Остается добавить, что восторженное предисловие к научно-популярной книге Стайна «Третья промышленная революция» написал не кто иной, как сенатор Барри Голдуотер — какие нужны еще рекомендации!)

«Современная космическая политика Соединенных Штатов,— подводит итог Стайн,— основывается именно на этом. Я не люблю войн и сам не люблю воевать, но не могу не испытывать радости от сознания, что есть люди, которым нравится это делать за меня. И потому я исполняю свой долг и плачу налоги, поддерживая тем самым полицию и вооруженные силы, защищающие меня от разгула насилия, преступности и военного нападения извне».

Проще всего назвать разглагольствования Пурнелла, Стайна и иже с ними банальной антисоветчиной. Однако не стоит спешить с «ярлыками»: подобная антисоветчина вовсе не так банальна, как кажется на первый взгляд.

Современному пророку эры массовых коммуникаций, ныне покойному Маршаллу Маклюэну принадлежит крылатая фраза: media is message (что можно перевести приблизительно и так: «средство сообщения — уже само по себе сообщение»). Доказательством справедливости этого утверждения может послужить и спор в журнале «Аналог». В сущности, главного эффекта пропагандисты «звездных войн» достигают не тем, ч т о они говорят, но точным выбором — г д е, к о г д а и к т о и м е н н о говорит.

Во-первых, «Аналог» относится к популярнейшим журналам научной фантастики, широте и разнообразию его читательской аудитории могут позавидовать и более солидные печатные органы. Во-вторых, все-таки это «альтернативный взгляд»: пожалуйста, полная демократия, хотите — присоединяйтесь к точке зрения Пурнелла и Стайна, а нет — так оспаривайте. Наконец, призывы пурнеллов и стайнов бьют прямо в цель и потому, что «забывшую» о космосе администрацию гневно бичуют энтузиасты, устремленные мыслями в будущее романтики (к тому же не забывающие о другой важной «романтике» — о свободной коммерции, бизнесе). А романтика, первооткрывательский «дух Фронтира» сегодня в Америке котируется высоко, это чуть раньше продемонстрировал Джерард О'Нил.

Эти «энтузиасты» изо всех сил стремятся создать себе благородный, как говорят американцы, image бескорыстных романтиков и патриотов, руководимых единственно чувством гражданской ответственности за родной дом. Но, словно стигматы на теле, проступает иное. Достаточно бегло просмотреть строчки досье на Грэма, Теллера, Кана, Пурнелла и Стайна, как проступают неразличимые прежде ниточки, идущие от всех марионеток к одной руке. Экс-генерал, ученые, профессора с мировым именем и писатели-фантасты, тоже, кстати, пришедшие в литературу из университетов и лабораторий,—роль альма-матер для всех них сыграла не только наука, но и армия, военный бизнес.

«Ниточки» все и объясняют. ВПК, военно-промышленный комплекс — вот чья тень маячит за спинами пылких полемистов «Аналога», выразителей «альтернативных взглядов». Они действительно альтернативны — разуму. А чтобы закамуфлировать это безумие, придать ему товарный вид (речь-то идет ни о какой не обороне, а прежде всего о купле-продаже, подрядах, прибылях), пришлось позаботиться о поисках подходящего информационного канала. Такого, чтобы маниакальные идеи, пройдя по нему к потребителю, трансформировались. Приобрели более, что ли, осмысленный вид, не так пугали и шокировали.

Тут вовремя вспомнили о научной фантастике.

Очевидно, кому-то из окружения президента пришла в голову ценная мысль: подключить ко всей этой пропагандистской — а по сути торгово-рекламной — кампании литературу, которая, во-первых, необычайно популярна, а во-вторых, давно приучила своего читателя к разного рода «безумным» идеям. Приучила к тому, что все, о чем он узнает из фантастических книг,— это нечто отвлеченное, гипотетическое, эфемерное. Пусть на первый взгляд; цель как раз и состояла в том, чтобы подавить первые, непосредственные импульсы,— потом «съедят» и так, без привлечения фантастического антуража.

Жизнь — смерть. Вот настоящая, единственная альтернатива, с которой столкнулось человечество на пороге нового тысячелетия.

Космические исследования — да, но мирные. Выбор единственный.

Рубрика в «Аналоге» недаром была названа «Альтернативный взгляд». Значит, есть и другой, по смыслу — главный. Взгляд редактора журнала Стэнли Шмидт четко сформулировал в одной из своих статей: проект MAD для него всегда был и остается синонимом сумасшествия, а не случайной игрой слов. Но верить в миролюбивый, оборонный характер «стратегической оборонной инициативы», по Шмидту,— сумасшествие вдвойне.

Почти в тех же словах эту идею высказал на встрече фантастов в Балтиморе один из оппонентов генерала Грэма — известный писатель Джо Холдеман.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: ДЖО УИЛЬЯМ ХОЛДЕМАН

Род. в 1943 г. Окончил Кембриджский университет (физика и астрономия), занимался в аспирантуре (математика и компьютерная техника). Был призван в армию, воевал во Вьетнаме. Был ранен и вернулся с войны убежденным пацифистом. Публиковать фантастику начал с 1969 г.

О фантастике Холдемана следует сказать особо.

Из Вьетнама он вернулся раненым и убежденным в бессмысленности всех войн вообще. Название составленной им в 1977 году антологии рассказов американских фантастов «Хватит заниматься войной» — это прямой вызов аналогичным сборникам фантастики откровенно милитаристской (например, выходящей в издательстве «Баэн букс» серии под редакцией Джерри Пурнелла).

А за пять лет до того Холдеман дебютировал реалистическим романом «Год войны», навеянным Вьетнамом. Правда, по художественным достоинствам роман уступал именитым книгам-соперницам: «Уловке-22» Джозефа Хеллера или «Нагим и мертвым» Нормана Мейлера; неудивительно, что на их фоне книга Холдемана както потерялась. Зато в 1974 году молодой писатель громко заявил о себе в другом жанре, с которым потом не расставался: вышел его резко антимилитаристский научно-фантастический роман «Вечная война».

...Летом 1982 года нашу страну впервые посетила представительная группа американских фантастов, критиков, издателей и просто «фэнов» с солидным стажем. В составе группы был и Джо Холдеман. Большелобый, бородатый чуть сутулящийся при ходьбе, он никак не напоминал кинематографического «зеленого берета»; в нем вообще не было ничего «военного», если не считать военной приметой хромоту — последствие ранения. Глядя на него, я впервые, может быть, осознал, что во Вьетнаме воевали не только бравые, заматеревшие «коммандос», но и множество таких, как Джо Холдеман. Интеллигентов, вырванных из привычных университетских аудиторий и ввергнутых в самое пекло, в ад. Какими вернулись из ада эти — думающие, понимающие?

Холдеман не коммунист и даже, как он сам считает, не очень-то «левый». Мы о многом спорили, долго и безуспешно. (Убежденность моего собеседника в том, что с первой же минуты пребывания в СССР его постоянно будут обрабатывать в духе «красной пропаганды», проглядывала даже в мелочах: в обстоятельности, с какой он прочищал и раскуривал свою трубку, готовясь к очередному раунду споров,— и, наоборот, в неожиданной горячности, напористости, которую трудно было ожидать от этого, в общем-то, медлительного и уравновешенного человека.) Но он, вне всякого сомнения, *хотел понять*. Узнать как можно больше о нашей стране, о ее людях. И разобраться самому, без помощи американских средств массовой информации. Потому что «жить нам все-таки придется вместе» — я хорошо запомнил эти его слова.

Слушая тогда размеренную речь Холдемана, я все пытался мысленно поставить рядом с ним другого американского писателя-фантаста — Роберта Хайнлайна.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»: РОБЕРТ ЭНСОН ХАЙНЛАЙН

Род. в 1907 г. Окончил университет штата Миссури и Калифорнийский (физика), а также Военно-морскую академию в Аннаполисе. Служил в ВМС США, вышел в отставку по состоянию здоровья. Во время второй мировой войны работал инженером на станции техобслуживания морской авиации. Печататься начал с 1939 г. По выражению критики, «самый американский из всех американских фантастов».

В его раннем романе «Воины звездного корабля» (1959) в открытую проповедуется космический милитаризм; в будущем, «по Хайнлайну», даже выработан весьма своеобразный сертификат гражданства: кто сам не участвовал в звездных баталиях, тот лишен права голоса на выборах!

Даже на общем фоне американской фантастики фигура Хайнлайна одиозна. Он, например, известен тем, что без обиняков призывал «сильную личность» (человека, прошедшего армейскую муштру, не привыкшего рассуждать, зато впитавшего в кровь «великие американские идеалы»), забрать власть из рук рефлексирующих интеллигентов. А с выходом в свет «Воинов звездного корабля» за писателем укрепилась репутация не только милитариста, но и фашиста. («Природа политических взглядов Хайнлайна,— уточняет «Энциклопедия научной фантастики», достаточно ясна. Он не столько фашист, сколько анархист правого толка, т. н. «либертарианец», приверженец идей социал-дарвинизма».)

Как много схожего в судьбах Хайнлайна и Холдемана! Оба — американцы до мозга костей, «технари» по образованию, служили в армии, прошли войну. Только для одних американцев (их олицетворяет Хайнлайн) война ограничилась работой в тылу; другим — постоянно напоминает о себе старыми ранами. И в творчестве своем два писателя представляют разные Америки. Америку *вояк*, не побывавших и дня на фронте, но постоянно озабоченных поднятием в соотечественниках высокого воинского духа, увлеченно планирующих на бумаге будущие кампании, причем планирующих так, чтобы все тяготы войны легли на плечи кого угодно, но только не американцев. И Америку *солдат*, повоевавших и по горло сытых тем, что они вынесли с войны.

Хайнлайн одержим идеей передачи власти военным, которые, как он считает, обладают силой, решительностью, надежностью и в которых нет столь презираемого им «интеллигентского слюнтяйства». А вот Холдеман, напротив, смертельно боится засилья военных в коридорах власти — он-то на собственном опыте наблюдал, что это такое в современных условиях: привычка не рассуждать, а выполнять приказ.

Вот конкретный «живой» контрпример злопыхательствам на тему о том, что американское антивоенное движение будто бы направляется из Москвы! Джо Холдеман менее всего склонен считать себя «агентом Москвы»; для него, процветающего писателя, идеалы свободного предпринимательства по-своему святы (он так предупреждающе и заявил в начале нашего знакомства, чтобы я его, чего доброго, не «сагитировал»). Но время сейчас особенное, и здравомыслие подчас вынуждает человека подняться над классовой ограниченностью.

Соперники — да, но разве обязательно непримиримые враги? Чтобы остаться соперниками и продолжить споры, соревнование друг с другом, нужно, чтобы было кому соревноваться. Поэтому, как только в наших беседах всплыла тема «Высокого рубежа» (в ту пору я еще не слышал о таком, но о первых шагах по пути милитаризации космоса уже знал из газет), Джо Холдеман только понимающе кивнул: «Это значит — сделать выбор, не оставляющий надежд на какой бы то ни было выбор в будущем».

Джо Холдеман представлял ту Америку, что медленно, мучительно приходит в себя после тяжелого похмелья. Она еще временами хорохорится, взбудораженная дурманящими «ура-патриотическими» пропагандистскими пара́ми (в американских кинотеатрах еще не шли фильмы, подобные «Красному рассвету» или «Рэмбо», о которых у нас много писали; и не открыт был в торжественной обстановке памятник «героям» вьетнамской войны). Но все-таки трезвеет на глазах[1]. И даже в маленькой группе туристов из США Джо Холдеман оказался не одинок.

Известный литературовед, бывший президент Ассоциации исследователей научной фантастики, профессор Джо ДеБолт в настоящее время преподает социологию и научную фантастику в университете штата Мичиган; на фоне других туристов его выделяла общая образованность в социальных вопросах. Он тоже весьма далек от коммунизма (сам ДеБолт называет себя последователем экономиста Адама Смита), но у него, как и у Холдемана, есть ценное качество: любопытство. Не доверяя пропагандистской жвачке, которой он в изобилии кормится на родине, профессор предпочел сам все посмотреть и во всем разобраться (насколько это вообще возможно за две недели).

В наши дни для американца — это уже гражданская позиция!

А Джо ДеБолт имеет мужество еще и просто оставаться разумным. Когда разговор зашел о «Высоком рубеже», духе Фронтира и прочих материях, он четко отделил факты от демагогии: «Чтобы нам поспорить «экономически», нужно еще выжить. Кроме всего прочего, Пурнелл и компания забыли о том, что первый, кто хватается за кольт, в глазах публики спор уже проиграл».

Позиция сторонников проекта «Высокий рубеж» вызывает у ученого возмущение тоже отнюдь не из-за его особенных симпатий к Советскому Союзу (хотя во время встреч с этим интеллигентным и очень добрым на вид человеком я не раз убеждался в его искренности, способности непредвзято оценивать то, что он видел собственными глазами). Возмущал профессора цинизм, бесстыдство, с каким откровенно лоббистская деятельность, более уместная где-нибудь в коридорах Капитолия, разворачивается на страницах его любимой фантастики.

Многие коллеги ДеБолта по Ассоциации исследователей научной фантастики солидарны со своим экс-президентом.

В сентябрьском номере журнала «Фэнтези ревью» за 1984 г. (это официальный печатный орган Ассоциации) помещена статья главного редактора, профессора Роберта Коллинза, в которой он пространно отвечает на письмо читателя — подписчика журнала из Дании.

«Как житель одной из стран, которые в наш ядерный век признаны «необязательными»,— говорилось в письме,— я был разочарован, увидев в Вашем журнале анонс книги «Высокий рубеж» **(речь шла о книге Грэма, а не О'Нила.**— Вл. Г.). Если книга и вправду защищает — как о том написано — идею милитаризации космоса, то мне хотелось бы узнать соображения, по которым редактор поместил эту рекламу в журнале. Вы что, печатаете вообще все без разбору, все, что оплачено рекламодателями?»

Обычное «сердитое» письмо, мало ли таких приходит в любую редакцию любого печатного издания. Однако Роберт Коллинз счел необходимым откликнуться. Приведу его ответ полностью:

«Мне никогда не приходило в голову, что мы вправе отказывать какой бы то ни было книге в рекламе — о чем бы там ни было написано. Я по-прежнему верю, что у нас свободная пресса. Но также понимаю и разделяю Ваше негодование. Выдвинутая программа космических вооружений — это клинический случай умопомешательства, причем случай редчайший из когда-либо наблюдавшихся у персон, занимавших высокие правительственные посты. У меня нет морального права увещевать Вас — отбросьте, мол, кошмарные мысли: я сам им подвержен. В отличие от многих моих сограждан, я не могу не испытывать ужаса перед возможными последствиями рейгановских высказываний — по-моему, они окончательно подорвут доверие к нам. И искренности наших призывов к миру в течение последних сорока лет уже никто не поверит. К несчастью, ни Вы, ни я ничего не можем изменить... Опросы общественного мнения подтверждают, что «среднему» американцу нет никакого дела до мировых проблем, когда открывается соблазнительная возможность подзаработать».

Оказывается, голоса Пурнелла, Стайна и других, обрушивающиеся на соотечественников через мощные пропагандистские репродукторы, все же не в состоянии заглушить нарастающего ропота тех, кто не

[1] Иногда хмель сбивают только сильнодействующие средства... Через год после наших встреч в Москве и Ленинграде я прочел в газете «Локус», что Холдемана ранили во второй раз. В Америке, неподалеку от его дома. Кто стрелял — идейный противник, грабитель, маньяк или просто прохожий,— установить не удалось.

желает подписываться под очевидным безумием. И события самого последнего времени, например демонстративный выход Айзека Азимова из правления «Общества Л-5», заметно поправевшего за десять лет, не дают погаснуть надежде. Все-таки отрадно, что научно-фантастическая литература в Соединенных Штатах состоит сегодня не из одних пурнеллов и стайнов. Впрочем, и американская наука не ограничивается уровнем гражданского мышления Кана и Теллера.

Поскольку речь зашла о науке, а разговор о фантастике еще не закончен, снова придется вспомнить балтиморскую «конвенцию». Дело в том, что среди наиболее активных оппонентов генералу Грэму оказался, как это ни парадоксально, крупный специалист именно в области космических вооружений — доктор Роберт Боумэн!

Итак, Рубеж расколол надвое даже свой «родительский дом» — военно-промышленный комплекс.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ «ФРОНТИР»:
РОБЕРТ БОУМЭН

Род. в 1937 г. Крупный военный специалист в области космических исследований и аэрокосмического бизнеса. Профессор Колумбийского университета. Руководитель отдела перспективных космических программ министерства обороны США, затем руководитель космических программ компании «Дженерал дайнэмикс», вице-президент компании «Спейс коммьюникейшнз». Оставил аэрокосмический бизнес в 1982 г. В 1981 г., на сессии Международной астронавтической федерации в Риме выступил с призывом к коллегам включиться в борьбу за демилитаризацию космоса.

Роберт Боумэн не сам ушел из бизнеса — его «ушли». Стоило ему пересмотреть в начале 80-х свои взгляды на будущее космических исследований, стоило разочароваться в деле, которому он отдал свои силы и молодую энергию, как выяснилось, что специалисты по мирному космосу ведущим аэрокосмическим компаниям не нужны. А он еще выступил с публичной критикой «звездных войн»! Это уже расценили как предательство, проявление антипатриотизма и забвение национальных интересов США.

С тех пор как для Боумэна все определилось в этом мире и он гордо отказался от блестящей карьеры ради, в общем-то, «прозябания» (ученый-надомник, небольшая контора с эффектной, правда, вывеской «Институт по изучению проблем космоса и безопасности»), профессора чаще стали встречать на съездах и конференциях писателей-фантастов. Что он там искал, на этих встречах,— славу, признание, возможность попробовать себя на поприще научно-фантастической литературы.

Роберт Боумэн искал соратников. Потому что чувствовал в себе силу и желание бороться — в том числе и против бывших коллег. Мнение специалиста, разбиравшегося в предмете дискуссий лучше писателей, значительно укрепило ряды противников «звездных войн».

И заметно осложнило работу пентагоновского лобби. Теперь аргументация тех, кто проталкивал в конгресс программу милитаризации космоса, наталкивалась не на «интеллигентский лепет» литераторов (которых Джерри Пурнелл и его команда обычно высмеивали с особым удовольствием), а встречалась с продуманной, по-военному четкой логикой профессионала. Когда же ведущий специалист по космическим вооружениям доказывал, что «Высокий рубеж» — это прежде всего новая наступательная инициатива (со всеми вытекающими отсюда последствиями), приходила пора задуматься и самым твердолобым.

В 1984 г. он посетил Москву, где принял участие в дискуссии политиков, ученых, религиозных деятелей на тему «Космос без оружия». «Может показаться странным,— говорил позднее доктор Боумэн корреспонденту «Правды» в Вашингтоне,— но у нас не было серьезных разногласий. Мы пришли к выводу, что необходимо скорейшее заключение международного соглашения, которое предотвратило бы милитаризацию космоса».

Перед пограничным столбом с указателями «жизнь» и «смерть» остановился и другой американский ученый — профессор Корнеллского университета, астроном и блестящий популяризатор науки Карл Саган. В 1983 г. он возглавил группу обеспокоенных коллег-ученых, подписавших воззвание к руководителям ведущих держав, в котором содержался призыв защитить космос и Землю от опасности. И позже, во время встреч с советскими коллегами, на конференциях, симпозиумах, в передачах советско-американского «телемоста» Карл Саган настойчиво проводил главную мысль: если ядерная катастрофа свершится, пути назад не будет.

Он знал, о чем говорил. Всю жизнь занимавшийся звездами, Карл Саган — один из авторов концепции так называемой «ядерной зимы», комплексного сценария последствий будущей войны. Ученые разных стран (к тем же выводам пришли и советские специалисты) единодушны: в такой войне победителей не будет. И какой смысл изощряться в изобретении новейших разрушительных средств, когда просто взрыв определенного количества боеголовок (неважно, на чьей территории) приведет к необратимым глобальным изменениям. В климате Земли, ее экологии, животном и растительном мире, генетическом аппарате человека... Жизнь на нашей планете прекратится независимо от того, кто «выиграет» войну.

Однажды Карла Сагана попросили отрецензировать нашумевшую книгу американского публициста Джонатана Шелла «Судьба Земли», где речь идет как раз о принципиально новом мышлении в ядерный век. Рецензия Сагана состояла из одной-единственной фразы, и, однако, в ней было сказано все:

«Каждую секунду — по целой второй мировой войне, и так — весь долгий ленивый полдень».

В образности и точности Сагану не откажешь. Один из фантастов процитировал

эту микрорецензию в «Аналоге», заметив: «Хотел бы я, чтобы безумцы, болтающие о «затяжной ядерной войне», всего-навсего перечитали бы одно это предложение — медленно, вдумываясь в каждое слово».

Пришла пора подвести черту.

Среди чудовищ, порожденных сном разума, достойное место занимает проект «Высокий рубеж», призванный защитить американскую нацию в случае ядерной войны.

Но защитит ли? На встрече в верхах, состоявшейся в ноябре прошлого года в Женеве, Михаил Сергеевич Горбачев попытался убедить президента США в том, что это по меньшей мере иллюзия. Остается только надеяться, что разум, политическая трезвость возьмут верх и в Вашингтоне.

Между тем, даже накануне встречи в Женеве адвокаты военно-промышленного комплекса (на разум этих уповать не приходится) настойчиво, изобретательно убеждали сограждан в исключительно оборонительном характере космической политики США. И когда не «работали» цифры и факты — ставка делалась на эмоции.

Разве можно объяснить случайным совпадением тот факт, что менее чем за месяц до Женевской встречи две вашингтонские телекомпании прокрутили 30-секундный рекламный «ролик», созданный на деньги «Коалиции в поддержку стратегической оборонной инициативы» (она объединяет более сотни различных групп и организаций правоконсервативного толка, в их числе и упоминавшийся ранее «Фонд наследия»). На детском рисунке — солнце, дом, мама, папа. Девочка за кадром спрашивает, что такое «звездные войны» и сама же отвечает: «Папа сказал, что сейчас мы не можем защитить себя от ядерного оружия, вот почему президент хочет создать Щит мира». Карандаш ребенка в этот момент рисует над домом полукруглую крышу, о которую разбиваются вражеские ракеты. Крыша превращается в радугу, на ней начертан энергичный призыв «Поддерживайте Щит мира» — и ниже телефон и адрес Коалиции.

Остается добавить, что председатель Коалиции — наш старый знакомый Дэниел Грэм. В 1983 г. на съезде фантастов он, помнится, больше апеллировал к цифрам, графикам, схемам; теперь отставной генерал выжимает у телезрителей слезу умиления. Как же — родной дом, солнце над головой, детки. Только бесчеловечное чудовище после просмотра фильма не поддержит усилий «патриотов», озабоченных единственно тем, чтобы спасти американцев от ужасов ядерной войны! Между тем никакой ядерной войны не будет. В том смысле, в котором до сих пор понималось значение слова «война».

Это не выражение какого-то безграничного оптимизма, опасность сегодня трудно переоценить, просто, если катастрофа все же произойдет, это будет не война, а бойня. Коллективное самоубийство — без всякого разделения на «победителей» и «побежденных». Никакой «щит» не спасет, и случайно выжившие еще позавидуют тем, для кого все по крайней мере кончилось быстро...

И получается, что затеяли всю эту шумиху с «Высоким рубежом» только затем, чтобы оставить на орбите уродливый некрополь человечеству. Начиненные ядерными боеголовками, лазерами и новейшей автоматикой, летающие надгробия будут охранять мертвую планету, покрытую нежданным снегом «ядерной зимы». Но от кого охранять?

«Вечный мир (конечная цель всего международного права) есть, разумеется, неосуществимая идея. Но политические принципы, устремленные на то, чтобы вступить в такие международные связи, которые служили бы постоянному приближению к состоянию вечного мира, вполне осуществимы».

Вот и привела мысль обратно на берега Балтики, в Калининград. На могилу великого философа у стены разрушенного собора.

Приведенные выше слова Иммануила Канта взяты из его «Метафизики нравов». Им почти два века, этим словам, а до чего современны! Сегодня мы можем указать на ошибку философа: в е ч н ы й м и р можно построить, более того, просто необходимо. Но это в будущем; пока же на повестке дня задача, которую он два века назад сформулировал хоть и тяжеловесно, но совершенно точно: поиски «политических принципов», возведение первых мостков в будущее — будущее без постоянного страха за небо над головой.

Думал ли ты, философ, что твои потомки будут озабочены существованием звездного неба? Но спасибо, что ты напомнил им о нравственном законе.

Если его не будет, то не будет и звезд. «Ведь, если звезды зажигают — значит —это кому-нибудь нужно?» Какой прок от их загадочного мерцания, если исчезнут глаза, способные любоваться этой красотой. И мозг, способный размышлять над потаенным смыслом звездного перемигивания.

Я теперь знаю, зачем зажигают звезды.

В их слабом свете, идущем к нам тысячи и даже миллионы лет, хорошо думается о нравственном законе и о вечности. И еще крепче ощущаешь ответственность за такой хрупкий, общий наш земной дом.

◆

Антирубрика

Карикатура на Джойса выполнена американским художником-графиком Уильямом Д. Брэмхоллом.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — JAMES JOYCE (1882—1941)

Ирландский писатель. Автор книги рассказов «Дублинцы» (1914; русский перевод — Ленинград, 1927; Москва, 1937; «Библиотека «Иностранной литературы», 1982), романов «Портрет художника в юности» (1916; на рус. яз. в «ИЛ» 1976, № 10—12), «Улисс» (1922; в русском переводе главы романа печатались в «Интернациональной литературе», 1935—1936), «Поминки по Финнегану» («Finnegan's Wake», 1939). Известен также как автор лирических и сатирических стихотворений.

Перевод стихотворения «Газ из горелки» («Gas from a Burner») выполнен по тексту «Избранное Джеймса Джойса» («The Essential James Joyce», London, Triad/Panther Books, 1977).

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Газ из горелки

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Леди и дженты, вы в недоуменье:
Возможно ли небо - и землетрясенье:
Из-за того, что польстил сатане
Ирландский писатель в чужой стране?
Лет десять назад он прислал мне опус —
С обеих сторон я глядел в телескопус
И прочитал все рассказы стократ,
Как вдоль-поперек, так вперед-назад.
Я издáл бы их вплоть до последнего слова,
Но чудом, с благословенья Христова,
Вдруг прояснился бесовский язык,
И авторский умысел я постиг.
Да, я виноват перед милой Ирландией,
Честь ее, можно сказать, была в длани моей;
Всегда этот остров другим в назиданье
Ссылал таланты свои в изгнанье
И, кельтским юмором руководим,
Предавал вождей одного за другим.
Действительно, не остроумное ль дело
Засыпать известью очи Парнелла?
И еще: осушил не нрландский ли ум
Римской барки протекший трюм?
Сам папа в долгу бы не мог быть большем,
Чем он теперь перед Билли Уолшем.
О Эйре, чистейшая страсть моя,
Страна, где Христос и Кесарь друзья!
Страна, где трилистник на воле в поле!
(Минутку, миледи, я вытру сопли).
А критика — мне не поставит преград она:
Я печатал вирши Маунтени Маттона,
И пьесу его, где всякий твердит:
«Недоделок», «дешевка» и «содомит»,
И комедию об апостоле Павле,
И о чем-то таком — не о женских ногах ли,—
Сочинил ее Мур, он из джентов джент
И живет на свой законный процент;
Я печатал мистику — есть ли разница
Между ней и поваренной книгой Казинса? —
От них, говоря на родном языке,
Пардон, изжога в прямой кишке;
Я печатал фольклор, на Юге и Севере

Собранный Златоустейшей Грегори;
Я печатал писавших важно и глупо,
Я печатал Патрика чуть не Колумба;
Я печатал великого Джоя Синга,
Иже меж ангелов, как снежинка,
В шижонской сорочке, которую слямзил
Из чемодана с фамилией «Маунзел».
И вот, наконец, подведу я итог
На парне, одетом в австрийский желток,
Который несет итальянские мерзости
Джон-Уайзу Пауэру, О'Лири Кертису
И о Дублине пишет такой позор,
Что черный негр не берет в набор.
Свиная отрыжка! Да разве я трону
В печати памятник Веллингтону,
Сидни-Перейд, сэндимаунтский трамвай,
Даунсовы лакомства, уильямсов чай?
Да будь я проклят хотя б за желанье
Выдать ирландские наши названья!
Удивительно только, что этот нахал
Курчавой Лужи нигде не назвал.
Миледи, печатный станок не намерен
Столь гнусной хулою порочить Эрин!
Я друг беднякам — уж который год
Дела мои рыжий шотландец ведет:
Шотландцы бедные — нынче даже
У них нет Стюартов для продажи.
Как китайский шелк, моя совесть легка,
А душа снятого нежней молока.
Колумб свидетель моей уступки —
Я сотню скинул с него при покупке
Его несчастного «Айриш ревью».
Вот как люблю я страну мою!
А кто-то там к эмигрантским невзгодам
Тащится поездом и пароходом —
Так я, чтоб умерить людские страданья,
Издаю нечитаемые расписанья;
И крыльцо моей фирмы — место для встреч,
Здесь ежевечерне играют в кетч
Одна добродетельная девица
И англичанин, чин из полиции,
Так что приезжий слышит все слухи
От грязной пьяной дублинской шлюхи.
Кто там сказал: не противься злу?
Я книгу его превращу в золу,
И ссыплю прах в кривобокую урну,
И каяться буду упрямо и бурно —
Трещать, кряхтеть, пищать в песнопеньях —
И все это стоя на тощих коленях.
В великий пост я подставлю сам
Покаянный голый зад небесам
И, слезами в печатне моей обливаясь,
В ужаснейшем прегрешенье признаюсь.
И метранпаж мой из Беннокбурна
Окунет свою правую руку в урну
И начертает у всех на виду
Memento homo[1] на голом заду.

Сколько гнева, боли, злой иронии в этом стихотворении или, как писал сам Джойс, «инвективе в духе Свифта». Сарказм Джойса понятен каждому, кто знает о печальной судьбе его книги «Дублинцы» в Ирландии — сборника рассказов, давно уже занимающего почетное место в классике зарубежной литературы XX века.

Издатели не хотели печатать «Дублинцев»: их пугала смелость критического взгляда Джойса, откровенность его психологических описаний, отказ от лакировки ирландской действительности. Джойса наперебой обвиняли в аморализме, в презрении традиций. Редакторы требовали переработки текста. Но Джойс ие уступал.

Драматически сложились отношения Джойса и с Джорджем Робертсом, главой издательства «Маунзел», от лица которого в стихотворении ведется повествование. Робертс был человеком, достаточно приметным в литературном мире Дублина. Он составил себе имя на издании произведений писателей — активных участников Ирландского литературного возрождения: Августы Грегори, Джона Синга[2] и других. Стремясь укрепить свою славу либерала, Робертс заключил с Джойсом, в то время молодым прозаиком, о котором тем не менее уже заговорили в Дублине, контракт на издание его первой большой книги.

Однако, внимательно прочитав текст «Дублинцев», Робертс не на шутку перепугался. У него не было никаких сомнений, что власти будут шокированы многочисленными антибританскими выпадами Джойса, его крайне непочтительным отношением к ирландской католической церкви. Кроме того, Робертс опасался и обвинений в диффамации: соотечественники без труда могли узнать себя во многих джойсовских персонажах.

Положение Робертса было не из простых. Он был связан дружескими узами с семьей Джойса, к тому же не хотел прослыть ретроградом. И Робертс, презрев осторожность, решился опубликовать текст. Но на его счастье, этому помешал наборщик, который заявил, что под страхом смертной казни не станет печатать книгу, столь оскорбительную, с его точки зрения, для Ирландии. Вот тут-то Робертс понял, что дело приняло слишком серьезный обо-

[1] Помни о человеке *(лат.) (Прим. перев.).*
[2] Его имя, а также имена других представителей Ирландского литературного возрождения Джойс сознательно искажает. *(Прим. автора.)*

рот, и в сентябре 1912 г. сжег гранки рукописи, которая пролежала в его издательстве без малого три года.

Этот скандал стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Джойса: он принял окончательное решение уехать из Ирландии. И по пути из Дублина в Триест написал «Газ из горелки» — остросатирическое, бурлескное, откровенно фарсовое стихотворение.

История с публикацией «Дублинцев» навсегда осталась для Джойса незаживающей раной. Отчасти поэтому в 1939 г., в зените славы, он отказался от приглашения Уильяма Батлера Йейтса стать членом Ирландской литературной академии. Джойс часто с горечью повторял, что слишком хорошо помнит, как ирландские филистеры кинули в лицо Парнеллу, борцу за свободу родины, кусок негашеной извести.

Е. ГЕНИЕВА

ПАТРИК КЭМПБЕЛЛ

Рассказы

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

На заднем сиденье

Теперь, когда замужняя женщина говорит: «Оставайтесь, муж возражать не станет», я знаю, что самое время ретироваться куда подальше.

Впрочем, подобный опыт можно приобрести, только пройдя суровую школу жизни. Когда Сюзанна Тальбот предложила мне переночевать у них, я понятия не имел, чем рискую.

Не стану отрицать, между нами во время танцев возникло некоторое, я бы сказал, родство душ, тем более что муж Сюзанны, Герберт, в тот вечер обмывал продажу скота с тремя ражими молодцами из Баллинасло.

— А что скажет на это наш удалой ковбой? — поинтересовался я.

— Он,— ответила Сюзанна с едва заметным пренебрежением,— возражать не станет.

Мой муж, очевидно, хотела она сказать, настолько увлечен коровами, что ему не до жены, которой всего тридцать семь лет.

— Ваше приглашение очень кстати,— признался я.— В таком случае мне не придется ехать ночью домой.

Иллюстрация к рассказу П. Кэмпбелла «На заднем сиденье» выполнена Хилэри Найтом.

Сюзанна была хорошенькой миниатюрной женщиной, немного, правда, увядшей от однообразной жизни в глуши.

— Мы могли бы продолжить наш разговор о живописи, музыке, литературе,— сказал я.

— Вы себе просто не представляете,— подхватила она с чувством,— какое это счастье — не говорить о колтуне, копытной гнили или нематодозе.

Она отпустила мою руку. К нам приближался Герберт.

— Ты готова, Энни? — спросил он, небрежно кивнув мне.— Привет, как вас там,— буркнул он.

Герберту явно не хватало воспитания. Нас уже познакомили, и он мог бы вполне обойтись без «как вас там».

— Сейчас иду,— сказала Сюзанна.— Встретимся в холле.

Герберт и я уставились в пол. Я решил пока не говорить ему, что ночую у них.

ПАТРИК КЭМПБЕЛЛ — PATRICK CAMPBELL (род. в 1920 г.) Англо-ирландский писатель, юморист. Автор рассказов, сценариев, очерков, статей. Печатается в английских и ирландских периодических изданиях.

Рассказы, составляющие подборку, взяты из сборника юмористики П. Кэмпбелла разных лет «Прогулка верхом в приятном обществе» («A Short Trot with a Cultured Mind Through. Some Experiences of a Humourous Nature». London, Simon & Schuster, 1956).

Пусть Сюзанна скажет сама — в машине, по дороге домой.

— Ну ладно,— процедил Герберт.— Счастливо оставаться.— И, еле переставляя ноги, пошел прочь.

Я ехал за ними на почтительном расстоянии. Герберт, казалось, дремал, неподвижно сидя за рулем в своей крахмаленой рубашке, и я решил не торопить события и терпеливо дождаться, пока он отправится спать.

Когда я подъехал, он ждал меня у входа в дом. Шел дождь, но он стоял на дорожке в одной рубашке с засученными рукавами.

— Эй! — сказал он.— Что все это значит? Энни говорит, что вы у нас ночуете.— Его грубое лицо было напряжено. Он никак не мог взять в толк, что происходит.— Ведь вы из Дублина, я правильно понял? Вот и ехали бы в свой Дублин!

— Как тебе не стыдно, Герби! — крикнула Сюзанна.— Что подумает о нас мистер Кэмпбелл? — Она открыла дверцу моей машины.— Заходите, прошу вас. Посидим, выпьем. Ведь еще не поздно.

— Спасибо,— сказал я.— Не откажусь.

Герберт подошел вплотную к машине, так что мне с трудом удалось из нее выбраться.

— Эй, куда вы? — спросил он с недовольным видом и пошел следом за мной в дом, буквально наступая мне на пятки.

Было совершенно ясно, что ситуация в корне изменилась. Теперь мне уже гораздо меньше хотелось скрасить жизнь супруге Герберта, ибо он, как выяснилось, был отнюдь не из тех, кто рад гостям.

Сюзанна распахнула дверь в гостиную.

— У тебя ведь есть друзья,— с раздражением сказала она Герберту,— а почему бы мне не иметь своих? Садитесь, будьте как дома... дорогой,— сказала она мне.— Я сейчас постелю вам.

Она попросту хотела настоять на своем. Может быть, впервые в жизни. Но Герберт, как человек недалекий, понял ее слова буквально.

— Нет, черт возьми,— буркнул он.— Этого еще не хватало.— И он решительно двинулся к письменному столу, у которого стояло — что бы вы думали? — охотничье ружье.

Я потянулся к ручке двери.

— Будет вам, ведь мы с вами не дикари...— начал было я.

Тем временем Герберт выдвинул верхний ящик стола и зарядил ружье. Я понимал, что он вряд ли станет стрелять, но, с другой стороны, раз ружье заряжено... то может и само выстрелить.

— Спокойной ночи,— сказал я.— Спасибо, было очень весело.

Через минуту я уже сидел в машине и несся по пустынной аллее, готовый в любой момент услышать за спиной грохот выстрелов и свист пуль.

Вместо этого мили через три я услышал тихий протяжный вздох и потом как будто шорох. Я в ужасе обернулся. На заднем сиденье, во всю его длину, растянулся огромный черный пес — судя по всему, ньюфаундленд, который просыпался после глубокого сна.

Я остановил машину. Открыл заднюю дверцу. Пес неподвижно смотрел на меня. Он еще не вполне пришел в себя. Я разглядел надпись на ошейнике:

Рого
хозяин: Герберт Тальбот
Грейндж-Хаус
Уэстмит.

Первым моим поползновением было выкинуть Рого из машины — пусть сам добирается домой. Но Рого выглядел слишком неповоротливым, чтобы пройти три мили, даже если он и знал дорогу. Тогда я решил отвезти его назад, высадить у ворот, а в остальном положиться на его здравый смысл.

Я тихо подъехал к воротам и поставил машину поодаль, в тени дерева. Я не знал, легли ли Тальботы спать, зато я твердо знал, что не испытываю ни малейшего желания вновь встречаться с ними.

Я вынес Рого на руках из машины. Он был похож на толстую женщину в шубе.

— Хорошая собака,— сказал я.— Ступай домой.

Дождь продолжался. Рого отряхнулся и медленно полез назад в машину. Пытаясь удержать его, я вцепился ему в густую шерсть, но он так злобно огрызнулся, что я отдернул руку.

Я вытащил из багажника монтировку и попробовал выпихнуть пса наружу. Монтировка бесшумно погрузилась в податливый собачий бок, но Рого даже не пошевелился.

Я принялся тихо лаять и размахивать руками в слабом свете лампочки, горевшей на панели приборов, полагая, что пес, разозлившись, вскочит на сиденье, откуда его легче будет вытолкнуть.

И вдруг, к своему ужасу, я увидел, как в машину через открытую дверцу просунулась голова полицейского.

— Добрый вечер...— сказал я после некоторой паузы.— Вот пытаюсь выдворить проклятую собаку. Что, не спится? Убийц разыскиваете? — добавил я, намекая на то, что у него есть дела поважнее.

Он обошел машину и остановился передо мной. Это был молодой дюжий полицейский, из тех ирландцев, которые, если дать им собраться с мыслями, способны даже говорить на своем родном языке.

Он подозрительно посмотрел на меня.

— Находясь при исполнении служебных обязанностей,— выпалил он,— не разрешается посвящать в них гражданских лиц. Это ваша собака?

— В том-то и дело, что не моя,— ответил я.— Ее хозяин, мистер Тальбот, живет неподалеку отсюда. Хочу загнать ее домой.

— Как эта собака оказалась ночью у вас в машине в отсутствие ее законного владельца? — спросил он.

— Понимаете, я увез ее по ошибке,— ответил я.— Просто не заметил, как она забралась ко мне на заднее сиденье, а теперь не могу ее выгнать.

Воцарилось гнетущее молчание.

— Придется вам проследовать со мной к владельцу собаки,— сказал наконец молодой полицейский.— Поведете машину вы,— добавил он, очевидно опасаясь пули в спину.

Мы медленно поехали по аллее к дому. Полицейский развалился на переднем сиденье, Рого — на заднем. Еще совсем недавно я бежал от Тальботов с легким сердцем. Когда я теперь подъезжал к их дому, на душе у меня скребли кошки.

Полицейский вышел.

— В целях предосторожности, — объявил он,— придется попросить вас выйти из машины.

Мы поднялись по ступенькам к входной двери. Полицейский схватил дверной молоток. Громоподобный стук разнесся по спящему дому.

— Ну и погодка,— сказал он доверительно. Я ответил, что хуже не бывает. Тут дверь открылась, и на пороге появился Герберт в халате. Должно быть, полицейский привык поднимать людей среди ночи. Он и внимания не обратил на багровое от ярости лицо Герберта.

— По долгу службы, сэр,— рявкнул он,— навожу справки о владельце собаки, найденной в транспортном средстве этого джентльмена. Джентльмен утверждает, что собака принадлежит вам.

Тут только Герберт увидел меня. Он сделал шаг вперед

— Ты украл мою собаку! — закричал он. «Не получилось жену, так хоть собаку»,— видимо, хотел он сказать.

— Она сама забралась ко мне на заднее сиденье,— огрызнулся я.— Очень нужна мне ваша собака.

Герберт заглянул в машину.

— Где она? — спросил он.

Заднее сиденье было пусто. Рого отправился спать, сообразив, вероятно, что попал домой после необъяснимого ночного путешествия.

— Ну и дела,— удивился полицейский.— Ведь, кажется, только что на меня пялилась.

— Здоровенный черный пес,— отрезал я.

Полицейский, видимо, решил, что произошло чудо.

— Зовут Рого. Только что был здесь.

— Это моя собака,— сказал Герберт.— Я за нее последнее отдам.— Вдруг его осенило.— Пойду посмотрю, в конуре ли она,— заявил он,— а если нет...— Герберт сжал кулаки. Он и сам не знал, что тогда будет.

Мы пошли за ним на задний двор. Рого безмятежно спал в своей конуре величиной с многоэтажный дом.

— Ну,— сказал я,— вы удовлетворены?

— Чем? — Герберт взглянул на меня исподлобья.

Мое терпение лопнуло.

— Поехали, сержант,— сказал я.— Протокол составите утром.

Говорить больше было не о чем. Я подвез его до деревни и высадил у входа в участок. Он удивился, что я не иду с ним.

— Теперь сиди тут, рапорт составляй,— пожаловался он. — Начальство любит, чтобы все в письменном виде...

Я рванул с места не попрощавшись. Не успел я проехать и милю, как услышал с заднего сиденья чей-то тихий, вкрадчивый голосок:

— Ну-ка угадайте, кто здесь?

И я угадал — это была очаровательная супруга Герберта Тальбота, торговца скотом из Грейндж-Хаус, Уэстмит.

Я остановил машину. Лениво вышел и заученным движением открыл багажник, чтобы опять вооружиться монтировкой.

Правдолюб

В свое время, когда я еще носил прямой пробор, мне казалось, что в отношениях между людьми нет ничего важнее, чем неукоснительная правдивость. Бывало, находясь в гостях, я не выдерживал и принимался кричать: «К чему вся эта болтовня? Чего вы добиваетесь, обманывая друг друга? Неужели мы разучились говорить правду?»

Откровенное признание очищает душу — таков был тогда мой девиз. Это настолько сильно действовало на окружающих, что порой мне удавалось за каких-нибудь двадцать минут очистить помещение. Доходило до того, что иные тихие обыватели, любившие посудачить о садоводстве, бридже и знавшие за собой эту слабость, пытались заранее выведать, буду ли я в гостях, прежде чем принять приглашение. Так продолжалось несколько лет, пока меня не вызвали в ирландский суд, где мое правдолюбие проявилось в полной мере.

Дело в том, что я попал в аварию. Стукнул машину, и ее владелец подал на меня в суд.

Мой отец решил нанять адвоката.

— Ни к чему,— сказал я.— Зачем тратиться? Правда на моей стороне. Я ехал по главной дороге со скоростью тридцать восемь миль в час. Он выскочил задом, понимаешь, задом из-за поворота, да еще закуривал сигарету. Нет, адвокат мне не нужен. Без него справлюсь.

Отец сказал, что, по его мнению, адвоката все же взять стоит. Юриспруденция — штука хитрая, и разумный совет никогда не повредит.

Когда мы приехали в суд, я было обрадовался, увидев знакомого судью. Он даже кивнул мне, когда мы садились.

Первым давал показания потерпевший. Должен сказать, его слова поразили меня. Он заявил, что дважды гудел, прежде чем выехать из переулка, затем удостоверился, что главная дорога свободна, еще раз дал сигнал и только потом стал медленно подавать задним ходом, держась

вплотную к тротуару. Он уверял, что моя машина врезалась в него без всякого предупреждения, что только в последний момент он услышал рев мотора гоночного автомобиля, мчавшегося на огромной скорости. Он заявил также, что водит двадцать два года, ни разу не попадал в аварию и из-за полученной травмы не был неделю на работе.

Пришла моя очередь. Не скрою, я был очень зол. Как можно было так откровенно и гнусно лгать, да еще в суде, где, как мне казалось, говорить правду — священный долг каждого! Ко мне взывали мои попранные принципы. Я решил, что в своих показаниях ни на йоту не отступлю от истины: правда, только правда, ничего, ровным счетом ничего, кроме правды.

Поднялся мой адвокат.

— А теперь,— обратился он ко мне,— расскажите суду, как, по-вашему, обстояло дело.

Я встал. Глубоко вздохнул.

— Можете говорить сидя, если хотите,— сказал судья.

Я опять сел.

— Дело было так,— начал я.— Днем я играл в гольф. После гольфа выпил всего одну бутылку пива: в тот день я собирался в гости и не хотел заранее напиваться.

Тут поднялся адвокат потерпевшего.

— Разрешите, милорд,— сказал он,— задать вопрос ответчику.

Судья несколько удивился, но согласие дал.

— Скажите, вы много пьете? — спросил адвокат.

Я ответил не сразу.

— Вообще-то случается иногда. Особенно в гостях.

— У меня больше нет вопросов,— сказал он.

Я поймал на себе взгляд моего адвоката. Он сидел разинув рот.

— Так вот,— продолжал я.— В тот день я ехал осторожнее обычного. Дело в том, что за последнее время я уже получил пару хороших вмятин. С меня хватит. Да и в гости не хотелось опаздывать,— доверительно сообщил я судье.

Он кивнул. Судья не сводил с меня глаз, подавшись вперед всем телом.

— Но тут,— сказал я,— меня обогнал семейный «седан». Он был набит детьми, на верхнем багажнике стояла коляска, из-под нее торчал матрац. Сами понимаете, не плестись же мне за этим «седаном», вот я и прибавил газу.

Адвокат истца вскочил опять.

— То есть вы увеличили скорость? — спросил он.

— Ну да. Нажал на газ. Через полмили я его догнал и объехал.

Тут поднялся мой адвокат.

— Мистер Кэмпбелл,— сказал он,— у вас малолитражный двухместный автомобиль с мотором в семь лошадиных сил. К тому же ему двенадцать лет. Как вы думаете, с какой скоростью вы могли ехать, когда пошли на обгон? Полагаю, ваша машина вряд ли делала больше чем тридцать миль в час, учитывая ее возраст и размеры.

— Тридцать восемь,— поправил я.— Тридцать восемь миль в час. Я не спускал глаз со спидометра. А может, немного больше. У меня спидометр барахлит.

— Благодарю,— сказал мой адвокат.

Он было собрался еще что-то сказать, но передумал. Сел и расстегнул ворот рубашки.

— Да, так вот, выезжаю я на место аварии...

— Вы, разумеется, ехали по правой стороне дороги? — спросил судья.

Похоже, что никто уже не соблюдал процедуру судебного заседания. Я едва успевал отвечать на вопросы.

— Кто же ездит по своей стороне, когда дорога совершенно пуста?! — резко ответил я вопросом на вопрос.— Я держался ближе к середине.

— Понятно,— сказал судья.— Благодарю,— добавил он после паузы. Он еще больше подался вперед.— Продолжайте, прошу вас.

— Еду я, значит, на приличной скорости, поглядываю на спидометр и вдруг вижу, как мне навстречу выезжает задом из переулка машина.

— Простите,— сказал судья,— когда вы говорите «вдруг», вы имеете в виду, что машина появилась перед вами без предупреждающего сигнала?

— Конечно,— ответил я.— Я увидел ее, когда был метрах в ста, не меньше...

— И ничего не сделали, чтобы предотвратить столкновение,— вставил адвокат истца.— Вы ведь не сбросили скорость, не дали сигнал, словом, не приняли никаких мер предосторожности?

— Верно,— сказал я.— А все потому, что не спускал глаз со спидометра. Раньше на этом участке я никогда не шел больше сорока.

Судья откашлялся.

— Мистер Теннент,— сказал он, обращаясь к моему адвокату,— у вас есть вопросы? Мне кажется, что ваш подзащитный не вполне отдает себе отчет в своих словах.

Теннент встал, и, по-моему, неохотно.

— Мистер Кэмпбелл,— сказал он.— В чем же все-таки, на ваш взгляд, причина аварии? Подумайте хорошенько, не торопитесь с ответом. Мы все хотим помочь вам... разобраться.

Он довольно беспомощно взглянул на судью. Судья кивнул. Теннент сел. Он опять начал теребить ворот рубашки.

— Чего тут думать! И так все понятно,— сказал я.— Этот негодяй выехал задним ходом из переулка. В тот момент он закуривал и не смотрел, куда едет. Вот я в него и врезался!

Воцарилось молчание. Судья смотрел на Теннента. Теннент смотрел на адвоката истца. Адвокат истца смотрел в потолок.

— Больше мне сказать нечего,— добавил я.— Факты говорят сами за себя.

Адвокат истца взял себя в руки.

— Милорд,— сказал он,— я очень надеюсь, что суд вынесет решение в пользу моего подзащитного, ведь ответчик сам признает, что он человек неуравновешенный, злоупотребляющий спиртны-

ми напитками, не раз в последнее время попадал в аварии. Он показал под присягой, что ехал с превышением скорости и к тому же смотрел на спидометр, вместо того чтобы...

— Да, я действительно смотрел на спидометр,— перебил я его.— Но если бы вы хоть немного умели водить, то знали бы, что можно смотреть на спидометр и одновременно мельком поглядывать на дорогу.

Все молчали. Судья сделал знак рукой.

— Прошу вас, мистер Маршалл. Вы что-нибудь еще хотите сказать?

— Нет,— ответил Маршалл.— Мне нечего больше добавить.

— Благодарю,— сказал судья. Он испытующе посмотрел на Теннента.

Теннент покачал головой:

— Мне... нам нечего сказать...

Судья откинулся на спинку стула. Некоторое время он копался в бумагах, затем шепнул что-то секретарю. Тот покачал головой.

— Гм...— сказал судья. Он вновь откашлялся.— Прежде чем я объявлю решение суда по этому делу,— начал он,— хочу отметить, что оно оказалось одним из самых сложных за последнее время. Вовсе не желая навязывать ответчику свою точку зрения, я хотел бы все же отметить, что своим поведением он в значительной степени усложнил вопрос, который на первый взгляд казался довольно простым.

Он замолчал и обвел глазами собравшихся. Никто не произнес ни слова. Неожиданно судья выпалил:

— По решению суда ответчик выплачивает истцу сто пятьдесят фунтов в качестве возмещения убытков.

Он повернулся ко мне.

— Мистер Кэмпбелл,— сказал он,— поскольку я уже имел удовольствие неоднократно видеться с вами по различным поводам, не исключено, что нам предстоит встретиться и в будущем. Когда это произойдет, я объясню вам, хотите вы того или нет, почему вы проиграли дело. Оно представляется мне довольно любопытным.

— Еще бы,— сказал я.— Ведь я говорил чистую правду. Я практически невиновен, а вы присудили мне возместить убытки. Почему?

— Видите ли, существуют разные способы дачи показаний,— объяснил он.— Избранная вами линия поведения в условиях действующего судопроизводства не оставляет вам ни малейшего шанса. Впрочем, я бы предпочел вернуться к этому вопросу в менее официальной обстановке.

Он замолчал.

— Суд благодарит собравшихся за внимание. Следующее дело!

— Что все это значит? — спросил я Теннента, когда мы выбрались из зала.— Он присудил мне выплатить сто пятьдесят фунтов и еще собирается объяснить почему.

— А все потому,— сказал Теннент,— что он хочет спасти вас от виселицы.

◆

Среди книг

По страницам литератур стран Азии и Африки

КОЛОКОЛА СВОБОДЫ

John Ya-Otto. Battlefront Namibia. Harare, Zimbabwe Publishing House, 1982.

Джон Я-Отто. Фронтовая Намибия. 1982.

«Автобус из Ондангвы резко затормозил у остановки перед контрольно-пропускным пунктом. Пассажиры, покрытые красной пылью и изнемогающие от усталости после стопятидесятимильного пути по раскаленной безводной равнине, забрали свои узлы и стали молча по одному выходить. У дверей автобуса полицейский отрывисто задавал вопросы, щупая стеком вещи каждого пассажира

Тетушка Анна тщательно прикрыла большую корзину, стоявшую у нее на коленях подхватила свою сумку и стала пробираться к передней двери автобуса... Склонив голову, она поставила сумку у ног полицейского

— Где живешь? — спросил он.

— В Кетсманхопе, баас [1],— произнесла она чуть слышно.

— Что ты делала на Севере?

— Навещала своих родственников, баас.

Произнося эти слова, Анна стояла потупившись, разглядывая пыль под ногами, будто служанка перед хозяином. Один лишь взгляд белого человека может навлечь беду!

— Что у тебя в корзине?

Сердце у моей тетушки ёкнуло, но она и виду не показала:

— Еда, баас.

— Проходи,— буркнул полицейский.

...Вернувшись в автобус, Анна приподняла покрывало с корзины и улыбнулась ребенку, невинно посапывающему в уютном гнезде из одеял. Так в свои шесть месяцев я преодолел первый из многих барьеров на своем пути в стране апартеида — Намибии»

Этими строками начинает автобиографическую повесть «Фронтовая Намибия» Джон Я-Отто, один из самых авторитетных, несмотря на относительно молодой возраст (он родился в 1938 г.) руководителей СВАПО — боевого авангарда намибийского народа, возглавляющего борьбу за освобождение от ига расистской ЮАР. Я-Отто занимает в Политбюро этой организации пост секретаря по вопросам труда и широко известен среди своих соотечественников как выдающийся политический лидер и талантливый организатор рабочего класса. В подготовке окончательного варианта повести, первоначально опубликованной в США в 1981 году, вместе с Я-Отто приняли участие прогрессивные журналисты Оле Гьерстад и Майкл Мерсер — активисты международного движения в защиту освободительной борьбы народов Африки. Как говорится в предисловии, у этой книги есть еще один главный соавтор — борющийся намибийский народ.

Повесть Я-Отто дважды переиздавалась: в 1982 году она вышла в Лондоне в серии «Африканские писатели» (издательство «Хейнеманн») и в том же году была опубликована в Хараре (Зимбабве).

«Фронтовая Намибия» не первое произведение намибийской публицистической прозы, с которым знакомятся читатели других стран. В 1974 году видный деятель СВАПО Винья Ндади опубликовал небольшую автобиографическую повесть под названием «Разрывая контракт...»[1]. Однако книга Я-Отто дает более широкую картину жизни и борьбы намибийского народа и охватывает большой промежуток времени — с конца тридцатых по середину семидесятых годов.

Уже с первых страниц повести, где описывается «нелегальный» переезд маленького Джона из расположенной на севере Намибии области Овамболенд на юг, читатель знакомится с обществом, основанным на бесчеловечных законах пресловутого апартеида, то есть «раздельного существования рас». Я-Отто рассказывает, как, переезжая из одного района страны в другой, он с юных лет знакомился с бытом различных африканских народов и племен и белых колонистов, населяющих Намибию. Хотя племенные связи в Намибии до сих пор до-

[1] Господин *(африкаанс)*.

[1] Опубликована в «ИЛ», 1983, № 9.

вольно сильны, Я-Отто «никогда не чувствовал себя принадлежащим к какому-либо одному племени или местности» и всегда считал себя прежде всего намибийцем. В дальнейшем это очень помогло ему в его политической деятельности.

Родители Джона, у которых было еще двое детей, еле-еле сводили концы с концами, поэтому он воспитывался поочередно у многочисленных родственников, живших в разных районах страны.

Я-Отто проявлял большие способности к учению, и на семейном совете было решено помочь ему получить высшее образование. После того как родственники собрали необходимую сумму денег, Джон поступил учиться в колледж «Аугустинеум»— единственное высшее учебное заведение в Намибии, куда принимали коренных африканцев. Обучение в колледже было проникнуто расистским духом. Студентам усиленно внушали мысль о превосходстве белой расы и «неполноценности» народов, издревле населяющих континент.

Тогда Я-Отто был еще далек от политики. Его заветной мечтой было стать учителем, чтобы поменьше соприкасаться с «херренфолк»—«народом господ», как называли расистски настроенных буров — белых хозяев страны, от которых он постоянно терпел унижения. Мечта Джона сбылась: после окончания колледжа он стал учителем в школе в главном городе страны Виндхуке.

Поначалу Я-Отто, находясь в плену пацифистских иллюзий, не принимал непосредственного участия в активной политической борьбе, хотя был близко знаком с некоторыми ее руководителями, прежде всего с Сэмом Нуйомой, будущим основателем и бессменным президентом СВАПО, чье имя уже тогда, в конце пятидесятых годов, было в Намибии легендарным

Перелом наступил в декабре 1959 года во время трагических событий, получивших название «виндхукского побоища». Ужесточая политику апартеида, расистские власти задумали изгнать африканское население с обжитого места — старого пригорода Виндхука — и переселить его в специально созданную резервацию Катутуру. Африканцы ответили на этот произвол бойкотом мероприятий властей и организовали 10 декабря мирную демонстрацию. Власти бросили против них вооруженных до зубов полицейских и танки. Множество людей, прежде всего женщин и детей было убито и ранено.

Впоследствии руководство СВАПО, отмечая заслуги женщин в национально-освободительной борьбе и в знак памяти жертв виндхукского побоища, объявило 10 декабря Днем намибийской женщины. В этот день многие намибийцы оплакивают своих матерей, сестер и жен, павших жертвами расистского террора. (Автору этих строк никогда не забыть, как 10 декабря 1984 года его друг, активистка профсоюзного движения Намибии юная и обаятельная Инна Пондджамба, захлебываясь слезами, рассказывала ему о виндхукском побоище, во время которого была убита ее мать, вышедшая на демонстрацию с двумя младенцами-близнецами на руках.)

Выстрелы в Виндхуке рассеяли иллюзии у тех, кто их еще питал. Народ Намибии поднялся на активную борьбу, принявшую с созданием СВАПО в 1960 году общенациональный характер. Включившись в эту борьбу, Джон Я-Отто в скором времени становится одним из лидеров СВАПО, которому поручают выполнение ответственнейших заданий.

В середине шестидесятых годов руководство СВАПО, убедившись в бесплодности переговоров с расистским режимом ЮАР о предоставлении Намибии независимости, принимает решение о начале вооруженного восстания. Я-Отто поручают организацию доставки оружия намибийским партизанам через территорию соседних африканских государств. Вскоре его арестовывают агенты Особого отдела — юаровской охранки. В своем застенке в Претории расистские палачи — выученики нацистского гестапо— подвергают Я-Отто в течение многих дней зверским избиениям и изощренным пыткам, стремясь вырвать признание о его связях с повстанцами. Ничего не добившись, они бросают намибийского патриота, полуживого, в тюремную камеру, где ему предстоит провести до суда долгие месяцы. Наконец в июне 1967 года начался суд, который власти ЮАР окрестили «процессом над террористами». Перед судом вместе с Я-Отто предстало более тридцати руководителей и активистов СВАПО, и среди них такие известные деятели намибийского освободительного движения, как Тойво Я-Тойво и Кахумба. Однако широко разрекламированная расистским правительством и прессой судебная инсценировка, продолжавшаяся более полугода, с позором провалилась. Обвиняемые, вместо того чтобы признать свою «вину», выступили в роли обвинителей бесчеловечной системы апартеида—этого анахронизма нашей эпохи. Под давлением мировой общественности и за отсутствием прямых «улик» Я-Отто был приговорен к минимальному наказанию — одному месяцу тюрьмы.

После отбытия тюремного заключения Я-Отто, которому едва удалось повидаться с женой и друзьями (его маленький сын умер, когда он находился в тюрьме), высылают под надзор полиции и местных властей на север страны в Овамболенд. Я-Отто никто не берет на работу, и ему пришлось бы совсем туго, если бы его не приютил друг — владелец пивного бара. В этих тяжелых условиях он налаживает связи с единомышленниками, ведет большую работу по вовлечению новых борцов в ряды национально-освободительного движения, переросшего к началу 70-х годов в активное вооруженное сопротивление режиму белого меньшинства. Власти Претории отвечают на это новым усилением репрессий. Товарищи по руководству СВАПО предупреждают Я-Отто о грозящем ему аресте и советуют покинуть Намибию. Перед тем как пересечь границу с одной из африканских стран, Я-Отто с горьким чувством прощается с родной землей.

В повести «Фронтовая Намибия» много грустного и жестокого. Это и описания произвола расистов, и сцены расстрелов и пыток патриотов, и щемящая душу финальная сцена расставания Я-Отто с родиной. Тем не менее книге в целом свойственен оптимистический настрой. Это оптимистическое мироощущение передается и читате-

лю. Он верит, что недалек тот час, когда над землей Намибии пробьют колокола свободы, когда намибийские дети не будут больше терять своих отцов и матерей, когда улыбнется, осушив слезы, Инна Понджамба.

Не будет преувеличением сказать, что яркая, написанная кровью сердца автобиографическая повесть Джона Я-Отто — это одновременно и ценный исторический документ, и важная веха на пути становления современной намибийской литературы.

Л. СТЕПАНОВ

РАЗВЕНЧАНИЕ АЛМАЗНОГО КОРОЛЯ

А. Давидсон. Сесиль Родс и его время. Москва, «Мысль», 1984.

Должно быть, эта книга, научная привлекательность которой соперничает с ее занимательностью, могла называться «Время и его Родс»; дело в том, что оба, и Родс и время,— «герои» книги и трудно сказать, кто из них более привлечет внимание читателя. Имя Родса стало символом империализма, но все же осталось именем собственным. Сын своего времени — он тоже оказывал влияние и на современность, и даже, опосредованно, на последующий исторический период. Так что название книги выбрано продуманно, как продуманы в ней композиция, соотнесенность глав и разделов, стиль, соразмерность в литературной цитации.

Автор начинает книгу с завещания героя. Завещание пишет в 1877 году двадцатичетырехлетний молодой человек, и это его второе завещание (а всего их будет шесть). Прием автора убедителен, а пример заразителен: знакомство с текстом завещания, пожалуй, лучшее введение в суть повествования.

Молодой Сесиль Родс, еще далеко не миллионер и мало кому известный в Англии, очень больной и недоучившийся, предсказывает «распространение британского владычества во всем мире... колонизацию британцами всех тех стран, где условия существования благоприятствуют их энергии, труду и предприимчивости, и особенно заселение колонистами всей Африки, Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипр и Кандия, всей Южной Америки, островов Тихого океана, пока еще незанятых Великобританией, всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и Японии и возвращение Соединенных Штатов Америки в Британскую империю...».

Такое не мерещилось и Наполеону! Бред? Мечты маньяка? Хлестаковщина? Как бы то ни было, Сесиль Родс собственноручно взялся за претворение этого плана в действительность, и его недолгой жизни хватило на многое — во всяком случае в Африке. «Историки подсчитали,— пишет А. Давидсон,— что Родс «добавил» к Британской империи двести девяносто одну тысячу квадратных миль — больше, чем территория Франции, Бельгии, Голландии и Швейцарии, вместе взятых. Он распоряжался судьбами миллионов людей и устанавливал порядки на землях, во много раз превосходящих его родину, Великобританию». А зрелый Родс— деловой, энергичный, немногословный — иногда склонен к такого рода элегическим сожалениям «космического» масштаба: «Мир почти весь поделен, а то, что от него осталось, сейчас делится, завоевывается и колонизуется. Как жаль, что мы не можем добраться до звезд, сияющих над нами ночью в небе! Я бы аннексировал планеты, если бы смог; я часто думаю об этом. Мне грустно видеть их такими ясными и вместе с тем такими далекими».

Не случайно журнал «Панч» за 1882 год изобразил Родса в позе Колосса Родосского (в военном костюме с каской и винтовкой), нависающего над Африкой — одна нога на севере, другая — на юге континента. Впрочем, в этом шаржированном рисунке больше любования, чем насмешки. Да и само изображение в виде колосса намекает на популярный в 90-х годах каламбур, сближавший имя Родса с Родосским чудом света.

Что за человек был Сесиль Родс? Он — алмазный король, золотой король, разрабатывающий «копи царя Соломона». Бог удачи. Дипломат и политик. Инициатор нескольких войн, в том числе англо-бурской. Каратель и палач африканских народов — шонов и идебелов. Друг и почти кумир Редьярда Киплинга, восславившего «бремя белых». Помните?

Неси это гордое Бремя —
Родных сыновей пошли
На службу тебе подвластным
Народам на край земли —
На каторгу ради угрюмых
Мятущихся дикарей.
Наполовину бесов
Наполовину людей.

(Перевод А. Сергеева)

И в то же время человек «из народа», разговаривающий как равный с королями, принятый аристократами не только без пренебрежения (парвеню), но с романтической восторженностью — в особенности дамами, заинтригованными еще и таинственным отсутствием у него интереса к прекрасному полу. Вглядываясь в Родса, нарисованного герцогиней Рэтленд, невольно думаешь, что это иллюстрация к уайльдовскому «Портрету Дориана Грея» — изображение лорда Генри. Это идеал джентльмена. И в то же время он декларирует и демонстрирует пылкую любовь к простым людям — рабочим, солдатам,— на свой империалистический лад, конечно.

Таков он в разговоре с королевой:

«— Что вы делали, мистер Родс, с тех пор, как мы виделись последний раз?

— Я добавил две провинции к владениям Вашего Величества.

— Как бы я хотела, чтобы так же поступали некоторые из моих министров, а то они, напротив, умудряются терять мои провинции».

Таков он и в отношениях с обездоленными:

«— Я был вчера в лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие

речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба! — я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма... Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами».

И, прямо обращаясь к тем, кто требует хлеба, Родс внушает: «Любой мастеровой должен осознать, что, пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить впроголодь... Рабочий должен понять, что, если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю и что он конченый человек, если даст миру выскользнуть из своих рук».

И ему верили. Не только банкиры, промышленники, дипломаты. Бывало, угнетенные и неимущие встречали его рукоплесканиями и криками, более восторженными и, во всяком случае, более искренними, чем политики и финансисты. Многие считали его великим. «Это странный, но поистине великий человек, могущественный вождь с грандиозными мечтами, слишком великий, чтобы быть эгоистичным, но и чересчур решительный, чтобы быть особенно разборчивым в средствах,— человек, которого не измерить нашими привычными человеческими мерками, такими мелкими для него». Автор этого панегирика — творец Шерлока Холмса. Подобных высказываний множество. Даже его недруги видят в нем «космическую силу зла», не меньше. И действительно, с дьявольскими ухищрениями начинает Родс войну с ндебеле́. Текст его телеграммы: «Читайте от Луки, 14, 31». Тот, кому телеграмма была адресована, раскрыл Евангелие и прочел: «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» Ответная телеграмма гласила: «Я прочел от Луки. Все в порядке». Действительно, все было «в порядке»: вооруженных копьями и неисправными ружьями ндебелов поливали огнем из пулемета «максим», впервые испробованного в войне, о которой на торжественном банкете Родс сказал: «История не знает войны, проведенной со столь малыми затратами денег и человеческих жизней и в то же время столь гуманно». Он мог бы добавить: и «столь выгодно», о чем весьма откровенно размышлял автор анонимной брошюры-памфлета за 1984 год. А. Давидсон приводит из нее выдержки: «Британский лев, привыкший к вкусу крови, возвратился на кровавый пир, как всегда, под маской самой высшей благотворительности... Если любая другая европейская держава рискнет аннексировать какую-либо территорию в Азии, Африке или Океании, британская публика разразится взрывом пламенного негодования: Великобритания одна имеет право на вторжение, конфискации и аннексии. Идея истребления так называемых низших рас ради захвата их земель и золота не является новой идеей, плодом творческого гения мистера Родса... Британская матрона, читая за завтраком свою газету, заметит, что еще две тысячи дикарей убиты.— Горнорудные акции поднялись на десять процентов,— отпарирует Отец Семейства».

И далее А. Давидсон констатирует: «Прошло лишь сорок лет после смерти Родса, и его младший современник Уинстон Черчилль драматически воскликнул:

— Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи.

Но все же Черчиллю пришлось сыграть эту роль...

Последней среди крупных британских колоний добилась независимости страна, завоеванная Родсом,— Южная Родезия. В 1980-м, отдав последнее распоряжение — спустить английский флаг, последний губернатор лорд Сомс сказал, что этим завершилась вся многотомная история Британской империи».

Автор монографии постарался разобраться в феномене Родса. Очень многое ему удалось. Портрет Родса на фоне его времени создан с артистизмом, заставляющим порою забывать о том, что перед нами труд историка. Однако А. Давидсон замечает, что если исторически феномен Родса более или менее ясен сейчас, то личность этого героя книги остается неясной. Но может быть, дело в том, что личность гораздо мельче того легендарного образа, который создавало воображение современников? Неужели Родс более загадочен, чем Макбет, Ричард III или Мефистофель? Думается, он проще Макбета, «наивнее» Ричарда и вряд ли даже сам считал себя «злом, творящим добро». Наверняка Родс полагал, что он добрый христианин и еще более добрый англичанин. Однако это было зло «феноменальное» — гигантское, «космическое» — и... маленький, вернее, мелкий человек. Потому что нельзя считать великим человека с узким умом фанатика империализма.

ВИКТОР БЕЙЛИС

«ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ РОМАНС...»

А н р и Л о п е с. Новый романс. Перевод с французского. Предисловие А. Карлова. Послесловие М. Вольпе. Москва, «Радуга», 1985.

Фабула романа весьма проста и, прямо скажем, давно освоена литературой.

Шалопай и развратник, умеющий только гонять футбольный мяч, трудами родственников и влиятельных покровителей получает назначение в дипломатическое представительство своей страны за рубежом. Дипломат из него никудышный, краха (профессионального и морального) ждать пришлось недолго, но «благодетели» находят ему дипломатическую службу в другой стране. Жена горе-дипломата, к которой он относится скверно, постепенно обретает человеческое достоинство и решает в финале покинуть своего мужа-вертопраха.

Что же очередная и, добавим, достаточно банальная семейная драма? С общепринятой точки зрения да. Но общепринятая точка зрения здесь неуместна, по крайней мере по двум важным причинам.

Во-первых, потому, что такая история для африканской женщины, воспитанной традиционно, совсем не банальна, а, напротив, исключительна и достойна строк Луи Арагона из «Базельских колоколов», которые и дали название роману: «Здесь начинается новый романс. Здесь кончается рыцарский роман... Женщина сегодняшняя родилась, и это о ней я пою...»

Для Вали́ (так зовут героиню романа), выросшей в африканской деревне, с детства работавшей с матерью и другими женщинами в поле («Все должно идти по законам предков. Мужчинам — война, охота и беседы. Но ведь соседние племена больше не воюют, а всю дичь извели белые; так что же остается мужчинам?»), окончившей всего несколько классов миссионерской школы и в свое время отданной в жены (читай — проданной за традиционный выкуп) преуспевающему футболисту Бьенвеню Н'Каме, решение уйти от мужа и начать без средств к существованию самостоятельную жизнь — шаг вполне героический.

А во-вторых, и это главное, семейная драма супругов Н'Кама разворачивается на социальном фоне, вобравшем в себя многие из самых трудных и болезненных проблем молодых африканских государств.

Большинство стран Черной Африки переживает сейчас трудный и часто мучительный этап национального и государственного строительства. Получив, а точнее завоевав, политическую независимость, африканские страны столкнулись со множеством социально-экономических проблем, на решение которых история отпустила им в наш бурный век самые скудные сроки.

«Коридоры власти», в которые попадает герой романа Анри Лопеса, нарисованы автором безжалостно: коррупция, трайбалистский (проистекающий из племенной розни) протекционизм, некомпетентность чиновников, казнокрадство, моральная нечистоплотность — вот далеко не полный перечень пороков, которые персонифицированы в представителях различных эшелонов власти. Такое положение вещей автор связывает не только с еще не преодоленным наследием владычества бывших метрополий, но и с внутренними проблемами роста. Стремительный распад общинной нравственности и нехватка времени на создание новой приводит к потере моральных критериев. Где же выход? Автор видит его в воспитании нового человека — озабоченного судьбами своей страны, активного, образованного. И весьма показательно, что по этому пути он ведет африканскую женщину, ранее наиболее бесправного члена традиционной общины. Осознать свое место в жизни Вали помогают двое бельгийских коммунистов — муж и жена Эмпани.

Относительно небольшой роман снабжен весьма значительным аппаратом — и предисловием и послесловием, но к издательским излишествам этот факт отнести нельзя. Предисловие к роману знакомит с мало пока известным у нас автором, хотя Анри Лопес — личность крупная и незаурядная и в литературе и в политике. Он не раз занимал министерские посты в правительстве Народной Республики Конго, а в середине семидесятых годов — во время написания «Нового романса» — был премьер-министром этой страны, так что его горькие свидетельства о трудностях африканских стран не могут не вызывать доверия. Ныне Анри Лопес — заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО.

Писатель Анри Лопес — автор стихотворных сборников, многих рассказов и трех романов. Если не считать нескольких рассказов, опубликованных в разное время в СССР, «Новый романс» — первое серьезное знакомство советского читателя с творчеством этого интересного писателя.

Послесловие к роману создает необходимый культурный и социально-психологический контекст, без которого многое в романе могло остаться непонятым! К несомненным достоинствам послесловия следует отнести и то, что, нисколько не теряя в глубине и серьезности анализа проблем, оно обращено к рядовому читателю, а не к коллеге-литературоведу, как это еще иногда бывает.

«Новый романс» Анри Лопеса — книга честная и правдивая и, несмотря на свой критический пафос, полная веры в будущее Африки.

Ю. ЗДОРОВОВ

В ЗАЩИТУ УГНЕТЕННЫХ

Нгуги Ва Тхионго. Распятый дьявол. Перевод с английского. Предисловие В. Вавилова. Москва, «Радуга», 1985.

Бо́льшая часть этого романа написана в тюрьме, куда в конце 70-х годов известный кенийский прозаик Нгуги Ва Тхионго был брошен за патриотическую деятельность, направленную против реакционной политики властей. Об условиях, в которых возник замысел произведения, посвященного «всем кенийцам, борющимся против неоколониализма и империализма», писатель рассказал в публицистической книге «Задержанный. Тюремный дневник писателя»[1]. Интересно, что первоначальный вариант романа написан автором на языке кикуйю и лишь потом переведен им на английский. Нгуги Ва Тхионго — убежденный сторонник подлинной африканизации национальной литературы. Излагая свою позицию, он писал в одной из своих статей: «Кенийская литература может обрести жизненную силу только через усвоение богатых традиций культуры и истории, воплощенных в языках народов Кении».

Роману «Распятый дьявол» придана форма притчевого сказа, что, как известно, подразумевает некоторую степень условности и абстракции при художественном отображении действительности. Этим качеством данная книга сильно отличается от реалистически точных произведений, созданных писателем прежде. Традиционный африканский резчик намеренно искажает естественные пропорции человеческого тела ради большей экспрессивности скульптуры. Образы «Распятого дьявола» основаны на том

[1] См.: В. Иорданский. Дневник заключенного из камеры № 16. «ИЛ», 1982, № 11.

же приеме гротеска. Словно скульптор-сюрреалист, Нгуги Ва Тхионго орудием слова творит свои причудливые фигуры, будоража сознание.

Гротескная символика, по мысли автора, должна в формах, убедительных для привыкшего к фольклорной образности читателя, показать силы зла, от которых страдает народ.

Основная метафора романа — Дьявол неоколониализма, выступающий в разных обличиях. В кошмарно-фантастическом видении дух зла представляется героине романа Вариинге карикатурно-нелепым господином в шелковом сюртуке и со складным зонтиком в виде трости. У него семь рогов и два рта. Чудище смертельно испугано: толпа хочет его распять. Отныне дьявол не будет превращать землю в ад для тех, чьими руками созидаются все земные блага.

Однако это сон, мечта, которая сама собой не осуществится. В реальности страшный враг не побежден. У него есть защитники, они и сами не прочь нажиться на людских страданиях. К борьбе с Дьяволом, «который обрек нас на слепоту сердца и глухоту разума», призывает Пророк Справедливости. Он рассказывает историю-притчу о кенийской девушке, не желающей мириться со своим бесправным положением. Мыслями о трудной женской доле, стремлением видеть в женщине активного борца за социальный прогресс навеян и образ Вариинги.

Лишившись крова и работы из-за произвола хозяев, она попадает на праздник Дьявола, где мошенники всего мира похваляются умением грабить. Вариинге открывается то, что обычно скрыто от посторонних глаз. В главах, посвященных описанию Бала Сатаны, сарказм писателя достигает высшего накала. Механизм эксплуатации и грабежа предстает перед Вариингой и ее спутниками, такими же обездоленными людьми, с наглядностью учебного пособия, обнажающего пружины, винтики и главные рычаги. Помещики, банкиры, продажные политиканы — персонифицированные воплощения империалистического Дьявола — с циничной откровенностью похваляются друг перед другом искусством делать деньги, обворовывая народ.

Острие писательской сатиры направлено против компрадорской буржуазии, предавшей идеалы свободы, за которые боролись кенийцы в период британского владычества. Творчество Нгуги Ва Тхионго всегда остросоциально. Этот кенийский прозаик придерживается четкой классовой позиции при изображении социально-политических процессов, протекающих на континенте. Тема раскола некогда патриархального, стремящегося к единым целям перед лицом колонизаторов общества затрагивается им в романах «Пшеничное зерно» и «Кровавые лепестки». Та же проблематика доминирует и в «Распятом дьяволе», но здесь она выражена, как никогда, страстно. Драматически напряженная обличительная нота определяет тональность произведения.

...Самодовольство нуворишей не знает пределов. Участники Бала Сатаны, патологические стяжатели, бахвалятся роскошными виллами, дорогими лимузинами, громадными счетами в банках. Кое-кто из них вовремя смекнул, что выгодно заняться земельными спекуляциями, и нажил на этом миллионы, пустив по миру тысячи крестьянских семей. Другой сумел сыграть на снобизме новой черной элиты, появившейся в стране после изгнания колонизаторов, и прибрал к рукам школы, которые теперь предназначены «только для избранных кенийцев», как раньше они существовали «только для европейцев». Третий, подкупив избирателей, добился места в парламенте. Этот продажный политикан возглавил комитет по строительству и распределению муниципальных квартир, и деньги хлынули в его карман, многократно возместив все расходы на кампанию по выдвижению в парламент. Именно он предлагает довести население страны до такой степени нужды, чтобы всякий рабочий или крестьянин был рад приобрести у «добросердечных» домовладельцев жилье размером с птичье гнездо. Не ему ли достанется пальма первенства на конкурсе воров? Нет, он отнюдь не самый смекалистый рационализатор. Раздаются, к примеру, голоса, призывающие искусственно вызвать в стране голод и взвинтить цены на продовольствие. Вот уж тогда прибыли крупных землевладельцев грандиозно возрастут.

В романе «Распятый дьявол» Нгуги Ва Тхионго недвусмысленно показывает, что национальная буржуазия зависит от империалистических монополий. Колонизаторы ушли, чтобы остаться. Ныне они не имеют прямого политического контроля над кенийцами, но в их распоряжении не менее действенные экономические рычаги. Обращаясь с приветственным словом к делегатам «Международной лиги современного грабежа и разбоя, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке», распорядитель Бала Сатаны говорит: «Мы должны овладевать опытом наших зарубежных коллег. Нет ничего зазорного в том, что мы еще не столь искусны, как они. Так припадем же к источнику чужестранной премудрости. Напейся, но не облейся». Когда же один из участников воровского слета дерзко высказался: мол, настала пора кенийским предпринимателям освободиться от опеки заокеанских покровителей, к чему делиться наживой с другими,— его с позором изгоняют, дабы не прогневать всемогущих представителей транснациональных корпораций из Америки, Западной Европы и Японии. Нарочито окарикатуренные фигуры участников праздника Дьявола выразительно характеризуют типы современной африканской буржуазии, ненасытно алчной и диковато-примитивной в этой алчности.

Один за другим выступают ораторы. Каждый говорит о своих способах грабежа, однако методы в общем у всех одинаковы: взяточничество, подкуп, контрабанда, насилие, нещадная эксплуатация рабочих и крестьян.

Праздник Дьявола открыл Вариинге глаза на то, что раньше ей было непонятно. Фантастическое происшествие в Илморогe, вымышленном финансово-экономическом центре современной Кении, заставило девушку по-новому взглянуть на свою жизнь и на жизнь страны. Случайны ли ее личные невзгоды? Конечно нет. Она жертва

несправедливости, обрекающей большинство народа на прозябание.

Осознав это, Вариинга решается на активную борьбу за собственное достоинство. Эта борьба начинается с внутреннего перерождения, с постижения трудной истины, что обладающий волей человек перестает быть игрушкой в руках темных сил. Вариинга финальных глав романа являет собой идеализированный образ кенийской женщины, какой ее хотел бы видеть писатель. Она горда и самостоятельна. Ее не привлекает карьера секретарши при каком-нибудь боссе, она работает в гараже автомехаником, а вечерами учится на инженера. Теперь Вариинга способна постоять за себя и не только за себя одну. Она убивает старого богача, некогда надругавшегося над ней. Личная месть? Не только. Ею движет сострадание к простым людям. Женщина новой Кении, мстительница — Вариинга знает, что, покончив с «губителем», она окончательно порывает с прошлым. Отныне вся ее жизнь подчинена интересам борьбы с угнетателями.

Нгуги Ва Тхионго никогда не пишет о настоящем в отрыве от прошлого, ему важно отобразить движение жизни, ее изменчивую противоречивость. Вот и в «Распятом дьяволе» память о славной эпохе «ухуру» — движения за независимость против колонизаторов — служит как бы психологическим фоном для оценки событий сегодняшнего дня. Идеи, которые писатель выражает в произведении, соответствуют тому, о чем он неоднократно писал в литературно-критических и публицистических работах. По его твердому убеждению, возрождение национальной культуры африканских народов невозможно без подлинного экономического и политического освобождения. Неоколониализм — враг культуры. «Мы слишком мало сделали для того, чтобы покончить с нашим колониальным прошлым, с унаследованными экономическими и другими институтами; разве что поставили во главе их черных руководителей»,— утверждал Нгуги Ва Тхионго несколько лет назад в одном из эссе, составивших книгу «Возвращение домой». По мнению писателя, в рамках капиталистической системы Африка обречена на вечное унижение и отсталость. Эта принципиальная для прозаика мысль определяет идейное содержание его последнего романа.

Однажды Нгуги Ва Тхионго сравнил процесс культурного возрождения африканских народов со строительством дома. На пепелище старой хижины возводится новое здание. Долг писателя — внести свою лепту в это строительство. Правдиво изображая ситуацию в Кении, Нгуги Ва Тхионго сохраняет верность своему долгу

М. ЗАХАРЕНКОВ

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ...

Mulk Raj Anand. The Bubble. New Delhi, London, Arnold Heineman, 1984, 604 p. 125 Rs.

Мулк Радж Ананд. Пузырь. 1984.

В начале августа 1985 года состоялось международное заседание, посвященное предстоящему 50-летию Ассоциации прогрессивных писателей Индии. Среди присутствующих на «золотом юбилее» находился один из основателей Ассоциации, лауреат Международной премии Мира, известный писатель Мулк Радж Ананд (род. в 1905 г.). В 30-х годах на страницах советских журналов и газет уже встречалось его имя. Когда в 1937 году английский писатель Джек Линдсей написал его литературный портрет, это эссе опубликовала «Интернациональная литература». Советский читатель знает произведения М. Р. Ананда, «патриарха» англоязычной литературы Индии. Из его 60 романов изданы на русском языке «Кули» (1941), «Два листка и почка» (1955), «Большое сердце» (1955), «Гаури» (1964) и другие, а что касается рассказов, то большинство из них вошло в сборники его произведений — «Избранное» (1955), «Банановое дерево» (1954), «От тьмы к свету» (1961), «Сельская свадьба» (1970) — и в антологии рассказов индийских писателей.

Свидетельство творческой активности М. Р. Ананда в последние годы — осуществление грандиозной задачи: Ананд создает беллетризованную автобиографию в семи томах, составляющую серию «Семь возрастов человека». Несколько лет назад на страницах «Иностранной литературы»[1] Ананд делился с читателями своим замыслом: «Во всех семи томах романа мне важно показать, как человек познает себя, ибо без этого ему не выйти из тисков индивидуализма и не обрести душевной чуткости, чтобы любить и сострадать, чтобы жить достойной жизнью и полностью осуществить свои человеческие возможности.

Уже вышли в свет первые три тома: «Семь лет», «Лик утра» и «Признания влюбленного». Четвертый, «Пузырь», тоже скоро будет опубликован. Кончаю редактировать пятый том эпопеи, и у меня готов план шестого и седьмого. Я задумал это эпическое повествование ради того, чтобы мраку философии пессимизма противопоставить творческий дух великих мировых революций».

Упомянутые Анандом книги хорошо известны не только в Индии, но и за ее пределами. Два первых тома переведены и на русский язык и изданы в СССР под заглавием «Семь лет» (1957) и «Лик рассвета» (1963).

«Пузырь» — роман-исповедь, в котором Ананд продолжает рассказ о жизни своего поколения. Действие происходит в 30-е годы в Англии. Главное действующее лицо, студент философского факультета Кембриджского университета Кришан Чандар-Азад, повествует о своей судьбе, и читатель становится свидетелем «превращения бутона человеческой души в цветок жизни»: из юноши, который стремился «духовно расти, познавать все и впитывать», Кришан становится зрелым человеком. Правда, этому способствовало его возвращение в Индию, беседы с Махатмой Ганди о смысле жизни, об «умении служить». «Вечный вопрос» — *кому* и *как* служить — окончательно стал ясен Кришану и сложился в твердое убеждение: «Предметом изучения философии является человек».

[1] См. «ИЛ», 1982, № 5.

Роман «Пузырь» состоит из десяти глав, причем некоторые из них могут представлять самостоятельные произведения, например, третья глава «Дети в лесу» — роман о превратностях любви художницы Ирен и Кришана; а глава «Беседы в Блумсбери» — о встречах Ананда с людьми, представлявшими «авангард мысли» в Европе в 20—30-е годы — опубликована отдельной книгой в Лондоне в 1983 году.

Ананд обращается к документальному материалу, прибегает к разнообразным литературным приемам: используются эпистолярная форма и дневниковые записи, воспроизведены монологи, а еще чаще — диалоги беседы с Э. М. Форстером, Леонардом и Вирджинией Вулф, Бертраном Расселом, Дж. Кришнамурти и др. Такой синтез никак нельзя назвать тривиальным: в Индии подобная структура романа до сих пор не встречалась.

Роман Ананда отмечен масштабностью проблем, накалом социальных и личных эмоций. Здесь и забастовки в Англии, и антибританские демонстрации в Ирландии, и страсть Кришана к девушке довольно левых взглядов, проповедующей свободу политическую, социальную и эмоциональную. Ярко освещены и вопросы взаимодействия культур Востока и Запада.

Кстати, проблема взаимовлияния духовных миров Востока и Запада, индийской и европейской культуры не нова для индийской англоязычной литературы: достаточно вспомнить романы Раджи Рао «Змея и веревка», «Кошка и Шекспир», Камалы Маркандайи — «Алчность», «Плотина» или Аттии Зусейн «Солнце на разрушенной колонне» и многие другие.

Кришан у Ананда тоже изучает философию Юма, Канта, Гегеля, западную литературу и искусство, в то время как Ирен посещает занятия йоги, организованные Гуру Рамджи. Вот Ирен и Кришан вместе посещают постановку «Гамлета» и обсуждают ее; вот Кришан толкует Ирен «Упанишады», беседует с индийским скульптором Кумарасвами, а в Париже — с Элиотом, Тцара, Вулф.

Само название романа «Пузырь» метафорично. Так, Ирен называет Кришана «самодовольным пузырем», ведь он очень тщеславен.

Однако из эпиграфа романа — четверостишия поэта телугу Гопала Редди — становится ясно еще одно его значение:

Сегодня мыльный пузырь,
Красивый и разноцветный,
Плывет по течению
Быстрой реки Времени.

Мыльный пузырь здесь — не только символ быстротечности и хрупкости жизни, но и ее многоцветности

Во второй части романа перед нами предстает Кришан полный сомнений, ищущий ответа на вопрос: индуизм или христианство способствует обретению большей раскованности души и самоосвобождению. Он верит в существование равновесия жизненных сил, «взвешивая на весах судьбы» любовь и одиночество, мысль и действие, теорию пассивного сопротивления Ганди и практику агрессии и насилия. Письма Кришана к другу Нуру, отцу Ирен, исполнены размышлений, впоследствии воплотившихся в его философских работах.

Роман Ананда во многом не безупречен. В нем ощутимы длинноты, встречаются повторы, например эпизодов из предыдущих романов. Есть композиционные недостатки: одни главы насчитывают 100—150 страниц, а в главе «Письмо к отцу» — всего 8. Роман не всегда логичен в развитии характеров — так неоправданно импульсивен характер самого Кришана. Это роман спорных идей, а иногда и неприемлемых выводов: Кришан, например, разделяет идею абсолютной свободы личности в буржуазном обществе.

Вместе с тем Ананд из романа в роман заставляет нас задумываться над актуальными вопросами бытия человечества, познания мира и самопознания. Он — один из немногих писателей Индии, которые уделяют серьезное внимание проблеме места человека в обществе и его назначения в жизни; в его романах действуют мощные народные массы, ввергнутые в круговорот истории (трилогия: «Деревня», «За черными водами», «Меч и серп»), он раскрывает некоторые сложности и противоречия индийской жизни. Роман «Пузырь» — это сага о судьбе интеллигенции в Индии в лице Кришана Чандара-Азада и в какой-то мере о жизни современного человека.

Книга свидетельствует об эрудиции писателя, о его знакомстве не только с духовными ценностями Востока, но и западной культуры. Она имеет большое познавательное значение. Характерна эпиграфика произведения: здесь изречения и афоризмы Конфуция, Шекспира, Руми, Блейка, Гёте, Рама Чанда, Форстера, Шоу, Сечандры Шармы, Элиота, Экзюпери и других писателей. Нова сама поэтика романа, представляющего интерпретацию европейского «воспитания чувств» в индийском понимании. Думается, главное достоинство нового романа Мулка Раджа Ананда — именно эта, глубоко осмысленная синтетичность.

Е. КАЛИННИКОВА

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Тосио Симао. Ваннай-но ириэ-де. Журнал «Синтё», 1983. № 6.

Сотокити Кусака. Хайиро-но уми. Токио. 1983.
Тосио Симао. Бухта в заливе. 1983.
Сотокити Кусака. Серое море. 1983.

Японская литература многолика. Разные направления, разные жанры, тематика. Писатели — традиционалисты, эгобеллетристы, модернисты, писатели демократического направления «Чистая литература», выходящая обычно небольшими тиражами, часто на средства самого автора или группы его литературных собратьев. И лавина так называемой массовой литературы.

Но есть в японской литературе тема, которая присутствует в ней сорок лет,— тема минувшей войны. В ней явственно видны два писательских подхода. С одной стороны —

оправдание и восхваление целей войны, желание представить ее в приукрашенном виде, сделать привлекательной для молодежи, ее не видевшей. Этому направлению противостоит другое — обличающее войну и горе, которое она с собой принесла. Начало ему было положено усилиями «поколения вернувшихся»—Хироси Нома, Тацудзо Исикава, Дэюмпэй Гомикава, Иосио Хотта, Сюсаку Эндо. Многие их романы, повести и рассказы переведены на русский язык.

По-прежнему выходят произведения и жанра «гэмбаку бунгаку» — «атомной литературы»; ее авторы вновь и вновь напоминают читателям о том, что исключено из официальных учебников — об атомных бомбах, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки, о гибели сотен тысяч мирных жителей, о страданиях тех, кому посчастливилось выжить, о трагических последствиях, проявляющихся и поныне. Об актуальности этой темы в современной Японии говорят недавно опубликованные пятнадцать томов «Японской атомной литературы», составленной Кэндзабуро Оэ.

Тема минувшей войны и ее осмысление с позиции сегодняшнего дня волнует не только честных писателей Японии. Отвечает она и читательскому интересу. Свидетельство тому — две премии: одна — писателя-традиционалиста Ясунари Кавабата и другая — пролетарских писателей Юрико Миямото и Такидзи Кобаяси, присужденные в 1983 году. Одна из них — рассказу Тосио Симао «Бухта в заливе», вторая — роману Сотокити Кусака «Серое море».

Оба произведения посвящены войне и написаны спустя десятки лет. Вероятно, нужно было время на осмысление пережитого. И сознание, что этот горький опыт поучителен для других.

Тосио Симао (род. в 1917 г.) — один из самых известных и уважаемых японских писателей, член Японской художественной академии, тонкий психолог, сосредоточивший внимание на передаче тончайших нюансов человеческой души, переживаний большей частью камерных. Однако глубоко личный, автобиографический рассказ «Бухта в заливе» поднимает вопросы общезначимые.

В конце марта 1944 года двести призванных в армию студентов неожиданно переводятся из морской школы в тренировочный лагерь в заливе Омура. Там, в прекрасной, точно зачарованной бухте, они проходят военную подготовку. Япония уже терпит поражение за поражением, фронт приближается к японским островам, обескровленная промышленность не справляется с военными заказами. Поэтому командование возлагает надежды на так называемые спецчасти: смертников на катерах, нагруженных взрывчаткой.

И вот однажды вечером командир отряда собирает курсантов, рассказывает о новом оружии особого назначения и дает понять, что желание вступить в спецотряд всячески приветствуется. Через сутки в письменном виде надлежит сообщить о столь важном решении. И юный герой, бывший студент, влюбленный в жизнь и книги, уже знает, что пойдет добровольцем. Почему? Это остается за кадром. Японской литературе свойственна недоговоренность, но мотивы решения понятны, если вспомнить обстановку тех лет — военный угар, безудержный шовинизм и призывы умереть за императора и священную Японию. Мужество и смелость требовались тогда, чтобы отказаться от участи смертника.

Симао подробно описывает следующий длинный-длинный день. А вечером герой пишет: «Изъявляю желание пойти добровольцем в спецотряд». Так же поступили и все остальные.

Далее следует описание тягостных дней ожидания и мелькавшей иногда надежды, что, может быть, спецчасти не потребуются: «Я глядел на разбросанные тут и там дома рыбаков, и сердце сжималось от этой картины. До меня доносился запах дыма очагов, голоса матерей и детей, лай собак, и эта обыденная жизнь входила в мою душу. Я с горечью думал, что никогда уже не смогу вернуться в милую повседневность, точно меня отделяет от нее пропасть».

Рассказ «Бухта в заливе», необычный для Симао последнего времени, вызвал большой интерес критики и читающей публики. Известный писатель Ясуси Иноуэ, председатель жюри по присуждению премии Ясунари Кавабата, назвал его «самым значительным произведением Симао, которое тот не мог не написать».

«Бухта в заливе», созданный в наши дни,— как бы пролог к другому рассказу Симао, «Выступление так и не состоялось», о последних днях минувшей войны, увидевшему свет в 1962 году.

Командир отряда торпедных катеров особого назначения вечером 13 августа 1945 года получает приказ о боевой готовности. Отряду из пятидесяти катеров, начиненных взрывчаткой, надлежит выйти в море навстречу кораблям противника и врезаться в них на полном ходу. Полтора года, говорит герой рассказа, он жил под знаком приготовлений к смерти, и вот наконец этот день наступил. «И хотя смерть, которая, как казалось, на этот раз тебя не минует, стояла перед глазами, непокорная плоть все-таки не смирялась, и это порождало в душе какую-то странную пустоту». Герой ведет свой рассказ внешне бесстрастно, скрупулезно описывает ход событий и нюансы переживаний; контраст между драматизмом происходящего и бесстрастной манерой повествования производит глубокое впечатление.

В тягостной дреме проходит ночь. Взошло солнце, «которое никакими силами нельзя было затащить обратно», а приказа о выступлении нет. Пришли на базу крестьяне из соседней деревни. Узнав, что молодые люди должны уйти на смерть, они хотят проститься с ними. Пришла любимая девушка героя — на поясе у нее кинжал. День проходит в мучительной неизвестности. Душа и плоть радуются, что смерть хоть немного задержалась, но ожидание невыносимо. Проходит ночь, и снова наступает день. Наконец героя вызывает командование. Выйдя наверх из бомбоубежища, он замечает нечто необычное. Собравшись группами, люди что-то обсуждают. И он понимает: война кончилась.

«Я почувствовал облегчение», — лаконично роняет герой.

Этот рассказ Тосио Симао также автобиографичен. После окончания исторического факультета он был призван в армию и стал командиром отряда «токкотай» — смертников — на островах Амами, о которых Гончаров писал во «Фрегате «Паллада»: «Идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана».

Полтора года Симао жил в ожидании смерти на этом райском острове. Почти двое суток, как герой его рассказа, ждал приказа. Это ожидание пережила и его возлюбленная Михо, которая поклялась, что, как только отряд уйдет в море, она заколет себя кинжалом. Однако выступление не состоялось — Япония капитулировала...

Почему же Симао написал рассказ «Бухта в заливе» сорок лет спустя? Очевидно, толчком к его написанию явились события наших дней, когда вновь ожил призрак атомной угрозы. Симао, чуждый политики, в числе пятисот японских литераторов поставил свою подпись под воззванием, требующим запрещения ядерной войны. Но самое главное, его рассказ — предостережение молодежи, которая по неведению может легкомысленно распорядиться и своей собственной жизнью, и жизнью планеты.

У Сотокити Кусака (род. в 1928 г.) путь к роману был долгим, появление его неожиданным. Кусака — прежде всего поэт, автор поэтических сборников «Стихи разных лет», «Море и солнце». Интерес к Советскому Союзу, очень сильный в послевоенной Японии, привел Кусака на русское отделение университета Васэда. Кусака защитил диссертацию на тему «Пушкин — русский народный поэт». Его переводы пушкинской лирики вошли в шеститомное собрание сочинений русского поэта, выпущенное издательством «Кавадэ». Перу Кусака принадлежат переводы стихотворений Брюсова, Маяковского, Евтушенко, Вознесенского, повестей Трифонова и многое другое. Кусака — член Общества по изучению советской литературы — двадцать лет сотрудничает в журнале «Советская литература» на японском языке, трудно даже сосчитать, что перевел он за это время. Он составитель, комментатор и переводчик хрестоматии для юношества «Русская и советская поэзия», выдержавшей уже восемь изданий. В ней представлены поэтические произведения, начиная от образцов древнерусской поэзии и кончая поэзией наших дней.

А когда ему перевалило за пятьдесят, он выпускает первый роман.

«Серое море» не хроника, не воспоминания, не записки очевидца. Это роман, но сквозь повествование просвечивают подлинные события и люди. И в первую очередь это относится к Комао Якута, прототипом которого является сам автор.

Отец писателя — Дзинити Кусака — был вице-адмиралом. В годы войны он командовал японским военным флотом на юго-восточном направлении. Брат отца, вице-адмирал Рюноскэ Кусака, занимал пост начальника Главного штаба императорского флота.

В стихотворении «Дом» Сотокити Кусака вспоминает:

Я вернулся в мой город над морем.
Там есть маленький храм на вершине горы.
Там есть маленький дом — он большим мне казался когда-то.
Там когда-то жила адмиральская громкая слава.
Наезжали туда офицеры
В белых кителях, в ярких нашивках.
Там смеялись, шумели, шутили...

(Перевод И. Фонякова)

Мальчиком Сотокити слышал разговоры о военных победах и подвигах, мечтал поступить в военно-морское училище, но в 1943—1944 годах в дома соседей стали приходить извещения о смерти, в небе все чаще слышался рокот американских самолетов, то здесь, то там пылали разбомбленные кварталы. А из радиоприемников по-прежнему неслись бравурные военные марши — пройдут годы, и они станут вспоминаться ему как голос отчаяния.

Стихотворение «Дом» кончается так:

Я вернулся в мой город над морем,
Я в саду возле дома стою.
Больше некому, знаю, сюда возвращаться.
Больше некому будет уйти.
Что нам с Прошлым поделать?
Его
Зачеркнуть, изменить — невозможно.
Двери дома, в котором витают
Тени прошлого, боль, заблужденье, обман, —
Нерешительно я открываю.

«Дверью в Прошлое» для Кусака и стал роман «Серое море».

Его герой Комао попадает наконец в военно-морское училище, куда рвался всей душой. Там он на собственном опыте познакомился с муштрой, тиранией старших курсантов, с бесчеловечными нравами закрытого военного учреждения. Верящий в «священную войну», которую ведет Япония, он готов ради нее терпеть все, что выпадает на его долю, но, наблюдательный от природы и наделенный чутким сердцем, Комао быстро понял, что его идеалы иллюзорны, а действительность не похожа на мечты. Весь режим училища был направлен на то, чтобы убить в человеке человеческое, заставить поверить в счастье умереть за императора. Уже ясно, что поражение неминуемо, уже капитулировала фашистская Германия, а начальство по-прежнему муштрует курсантов и демагогически разглагольствует о грядущей победе.

После капитуляции Японии курсанты были распущены, и, возвращаясь домой, Комао увидел Хиросиму. Ему приходилось бывать здесь с матерью, когда он учился в школе, и он помнил леса на близлежащих горах, листву, наливающуюся в это время года багрянцем. Теперь листва казалась коричневой. Кругом мертвая тишина и безлюдье. Комао испытывает ужас при виде этого зрелища. И с беспокойством думает о судьбе отца, который будет судим как военный преступник. Страна же оккупирована американцами. Как все это могло случиться и кто виноват? Комао возвращается домой. Его переполняют противоречивые чувства. Золотые огоньки в окнах домов внушают ему надежду.

Серое море — в буквальном переводе «море цвета пепла» — символ развеянных

иллюзий. На обложке книги изображен силуэт отдающего честь моряка, но при этом он словно бы валится на бок, как во время сильной качки. Комао «качнула» жизнь, поставила его перед трудным выбором, и что он решит, мы еще не знаем. Однако мы знаем, какой путь выбрал Сотокити Кусака.

«Цель литературы,— говорит он,— изображение жизни, как бы она ни была сложна. Если писатель так ее не изображает, то он не писатель».

Вот две книги, написанные почти сорок лет спустя после описываемых событий. Две неординарные человеческие судьбы. Две разные творческие индивидуальности. Два разных типа художественного восприятия. Но одно роднит эти произведения — дегероизация войны, которую вел японский милитаризм. Обе книги и образ мысли их авторов — важное свидетельство совершающейся перемены в умонастроениях японской интеллигенции, которая ранее придерживалась идей и представлений милитаристской Японии.

И. КОЖЕВНИКОВА

НА РУБЕЖЕ КУЛЬТУР

С. В. Прожогина. Рубеж эпох — рубеж культур. Проблемы типологии литературы на французском языке в странах Северной Африки. 40—80-е годы. Москва, «Наука», 1984.

С. Прожогина более двадцати лет занимается изучением франкоязычных литератур Алжира, Марокко и Туниса, и результаты ее трудов неоднократно находили отражение на страницах «Иностранной литературы». Четвертая ее книга, «Рубеж эпох — рубеж культур», во многом отличается от опубликованных ранее[1]. И дело не только в новом взгляде на магрибинские литературы как на единое целое, в оригинальности суждений. Она создана и на более высоком обобщающем уровне, что позволило автору среди множества разнородных, нередко противоречивых явлений увидеть столь своеобразный пласт, как франкоязычные литературы. К тому же рассматриваются они в трех временных измерениях — прошлом (колониальный период и национально-освободительная борьба), настоящем (ликвидация последствий колониализма) и — прогнозируемом магрибинскими писателями будущем; причем рассматриваются с «сопутствующими» им идеологическими, социальными, общекультурными процессами.

В книге «Рубеж эпох — рубеж культур» речь идет о наиболее значительных писателях Алжира, Марокко и Туниса. Некоторые, Мулуд Фераун и Катеб Ясин, Малек Хаддад и Мулуд Маммери, Мухаммед Диб и Рашид Буджедра, уже известны читателям из публикаций в журнале «Иностранная литература» переводов на русский язык. В частности, были «открыты» журналом романы Набиля Фареса, Дрисса Шрайби, Рашида Буджедры. Книга представляет нам и малознакомые пока имена: Маргарита Таос, Али Бумахди (Алжир), Ахмед Сефриуйи, Абделькебир Катиби, Мухаммед Хайреддин и Тахар Бенджеллун (Марокко).

Анализируя романтизированные биографии, созданные прозаиками Алжира, Марокко и Туниса, исследовательница показывает, как разнообразные в идейном и художественном планах произведения отображают национальную действительность. Важнейшие, общенародные проблемы — человек и мир, личность и общество — стоят, например, и перед Мулудом Ферауном, автором романа «Сын бедняка», еще близкого к документальному типу прозы, и — М. Таос, книга которой «Улица Тамбуринов» более законченна с точки зрения художественной. Интересует она и А. Сефриуйи, создателя лирического, проникнутого ностальгией по безвозвратно ушедшему детству романа «Ларчик чудес», и Мухаммеда Диба, в романе «Большой дом» писавшего о голоде и нищете колониальной алжирской деревни, и Али Бумахди, осветившего в эпической «Деревне Лилий» опыт прошлого с позиций «свершившихся исторических перемен».

Автор исследования утверждает, что разнообразное по стилю и методу изображение детства героев в биографическом романе всегда подчинено главному — противопоставлению мира свободолюбивой личности миру колонизаторов. Причем это «противостояние миров», скрытое (у Ферауна, Таос, Сефриуйи), или явное (у Диба и Бумахди), характерно, по мнению С. Прожогиной, и для периода становления национальной литературы, и периода послеколониального.

Эволюция художественного сознания, принципов отражения в искусстве действительности рассмотрена в книге с помощью конкретного анализа произведений более позднего времени — «Татуированная память» А. Катиби, «Память отсутствующего» Н. Фареса, «Обладатель кубка» и «1001 год ностальгии» Р. Буджедры, где обыденная реальность соседствует с легендами о прошлом, с вымыслом, подчас даже сказкой, поскольку писатели задались целью отразить колебания и сознания арабского народа» между тягой к настоящему, стремлением к будущему и властным прошлым. Исследование охватывает немалый промежуток времени — 40—80-е годы нашего столетия, являясь источником сведений о литературе последних лет.

Автора интересуют многие проблемы. И сугубо литературоведческие: выявление — впервые в советской африканистике — особенностей развития магрибинских литератур как единой зональной системы, и анализ процесса формирования каждой из этих литератур в зависимости от изменения исторических условий, роста национального самосознания. А наряду с ними возникает проблема «столкновения» Востока и Запада, «встречи» европейской (французской) цивилизации с цивилизацией североафриканской и столь злободневная для Африки послеколониального периода проблема личности, постепенно преодолевающей созданный колонизаторами барьер отчуждения.

[1] Прожогина С. В. Литература Марокко и Туниса. М., 1968. Франкоязычная литература стран Магриба. М., 1973. Магриб: франкоязычные писатели 60—70-х годов. М., 1980.

Поскольку книга С. Прожогиной построена на противопоставлении двух эпох — колониальной и эпохи независимого развития, в центре внимания находится эволюция магрибинских литератур переходного периода, и недаром слово «рубеж» дважды повторено в заглавии книги. «Борьба за национальную независимость в сознании демократически настроенной интеллигенции всегда связывалась и с борьбой за социальное освобождение своих народов, — пишет С. Прожогина. — Вот почему эпоха борьбы требовала от писателей обращения к исторической, этнографической, культурной, духовной реальности своих стран, но прежде всего к реальности социальной, а значит, и показа ее противоречий в художественной реальности произведений, показа не просто сдвигов в традиционных структурах и традиционном сознании под влиянием нового времени, но и активного участия самого человека в процессе этих социально-исторических перемен». Вся совокупность проблем и противоречий и колониального общества, и общества периода деколонизации обусловила возникновение личности, находящейся «на рубеже культур», определила ее типические черты, утверждает исследовательница.

Это переходное, «пограничное» состояние, свойственное как развивающейся личности, так и литературному, шире — культурному процессу, — побуждает оценивать литературные явления в постоянной динамике, в борьбе противоречий. Автор обращается к комплексному исследованию, пришедшему на смену «изолированному» изучению национальных литератур как явлений локальных, разрозненных. И это закономерно. Литературные процессы, происходящие при сложном, зачастую антагонистическом переплетении политических, идеологических, языковых, национальных факторов, «привязаны» автором книги к факторам внелитературным, прежде всего историческим и социальным судьбам народов, общей идеологической и общественной ситуации в странах Магриба. Воздействие этих «внелитературных» факторов иногда столь мощно, что длится и после того, как сами они прекратили существование. Пример — Алжирская война, повлиявшая на характер творчества даже тех писателей, которые пришли в литературу уже после получения страной независимости.

«Просветительская» функция, свойственная каждому, кто занимается малоизученными у нас литературами, отчетливо ощущается и в данной книге. Исследовательница решительно отказывается от обезличенного описания, ее оценки анализируемого материала иногда подчеркнуто эмоциональны. При этом структура фразы нередко становится особенно разветвленной, даже сложной: исследовательница подчеркивает, уточняет сказанное, словно опасаясь, что неискушенный читатель может что-то упустить или недопонять, поэтому иногда трудновато следить за ходом авторской мысли. Это, однако, нисколько не умаляет главного достоинства книги «Рубеж эпох — рубеж культур», являющейся серьезным исследованием в области африкановедения.

Е. РЯУЗОВА

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА»

Так называется новая пьеса известного австрийского прозаика и драматурга Томаса Бернхарда, которую поставил в Зальцбурге режиссер Клаус Пейман. Герой ее Брускон, бывший актер государственного театра, странствует со своей семьей по маленьким городкам и деревушкам, устраивая там представления.

«Стоит исполнителю главной роли Трауготу Буре произнести первую фразу,— пишет рецензент «Франкфуртер альгемайне» Ульрих Вайнцирль, — как становится ясно: перед нами старый знакомый из числа бернхардовских театральных персонажей, художник, стремящийся к недостижимому совершенству». «Он наслаждается своей работой, проклиная ее»,— замечает в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» критик Гюнтер Энгельхард. Брускон называет театр «тысячелетним извращением», обращает гневные филиппики против всех и вся — и прежде всего против себя самого, невыносимо мучает жену и детей. «Удивительно, как еще при всем этом Трауготу Буре удается изобразить это чудовище полутрагической фигурой,— пишет Ульрих Вайнцирль. — Ведь его герой крайне озлоблен и безнадежно комичен».

В уютном придунайском городке Уцбахе Брускон хочет поставить драму собственного сочинения «Колесо истории», в которой действуют реальные исторические лица, от Цезаря до Гитлера. Эта «драма о человечестве» должна кончиться картиной общей гибели. Но и этот замысел терпит провал. Вмешиваются силы природы, непогода разгоняет зрителей из театра под открытым небом.

«Театр в театре, театр о театре... Не случайно тему конца света Томас Бернхард преподносит именно как комедию. Он просто не может иначе, так как он сам человек театра и к тому же один из немногих юмористов в немецкоязычной драматургии», — заканчивает свою рецензию Ульрих Вайнцирль.

БОЛГАРИЯ

СБОРНИК «ПОЭЗИЯ-85»

Вышел в свет сборник «Поэзия-85», приуроченный к традиционному празднику поэзии, проходившему в г. Пазарджике. Книга открывается широко известными стихотворениями, посвященными теме антифашистской борьбы и Великой Отечественной войны, которые в различное время были созданы выдающимися болгарскими поэтами. К этому разделу примыкает и статья критика Ивана Цветкова «Поэзия великой победы» о творчестве болгарских и советских поэтов, писавших о Великой Отечественной войне. Второй раздел составляют новые стихи современных болгарских поэтов разных поколений. Разумеется, пишет еженедельник «Литературен фронт», не все они в одинаковой мере удачны, но в целом в них проявляется характерное для сегодняшней болгарской поэзии многообразие тематики, стилей; большое место в сборнике занимают стихи молодых поэтов. Завершается книга интересным писательским разговором о проблеме отражения в литературе антифашистской борьбы, жизни современной армии, подвига народов, сражавшихся против фашизма в годы второй мировой войны.

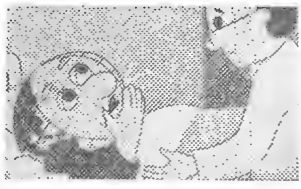
ВЕНГРИЯ

«Ее еще можно спасти!» — так называется научно-популярный фильм режиссера Евы Фюзеши, снятый ею по собственному сценарию для венгерского телевидения. В фильме, посвященном охране окружающей среды, одиннадцать серий-киноновелл. Первая серия повествует об истории зарождения жизни на Земле, вторая — о нарушении экологического равновесия в современном мире. Другие серии рассказывают о борьбе с загрязнением окружающей среды.

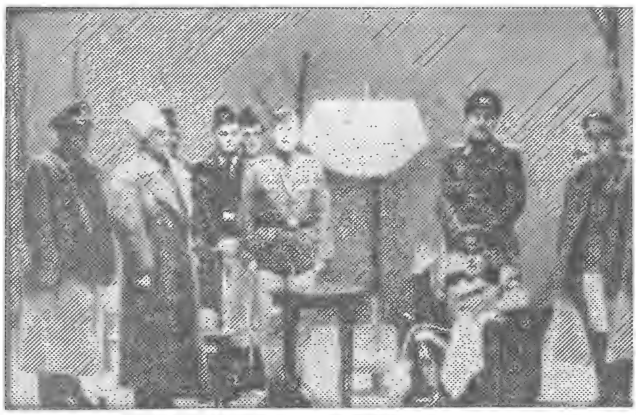
Для усиления художественной выразительности фильма режиссером использованы кадры мультипликации. «Научно-популярный фильм «Ее еще можно спасти!»,— пишет журнал «Уй тюкёр»,— взывает к разуму и совести всех людей на земле: «Нужно беречь и защищать природу!» Автор фильма Ева Фюзеши считает, что охрана окружающей среды — вклад в дело мира.

На снимке: кадр из фильма «Ее еще можно спасти!».

(Журнал «Уй тюкёр»)



ГДР



В нескольких театрах ГДР поставлена пьеса Иоганнеса Р.Бехера «Зимняя битва», написанная в эмиграции в 1942 году (первоначально пьеса называлась «Битва за Москву»), где писатель рассказал о поражении гитлеровских войск под Москвой. В «Дойчес театер» постановку пьесы осуществил режиссер Александер Ланг.

(Журнал «Театер дер цайт»)

ГРЕЦИЯ

МОЛОДЫЕ ИЗДАЮТ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Газету «Одигитис» («Вождь»), орган Коммунистической молодежи Греции, хорошо знают греческие школьники и студенты, молодые рабочие и моряки. Несколько лет назад редакция газеты стала выпускать массовыми тиражами брошюры, пропагандирующие идеи марксизма-ленинизма, и вскоре при Центральном совете КНЭ (союза Коммунистической молодежи Греции) было организовано издательство «Одигитис» — одно из немногих комсомольских издательств, существующих в капиталистических странах. Цель издательства — помочь КНЭ в воспитании греческой молодежи в коммунистическом духе, в формировании ее классового сознания, в повышении культурного и общеобразовательного уровня молодых, пишет газета «Ризоспастис». «Одигитис» издает произведения классиков марксизма-ленинизма, общественно-политическую и художественную литературу.

Значительное место в тематических планах издательства занимают книги по истории молодежного движения Греции, по эстетике, психологии, педагогике, а также лучшие произведения как писателей-классиков, так и молодых греческих литераторов. С большим интересом встретили читатели выпущенные массовым тиражом антологии «23 молодых поэта», «5 молодых прозаиков», сборники «Греческие народные песни», «Греческие народные сказки», поэтический сборник Б. Брехта «Стихи о классовой борьбе», повесть А. Гайдара «Школа».

Лучшие книги издательства «Одигитис» были показаны в конце сентября 1985 г. на выставке, состоявшейся в Афинах в книжном магазине при издательстве ЦК КПГ «Синхрони эпохи». Выступившая на открытии выставки директор издательства Катя Хараламбаки рассказала, что большинство сотрудников «Одигитиса» — вчерашние школьники и студенты. Многие редакторы, переводчики, художники, корректоры работают на добровольных началах. Все они трудятся увлеченно, с большим энтузиазмом. Книги молодежного издательства уже завоевали популярность и на прилавках книжных магазинов не залеживаются.

Важным направлением деятельности издательства является популяризация советской литературы. В ближайших его планах — выпуск произведений М. Горького, В. Маяковского, Н. Островского, А. Фадеева.

ИЗРАИЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «АЛЬ-ДЖАДИД»

В г. Хайфа вышел специальный, сдвоенный, номер литературного журнала «Аль-джадид», издаваемого Компартией Израиля на арабском языке. На обложке номера — портрет недавно скончавшегося видного палестинского ученого-историка, пламенного борца-публициста, члена руководства Коммунистической партии Израиля и главного редактора журнала «Аль-джадид» доктора Эмиля Тумы (1919—1985). Ему посвящена передовая статья под заглавием «Эмиль Тума ушел от нас и остается с нами».

Основное место в номере занимают материалы конференции «Культура в борьбе против расизма и оккупации», которая была организована редакцией журнала. В нем публикуются выступления главного редактора газеты «Аль-иттихад» писателя Эмиля Хабиби, профессора Тель-Авивского университета Сасона Сомеха, живущих в Израиле арабских поэтов и писателей Салема Джубрана, Салима Хури, Сальмана Натура, председателя Союза палестинских писателей Западного берега реки Иордан и сектора Газы поэта Халиля Тумы, известного израильского писателя Йорама Канюка. Лейтмотив этих выступлений — призыв к взаимопониманию между евреями и арабами, к совместной борьбе деятелей культуры обоих народов против экспансионистской политики правящих кругов Израиля.

В номере помещены также статьи о современной и классической арабской литературе, рассказы и стихи арабских писателей и поэтов, хроника литературной и культурной жизни.

ИНДИЯ

ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИПТА

В Агре состоялась всеиндийская конференция ИПТА — Ассоциации народного театра Индии. Конференция собралась после длительного перерыва в работе ИПТА: последний общеиндийский съезд ИПТА проходил в 1958 г. В работе конференции приняли участие свыше трехсот делегатов, представляющих почти все штаты Индии. Конференцию открыл ветеран ИПТА — известный поэт Кайфи Азми, который в кратком вступительном слове отметил успехи организации в период борьбы за независимость и в первые годы существования суверенной Индии. Оратор особо подчеркнул возросшую роль искусства и ответственность мастеров культуры за судьбу отчизны в современном тревожном мире.

В развернувшейся по докладу дискуссии приняли участие многие выдающиеся деятели культуры современной Индии.

«В успехах, достигнутых в области культуры, — говорится в принятой ИПТА декларации, — мы, ветераны и молодые участники ИПТА, черпаем надежду и вдохновение на борьбу против сил дезинтеграции, для достижения единства народа — во имя созидания новой Индии, Индии нашей мечты».

Известная актриса Дина Патхак выступает перед участниками всеиндийской конференции ИПТА.

(Еженедельник «Нью эйдж»)

Центральный орган КПИ — еженедельник «Нью эйдж» — охарактеризовал эту конференцию как «возрождение ИПТА».

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ

Состоялось вручение премий, ежегодно присуждаемых деятелям индийского кино.

Высшую награду — «Золотой лотос» — получил художественный фильм «Пожизненное заключение», поставленный молодым режиссером Пракашем Джха. Хотя на его счету всего лишь три фильма, он показал себя зрелым мастером кино, способным выиграть творческое состязание с признанными авторитетами индийского кинематографа.

Лучшей лентой на хинди признан фильм «Противоположный берег», поставленный известным режиссером Гаутамом Гхошем, а исполнители заглавных ролей в картине — Насируддин Шах и Шабана Азми — удостоены высших премий за актерское мастерство.

В фильме «Противоположный берег» показана жестокая правда жизни современной индийской деревни: лишившись последней надежды, безземельные крестьяне вынуждены покидать родные места и перебираться в незнакомый и страшный в своем равнодушии город.

Лучшим фильмом на языке бенгали признана картина Сатьяджита Рая «Дом и мир», представляющая собой экранизацию одноименного романа Рабиндраната Тагора. Одновременно за выдающийся вклад в развитие индийского кино Сатьяджиту Раю присуждена премия имени Дада Сахиба Пхальке — «отца индийского кинематографа».

ИТАЛИЯ

ТРЕВОГА АЛЬБЕРТО МОРАВИА

В издательстве «Бомпиани» вышел новый роман Альберто Моравиа «Человек, который смотрит». Появление книги вызвало широкий резонанс в прессе. Моравиа верен себе (Джино Пампалоне в газете «Джорнале» даже упрекает его в некоторой «монотонности»): в центре романа вновь пресловутый любовный — но одновременно и семейный — треугольник. Додо, 35-летний преподаватель французской литературы, и его молодая жена Сильвия проживают под одной крышей с отцом героя, профессором физики. Додо, участник молодежного движения 1968 года, яростно выступавший против традиционных ценностей старшего поколения, когда-то отказался от наследства матери и оставил отцу завещанный ею дом. Несмотря на ностальгию по своему «революционному прошлому», Додо теперь сожалеет об этом поступке, но что-либо предпринять ради обретения независимости не осмеливается. Ненависть сына к отцу имеет и иную подоплеку: Додо известно, что сразу после свадьбы Сильвия вступила в интимные отношения со свекром. «Моравиа, кажется, хочет подвести нас к психоаналитической интерпретации молодежных бунтов 1968 года», — замечает в этой связи Пьер Витторио Тонделли в еженедельнике «Эспрессо».

«Я смотрю на вещи подобно Додо, и в этом конфликте я — на стороне сына»,— заявил Моравиа в интервью. данном журналисту Фердинандо Адорнато, признавшись, что ни одно из послевоенных общественных движений не затронуло его так глубоко, как события 1968 года. «Всю свою жизнь.— сказал Моравиа, — я испытывал состояние тревоги. Называлась она по-разному: «Равнодушие», «Скука», «Неповиновение» (названия романов Моравиа). Сегодня она зовется «Отчаяние». Отчаяние от невозможности добраться до сути вещей, которое испытывает и Додо».

Герой одержим страхом перед возможной ядерной катастрофой. «Апокалипсис уже начался, — утверждает в интервью писатель, — а человек смотрит на него сквозь замочную скважину, чуть испуганный и возбужденный. Люди — бессильные соглядатаи предательств. жертвами которых становятся они сами». По мнению Моравиа, задача романиста — ставить вопросы, но не давать на них ответа.

КИНОВЕРСИЯ РОМАНА «ИМЯ РОЗЫ»

Первое художественное произведение известного итальянского эстетика и семиолога Умберто Эко, явившееся литературной сенсацией 1981 года, вскоре обретет экранное воплощение. Действие романа «Имя розы» происходит в 1327 году, в период последних битв между папством и главой Священной Римской империи Людовиком Баварским. «Чем станет экранный вариант романа «Имя розы» — «триллером» об эпохе средневековья или чередой дебатов между схоластами и августинианцами?» — задается вопросом обозреватель газеты «Унита» Мария Серена Пальери. Интерес к книге Эко — многоплановой, допускающей, в зависимости от угла зрения и компетентности читателя, целый ряд интерпретаций — отнюдь не исчерпывается увлекательнейшей интригой и отражением борьбы идей в эпоху Высокого средневековья. Но претворить в игровом кино крайне важную для Эко «семиотическую» тему, получившую на страницах книги интереснейшее художественное воплощение, вряд ли возможно. О том, что не будет реализован и аллегорический план романа — завуалированная сатира на некоторые аспекты политической жизни современной Италии,— говорит опубликованная «Унитой» беседа корреспондента газеты с французским режиссером Жаном-Жаком Анно, который и возглавляет италофранко - западногерманский съемочный коллектив. В одном из интервью Ж.-Ж. Анно также заявил: «Прочтя лишь треть книги Эко, я начал вести переговоры о покупке прав на ее экранизацию, горя желанием заставить будущих зрителей моей картины следить за перипетиями сюжета с таким же напряжением, какое испытывал во время чтения я сам». Окончательный (10-й) вариант сценария — результат работы пяти авторов, в числе которых и сам Анно. Об упоре на детективный аспект «Имени розы» говорит хотя бы то, что главную роль — Вильяма Баскервильского, монаха-францисканца, расследующего серию таинственных убийств,— играет английский актер Шон Коннери, которого западный зритель привык видеть в обличье пресловутого «агента 007». Однако туго закрученная сюжетная пружина привлекла внимание режиссера не сама по себе, а в необычном историческом контексте, столь отдаленном по времени. Ради абсолютной достоверности, ради атмосферы эпохи Ж.-Ж. Анно не жалел усилий: в качестве консультантов были приглашены семь медиевистов; один из них, отдавший несколько лет изучению мимики и пластики людей средневековья, провел с актерами целый ряд особых занятий. Поиски натуры велись несколько месяцев; помимо римского Киногородка съемки проходят в пригороде итальянской столицы и в одном из монастырей ФРГ.

МАРТИНИКА

«ЗЕМЛЯ ЛЕГЕНД, ЗЕМЛЯ БУДНЕЙ»

Эдуард Глиссан, уроженец острова Мартиники,— из-

вестный писатель и общественный деятель. Он автор нескольких сборников стихов («Черная соль» и «Вест-Индия» недавно переизданы во Франции), романов («Хижина командора» и других), публицистических произведений («Повествование об Антильских островах»), эссе. В центре внимания Глиссана — судьба его земляков, жителей Антильских островов (см. о нем также в «ИЛ», 1985, № 6).

«Новый поэтический сборник Глиссана «Земля легенд, земля будней», вышедший в свет в парижском издательстве «Сёй», органически связан со всем, что было написано автором прежде»,— отмечает в еженедельнике «Кензен литтерер» Жерар Нуаре. «Земля легенд, земля будней»,— продолжает критик,— это книга, написанная причудливыми восьмистопными стихами. Она воспевает Африку — с этого континента были некогда вывезены рабы, заменившие истребленных первыми колонистами коренных жителей Антильских островов,— воспевает жизнь народа, культура которого вобрала в себя самые различные влияния. Автор страстно протестует против усиления мелкобуржуазной стихии, подрывающей чувство национального достоинства, против ценностей буржуазного мира, против варварского уничтожения флоры и фауны. Книга Глиссана, — считает Ж. Нуаре,— представляет собой новый этап в становлении национального сознания Мартиники».

В интервью, данном «Кензен литтерер», Э. Глиссан поясняет свой замысел: «Коллективная память — вот что нам насущно необходимо, вот чего нам недостает. Нужно воссоздать не просто цепочку исторических фактов, а весь фон: отторжение переселенцев от материнского лона Африки, в результате чего и произошла перекройка их сознания».

Глиссану удалось найти адекватную форму для поэтического воплощения этого конгломерата нескольких культур. «Первое, что поражает читателя,— подчеркивает Ж. Нуаре,— это стилистическое разнообразие, рожденное смешением различных слоев языка. Возвышенно пророческие обороты в духе Сен-Жон Перса неожиданно сменяются привычными идиомами, поток неологизмов переходит в классический язык исповеди... Это литературное смешение кровей — нечто небывалое, ибо оно опрокидывает все поэтические стандарты...»

СИРИЯ

РОМАН НА ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

В дамасском издательстве «Дар аль-ханаик» вышел роман палестинского писателя Яхьи Яхлюфа под названием «Гимн жизни». Действие романа развертывается в Бейруте во время его осады израильскими войсками в 1982 году. В этом документальном в своей основе произведении нашел отражение личный опыт автора, пережившего бейрутскую блокаду. «Гимн жизни» — четвертый роман Я. Яхлюфа, опубликовавшего также два сборника рассказов. Роман Яхлюфа «Наджран в час испытаний» и ряд его рассказов переведены на русский язык.

США

ДРАМА ОДИНОЧЕСТВА

В нью-йоркском издательстве «Кнопф» вышел новый роман известной американской писательницы Энн Тайлер «Турист по воле случая». Главный герой Мейкон Лири, отмечает обозреватель журнала «Тайм», продолжает галерею «эксцентрических» персонажей предыдущих книг Тайлер — Моргана Гауэра («Скитания Моргана») и Эзры Тулла («Обед в ресторане «Тоска по дому». См. «ИЛ» 1985, № 9—10). Мейкон Лири — автор популярных путеводителей (они выходят под общим названием «Турист по воле случая»), которые сообщают не о достопримечательностях заморских стран и крупнейших городов мира, а о том, где, скажем в Амстердаме, можно чайти экспресс-закусочные «Макдональдс». Или — в каких ресторанах Токио подают пирог со сливами. Или — в каких барах Рима... К тому же автор этих гастрономических путеводителей спешит убедить своих читателей, что самое лучшее — это поскорее вернуться домой.

Впрочем, чудаковатый Мейкон Лири — не просто комическая фигура. За внешне юмористическим антуражем его жизнеописания скрывается подлинная человеческая драма. Год назад на улице убийца-маньяк застрелил его двенадцатилетнего сына. А вскоре от Мейкона ушла жена, которую после гибели единственного ребенка ничто уже не связывало с «этим сумасбродом». Так одна за другой рвутся тонкие ниточки, соединявшие Мейкона с самыми близкими людьми. Жизнь перестает иметь для него какой бы то ни было смысл. Он сам превращается в «туриста по воле случая» без цели проводящего день за днем в огромном городе среди чужих людей.

Судьба уготовила Мейкону Лири, как и другим «чудакам» Энн Тайлер, безрадостный удел — одиночество, неизбежный финал жизненного пути в обществе, где распад человеческих связей превратился в печальную закономерность.

Как подчеркивает обозреватель журнала «Тайм», «сама атмосфера этой книги — сочетание тонкого юмора и проникновенной грусти — уже прочно ассоциируется с именем Тайлер». Новая книга писательницы показала, что Энн Тайлер по праву считается мастером современного социально-бытового романа США, заключает рецензент.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА

В середине 60-х годов американский прозаик Пол Теру (см. о нем «ИЛ», 1982, № 7, и 1983, № 9) покинул родину и отправился странствовать по свету, надеясь, подобно своему кумиру Герману Мелвиллу, почерпнуть из путешествий богатый материал для новых книг. За два десятилетия П. Теру обретал пристанище — то на краткий, то на длительный срок — в Экваториальной Африке и в Юго-Восточной Азии, в Западной Европе и в Центральной Америке. Многие впечатления писателя, пристально всматривавшегося в образ жизни обитателей четырех континентов, отразились в его «романах-путешествиях» 70-х годов. Но многое осталось достоянием записных книжек П. Теру, хотя время от времени автор публиковал свои путевые заметки и эссе в американских и британских журналах.

Пятьдесят небольших очерков, ранее появившихся в периодике, составили объемистый том «Морские чудовища на восходе солнца: путешествия и открытия. 1964—1984 годы», который вышел в издательстве «Хаутон Миффлин». Этнографическую публицистику П. Теру, по отзыву еженедельника «Ньюсуик», отличает свойство, присущее и его прозе: острая наблюдательность, интерес к экзотике, способность «вживаться» в незнакомую культуру, позволяющая писателю улавливать самую суть мироощущения другого народа. В интервью журналу «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», опубликованном вскоре после выхода в свет «Морских чудовищ...», П. Теру прямо сформулировал основную мысль своей новой книги: «Все люди на земле в общем-то чувствуют и думают одинаково, ибо жизнь изо дня в день сталкивает их лицом к лицу с похожими заботами». Стремлением проникнуть в заветные мысли и чаяния обыкновенного человека — будь то рыбак в Сингапуре или охотник в Уганде, крестьянин в глухой южноамериканской деревушке или мелкий служащий в Лондоне, — вот чем по мнению П. Теру, и должно питаться творчество писателя, серьезно озабоченного перипетиями людских судеб в сегодняшнем сложном мире.

«МЫ ТОЖЕ ХОТИМ МИРА...»

Весной прошлого года американская писательница Бел Кауфман, автор известного романа о жизни подростков

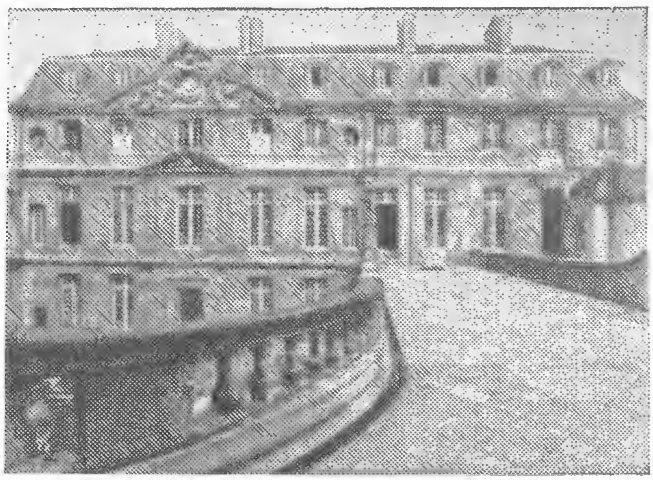
«Вверх по лестнице, ведущей вниз», почти месяц провела в Советском Союзе. Недавно еженедельник США «Ти-ви гайд» опубликовал ее статью «Советский народ на телеэкране», посвященную, по замыслу автора, повседневной жизни советских людей.

Анализируя тематику телепрограмм, писательница отмечает большое значение военной темы, звучавшей особенно весомо в год сорокалетия победы над фашизмом: «Советское телевидение рассказывает о жизни простых людей, способных выстоять в любых испытаниях, преодолеть любые трудности. Эти люди очень хотят мира — ведь они потеряли в последней войне 20 миллионов человек».

Как пишет журнал «Ти-ви гайд», писательнице удалось разглядеть «бессмертные черты гордого народа». Бел Кауфман обращает особое внимание на положение женщины в советском обществе, на воспитание молодежи, на трудовую подготовку юношей и девушек, их любовь к своей родине. Писательницу интересует все — и программа «Вокруг смеха», демонстрирующая «умение русских смеяться над собой», и «наивные» детские мультфильмы, и выступления солистов балета Большого театра, и информационная программа «Время», и показ Домом моделей новой коллекции... Через магическую линзу телеэкрана Бел Кауфман вглядывается в лица советских людей и утверждает: «Правительства правительствами, а люди в Советском Союзе такие же, как и в Америке; между нами больше сходства, чем различий».

Да, советские телепрограммы разительно отличаются от американских, пишет Бел Кауфман: нет на экране ни «мыльных опер», ни отупляющей рекламы, ни секса, ни пропаганды насилия. «Что сказал бы советский зритель, увидев наши телепрограммы?» — с горечью задает вопрос писательница.

Свою статью Бел Кауфман заключает словами надежды: «Думаю, в Советском Союзе все-таки поняли бы главное — и мы, американцы, тоже хотим мира, а не войны...»



В Париже открыт музей Пикассо. (Решение о его открытии принято еще в 1975 году.) Музей разместился в одном из просторных старинных особняков в районе Марэ. Творчество Пикассо представлено в музее довольно полно. Здесь можно увидеть работы разных периодов, в том числе картину, написанную художником в 14-летнем возрасте. Постоянная экспозиция насчитывает около двух тысяч работ великого художника (228 картин, 146 скульптур и более 1600 рисунков и гравюр), а также включает его личную картинную галерею, в которой собраны полотна Сезанна, Матисса, Дерена и других мастеров живописи.
На снимке: Музей Пикассо в Париже.

(Газета «Юманите»)

ФРАНЦИЯ

«КРАСНАЯ ТРАВА» НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

В 1984 г. съемочная группа программы французского телевидения «Антенн-2» приступила к созданию фильма «Красная трава» по одноименному роману Бориса Виана. Но режиссер Пьер Каст погиб в авиакатастрофе, не успев доснять материал, и картину закончил другой известный постановщик, Морис Дюговсон.

«Красная трава» — последний роман Бориса Виана, одного из самых читаемых во Франции современных писателей, знаменитого своей беспощадной иронией, ошеломляющей словесной игрой, своим неожиданным трагизмом и глубокой искренностью (на русский язык переведен роман Виана «Пена дней» и его новеллы).

В одном из интервью Пьер Каст сказал, что роман «Красная трава» привлек его ярким сочетанием сюжетных линий — загадочная любовь, сложный путь героя к познанию самого себя, отказ его от прежних канонов бытия, от прежних табу,— а также смещением стилей: юмор, каламбуры, парадоксальная логика соседствуют в романе с едкой горечью, откровенной бравадой безудержной фантазии.

Фильм снимался в Португалии, Италии, Франции. Главные роли играют популярные киноактеры Жан Сорель, Жан-Пьер Лео, Жан-Клод Бриали и талантливая молодая актриса Катрин Ружлен.

Этот фильм, пишет в журнале «Нувель обсерватёр» критик Брюно Вильян, — «своего рода ностальгическое прощание с эпохой 50-х годов, с кварталом Сен-Жермен-де-Пре тех лет, с Борисом Вианом».

ФРГ

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»

Так называется новый роман известного западногерманского писателя Зигфрида Ленца, вышедший в издательстве «Гофман унд Кампе». Это история семейства Целлер, уроженцев Восточной Пруссии. После войны на пустынной территории бывшего учебного плаца в Шлезвиг-Гольштейне старший Целлер создал лесной питомник. С самого начала ему помогал в работе мальчик Бруно, в конце войны потерявший родителей. Целлер его приютил, научил ухаживать за растениями. Бруно добродушен, усерден, привязчив, но немного беспомощен; он благоговеет перед человеком, который спас ему жизнь, который все знает и все может: «Мне ничего не нужно, лишь бы он был доволен». Обоих связывает бесконечная любовь к миру растений: они умеют прислушиваться к их росту, внимать их бессловесному языку.

В своей семье Целлер не находит понимания. У младшего поколения свои заботы. Его не интересует ни прошлое солдатского полигона, ни нынешняя жизнь питомника. Нарастающее отчуждение приводит к тому, что старый Целлер решает передать во владение верному ученику треть своего участка.

Возникает драматический конфликт. Семейный совет

принимает решение — добиться, чтобы старика признали недееспособным и учредили над ним опеку, а земля осталась бы за Целлерами.

Все эти события показаны в романе глазами Бруно. Он решает отказаться от дара и покинуть питомник, к которому горячо привязан, лишь бы восстановить мир в семье и не подвергать угрозе близкого ему человека. Такое решение гибельно для Бруно.

Рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Юрген Якобс считает символичным лейтмотив романа: здесь, в земле, истоптанной когда-то солдатскими сапогами, «в буквальном смысле погребены остатки прошлого», и здесь же начинает зеленеть новая жизнь. Но символично и другое, словно продолжает эту мысль другой рецензент — Петер Цайндлер в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе»: всю эту историю рассказывает человек, который «трагически мало» знает о прошлом и «не готов принять ответственность» за возделанный стариком участок. Бруно слышит, как растет трава, но окружающий мир остается для него загадкой. «Два поколения немцев встречаются на бывшем учебном плацу, а понять друг друга они все еще не готовы».

«Зигфрид Ленц принадлежит к числу авторов, которые пишут популярно и вызывают широкий интерес, не поступаясь при этом высоким уровнем прозы, — замечает во «Франкфуртер альгемайне» Юрген Якобс.— Он всегда выбирает темы, которые заставляют читателя задуматься... И в романе «Учебный плац» Ленц дает картину эпохи, хотя как будто и не говорит о политических проблемах прямо».

ФРГ

СНОВА ХЕЛЬМУТ ХАЛЬМ

Читавшие повесть известного западногерманского писателя Мартина Вальзера «На полном скаку» («ИЛ», 1983, № 8) хорошо помнят ее героя, штутгартского преподавателя Хельмута Хальма, который, отдыхая на Боденском озере, едва не утопил там своего бывшего школьного приятеля. Теперь Хальм оказался главным действующим лицом в новой работе Вальзера — повести «Прибой», которую выпустило издательство «Зуркамп».

И снова Хальм встречается с бывшим школьным приятелем. на сей раз—другим. Тот приглашает его в Америку, в Калифорнию. прочесть вместо себя курс лекций в местном колледже.

Хальму 55 лет, и для него оказывается мучительной встреча с молодыми людьми, спортивными, загорелыми, здоровыми. Страдания его достигают предела, когда он увлекается Фрэн — одной из своих учениц. Ему мерещится, что он похож на Мальволио, комического старика из шекспировской «Двенадцатой ночи», которого насмешницы едва не свели с ума.

«Прибой» — книга о стареющем человеке, — пишет в журнале «Шпигель» критик Хельмут Каразек. — Герою все время кажется, что он окружен сильными, превосходящими его врагами, перед которыми выглядит комически... В мире Вальзера жизнь — это цепь поражений. Пусть не таких уж серьезных — ведь ничего особенного здесь не происходит. Всего лишь маленькие щелчки, которые лишают человека уверенности...»

В самом деле, с Хальмом ничего существенного не случается. Между тем вокруг него — в семье, у близких людей — происходят настоящие катастрофы, о которых он не хочет знать, думая лишь о себе. В этом, заключает рецензент, — ирония книги Вальзера.

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

РОМАН ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ

В Великобритании вышел перевод романа Исабель Альенде «Дом духов». Это первое крупное произведение молодой писательницы, племянницы убитого пиночетовцами президента Чили Сальвадора Альенде. «Сочетание тонкого психологизма и достоверности изображения политических и исторических событий захватывает читателя, придает повествованию особый драматизм», — пишет рецензент журнала «Лондон мэгэзин».

Действие романа развертывается в латиноамериканской стране. Аналогия изображенного в «Доме духов» фашистского путча с контрреволюцией в Чили совершенно очевидна. Исабель Альенде хорошо знает кровавый почерк реакции: в ее романе путчисты тоже используют разработанную американским империализмом тактику переворота — саботаж мероприятий левого правительства, подстрекательство к забастовкам, грязные провокации.

По мнению рецензента, сильное впечатление производят в романе картины хаоса и коррупции, произвола и насилия, воцарившихся после победы реакции.

«Дом духов» — одновременно политическая и семейная хроника. В ней явственно ощущается дыхание пережитого, слышатся отзвуки чилийской трагедии; книга проникнута антифашистским, гуманистическим пафосом. Впервые роман был опубликован в Барселоне в 1983 году; он переведен уже на несколько европейских языков.

ШВЕЙЦАРИЯ

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

Фридрих Дюрренматт дал интервью гамбургскому еженедельнику «Цайт». В частности, писателю был задан вопрос, почему он называет комедиями свои пьесы, которые, собственно говоря, комедиями не являются, ибо заканчиваются чаще всего трагически. «Комедия для меня — просто способ осмысления мира, — ответил драматург. — Я смотрю миру в лицо и вижу на этом лице гримасы. Должен ли я их замазывать, придавать лицу более пристойный вид?»

По мнению Дюрренматта, современная швейцарская действительность не дает материала для трагедии — такого, например, каким является для немцев тема «преодоления прошлого». Возражая знаменитому драматургу, корреспондент «Цайт» напомнил о недавнем эпизоде швейцарской истории, который лег в основу фильма кинорежиссера Имхофа «Лодка полна». Фильм рассказывает о том, как швейцарские солдаты задерживали на границе людей, пытавшихся бежать от преследований нацистов, и возвращали их обратно в Германию — на смерть. «Трагичны здесь фигуры не швейцарских солдат, а беженцев», — ответил Фридрих Дюрренматт. В наше время, считает он, приходится говорить не столько о личной вине и ответственности, сколько о «соучастниках и жертвах».

Означает ли это, задает вопрос корреспондент «Цайт», что Дюрренматт скептически относится к возможности изменить человека и общество? «Мир меняется, — отвечает драматург, — но я не знаю и не могу знать, какое участие в этих переменах принимаю я сам. Сеятель сеет, но подчас не знает, что взойдет из его семян... Люди могут изменить мир, но сами порой оказываются жертвами».

Писатель возразил, однако, когда корреспондент охарактеризовал его позицию как «исторический пессимизм». «Диагност — не пессимист», — ответил Дюрренматт.

ШВЕЦИЯ

НОРВЕЖСКАЯ КЛАССИКА НА СЦЕНЕ «ДРАМАТЕНА»

Драма Генрика Ибсена «Женщина с моря», пишет театральный обозреватель газеты «Свенска дагбладет» Пер Эрик Валунд, редко привлекает современных постановщиков. Причиной тому — чрезмерный объем пятиактной пьесы, рассчитанной на три-четыре часа игрового времени.

Сольвейг Тернстрём в роли Эллиды Вангель в спектакле «Женщина с моря».

(Газета «Свенска дагбладет»)

Режиссер Стокгольмского королевского театра «Драматен» Гуннель Линдблом поставила «Женщину с моря» в сокращенном варианте (новый перевод выполнил поэт, прозаик и критик Тобиас Берггрен).

Драму «Женщина с моря» Ибсен создал после «Росмерсхольма» и до написания «Гедды Габлер»: по мнению рецензента, в ней есть черты обеих этих пьес. Как и «Росмерсхольм», «Женщина с моря» ставит проблему личностной свободы. Как и в «Гедде Габлер», здесь обозначен характер сильной, магнетически привлекательной женщины.

Главная героиня, Эллида Вангель, мечется в тисках брака с нелюбимым мужем — провинциальным медиком, пассивным, заземленным доктором Вангелем. У нее также сложные, противоречивые отношения с двумя его дочерьми от первой жены — Болеттой и Хильдой. Когда-то Эллида была влюблена в моряка, с ним ее связывает клятва верности. Убежденная в его гибели (судно, на котором служил ее возлюбленный, потерпело кораблекрушение), Эллида вышла замуж. Но море влечет ее страстно и неудержимо. Неожиданно возвращается бывший возлюбленный Эллиды и предлагает ей бежать с ним.

В театре «Драматен» спектакль «Женщина с моря» решен в современном ключе — это драма идей, характеров, судеб. Эллида, «женщина с моря», получившая свободу выбора, решает остаться с теми, с кем ее связывают узы нравственности и ответственности. Это — ее «земной удел».

Режиссерское решение и яркие драматические краски образов (в спектакле заняты ведущие актеры театра: Сольвейг Тернстрём, Ульф Юханссон, Лил Терселиус) позволяют надеяться, что «Женщина с моря» станет событием театрального сезона, заключает рецензент.

ЮГОСЛАВИЯ

«ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «НАИВНОГО ИСКУССТВА»

Белградское издательство «Югословенское ревю» выпустило в свет «Всемирную энциклопедию «наивного искусства» (составители — Ото Бихали-Мерин и Небойша Томашевич, автор статей-персоналий о художниках дореволюционной России и СССР — Н. С. Шкаровская), отметив таким образом столетие начала творческой деятельности великого французского художника-примитивиста Анри Руссо и первое появление образцов примитивистской живописи на 22-й выставке «Салона независимых» в Париже в 1886 году. Обратившись к живописи уже в сорокалетнем возрасте, Руссо первым из «наивных» художников получил признание и открыл этому виду искусства дорогу к широкой аудитории.

С выходом «Всемирной энциклопедии...», рассказавшей о 700 художниках из 50 стран мира, необычайно сложное и разнородное явление, именуемое то «примитивом», то «народным реализмом», то «наивным искусством», получило наконец общий свод. Эта область непрофессионального художественного творчества обратила на себя внимание в конце прошлого века, в бурную эпоху ломки академических представлений о задачах и языке изобразительного искусства. Когда представления о «правильном» и «неправильном» искусстве были поколеблены, в примитиве увидели не «плохое» или недостаточно умелое профессиональное искусство, а художественную деятельность, представляющую самостоятельную культурную ценность.

Открыв для себя «наивное искусство», профессиональная художественная культура XX века не только признала за ним право на существование, но и в лице ряда своих крупных мастеров (М. Ларионова, М. Шагала, Г. Гроса и других) отдала дань его поэтике.

Энциклопедия позволяет существенно уточнить и многие наши представления о наивном искусстве: так, например, помещенные в ней репродукции картин художника Карапета Григорянца, современника прославленного Пиросмани, заставляют пересмотреть расхожее мнение об «одиночестве» грузинского примитивиста.

Несомненен широкий интерес любителей и исследователей примитивного искусства к кругу проблем, освещаемых «Всемирной энциклопедией...» Лучшее тому доказательство — начавшаяся подготовка к ее переизданию на немецком, итальянском, японском языках.

Карапет Григорянц. Рыбак.

Адольф Дитрих. Бигль.
(Из «Всемирной энциклопедии «наивного искусства»)

ЯПОНИЯ

«КОРОЛЬ ЛИР» АКИРЫ КУРОСАВА

Новая картина выдающегося японского режиссера Акиры Куросава «Ран» создана по мотивам шекспировского «Короля Лира». Место и время действия — Япония, XVI век, период Сэнгоку — пора ожесточенных межклановых войн за всеяпонское главенство («ран» в переводе — «хаос, беспорядок, бунт»). Этот период национальной истории, когда, по мнению Куросава, личность в большей мере вольна была управлять своей судьбой, уже становился

объектом режиссерского исследования в фильмах «Семь самураев», «Двойник» (в советском прокате — «Тень воина»). На сей раз Куросава использовал достаточно распространенный в современном искусстве метод «альтернативной истории»: «Я спросил себя: а если бы сыновья главы одного из средневековых феодальных кланов Мотомари Мори, на самом деле добрые и мужественные, способствовавшие процветанию дома Мори, обладали противоположными качествами?» Такая гипотеза удачно «легла» на фабулу шекспировской трагедии. Замысел экранизации Куросава вынашивал целое десятилетие. Это второе (после «Трона в крови» по «Макбету») обращение режиссера к наследию Шекспира.

«Мой фильм — не крик отчаяния, скорее — предостережение людям: «Сосредоточьте усилия на том, чтобы сделать свою жизнь счастливой, вместо того чтобы навлекать на себя величайшие беды, — сказал режиссер в интервью, данном критику французского журнала «Ревю дю синема» Максу Тессье. — В отличие от Лира, никогда не размышлявшего о прошлом и ни о чем не сожалевшего, герою «Рана» Хидэтори Итимондзи такие мысли свойственны, и поэтому мой вариант истории кажется мне менее трагичным».

«Куросава вновь доказывает, что он прежде всего художник, — отмечает М. Тессье. — Каждый кадр являет собой картину такой красоты, что буквально перехватывает дыхание».

Актерская пластика, музыка к фильму отмечены несомненным влиянием эстетических принципов традиционного японского театра Но. Главную роль, как и в «Двойнике», играет известный актер Тацуо Накадаи.

Кадр из фильма Акиры Куросава «Ран».
(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул. д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.11.85 Подписано в печать 15.01.86 А 05117 Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 23,98.

Тираж 490000 экз. (1-й завод 1—440000 экз.) Зак. 4326

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Стол и стулья.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394